101

КОНТИНЕНТ

1999 КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ

№ 101



Вдруг нарекли
шестидесятницей.
Я знать не знала, я жила,
Меж понедельником
и пятницей
Не отрываясь от стола...

Елена Аксельрод



АПОСТОЛ: Сколько бы камней ни бросали, ни уничтожали друг друга, в свой последний час вспомните, что было время, когда сидели за одним столом, ели один хлеб, пили из одной чаши, и это были лучшие минуты вашей жизни...

Ион Друцэ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Татьяны Бек, Ефима Бершина, Максима Жарницкого
Повесть Сергея Бабаяна
Рассказ Юлия Крелина
Очерк Александра Жовтиса
Статьи Людмилы Арсеньевой и Роберта Джексона
Очередной выпуск ХРОНИКИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ
Очередной выпуск раздела БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА"

Вдруг запищала рация, встревоженно заговорил агент в машине: объект вышел из подъезда и направляется в сторону автобусной остановки! Патрикеев не знал, что и подумать...



Анатолий Азольский

Читать Пелевина - для меня лично занятие не так уж лакомое... Но размышлять о нем, о его месте на карте литературы и культуры, в том историческом обвале, свидетелями и участниками коего мы являемся, - интересно и поучительно.



Евгений Ермолин

Мне кажется, что через любовь, например, к русской иконе итальянцы-католики в своей массе навсегда избавятся от устрашающего взгляда, будто православные - еретики-раскольники...



Отец Фома Шпидлик

Пожалуй, впервые за всю свою историю Россия сталкивается с исламом наступательным. Есть над чем призадуматься всерьез. Тем более, что для нас это не только внешний, но и внутренний вопрос...



Юрий Кагарманов

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Почтовый адрес редакции: 119136, Москва, а/я 69
E-mail: dzir1@cityline.ru (Москва)
E-mail: continent@home.com (США)

Контактные телефоны редакции:
(095) 201-57-41, 240-84-86
Internet: http://www.members.home.net/continent

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Редакция журнала «Континент»
сердечно поздравляет замечательного русского писателя
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДАВЫДОВА
с исполнившимся в ноябре 1999 года 75-летием
и желает дорогому юбиляру долгих лет жизни, здоровья,
новых творческих свершений и новых встреч с читателями
«Континента».



Редакция «Континента»
благодарит за финансовую поддержку журнала
эстонского предпринимателя Инвара Альта
и институт «Открытое общество» (фонд Сороса),
который из общего тиража каждого номера
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ
1800 экземпляров журнала.

Редакция выражает также глубокую признательность
Российскому акционерному обществу
«Норильский никель» за финансовую помощь
в выпуске предыдущего, 100-го номера журнала.

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

101

1999, № 3
июль — сентябрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Почтовый адрес редакции: 119136, Москва, а/я 69
E-mail: dzir1@cityline.ru (Москва)
E-mail: continent@home.com (США)

Контактные телефоны редакции:
(095) 201-57-41, 240-84-86
Internet: http://www.members.home.net/continent

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Яков КРОТОВ
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
1000 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ /fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
Ul Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ 022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

ЛАТВИЯ,
ЛИТВА,
ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv.,'19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Ефим БЕРШИН
Я родом оттуда. *Стихи* 9

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ
Патрикеев. *Повесть* 15

Татьяна БЕК
Комментарий к судьбе. *Стихи* 76

Сергей БАБАЯН
Канон отца Михаила. *Повесть* 81

Елена АКСЕЛЬРОД
Лишь нити строчек на листе... *Стихи* 145

Ион ДРУЦЭ
Апостол Павел. *Христианская эпопея в двух частях* 150

Максим ЖАРНИЦКИЙ
Мы с тобой не одни... *Стихи* 198

Юлий КРЕЛИН
Отцы и дети. *Рассказ из цикла «Исаакские саги»* 203

РОССИЯ

Хроника общественно-политической жизни России
(Апрель, май, июнь 1999 г.) 221

Юрий КАГРАМАНОВ
Россия и мусульманский юг 248

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Александр ЖОВТИС
Дело №417 (Ю.О. Домбровский в следственном изоляторе
на улице Дзержинского) 263

РЕЛИГИЯ

Евгений ВЕРЕЩАГИН
«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша».
Беседы с проф. Фомой Шпидликом (Рим) 281

ПРОЧТЕНИЕ

Роберт Луис ДЖЕКСОН
Сон Дмитрия Карамазова про «дитё»: прорыв 318

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Варварская лира. Виктор Пелевин как знак и знамение 328

ИСКУССТВО

Людмила АРСЕНЬЕВА
Икона и картина.....346

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА».....358

Я РОДОМ ОТТУДА...

* * *

Инне

Россия.
Дождь.
Начало сентября.
Безденежье.
Москва несется мимо.
На смерть уходят в небо тополя
горящим храмом Иерусалима.

Пустыня.
Иудея.
Жжет хамсин.
Пришествие мессии.
Смерть идеи.
Свержение мессии.
Стынет синь
российская
под небом Иудеи.

И — в клочья имена и времена.
Горят костры.
И брат идет на брата.
Гуляет иудейская война
по переулкам старого Арбата.

Ефим БЕРШИН — родился в 1951 году в Тирасполе. Окончил факультет журналистики МГУ. В 1992 году в течение нескольких месяцев в качестве военного корреспондента «Литературной газеты» освещал войну в Приднестровье, награжден медалью Приднестровской республики «За оборону Приднестровья»; в 1996 году был неоднократно командирован в Чечню. Подборки стихов публиковались в журналах «Континент», «Юность», «Стрелец», в альманахах «Теплый Стан», «Перекресток». Автор сборников стихов «Снег над Печорой» (1982), «Острова» (1992). Живет в Москве.

Рыдают окна в Гефсиманский сад.
Москва исходит нищими и псами.
И странники теснятся у оград,
взрезая мрак библейскими глазами.

От Боровицких до Шхемских ворот
все — от блудницы и до пилигрима —
взирают молча, как брусчатку рвет
предсмертный хрип поверженного Рима,

как забулдыгу, вора и вруна,
уже почти лишенного рассудка,
сажает на кол странная страна,
а после воет, как дурная сука.

И забывает.
И теряет счет
юродивым
успокоенья ради.
Так забывает,
как слезу со щек,
стирая,
забывает об утрате.

И я забуду
и московский смог,
и жаркие объятия хамсина.
Ни Родины, ни Храма — только Бог!
И женщина, рожающая сына.

И женщина,
как ангел во крови,
бредущая к презрению и плети
затем, чтоб ветхим рубищем любви
соединить дыхание столетий.

По русским,
по заблеванным снегам
иду один на Масличную гору.
О, Боже, как тепло моим ногам!
Как холодно расплавленному горлу!

Как дружно иудей и славянин,
погромщики, погрязшие в пороке,
властитель дум
и тот, кто был гоним,
и тот, кто сам готовится в пророки,

и праведник на медленном осле,
и всадник из садов архиерея
уже сошлись в едином ремесле,
готовя крест заблудшему еврею.

* * *

И дико во тьме завывая,
в какой-то звериной тоске
целую копыта трамвая,
стоящего в тупике.

Ну, трогай!
И вот через город,
страдая избытком чувств,
как бюст с перерезанным горлом,
по черной брусчатке качусь

с глазницами без огня,
с оторванной головой.
И ветер гонит меня,
как мусор, по мостовой.

А следом, покуда жив,
покуда со мной душа —
«Держите вора! Держи-
те революцьонный шаг!».

О, Боже!
Я родом оттуда,
где из Боровицких ворот
на белой ослице Иуда
въезжает в ликующий сброд.

Я тоже во всадники метил.
Спасибо, не вышло.
Увы.
Спасибо, никто не заметил,
что я уже без головы,

что вместе со всеми,
безлицый,
стекая в подземные трубы,
целую копыта ослице,
в кровь раздирая губы.

* * *

Я знал, что будут ночи гулкими,
промерзшими, как Рождество,
любовь скользнет меж переулками,
похожая на воровство,

что над изломанною жестами
беседой в доме книголюба
взметнется птичье имя женщины,
впотьмах сорвавшееся с клюва,

что в этом городе,
на дне
подъезда, где шаманят стены,
безликой фреской на стене
соединятся наши тени.

* * *

С похожею на небо обликом,
с отставшею от птичьей стаи,
с тобой целуешься —
как с облаком,
которое вот-вот растает.

Так белка,
с огненным листом
сливаясь в дебрях лесопарка,
сверкнув пылающим хвостом,
вдруг станет фактом листопада.

* * *

Облако,
изъеденное молью,
яблоко,
изъеденное червем,
женщина,
оставленная мною,
желтый лист на тополе вечернем.

Понимаю, в этом всё и дело —
в облаке,
в падении листа.
Господи,
но как же надоело
эту книгу заново листать,

мучиться сомнением и болью,
чтобы на изжеванных листах
отыскать изъеденное молью
облако
и женщину в слезах.

* * *

Что-то крылья летают отдельно от птиц,
или угол полета рассчитан неверно.
И блуждают зрачки в отдаленьи от лиц,
одинокие,
как голова Олоферна.

Эта женщина слишком лукаво молчит.
Я проигран.
Раскрыта крапленая карта.
Неужели столетье меня победит,
как в кино,
расстреляв из последнего кадра.

Был без ножен клинок,
без рояля мотив,
без любви голова доживает под ветром
на серебряном блюде,
покуда Юдифь
настороженно прелюбодействует с веком.

Я тебя досмотрю.
Я — добыча твоя,
словно грязная кость для бездомной собаки,
что опасливо роется в мусорном баке,
постигая гармонию небытия.

* * *

И, черным клювом дирижера
выклевывая зерна нот,
оркестр подобьем приговора
швырнул в рождественскую ночь

всё то, что снилось,
то, что было,
всё то, чему уже не быть,
ту женщину, что так разбила
бокал,
как разбивают быт,

как разбивают время суток,
как льды взрывают в январе.
Судьба — беременная сука,
замерзшая в чужом дворе,

где с тонким стоном ель качается,
как одинокий голос в хоре.
И суть не в том, что жизнь кончается,
а в том, что вечность на исходе.

* * *

Осколки неба со стекла
слизав одним движеньем точным,
дворняга сумерек стекла
по рваным трубам водосточным.

И мир, теряя свет и тень,
и запах, и остатки смысла,
срывался окнами со стен
в траву,
как ведра с коромысла.

Суплилось, обнажая дом,
уже ненужное исподнее.
Казалась бочка за кустом
забытым люком в преисподнюю.

И жизнь дрожала, словно ствол,
проросший сквозь чердак барака.
Под спудом ужаса и мрака
и смерть казалась Рождеством.

ПАТРИКЕЕВ

Повесть

1

На двадцать третьем году жизни слесарь-сборщик Патрикеев потерпел сокрушительное поражение, завалив экзамены в педагогический. Было ему тем более обидно и позорно, что школьные предметы выучил он наизусть, а льготы при поступлении имел двойные — и в армии отслужил, и полтора года на производстве отработал. Даже спортивный разряд не помог, и удрученный Патрикеев оказался на непривычном распутье: что делать? Его угнетало собственное невежество и злила очевидная образованность парней и девчат, легко одолевших экзамены и умевших бойко говорить с учеными людьми, доконавшими Патрикеева вопросами о Белинском, Гоголе и Чехове.

С опороченным и никому не нужным аттестатом зрелости шел он по институтскому коридору, стараясь ни на кого не смотреть. Догнала его лобастая девушка со школьными косичками, в институт поступившая и почему-то жалевшая Патрикеева. Она и сказала ему в утешение, что не всё потеряно и уж в следующем году он обязательно поступит, надо лишь сменить среду обитания (так она выразилась). «Есть у тебя жажда знаний, — пылко заключила она, — а это главное!»

Среда же обитания сама становилась другой, потому что Патрикеев с работы уволился еще до экзаменов, уверенный в том, что с его-то знаниями и с его биографией прорвется в любой институт. Подавленный свалившимися на него бедами, решил он ни в коем случае на родную фабрику не возвращаться, да и ни с кем он там не сошелся, а с начальством не ладил. Часами сидел он у окна, посматривая на с детства знакомый двор. Ветераны труда убивали время за «козлом», мелькали соседские бабы, которых он помнил красивыми девушками. Всё знакомо и всё противно.

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ — родился в 1930 году в Вязьме. Окончил Высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе, служил на флоте, после демобилизации работал на производстве. Автор романов «Степан Сергеевич» (1987), «Затяжной выстрел» (1987) и многих повестей, в том числе — «Легенда о Травкине (1990), «Пароход» (1990), «Лишний» (1990), «Клетка» (1996), «Труба» (1997). Лауреат Букеровской премии. Живет в Москве.

На сверхрежимном заводе встретили его сурово и вежливо, дали заполнить анкету на двух листах. «Месяца через полтора вызовем...»

Деньги между тем кончались. Пенсия у матери маленькая, сестренка еще в школу ходит, и Патрикеев подрабатывал на овощной базе, домой притаскивая картошку и помидоры, кое-какие деньжонки получая в конце утомительного и грязного рабочего дня. Однажды утром был он окликнут парнем, который спросил, не хочет ли он подхалтурить, всех дел-то — погрузить и выгрузить, транспортно-экспедиционная контора, это рядом, за углом, платят по-божески и в конце смены, рублей по пятнадцать выйдет на брата. «Трудовая не нужна, паспорт с собой?»

Патрикеев призадумался, цепко глянул на парня и поверил ему.

А тот — года на три-четыре старше, зовут Вениамином, шустряк из тех, кого на фабрике обычно посылают за водкой, потому что боек на язык, заговорит любую продавщицу и чист на руку. «Согласен». В отделе кадров полистали паспорта обоих и определили в бригаду, поредевшую после вчерашней получки. До обеда освободили от мебели одно загрустившее перед отъездом семейство, груз прошлого свезли в комиссионный. Потом помогли молодоженам купить холодильник и кухонный гарнитур. Штатные грузчики норовили самое тяжелое и неудобное переложить на чужие плечи, Патрикеев хотел было возмутиться, но Вениамин подал успокаивающий знак: терпи, молчи! Около четырех дня гонец из конторы привез необычный наряд, бригадир почесал затылок и сплюнул. Пятитонный ЗИЛ покатил на улицу Чайковского и попытался въехать под арку посольства США, но милиция была начеку, злобствуя, проверила кузов, суя нос во все щели, забрала паспорта, унесла куда-то, потом вернула их и пригрозила карами за неизвестно что.

Больше всех был напуган Патрикеев: если на заводе, куда он устраивался, прознают о посольстве, добра не жди, анкета уже замарана. И вновь чуткий Вениамин (он уверял всех, что работал вместе с Патрикеевым на фабрике) призвал его взглядом к спокойствию: «Не боись!». Бригада, чтоб не изменять Родине, на территорию США не спрыгивала и со страхом ожидала указаний клиента. Наконец появился негр в белом пиджаке, за ним парни в военной форме тащили черный рояль. На чистейшем русском языке представитель угнетенного народа заявил:

— Этот инструмент — по этому вот адресу (протянул бумажку). А оттуда сюда — такой же, но белого цвета. Вперед, ребята!

Ребята сиганули вниз. Черный рояль подняли, втащили, закрепили и повезли на дачу, к Москве-реке, в стороне от Ленинградского проспекта. Там громоздкий музыкальный инструмент поменяли на белый, точно такого же размера, и притаранили в посольство. Солдаты поволокли его куда-то наверх, а сияющий негр предложил бригаде обмыть рояль, повел засмущавшихся грузчиков в полуподвал, где уже был накрыт стол. Здесь их ожидало еще одно потрясение — не батарея

бутылок со спиртным, а впервые увиденная кока-кола, символ империализма.

— Виски нон стоп! — провозгласил негр и сам же перевел: — Выпьем по маленькой, но вдоль по Питерской!

Бригада дружно врезала по стакану. Потом еще. А потом еще раз по еще. Начали косеть. Патрикеев, никогда не пьяневший, присматривал за Вениамином, который пить хотел вровень с негром, но явно уступал тому. После «Шумел камыш» под сводами посольства прокатились «Подмосковные вечера», виски нон стоп длились до одиннадцати вечера, грузовик давно укатил, милиция начала беспокоиться, Вениамин валился набок, но от негра не отлипал. Первым опомнился бригадир, приказав подать ему такси. Изрядно набравшийся негр принял верное решение: грузчиков стали развозить по домам посольским транспортом. Вениамин уже лыка не вязал, Патрикеев затащил его в машину, сказал свой адрес, на спине приволок случайного друга в квартиру. Проснулся, а друг никак не похож на упившегося вчера забулдыгу: обхаживает мамашу, но водки не просит, расспрашивает об умершем отце, балагурит с сестренкой. Взялся за Патрикеева и охнул, узнав о посольской машине.

— Номер-то запомнил?

— Триста восемнадцать и какие-то буквы...

— Верно! А буквы латинские, пора бы знать.

Номер Патрикеев запомнил потому, что мысленно отвечал уже на вопросы заводского кадровика. Поехали в контору за честно заработанными деньгами и встречены были свирепым лаем: поступил сигнал о поступках, порочащих советского человека. Бригадир занял круговую оборону: да, пили, но не в рабочее время. На него гавкнули в несколько глоток, стали теребить остальных. Вениамин отбрехался, заявив, что ничего не помнит после первого стакана. Главному конторщику вторил некий тип, неожиданно заинтересовавшийся Патрикеевым. Я тебя, заорал он, туда сошлю, где белым медведям холодно. Тогда-то и выручил друга Вениамин, отозвал в сторонку и продиктовал объяснительную записку.

Начальнику ТЭК-17

Я, Патрикеев Леонид Григорьевич, временный рабочий, находился вчера в помещении посольства США вместе с бригадой, доставлявшей туда рояль, и вынужден был употребить алкоголь, предложенный сотрудником посольства, поскольку этот сотрудник был негром по национальности и отказ выпить с ним означал бы лить воду на мельницу империализма. Было бы также политически вредно не пить с негром в тот период, когда всё прогрессивное человечество возмущено подлым убийством негритянского лидера Мартина Лютера Кинга. Надо было также показать всему негритянскому народу солидарность советских людей с борьбой трудящихся всех континентов за мир и демократию.

У насевшего на Патрикеева типа сразу поубавился гонор. Ему и Вениамину отсчитали по восемнадцать рублей и предложили уносить ноги как можно быстрее. По этому случаю выпили, поговорили, расстались. Через недельку Вениамин возник на пороге, спросил, как дела с заводом, и деловито предложил Патрикееву поработать вместе с ним в одном интересном месте, где хорошо платят, но где и сплошные секреты. В месте этом, уточнил Вениамин, сами рабочие и друзья рабочих борются с врагами пролетариата. Не всяких допускают к этой борьбе, поэтому — Вениамин запустил руку за пазуху и достал папочку с анкетами — надо дать о себе подробнейшие сведения.

Надо было менять среду обитания — и Патрикеев согласился. Анкеты, правда, привели его в уныние, были они вчетверо длиннее тех, что заполнял он в отделе кадров сверхрежимного предприятия, и, казалось ему, вовсе не рассчитаны на тех, кто хоть раз побывал в американском посольстве.

Через полтора месяца он был принят в КГБ агентом наружного наблюдения, еще через месяц присягнул и, осваивая — под началом Вениамина — новое ремесло, делал — к собственному удивлению — поразительные успехи. Лучше любого таксиста познал Москву, а уж все проходные дворы Садового кольца изучил не хуже разбитных ребят с Петровки 38, ногами прощупал их. Умел, влетая в чужой подъезд, выскочить оттуда иначе одетым и даже с другим выражением лица. За любую работу брался в группе, припрет нужда — и за руль садился, благо в армии покрутил баранку изрядно. Никто здесь, как порой бывало на фабрике, на чужих бедах не выкраивал себе премий, все одинаково тяжело трудились, а если кому и выпадало полегче, так всё это было во власти не начальства, а «объектов», которые могли до утра спать дома, а могли и посреди ночи отправиться на другой конец Москвы. Сегодня ты в сухости топаешь за «объектом», а завтра под проливным дождем тащишься следом за ним, и не козни сотрудников или начальства виной тому, а капризный климат. Все равны, у всех ноги не железные, и каждому хочется не всухомятку питаться.

Присвоили ему и первое, оглушившее Патрикеева, офицерское звание: демобилизовался он в чине младшего сержанта. В марте же следующего года будто прозрел он, очнулся от сна невежества, и вся школьная грамота, вроде бы бесполезным хламом лежавшая в памяти, предстала вдруг хорошо сделанными и разобранными по ящичкам деталями, из которых можно собирать любые конструкции. Произошла эта революция в день, когда он неотступно следовал за объектом. Тот поболтался в центре, а затем вошел в Ленинку, показав читательский билет. Проникнуть агенту в публичную библиотеку без какого-либо документа — сущий пустяк, но как повести себя внутри так, чтоб тебя все принимали за своего, то есть читающего и думающего? Объект — в

библиографию, Патрикеев — за ним, во всем подражая, и прежде казавшаяся непостижимой заумью тягомотина насчет Белинского и Гоголя предстала вдруг в ясности и простоте. Когда через полчаса напарник сунул Патрикееву в карман чей-то читательский билет, он, выдвигавший один ящичек за другим в библиографическом отделе, уже знал, что заказывать, и вскоре, сидя за три стола от объекта в затылок ему и фиксируя каждый его контакт, увлеченно читал о другом объекте, о Николае Васильевиче Гоголе, о связях его, о московских адресах, то есть домах, где можно установить стационарные места наблюдения, и, конечно, о женщинах, источниках отличной информации, и некая Смирнова-Россет так заинтересовала его, что он едва не упустил объекта. За три проведенных в читальном зале часа узнал он больше, чем за весь курс русской литературы в средней школе, его поразило зловредными нравами семейство Тургеневых, к которым имел какое-то отдаленное отношение автор романа «Отцы и дети».

Той же весной встретился ему знакомый по фабрике слесарь, поговорили о том о сем, Патрикеев сказал, что трудится на режимном заводе, платят хорошо, тарифная сетка по первой категории, но и вкалывать надо, вкалывать! О том, что в сетку эту входит бесплатная одежда и кое-что в придачу — ни слова, конечно, и хвалиться не хотелось: да делай слесарь этот хоть космические аппараты — куда ему до младшего лейтенанта КГБ, одного из лучших в Седьмом управлении!

Ближе к лету сдал он — без сучка и задоринки — экзамены в заочный юридический, но начальство вдруг заартачилось, задумчиво промолвило: не всякому дается у нас право на учебу, заслужить надо. И согласия не дало.

Еще с фабричных времен хаживал он к монтажнице из соседнего цеха, сдуру возжелавшей оженить его на себе; она так запуталась в женских хитростях, что плюнула наконец на все расчеты и просто обнимала редкого гостя еще на пороге комнаты в коммуналке. Всем она ему нравилась, но показалась однажды глупой и слезливой, не захотелось и часу лишнего пробыть у нее, и если потом Патрикеев отводил все-таки на монтажницу время, то лишь для обращенных к себе вопросов: ну, что ты нашел в ней? зачем она тебе?

У него появилась другая женщина.

2

Весь август изучал он эту женщину — тихую, скромную Блондинку в кассе Аэрофлота, и вся бригада помогала ему, работали в две, а то и в три смены, техники грамотно всадили жучок, нудные переговоры кассирши с клиентами достигали машины, где сидел в жаре (дверцы плотно закрыты) Патрикеев; перед глазами — памятник кобзарю Шев-

ченко, именем которого названа и набережная, туристы у входа в гостиницу, одетые пестро и удобно для наружки: чалму или сафари в толпе не потеряешь!.. Сама касса — в левом холле гостиницы, обслуживает и граждан с улицы, сдирая с них дополнительно два рубля. «Девушка, мне бы до Кишинева... На послезавтра есть билетик?» Если оказывался, то Блондинка просила паспорт и после разговора с аэропортовской кассой называла день и час, когда приходить за билетом. Иностранцы говорили на ломаном, но понятном русском языке, и однажды Патрикеев встрепенулся. Какой-то свихнувшийся финн требовал невозможного, ему, видите ли, надо таким рейсом вылететь из Москвы, чтоб в Хельсинки успеть на поезд до Турку, где его должен ждать заказанный отсюда, из Москвы, билет на паром в Стокгольм. Мало того, проклятая чухна требовала такой паром, чтобы тут же попасть на поезд до Мальмё и прибыть туда не позднее двух часов дня по среднеевропейскому времени. У Патрикеева от злости дыхание перехватило: чтоб какому-то финну угождать, решая такую головоломку, потворствуя его причудам! Да ты в какой стране гостишь, мать твою так! Захотелось в СССР побывать, так будь добр уважать русские обычаи. Не выпендривайся! И помни, что перед тобой гражданка СССР!

На месте Блондинки он бы одернул зарвавшегося капиталиста, у которого денег хватает на поезда, паромы и самолеты (из Мальмё проклятый финн еще и полететь в Копенгаген захотел, не мог, сука, сразу махануть туда из Москвы!). Но Блондинка проявила выдержку, какой могла бы позавидовать Наденька, в наружке работавшая с войны: ничуть не напрягая голоса, переспросила финна, учла все его идиотские запросы, пошелестела какими-то справочниками и назвала дату вылета и рейс. Наверное, была и улыбка, потому что финн долго благодарил. Еще бы, ведь в России находишься, где всё по-крупному, где мелочиться не умеют: тебя быстрее в Антарктиду отправят, чем в Вышний Волочек, куда как-то хотел попасть недобитый фашист из ФРГ, он, видите ли, там тридцать с чем-то лет назад мерз в окопах!

Некоторые иностранцы приходили без переводчиков и говорили на своих языках, но и тут Блондинка оказывалась на высоте, отвечала по-ихнему, записи передавались начальству, оно уж и распоряжалось, кому переводить и когда, и Патрикеев, не знавший никакого языка, кроме русского, приходя со смены домой, подолгу смотрел на книжную полку: уж не выучить ли какой-нибудь дойч или инглиш, пригодится ведь всё равно, и тогда можно будет, не вылезая из машины, понимать, какие любезности расточают кассирше разные прочие шведы.

Работала она через день, с девяти утра до девяти вечера, обедала когда придется, частенько Патрикеев слышал ее тусклый голосочек: «Раечка, никого пока нет, я удалюсь на кофе...». Тогда давалась команда наружникам внутри гостиницы, кто-нибудь посматривал, с кем попивает

кофеек Блондинка. После работы заходила она в гастроном, забирала продукты в столе заказов, свертки не раз проверялись, обычно писали: «Посторонних вложений не обнаружено».

Поначалу казалось, что за невинными заказами на Самарканд и Токио скрываются коварные замыслы, предваряемые условными словами, но день проходил за днем, за Копенгагеном следовал Париж, все шумы и голоса расшифровались, все женщины, у жучка трепавшиеся, давно опознаны. Всего лишь раз Патрикеев побывал в левом холле, но, часами просиживая с наушниками, так вжился в быт кассы, что зрительно представлял себе, какая женщина сейчас что делает и даже о чем думает. Шпионажем в кассе Аэрофлота не пахло, да тем другой отдел «семерки» озабочен. Спекуляцией и фарцовкой занималась разная падаль из лохматых юнцов, никаких подарков иностранцы кассирше не делали, свои советские — тоже. В номерах, если прочесать их, нашлись бы две-три проститутки, но женщин в левом холле и кассиршу тем более подозревать в этих заработках было невозможно — не та порода, не та одежда, не та внешность! И любительницами таких заработков интересовались опять же ребята из смежных отделений. Уезжавшие иностранцы — намеренно или нет — оставляли в номерах красочные журналы с пропагандой жизни на Западе, их местная КГБ временами изымала, но обычно горничные журналы эти — скопом, пачками — продавали гонцам из Тбилиси и Еревана.

Копейки лишней не брала кассирша у государства и поползновений таких не испытывала. Оперативный псевдоним «Блондинка» получила она по наследству от бригады, пасшей ее в июле. Кому-то она в этой бригаде сильно насолила, обиженный попытался было переправить «Блондинку» на «Лахудру», но начальство сурово пресекло это злопыхательство: советская гражданка все-таки, нельзя хулиганить! Рост средний, темно-русые волосы уложены в сложную прическу, очень миловидна, однако внешностью не играет и будто не ведает о том, как привлекательна. Когда в наушниках раздавался ее голосочек, на Патрикеева наползала улыбка и сладкая тоска. День рождения ее близился, двадцать восемь лет исполнялось 1 сентября, и Патрикеева измучил вопрос: как, оставаясь незамеченным и незнакомым, преподнести ей в этот день букет цветов, да еще так, чтоб Вениамин не узнал?

О цветах он подумал со злостью, когда вместе с Венамином полистал в отделе журнал, где по минутам была расписана жизнь Блондинки за первую истекшую половину месяца. Оба присвистнули, а потом и ахнули, подсчитав расходы наискромнейшей советской женщины. Жила она в доме на том же Кутузовском проспекте, у самой Триумфальной арки. По утрам к ней приходила на час-полтора домработница, баба, притворявшаяся полуглухой и полузрячей, и вытянуть из нее, сколько платят ей и какие ценности в двухкомнатной квартире, было трудно, а

уж проникнуть внутрь, преодолев хитроумнейшие замки, и совсем невозможно, потому что в квартире напротив спятивший пенсионер из бывших комитетчиков глаз не сводил с лестничной площадки, минут на десять, не больше, выводя свою собаку во двор. Однако в свободные дни около одиннадцати Блондинка, получавшая в месяц полторы сотни или чуть более, ехала к личной парикмахерше обновлять маникюр и подкреплять прическу, что стоило не менее двадцати рублей, и таких визитов было за полмесяца четыре. Затем — к массажистке, что обходилось в тридцать-сорок рублей. Еще столько же выкладывала она за теннисные корты на «Динамо». А такси? А кафе, где за чашечку бульона извольте выложить чирик, то есть червонец? А разные случайные покупки косметического толка, из чего следовало, что Блондинка, возможно, по горло сыта драгоценностями, потому что в ювелирный ни разу не заглядывала. Итого — в месяц она тратила вчетверо больше того, что получала. И по манере, с какой открывался кошелек, видно было: не оскудевают денежные хранилища! В свободные от кассы дни ходила она другой походкой, носила утянутые в талии платья хорошего покроя (так уверял всезнающий Вениамин) и дорогие туфельки, а когда засняли на пленку сеанс у массажистки и цветную фотографию показали Патрикееву, тот обалдел. «Объект» лежал на животе, вытянув длинные ноги; руки согнуты в локтях, кисти сближены, в подставленных ладошках покоился подбородок. «Ты попку видишь?..— наставлял Вениамин. — Восьмое чудо света, благородство полуокружностей, изящество линий... С такими обводами не надо иметь внешность анфас и в профиль, косметика не обязательна, ни французским, ни нижегородским овладевать не надо, можно вообще быть необразованной, тратить в неделю больше, чем указано в денежной ведомости Аэрофлота за месяц, и посылать к черту тренера-теннисиста, у которого руки чешутся полапать ее... Ты понял меня, Патрикеев?» (Он никогда почему-то не звал его по имени.) Дали фотографию Наденьке, та сдержанно заметила: «У меня такая же попка. Даже покрасивше. Я бы показала, да вас от работы отстранят: ослепнете...». Выразила сомнение — может, не Блондинка это, спина, затылок, ноги, вид сзади — подложили кого-то вместо объекта? Но Патрикеев чуял и верил: она! Сфотографируй сто мизинцев — и он определит сходу: вот он, руке этой женщине принадлежащий!

Ненависть проникала в Патрикеева и утвердилась в нем ненадолго. Это ж подумать только — сидит стерва на непыльной должностенке, по ведомости получает в два раза больше матери, которая мудохается уборщицей в цехе, а уж вне ведомости... Воровка! Если не шпионка!

Бригада удвоила усилия. Домашний телефон прослушивался, каждое словечко в разговорах обмысливалось. Искали мужчину, посредника, через которого она что-то сбывала, но на него никак не выходили. Звонившие мужчины — из тех, у кого кошелек тощий, да она ни с кем

из них не встречалась. В гостинице не раз отклоняла она приглашения в кино, ресторан, театр, научившись жить одна, без мужчин и подруг.

Однажды утром она — после ухода домработницы — вышла на проспект, но села не в такси, а в троллейбус до «Киевской», опустилась в метро, на Курском вокзале взяла билет до 5-й зоны. Патрикеев и Вениамин втиснулись в тот же вагон, машина с ребятами следовала за электричкой, Блондинка сошла на тихой станции и углубилась в дачные улочки. Уверенно, знающе просунула руку в калиточную щель (дом номер одиннадцать на Приозерной), мелькнула в зарослях давно отцветшего жасмина и встречена была высоким, худым, как скелет, стариком, который ввел ее в дом (двухэтажное строение с балконами, верандами и террасами), после чего надо было затаиваться и ждать дальнейших указаний начальства, попутно устанавливая личность дачевладельца. Первое и нередко соблюдаемое правило наружного наблюдения — начальство не сообщает агентам известный ему маршрут объекта: агенты расслабляются, теряют зоркость и бдительность, поскольку уверены, что растворившийся в толпе всё равно подгребет к так называемому месту притяжения. Подчас начальство и само терзается сомнениями, но виду не подает.

Но вскоре стало ясно, что о доме номер одиннадцать начальство знало в тот момент, когда с билетом до зоны номер пять Блондинка вышла на перрон Курского вокзала. В дачный поселок влетела аварийка Мособлэнерго, техники подцепили к ногам когти и полезли на столб, оттуда и наблюдали. Старик и Блондинка любовью не занимались, и тут-то Патрикееву вспомнился записанный разговор ее с какой-то неустановленной подругой. Та, звонившая неизвестно откуда, спрашивала, встречается ли она со «своим», и получила такой ответ: «Изредка...И, слава богу, не по большому счету». С некоторой гадливостью сказано было.

«Малый счет» длился сорок четыре минуты и включал в себя коньяк и кофе, затем старик поговорил через забор с соседом, после чего тот вывел из гаража «Волгу» и распахнул перед Блондинкой дверцу, доставил ее в Москву. Через день она посетила-таки ювелирный, что-то принесла туда, но покупка-продажа ни в одной книге не была зафиксирована, прошла мимо бухгалтерии. Послали испытанную Наденьку, вернулась она подавленной, на все вопросы отвечала презрительно: «Вам скажи — так в запой ударитесь...». Вениамин всё же вытащил из нее удивительное признание: вещица, Блондинке подаренная и ею проданная, оказалась меченой, по каким-то делам ранее проходившей, и старику, видимо, каюк, доберутся до него через эту вещицу.

Старик Патрикееву не нравился уже тем, что когда-то связан был с Блондинкой, более того, заставил ее быть связанным с ним — к такому выводу приходил постепенно Патрикеев и жалел, жалел кассиршу, молодость которой загубил этот злодей, занимавший некогда очень

высокие посты в разных министерствах. Из-за него, наверное, и разрабатывают Блондинку, бывшую стюардессу на международных линиях. Но, предположил Вениамин, вскоре наблюдение с Блондинки снимут, техники зафиксировали встречу со стариком, ничего больше не выжмешь, да и начальство довольно.

Операция близилась к завершению, наружника в центральном холле гостиницы убрали, техники обещали до утра снять жучок, Вениамин болтался около иностранцев у подъезда, отрабатывая свой английский, Патрикеев сидел в машине, вполуха слушая Блондинку, и прикидывал, как 1 сентября исхитриться так, чтоб через кого-нибудь поздравить ее с днем рождения — передать цветы...Одну из добытых фотографий он умыкнул и носил в бумажнике.

Вдруг он насторожился. В бесстрастном служебном тоне кассирши пробилось что-то странно знакомое, воркующее, голос был — как птица, которая вот-вот взлетит, и Патрикеев понял, почему внезапно раскалились наушники: сон! Вчера во сне он слышал голос этой женщины, и женщина — смеющаяся Блондинка — говорила ему что-то, к полету звавшее...

Сейчас же Блондинка переспрашивала клиента — тоном, который намекал на то, что в услышанном ею заказе билета до Новосибирска таится нечто, к ней самой относящееся, хотя мужчина никаких намерений, помимо билета, не высказывал. Уже научившись переводить слуховые ощущения в зрительные, Патрикеев отчетливо, будто стоял рядом с мужчиной и смотрел на кассиршу, увидел ее распахнутые в удивлении глаза и чуть приоткрытый рот. То ли знакомым, но не узнающим ее человеком был летящий в Новосибирск гражданин, то ли им подан был известный только ей знак опознавания. Даже в том, как Блондинка говорила с центральной кассой Аэрофлота, сквозила острая заинтересованность ее в продолжении общения с тем, кто сразу вызвал у Патрикеева подозрения.

Минуту спустя произошло небывалое и ни разу не слышанное. Кассирша предложила гражданину подождать немного, посидеть в кафе, куда вызвалась — сама! — проводить его. «Раечка, я удалюсь на минутку...»

И ушла. А наружника в холле нет, покидать машину нельзя, Вениамин точит лясы с очкастой старухой. Оторвался наконец, подошел, услышал и метнулся в гостиницу. Появился через десять минут, глаза его были дикими. «Ну, гегемон, держись!..» И тут же голос кассирши: «Раечка, я уже позвонила Катюше, она меня подменит, а ты уж покомандуй минуточек пятнадцать...».

Неужто контакт с представителем западных спецслужб? Не похоже: так открыто, нагло даже, не работают, и на дом к себе не везут, а гражданин — одних лет с кассиршей и ничем не примечательной внешности — чуть ли не под ручку вышел с нею из гостиницы, парочка уселась в такси и через пять минут была во дворе дома. Вениамин с

биноклем под мышкой сунулся в подъезд напротив, с девятого этажа его хорошо просматривалась квартира Блондинки на восьмом. Вернулся обескураженным.

— Едва не опоздал...Она с него брюки содрала, буквально. И затолкала в другую комнату. А та, сам знаешь, никак не просматривается... Ну, скажу, тут либо страсть, либо то-ончайшая игра.

Встревоженное начальство бросило подкрепление, повисло на телефонах, нажало на все кнопки, и вскоре установило: гражданин, стремительно охмуренный кассиршей, учитель из академического городка Каницев Иван Иннокентьевич, потомственный сибиряк, женатый, двое детей, возвращается из отпуска, 1 сентября должен быть в школе, ни малейшего намека на связь с заграницей, тихий трудяга на ниве просвещения. Сегодня — 28 августа, и, значит, 31-го педагог обязан вылететь в родной город.

— По виду ханыга, а поди ж ты...— негодовал Вениамин. — Ну и баба, скажу тебе...

Патрикеев подавленно молчал... Было горько, обидно, и всё же никак не хотелось ему, чтоб от учителя потянулась ниточка к западным разведкам. И не может быть плохой, несоветской, женщина, возбуждавшая горькие и неосуществимые желания. А если бы, представлялось, он, а не сибиряк, подошел к стойке в холле и попросил билет до Новосибирска? Взметнулся бы голос кассирши? Позвонила бы она Катюше? Ударилась бы в безумие страсти? И что это такое — любовь?

Он напряженно слушал телефон Блондинки. Звонили ей не раз, но трубка не поднималась. Свет горел в прихожей, женщина и мужчина попеременно шмыгали в ванную, а однажды пошли туда вместе. Чуткий Вениамин берег напарника, к биноклю не подпускал, докладывал скупо. Развил теорию о предрасположенности половых органов к идеальному сочленению, и сигнал об идеальной совместимости всегда улавливает женщина, мать всего сущего.

— Органы не ошибаются! — решительно заключил он.

Сибиряк и кассирша, органы которых проявили выдающуюся отзывчивость, заснули под утро, но уже в полдень возобновили ночные забавы. Потом Блондинка накинула все-таки халат и что-то сварганила на плите, учитель проявлял зверский аппетит, что не удивительно. Услышался наконец первый телефонный разговор, кассирша взяла отгул на 30-е, потом предупредила домработницу, чтоб та утром не приходила. Начальство, поначалу пылавшее всесторонними подозрениями, проявило вдруг полное равнодушие к капризу объекта. Предупредило: никакой самодеятельности, пусть парочка занимается любовью сколько ей влезет, а учителя потрясем там, в Новосибирске.

Прибыла смена, Патрикеев и Вениамин разъехались по домам, отоспались, вернулись, узнали, что кассирша выходила из дома с

хозяйственной сумкой — женщина ублажала хахаля по полной программе, понакупила еды и спиртного. Билет сибиряку лежал в аэропорту, багаж его тоже, Блондинка заказала такси на три часа утра, и за руль решили посадить своего человека, из их группы. Вениамин вновь вооружился биноклем, но ничего нового увидеть не смог. Вспылил: «Она его доконает! Кто детей учить будет? И чему учить?».

Свет зажегся в два часа. Сибиряк плотно позавтракал, москвичка металась по кухне и квартире, телефон безмолвствовал. Без четверти три позвонили из таксопарка, сказали о выезде машины под таким-то номером, Блондинка обняла в прихожей сибиряка, и так, обнявшись, они долго стояли. Вышли — и почти одновременно вспыхнул свет у чуткого пенсионера. Последний поцелуй уже внизу, и такси покатило, Блондинка поднялась к себе, квартира погрузилась в темноту. Свет зажегся и погас при прощальном телефонном звонке сибиряка из аэропорта, после чего женщина легла отдыхать после изнурительных трудов. Человек доложил: сибиряк улетел по расписанию. Патрикеев и Вениамин скучали в машине, дремали по очереди, глаз не спуская с подъезда. Утром начальство огорошило: смены не будет, наблюдение снять, всем на базу, подробный отчет о проведенной работе — завтра.

Патрикеев и Вениамин будто не расслышали... Ни звука не издали, не шевельнулись. Как сидели в машине — так и продолжали сидеть, и каждый боялся сказать слово, потому что оба чувствовали: на них надвигается какая-то опасность.

По двору дома ходили чужие! Не случайно забредшие в поисках тени и скамейки люди, не ищущие родственников или знакомых приезжие с розовыми листочками из адресного бюро, не алкаши, и не те, кто жестами, походками, взглядами обнаруживали незнание этого дома, этого двора, но, не обнаруживая этого, не скрывали своей чужести. Двор — громадный, внутри входы в подземные убежища, будто бы на случай атомной войны построенные, несколько детских песочниц и спортплощадок, люди снуют по двору, преисполненные забот, и стоит настоящему наружнику вжиться в суету дома, приноровиться к мельтешению людей, как он мгновенно увидит тех, кто вторгся во двор с непонятными целями и что-то высматривает.

Такие вот люди и появились во дворе примерно в тот час, когда сибиряк помахивал ручкой столице, сидя в салоне «ТУ-154». И ровно за полчаса до того, как начальство приказало сматывать удочки и уходить с облюбованного места рыбалки. К подъезду Блондинки чужаки не приближались, крутились поблизости, и только наиопытнейший глаз мог опознать их. Вениамин их увидел, Патрикеев их тоже увидел и отогнал машину подальше от подъезда, пристроил ее к служебным «волгам», шоферы которых ожидали хозяев своих. Вениамин же, работая под алкаша в поисках бутылок, обошел подопечную территорию. Вер-

нулся к машине, глянул на Патрикеева, встретил его взгляд — и отвел глаза. Ни слова сказано не было, потому что слово — опасно, потому что сказанное и услышанное надо перекладывать на бумагу, писать о чужаках в рапорте, и начальство на бдительность сотрудника отзовется известно как, начальство прикинется идиотом, на полях рапорта поставит красный вопросительный знак, намекнув несознательному наружнику, чтоб впредь такого не повторялось, ибо «чужие» — это, возможно, контрнаблюдение, что означает следующее: все труды твои и коллектива — псу под хвост. А «чужие» эти, не исключено, свои, потому что кроме Седьмого управления страна располагает славными кадрами такой же наружки в ГРУ и МВД. Да мало ли по какой надобности шныряют по дому агенты неизвестно какой службы? Может быть, накануне официального обыска проводится негласный да еще с закладкой компромата? Или учебное мероприятие по теме «Вход в адрес»? Или... Да всё может быть! Дом громадный, перенаселенный, в таком жилом массиве да еще на правительственной трассе всегда, как говаривал Вениамин, найдется место для подвига.

Ни словечка о «чужаках» произнесено не было, зато от молчания, от ощущения опасности какое-то согласие возникло, что-то незримое опутало обоих и сделало единым существом. От начальства — ни гу-гу. Более того: продолжалась подслушка. Три недели назад техники приладили свое устройство в телефонную коммутационную сборку, что на первом этаже подъезда, но несмотря на приказ о снятии наблюдения, не торопились, как это всегда бывало, вытаскивать из сборки подотчетный жучок. А Блондинке звонили уже не раз, кассиршу ждали на работе, она, правда, предупреждала накануне, что, возможно, придет только к обеду. Сибиряк, наконец, исполнил клятвенное обещание и пытался доложить нечаянно-негаданной любимой о благополучном прибытии в Новосибирск! А Блондинка — ни слуху, ни духу.

Уже однако одиннадцать утра, а женщина безмолвствует, и где она — неизвестно, вот что тревожит. Наружка видела ее у подъезда в четвертом часу утра, чуть позже бдительный сосед из квартиры напротив засек, конечно, ее возвращение домой. Телефонный разговор с внуковским аэропортом зафиксирован. И — тишина. Нет женщины. Не будь приказа, продлись наблюдение, приди смена — и если контрольный звонок не дал результата, сдающая смена расстаралась бы, сантехника подослала бы, управдома заставила бы лбом колотиться о дверь, чтоб только самим удостовериться и принимающих убедить: объект жив-здоров и находится на месте постоянного пребывания. Обе смены довольны, одна уходит с чистой душой, другая с незамутненной совестью смотрит и слушает. Такое, правда, редко бывало. Верили на слово, иначе нельзя, должны же в мире оставаться честные люди! И попадались не раз: год проходил, другой, и выяснялось, что будто бы под боком супруги

дрыхнувший гражданин в это время занимался тем, о чем знать никому не положено.

Еще один телефонный звонок Блондинке остался неуслышанным, всё из того же Новосибирска, учитель что-то учуял и забеспокоился.

Плохо, совсем плохо. Люди только тогда люди, когда о них знают и помнят. Человек всегда на виду коллектива, соседей, родных, близких, знакомых, люди обзваниваются, люди переговариваются, люди спрашивают друг о друге; не звони человеку день-другой, не узнавай его при встрече на улице — и человек испугается. Люди должны быть на людях.

Патрикеев выбросил ноги из машины, размялся.

— Сейчас приду, — сказал он. И вышел на проспект, чтобы через другую арку, уже с сумкой, войти во двор. Шел походкою человека, подошвы которого знают каждую выбоину асфальта, каждую ступеньку подъезда, и так выгадал время, что минутою раньше бывший комитетчик покинул боевой пост, потащил своего бульдога на улицу, к бочке с квасом, чтоб устрашить им очередь. В подъезде — никого, лифт заскользил на восьмой этаж, Патрикеев вышел, оставив дверь кабины незакрытой, чтоб шмыгнуть в нее, услышав шаги Блондинки, и фалангою указательного пальца надавил на звонок.

И — оторопел: дверь квартиры была приоткрыта! Привычно глянул на часы: одиннадцать тридцать восемь. Замер, подумал, приложил ухо к щели и уловил необычные звуки, обиженные детские голоса, что ли. Огляделся. Четыре двери выходили на лестничную площадку, четыре квартиры, две из них пустуют, хозяева на юге, одинокий пенсионер-комитетчик еще, с бидончиком в руке, не дошел до бочки с квасом... А из-за двери, перед которой стоял застывший Патрикеев, не слезные детские голоса слышались, в квартире — в чем он теперь не сомневался — кто-то стонал и всхлипывал. Дверь подалась беззвучно, в нос ударил запах подсобки мясного отдела гастронома, где однажды пришлось прятаться. Бесшумно ступая, пересек Патрикеев прихожую, прислушался. И снова — булькающий стон, всхлип. Расположение комнат известно, кто стонет — непонятно, и вдруг он увидел лежавшую на полу Блондинку: руки раскинуты, ночная сорочка в крови, глаза прямо смотрят на Патрикеева, запоминающе, в глазах не страдание, а детский вопрос, какой-то невинный, что-то вроде «А кто взял мою куклу?».

Справиться с волнением Патрикеев не смог, обеими руками схватил себя за горло, чтоб не закричать, чтоб не схватить телефонную трубку и вызвать «скорую». Целый год Вениамин натаскивал его, приучал действовать разумно, и уроки сказались. Стараясь ни до чего не касаться, подняв с пола выпавшую из рук сумку, отмечая отсутствие гильзы, которую, впрочем, могло отбросить при выстреле, произведенном в упор и точно в сердце, Патрикеев пятился. Носовым платком стер с дверной ручки отпечатки пальцев. Чуть шире приоткрыл дверь, чтоб кто-либо,

проходя мимо, заметил это; вошел в лифт, спустился, отметив: никто его не видел — ни пять минут назад, ни сейчас. Неторопливо покинул двор, чтобы вернуться. Отсутствовал пять или больше минут. Приблизился наконец к машине. Открыл дверцу. Сел. Вениамин развернулся к нему, спросил взглядом. Ответом было недоуменное пожатие плеч. Спустя некоторое время было добавлено: «Там дверь почему-то приоткрыта...». Вениамин поерзал, хотел еще что-то узнать, но передумал. Еле слышно произнес: «Может — поедем?». Ответа не дождался. Ответ пришел вместе с бульдогом: зануда-комитетчик нес бидончик отвоеванного кваса, открыл верному другу дверь, скрылся за нею. Одиннадцать пятьдесят четыре. Одиннадцать пятьдесят девять. Двенадцать ноль четыре. Мелькнула знакомая фигура техника, в подъезде он пробыл не более двадцати секунд, покопался где надо и ушел докладывать руководству: технические средства сняты.

Вдруг сразу к подъезду прикатили две милицейские машины и «скорая». Патрикеев еле удержал Вениамина, рванувшегося было туда же. Отпустил всё же. Тот вернулся в таком раздрыге чувств, что Патрикеев открыл аптечку. «Упустили...» — сказал верный друг и наставник, запустил руку под рубашку, помассировал сердце. «Убита...»

Когда носилки с Блондинкой втолкнули в «скорую», Вениамин обрел дар речи и командования. Поехали к себе, доложили, рапорты писались за рапортами и рвались. Начальство тряслось в ознобе страха, в отдел заглянули ребята из Второго главного управления. Исписаны были горы бумаг, оправдательных, самобичующих и поясняющих, всю неделю наружку таскали на собеседования, более походящие на допросы. На грубейшие ошибки указали без малейшего снисхождения к нелегкому труду. Оказалось, что Блондинка имела возможности безнадзорно контактировать с кем угодно — в троллейбусе хотя бы, когда возвращалась из гостиницы домой, а ни Вениамин, ни Патрикеев, ни кто другой за нею не следовал, ограничивались тем, что крались сзади на оперативной машине. И в последние два дня сделали кучу ошибок. Машину во дворе дома поставили неправильно, подъезд из нее просматривался плохо, жильцов не изучили, должных выводов из внезапного появления сибиряка не сделано, парня надо было попридержать в Москве и не надеяться на новосибирскую госбезопасность, которая отпулила столице сущую ерунду.

Большая часть угроз и рекомендаций Патрикеева не касалась, ни на какие угрожающе-ласковые вопросы честного ответа он не дал, и почему лжет, почему не вызвал «скорую» — сам не знал, лишь одно понимал: так надо! Не столько ради себя, сколько для той, которая уже мертва. Всё в этой женщине было тайной — и жизнь предыдущая, явно не удавшаяся, потому что хотелось ей ребеночка нянчить, и когда узнавала о давно забытой подруге, ставшей матерью, то накупала детского белья и питания, сама, правда, не ехала, но передавала через кого-нибудь. И

убийство ее — тоже тайна, которую никто раскрывать не хочет, потому что у самого начальства рыльце в пушку: убийца вышел из тени, которую не пытались осветить раньше, из чащи, куда не заглядывали охотники.

«...поднявшись на восьмой этаж и приблизившись к квартире №194, я обнаружил, что входная дверь открыта, из чего сделал ложный вывод, что хозяйка квартиры на месте. Увидеть ее или окликнуть я не мог, потому что это означало бы расконспирацию наблюдения. После чего спустился вниз и сел в машину...»

В два голоса и в две руки оба, Патрикеев и Вениамин, так объясняли, почему не подчинились приказу о снятии наблюдения: «Поскольку технические средства наблюдения оставались без надзора, было принято инициативное решение продолжить наблюдение за подъездом...».

Отпустили наконец с миром, дали двое суток на отсыпание. По истечении их Вениамин позвонил, разбудил Патрикеева.

— Вставай, проклятьем заклейменный...

И не раз потом с этой фразы начинал утренний треп.

3

Их наказали, нельзя было не наказать, таково уж правило: за любое чрезвычайное происшествие отвечают подчиненные. Досталось, впрочем, и начальству, тем больший гнев обрушился на Вениамина и Патрикеева. Посчитали их не достойными доверия коллектива, общаться с кем-либо запретили, освободив тем самым от расспросов, дали новое задание — черное, грязное, беспросветное, нудное. Три недели каждый вечер заходили они во двор на Пятницкой улице, поднимались на крылечко двухэтажного домика, заглядывали к местной начальнице, моложавой даме, которая запирала их обоих в своем кабинетике до утра, они же поочередно, чтоб не запортить глаза, смотрели на другую сторону улицы, фиксируя всех, кто приближался к скамейке сквера. С собой, кроме ночной оптики и рации, приносили грелки для малой нужды. Темнота к разговорам не располагала, но Вениамина не угомонишь, Вениамин подводил философию под сидения в засадах, под сквозное и выборочное наблюдение. Рассуждал он умно и непонятно. Вот, говорил, объект наблюдения, человек, за которым установлена слежка. С точки зрения объекта (если он, конечно, в чем-то замешан) отсутствие слежки и самая квалифицированная слежка (которая им не обнаруживается) — одно и то же ведь! Что есть она, что нет ее — одинаково! В этом, горячился Вениамин, что-то есть, тут какая-то логика. А с нашей точки зрения? Человек, объект то есть, ведет себя так, словно слежки за ним нет, — так кто этот человек, честный или нечестный, законопослушный советский гражданин или враг, профессионал, искушенный в теории и практике наружного наблюдения?

О женщинах тоже говорили — шепотом, разумеется, как и обо всем в кабинете добровольной помощницы. О Блондинке, ринувшейся в омут необузданной страсти. Ведь кто мог предположить в ней такую прыть! Одного взгляда на неказистого мужичка было достаточно, чтоб в женщине заполыхал пожар, в котором она и сгорела, потому что какая-то связь прослеживалась — между страстью этой и безнаказанным убийством. Никого ведь не впускала в квартиру, домработницу и ту трижды через дверь переспрашивала и в глазок рассматривала, будто впервые видит, а расслабилась после сибиряка, в неге пребывала — и вот такой конец. Правильно поступает начальство, не одобряя случайных связей, давая зеленый свет тем сотрудникам органов, которые любовью занимались только с указанными в графе «семейное положение» женщинами. И если уж жениться (а к этой мысли Вениамин подводил Патрикеева), то на девушке, которая не воспламенится мгновенным чувством к прохожему парню. Но, с другой стороны, что же это такое — любовь? Она, выходит, бесконтрольна? Случайна или, как выразился Вениамин, спонтанна?

Сибиряк часто всплывал в ночных разговорах. С одной стороны, парню дико повезло, но с другой... Каково ему теперь там, в Новосибирске? В некотором смысле — виновник смерти. Однако в другом смысле...

И тут Вениамин умолкал, а Патрикеев тем более не испытывал никакого желания вспоминать о том дне. Сколько техники ни пытались подобрать ключи к двери Блондинки — ничего не получалось: три замка филиппинского производства, с секретами, с электронной сигнализацией. И только один человек мог эти замки изучить — скромный новосибирский педагог! Но даже если и не он, то копать надо поблизости, бывший комитетчик хоть и притворяется чокнутым, на самом деле хитер и жесток, могла в старике заговорить ревность.

И другие варианты всплывали в тихих ночных разговорах, но их тут же топили в молчании.

О Наденьке тоже говорили, о Надежде Кузьминичне, сказавшей однажды: «Я — дочь полка!», что было сущей правдой. Отец ее протоптал за годы службы сотни, если не тысячи километров улиц Горького, Кирова, Куйбышева и всей округи в центре; в годы войны стал брать с собой на работу малолетнюю дочурку, и та помогала ему, если батя раздирался на части, преследуя одного и боясь упустить другого. Заслуженный воин торчал в очередях, слушал жалобы на жизнь, определял наиболее злостного врага и вдогонку ему посылал родную кровинушку, чтоб она до адреса довела клеветника. Все наружники тогда питались в столовой на углу Маросейки и Спасоглинищевского переулка, отец привел однажды туда оголодавшую дочь, какая-то сволочь засекла лишний рот, Кузьму потащили было на расправу, но узнав, к какому

делу привлечена дочка, одобрили родительские уроки и заботы, совсем юную Надежду Кузьминичну поставили на довольствие, выдав не только пропуск, но и новые ботинки, о чем она недавно запросила архив, получила справку, хотя на пенсию не собиралась (выслуга лет в наружке — полтора года за год). Дочь свою тоже готовила к нелегкой службе (Вениамин однажды уважительно поднял указательный палец: «Рабочая династия!»). Был случай, когда ее потянули на партбюро за антипартийные высказывания, давно случилось это, при Хрущеве, когда тот объявил о сроках строительства коммунизма. Наденька тогда вслух горевала: неужто очередей не будет, как же тогда настроение масс узнавать, нет (с горячностью заявила и при всех), будут и при коммунизме очереди, даже при изобилии, специально создавать их будут. Хотели за разговорчики эти влепить ей выговор, но ограничились замечанием.

Никто за три недели из присевших на скамейку вечером, ночью или утром не пошарил рукой под ножкой ее и не попытался вытащить капсулу из тайника. Однажды — уже стемнело, но фонари не зажигались, — на скамейке обосновалась фигура, напоминающая женскую, с явным намерением просунуть руку в хранилище шпионского донесения. Патрикеев и Вениамин впились биноклями в долгожданного связника и несколько разочарованно выругались. Это была Наденька — то ли по своей охоте и подначки ради пустившаяся на самоподставу, то ли по наущению начальства. По виду — деревенская бабеха, нагруженная покупками и с устатку присевшая, но в каких только ролях не блистала она! Могла быть зачуханной уборщицей, сходить за разбитную бабенку, привыкшую вытаскивать своего мужика из пивной, но и — подтянутая, стройная и представительная — с успехом присматривала за обществом культурной связи «СССР — Франция».

Вениамин тут же позвонил Наденьке домой, той, разумеется, на месте не было. «Мама на фабрике в вечерней смене!» — авторитетно сообщила дочь ее. А та — к тайнику не прикоснулась, знала, что тут же на нее свалятся оперативники, понервировала еще немного наружников, скромнехонько поднялась и пошла. И ни в чем ведь не обвинишь, хотя поводов более чем достаточно: за тайником могло быть и контрнаблюдение. Часом позже Вениамин всё же поймал ее по телефону, мягко пожурил за свободную охоту. (Ей вообще не положено было знать о скамейке, но до того умна и проницательна была, что о всех планах отдела, а то и управления, догадывалась, всё просчитывая заранее.)

Философские рассуждения Вениамина да промывание косточек Наденьки были всего лишь уловкою, начальству позарез надо было знать точно — заходил в квартиру Блондинки Патрикеев или всего лишь постоял у двери, и начальство через Вениамина выпытывало подробности, детали («До кнопки звонка — дотрагивался?»), страшась честного

ответа, надеясь на спасительную ложь и той же ложью оставаясь недовольным. Что-то с этим убийством было не так, следствие вела районная прокуратура, которой, конечно, ни словечка не сказали о плотном наружном наблюдении, и как ни прощупывал напарник Патрикеева, слова лишнего не прозвучало, и сам Патрикеев знал, что до самой смерти будет молчать, потому что уяснил для себя непреложный факт: ослепившая Блондинку любовь и то, что им, Патрикеевым, сделано было в ее квартире, то есть не сделано, если уж точно выражаться, — одно и то же, и не спасать умирающую, а обрекать ее на смерть — это и есть высочайший взлет чувств, ради которого стоит и жить.

Ничего не добилось начальство от Патрикеева, зря Вениамин выпытывал у него подробности. Зато более высокое руководство по-своему оценило самоуправство последней смены наружного наблюдения и поведение ее при убийстве Блондинки. Вдруг вспомнили о том, что Патрикеев сдал экзамены в заочный юридический, разрешили учиться, организовали документы, и как-то утром, выпущенные из кабинетика на волю, друзья прошлись по Пятницкой, дыша полной грудью, выпили пивка и разъехались: Патрикеев за учебниками в деканат ВЮЗИ, а Вениамин в МГУ, присматриваться к философскому факультету. Обоим, правда, предложили поначалу «вышку», Высшую школу КГБ, но они дружно отказались.

Наблюдение со скамейки сняли, Патрикеева и Вениамина разделили, беседовать они продолжали мысленно или при редких встречах, за полгода после ночных разговоров Патрикеев, постоянно помня о Блондинке, набрался дополнительного ума-разума. Дошло до него и понимание того, что пока не угнездится в тебе какое-нибудь скрытое ото всех желание, ничто в голову не полезет, нужна страсть, тобою выстраданная, какой-то лучик из будущего, на который идешь в густом ночном лесу и который выстраивает мозги и память в нужном направлении. Накупив пластинок по курсу английского языка, вставая в пять утра и час сидя с наушниками у проигрывателя, он еле-еле научился паре фраз, но когда представил себя, — хорошо и небрежно одетым, — подходящим к кассе Аэрофлота в гостинице и начинающим говорить по-английски с Блондинкой, дело пошло быстрее и слова сами начали складываться в связные и красивые обороты. За четыре месяца он сделал рывок, возгордился было, затем признал свое поражение, когда стал работать в гостинице «Ленинградская». Контакты с иностранцами не получались, он не понимал их, они говорили по-настоящему, а не на пластиночном языке. И вновь помогла Блондинка, он прослушал все ее переговоры, он не только голос ее впитал, но и — так казалось — цвет глаз, лак ногтей и даже запах ее. И всё же — язык не давался, от произношения за версту разило русским духом, и чтобы говорить непринужденно и чисто, не лингафонные кабинеты требовались, а бумажник, набитый

долларами, годы, проведенные в неге комфорта, месяцы вояжей по столицам Европы, привычка видеть в ресторанном меню только левую часть ее, ту, где не было диких цифр.

«Ленинградская» была пропитана развратом и страхом. Как-то директор гостиницы привез к себе гостей — то ли родственников, то ли знакомых, — и, выйдя из машины, захлопнув дверцу, произнес: «Умоляю: в кабинете у меня — о бабах, о выпивке, о евреях, о чем угодно, — но не о политике!». Проститутки паслись уже в ста метрах от «Ленинградской», расширяя район поиска до площади трех вокзалов, работали слаженно и под надзором трех или четырех управлений КГБ и МВД, из-за чего случались накладки. Не раз над Патрикеевым сгущались тучи, грозя крупными неприятностями, но всё пока благополучно сходило с рук, что давало Вениамину право завистливо вздыхать: «Да, теперь я понимаю, что молчание — золото!».

Чаще прочих Патрикеев имел дела с девицей по имени Тамара. Эта вольная охотница промышляла в номерах иностранцев так, что застукать ее было невозможно, потому что визиты ее напоминали кавалерийские налеты. Одетая под персонал гостиницы, шла она по коридору, в двадцати шагах от намеченного номера стремительно накладывала помаду и крем погуще, влетала к несколько напуганному гостю столицы и начинала столь же стремительно раздеваться, обладая, видимо, искусством еще более стремительно возбуждать мужчину, не прикасаясь к нему. Ни разу даже самые осторожные иностранцы не вскрикивали «Провокация!» и не звали на помощь дежурную по этажу. За час — три или четыре клиента с получением и денег и заказа на будущее; иногда не успевала она удовлетворить все заявки, искала заместительниц и находила их, вербуя подруг, никогда не помышлявших о таком роде занятий. Мужчины, по ее наблюдениям, испытывали особую тягу не к проституткам, а к семейным, вполне добропорядочным женщинам, которые в поисках случайных заработков отваживались на грехопадения, при которых они заливались краскою стыда. Инженершу НИИ, передовика производства, она так прельщала: «Десять минут — и у тебя в кармане десять твоих месячных окладов!». На что та недоверчиво ахнула: «Да я за десять минут и раздеться-то не успею...». Тамара презрительно хмыкнула: «Ну и сиди голодная!».

Их, проституток этих и добровольных помощниц их, Патрикеев очень не взлюбил и со страхом думал о сестре своей: не пойдет ли она по кривой дорожке этой? Выжечь дотла очаг разврата можно было просто: весь низовой и средний персонал забрать на службу в комитет, всех проституток заграбастать — и за сотый километр, но они нужны были, оказывается, Комитету, МУРу, и все они честно работали на Отечество. Не взлюбил Патрикеев и иностранцев, кормивших собою проституток, и всю шайку их вокруг «Ленинградской». С прохладцей выслушивал наставления началь-

ства, о планах своих, как покончить с проституцией около гостиниц, никому не сообщал, опыт наблюдения не только за объектами говорил: по какой-то странной причине люди ступенькой выше тебя не понимают простейших вещей и частенько городят чушь.

Перешел он уже на второй курс института, было там мало комитетских, всё больше милиция и девушки из судебно-прокурорской обслуги. Юридическая наука усваивалась легко, она была жизнью, которую вел Патрикеев, в которой действовали свои нормы, не те, о которых мудро толковали учебники, но именно на нормы жизни надо было поглядывать, чтоб нарушать их честно.

Из всех врачей мать признавала только старенького участкового терапевта, со своими хворями ходила в районную поликлинику, и прикреплять ее к комитетской не было ни нужды, ни охоты. О сестренке можно было пока не тужить, девчонка училась хорошо и с парнями не баловалась. Хуже было с женщинами. И не так уж тянуло к ним, но надо было уши держать поднятыми. Начальство никак не смотрело на временных сожительниц, если связь была короткой, как июньская ночь, но начинало проявлять интерес, когда у женщины оказывался муж или отношения с нею затягивались, а их, эти отношения, надо было делать открытыми, то есть оповещать о них, избежать чего было подчас невозможно, поскольку о том, где ты и с кем проводишь время, надо было докладывать: в любую минуту могли вызвать и бросить на объект, внезапно показавшийся из-за горизонта.

И хотелось чего-то такого, напоминающего внезапный порыв Блондинки, ни с того, ни с сего полюбившей незнакомого мужчину. О страсти поиска мечталось.

4

Человек, которого он полюбил позднее, как отца, которого вывел потом, можно сказать, в люди, — объект этот майским днем встретился с тощей иностранкой. У памятника героям Плевны произошел контакт, под самым носом ЦК КПСС («Ну и нахалы!»), но еще большим кощунством было то, что потенциальная шпионка из сумки, где мог поместиться портативный множительный аппарат, достала книгу, определенно попавшую в СССР нелегально, и передала ее неизвестному гражданину, личность которого и надо было установить. Половину лица иностранки закрывали крупные очки, но не в тонкой оправе, а в массивной, роговой; впрочем, ее повела напарница, Патрикеев нацелился на свой объект. Мужчина с легким полупоклоном пожал протянутую иностранкой руку, сделал шаг назад и пошел к Политехническому музею, показав себя чуть позже всем фасадным окнам здания КГБ. Он, возможно, решил подразнить комитетских товарищей. В левой руке

держал портфель с двумя застежками. Лет сорок пять, чуть выше среднего роста, особых примет пока не наблюдалось. Ни имени, ни фамилии, ни адреса, в портфеле — подозрительная книга, куда несет ее гражданин, определенно попавший в сети западных спецслужб, неизвестно. Всё, однако, можно узнать и о многом догадаться, надо лишь правильно работать.

Гражданин спустился в метро и, с одной пересадкой, добрался до «Профсоюзной». Поднявшись на свет дня, он прямиком двинулся в гастроном. По тому, в какие вагоны садился человек с портфелем, как безошибочно точно разбирался он в переходах, ни разу не глянув на указания, где какая станция, можно было определить: гражданин долгое время живет в Москве, метро его привычный и постоянный вид транспорта, а уж «Профсоюзная» — чуть ли не дом родной.

В гастрономе обнаружилось семейное положение объекта, продукты закупались явно не по нуждам одинокого едока, кое-что гражданин упрятал в портфель, кое-что в большой полиэтиленовый пакет, извлеченный из кармана брюк. Жарким выдался месяц, многие уже пиджаки не надевали, но гражданина не смущала духота, поверх рубашки с длинными рукавами — плотный темно-синий пуловер, к особым приметам (Патрикеев обозрел уже объект со всех сторон) можно отнести крупный нависающий нос и походку, которую можно, конечно, описать понятными всем наружникам словами, но лучше — один раз увидеть, тогда она запомнится накрепко. Уже при первом контакте объект показался трудным, мороки с ним не оберешься: гражданин то замирал у витрины, то прибавлял шаг, будто хотел вскочить в отъезжающий автобус, а чаще всего вдруг останавливался и глазел на ребятишек, нашедших какую-то фиговину, на деревенского пошиба старуху, напуганную скопищем городских жителей и боявшуюся спросить у них что-то. Между тем он уже подходил к дому, кое-кто начинал с ним здороваться, и гражданин кивал головой: да, да, я вас тоже приветствую... Обитал, значит, здесь не первый год. Физически крепок и развит, портфель и сумку нес в одной руке, а накупил всего килограммов на восемь и рублей на двадцать, деньгами не разбрасывался, скуповатым был и расчетливым, судя по тому, как долго копался в кошельке, расчетам в уме помогая шевелением губ. Дом, к которому направился гражданин, четырехподъездный и двенадцатиэтажный, шел гражданин к семье, любовнице такую разнородную пищу не тащат, да и алкоголем пренебрег он. Лифт поднял его (засветились цифры табло) на десятый этаж. Через двадцать минут стало известно: Малышев Герман Никитич! Немного погодя уточнились прочие паспортные данные. Состав же семьи такой: жена — Малышева Софья Владиленовна, сын Роман и дочь Марина, оба школьники еще. И телефон, разумеется, сам выложился на блюдечке. Проверочный звонок: трубку поднял сам Герман Никитич.

Полный порядок, можно смело докладывать руководству: книга, переданная шпионкой (или кем-то там — пусть начальство ломает голову!) находится там-то и там-то, в руках такого-то, какие будут указания?

И Вениамин указание дал неожиданное — ноги в зубы, вернуться в отдел.

Тут-то и выяснилось: произошла позорная накладка — иностранка, да не та, ради которой всё затевалось. Патрикеева и напарницу ошибочно навели на всего лишь корреспондентку дружественного словацкого радио, а настоящая шпионка — прибежала запыхавшись десятью минутами позже. Однако опоздание одной и несвоевременный приход другой показалось кое-кому подозрительным совпадением, даже неискушенному в сыске и наблюдении товарищу почудился бы отвлекающий маневр, потому и не сдернули Патрикеева с гражданина, спустившегося в метро.

— Не того повел, — грустно сообщил Вениамин, недавно назначенный начальником отделения. — Отбой воздушной тревоги.

Писать рапорт, добавил он, не стоит, пострадают показатели, да и начальство завалено отчетностью, шкафы ломятся от рапортов. Социализм, конечно, это учет, но что станет с Седьмым управлением, если на каждого члена социалистического лагеря будут строчить рапорты? Приведет это к переучету самого управления — такой треп услышал Патрикеев от похохатывающего друга и начальника.

Но рапорт Патрикеев всё же написал — подробный, выверенный, с деталями контакта, особо подчеркнул: передача информации была односторонней, то есть иностранка вручила Малышеву Г.Н. книгу такого-то формата, цвета и объема, но от самого гражданина Малышева ничего не получила. Сам разговор же зафиксировать не удалось.

Дописывал последнюю строчку, когда вернулась напарница, девочка вполне современная, умевшая лихо отплясывать твист. Иностранку она довела до гостиницы «Россия», которая невдалеке от памятника, вместе с корреспонденткой посидела в кафе (три рубля сорок восемь копеек), установила, кто она и откуда. Вениамин и ей намекнул на нежелательность обширного рапорта, но та, глянув на четыре страницы убористого текста Патрикеева, размахнулась аж на пять.

Оба рапорта соединились в папочке, та легла на полку шкафа-сейфа, начальство бегло прочитало тексты, более интересуясь тем, кто — по умыслу или оплошности — неверно нацелил наружников на Г.Н. Малышева и корреспондентку словацкого радио, дочь ответственного руководителя братской компартии.

Кого-то, конечно, наказали, но легонечко, по самолюбию не били, со всеми такие накладки случались. Бывали случаи и похлеще, юную Наденьку однажды провели так искусно, что на всю жизнь остался в ее памяти япошка, к которому приставлена была. Низкорослый сотрудник

посольства долго блуждал по заснеженной Москве, путаясь в полах длинной дохи, затем зашел во двор, чтобы помочиться, и малую нужду справлял так долго, что обеспокоенная Надюша не выдержала, пошла к японке, а того и след простыл, лишь в снегу торчком стояла доха, из которой шпион в ранге дипломата выбрался и скрылся. Наде сделали строжайший выговор, невзирая на возраст — ей только что тринадцать исполнилось, и она тяжело переносила наказание, плакала по ночам. А когда полгода спустя американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, Надюша прыгала до потолка от радости.

Накладки такие случались не раз. Наблюдение снимали, а люди запоминались — их походки, наличие проездных билетов или абонементов на транспорт, затылки, только им присущие особенности жеста, манера носить сумки, привычки, которые легко угадывались по поведению на автобусных или троллейбусных остановках, когда человек или напролом лезет в набитый битком транспорт, или выгадывает самый безопасный способ утвердиться во временно неподвижной и молчащей толпе. Бывало, всего один разочек проедешь с гражданином от одного места до другого, а знаешь о нем многое, вплоть до того, сколько лет девке, к которой спешит объект. Легче всего разгадывались мужчины: какие сигареты курятся, что на ногах — по сезону ли обувь, дорогая или дешевка, скошены ли задники, как завязаны шнурки. А женщины сравнивались с Блондинкой.

Вот она, настоящая жизнь — не одна, а десятки сред обитания!

Так или иначе, но запомнилось: Герман Никитич Малышев. Кто такой — неизвестно, но ясно ведь, что не грузчик на плодоовощной базе. Научный работник скорее. Но не служащий. Того так запросто в три часа дня не отпустят с работы. Да он и сам не отпросится, раз уж нацелился на книгу от иностранки.

5

Полтора года прошло, Патрикееву уже присвоили лейтенанта, уже поговаривали, что он перерос и пора его двигать в другой отдел на живую работу с людьми, с глазу на глаз, и тащил его вверх Вениамин. Полтора года — то есть следующий май минул и наступил ноябрь, Патрикеев собирался в отпуск (наружники брали их в мокрые и холодные московские месяцы), уже и путевка получена в санаторий нефтяников на Черноморском побережье...

Отпуск перенесли. Начальство так и сяк крутило в руках некогда написанный Патрикеевым рапорт о контакте Германа Никитича Малышева с корреспонденткой по имени Дагмара Поспишил. Вопрос первый — идиотский, чего начальство не скрывало: а что это за книга, переданная у памятника героям Плевны? Далее: а где она? И: с кем

вообще контактирует Малышев Герман Никитич? А Дагмара Поспишил — чем она в Москве занималась?

О корреспондентке надо бы поспрашивать напарницу, но та, лихая и современая, доплясалась до беременности, и ответы полагалось давать Патрикееву, но — чувствовалось — ни книга, ни сам Герман Никитич, ни Дагмара тем более, начальству не интересны, и ничего путного от тружеников наружки они не ждут, и весь разговор вообще затеян в угоду чехам, которые прислали какую-то бумагу. «Я тебя предупреждал...» — зловеще прошептал Вениамин, и Патрикеев с горечью признавал свою опрометчивость: да, прав был друг и бывший напарник, когда советовал ему покороче писать рапорт о непредусмотренном контакте советского гражданина с иноподданной. Кто-то наверху усмотрел в поведении Германа Никитича некую опасность для общества и заполнил бланк оперативной проверки. Велась она ни шатко ни валко, все понимали, что ничего стоящего из Германа Никитича не выжмешь, ограничились тем, что подложили к делу последние характеристики с места работы Малышева да обычные учетные карточки двадцатилетней давности, когда совсем юный Герман Малышев вознамерился поступать в аспирантуру.

Путевку в санаторий пришлось вернуть, наступили томительные дни безделья, начальство никак не могло решить, стоит ли потакать чешским коллегам и заниматься бесперспективными розысками. Кое-что однако предпринято было, о чем Вениамин узнал, хорошо поговорив с разработчиком операции из 5-го управления. Сама корреспондентка Дагмара — чиста, как бриллиант, но кресло, в котором сидел ее всесильный отец, зашаталось, папаша несколько бестактно выступил на каком-то собрании и подверг некоторому сомнению чешско-советскую дружбу, несколько омраченную событиями последних лет. Вот коллеги из Праги, полные забот о корреспондентке, и попросили установить все ее связи, а она в Москве понаделала визитов, с кем только ни встречалась. Книгу, кстати, отыскали, она, оказалось, написана самим Малышевым и переведена на чешский язык, в Москву Дагмара и привезла ее, и книга, единожды пролистанная, пылилась на полке, где Герман Никитич, доцент кафедры истории СССР, держал собственные сочинения.

Недели две прошло, 5-е управление раскачивалось, изучало доцента по своим каналам. Никаких противоречащих политике партии взглядов Малышев не высказывал, ни под какими порочащими социализм заявлениями не подписывался. Крепкая семья, бытом вросшая в тот общественный строй, который и поднял деревенского подпаска до заслуженного ученого. Имя, конечно, не совсем русское, но ведь и второй космонавт планеты такое же имя носит, что начальство, естественно, понимало и к имени не придиралось, начальство, догадывался Патрикеев, уже мысленно составляло ответ чешским коллегам — ничего, мол, не выявлено, корни возможных предательств ищите у себя...

Наблюдение за Германом Никитичем еще не установили, кто-то в Комитете не хотел уступать просьбам 5-го управления. В декабре семья Малышевых получила новую (трехкомнатную) квартиру в Теплом Стане и переехала туда. Момент был очень благоприятный, решено было все-таки подкрепить своими людьми бригаду грузчиков, Вениамин признался Патрикееву, что в день их знакомства устраивался в такую вот бригаду ради мебели и квартиры той семейки, что отправляла в комиссионный груз прошлого (американское посольство в планы наружки не входило). Ныне он мог уже подчиненных нацеливать на тщательный осмотр всего того, чем владело семейство Малышевых, но Патрикееву приказано было: на глаза Малышевым — не попадаться! Переезд, правда, ничего ценного не дал, среди книг, пачками сносимых в грузовик транспортно-экспедиционной конторы, не обнаружили ни одной запрещенной, заграничная одежда — только спортивная, продаваемая с рук. Из радиоустройств — радиола «Ригонда» и переносный приемник «Спидола», не перестроенный на волны меньше 25 метров, то есть слушать вражеские голоса на нем весьма затруднительно. Телевизор черно-белый, холодильник «Саратов», электрический утюг сгорел. Прочитав опись вещей, Вениамин вспомнил о степенях бедности: «Мне тоже от родителей достались авторучка, радиоточка и зажигалка...».

Из-за полной бесперспективности намечаемого дела Патрикееву дали все-таки отпуск, путевка, правда, не к нефтяникам, а шахтерская. Вернулся он в январе и загрустил: Вениамин перешел в 5-е управление, сам теперь заполнял бланки оперативной проверки, работодателем стал, грубо выражаясь. Едва обмыли назначение, как вдруг поздним вечером Патрикеева вытащили из дома, в управление. Кое-какие грехи на нем, как на работающем человеке, висели, но не такие уж тяжкие, чтоб дубасить за них ночью. Тем не менее он был встревожен, и волнения не убавилось, когда среди знакомого и незнакомого начальства он увидел напуганного чем-то или кем-то Вениамина.

— Слушайте нас внимательно, — сказал самый главный начальник, и Патрикеев услышал следующее. Возник громадный интерес к личности этого Малышева Германа Никитича, долговременный, стойкий и скрупулезный. Надо, короче, всё знать о нем. Буквально всё! Работать будут не только Патрикеев и приданные ему люди, но и несколько групп аналитиков и оперативников. На нем, Патрикееве, лежит громадная ответственность, надо установить все, абсолютно все контакты Малышева, чтобы в нужный момент пресечь их. К работе приступить немедленно.

Патрикееву пожелали успехов, присовокупив, однако, что неудача повлечет за собой такие выводы, что лучше о них не напоминать.

Ушли. Остался Вениамин. На лице — кислая улыбочка, глаза озабоченные. Тяжко вздохнул старый друг и развел руками в знак того, что

он всё сделал, избавляя Патрикеева от работы, не сулящей скорого и успешного результата.

Встал вопрос: какому количеству людей можно доверить слежку? С одной стороны, она должна быть всеохватывающей («Целиком и полностью!» — так выразился Вениамин.) С другой (настаивало начальство) — чем меньше людей посвящено, тем лучше.

— Лучшие кадры отданы тебе. Сам распоряжайся. Я затребовал Наденьку. Чтоб пошла в последний и решительный.

Это был царский подарок. Но раз на дело это бросают агентессу высочайшего класса, то, знать, нагадил Герман Никитич по-крупному. О чем Патрикеев и спросил, не надеясь на ответ.

— Не скажу... Душа леденеет... Ты уже грамотный, кодексы сдавал на экзаменах. По вновь открывшимся обстоятельствам — понимай как знаешь...

Несмотря на поздний час, выехали к месту будущего наблюдения, в Теплый Стан. Со всех сторон осмотрели ярко светивший окнами шестнадцатиэтажный дом, покрутились по окрестностям, и с утра работа закипела. Вениамин по старой дружбе помогал чем мог. Милицию решили ни в коем случае не подключать, хотя и существовала опасность: какой-нибудь настырный участковый сунет нос не в свое дело. Дом такой же этажности стоял в отдалении, пятьсот метров не помеха, оптика позволяла рассматривать в деталях часть квартиры Малышевых — кухню, кусочек коридора с вешалкой, комнатушку, которая была сразу и супружеской спальней и рабочим кабинетом Малышева, и еще одну комнату, служившую столовой, когда приходили гости, и семейным клубом — здесь стоял телевизор, книжные полки закрывали обе стены, на диване спал сын, уже учившийся в последнем классе. В дальней, оптике не доступной, обосновалась дочь, восьмиклассница, интереса она, комната, не представляла, да и что могло быть у школьницы, кроме письменного стола, магнитофона, возможно, шкафчика и трюмо с разными косметическими штучками.

Уже с утра телефон Малышевых поставили на прослушивание, вблизи подъезда дежурила машина со слухачом и наблюдателем, ближе к вечеру найдены были уехавшие на службу в ГДР хозяева квартиры в доме напротив, жилплощадь свою московскую они доверили родственнику, который еще не решил, кому сдавать ее. Кому именно — родственнику подсказали, и официально, с оповещением соседей по лестничной площадке, инженер жэка вселил в квартиру новых жильцов. Не трехкомнатная, как у Малышевых, всего двухкомнатная, но не запущенная, удобная и для наблюдения, и для отдыха, и как пункт связи, как штаб наконец. Нервировало то, что весь микрорайон оказался в какой-то радиояме, причудливо расположенные дома создавали помехи волнам. Эфир, короче говоря, грязный. Тем большее значение приоб-

ретали жучки. Техники изготовились, ждали только команды, а Патрикеев еще не изучил соседей и самих Малышевых. Нашли наконец время для проникновения, между 12.45 и 13.30. Соседи к этому моменту разбежались, техники сработали на славу, не наследили, приладили жучки на кухне, самом говорливом месте квартиры, у входной двери и в общей комнате. Проверили работу устройств, договорились о сигналах в экстренных случаях. Уважая труд прокурора, не стали теребить его пустяшными вопросами, а хорошо поговорили с девицей на почте, и все письма и бандероли, адресованные Герману Никитичу, прямиком отправлялись на Лубянку.

Шестнадцатого декабря 1974 года сделали первую запись в журнале наружных наблюдений. Моссовет преподнес подарок: открылась станция метро «Беляево», от дома Малышевых до нее — всего четыре автобусных остановки, наружники радовались.

6

Первым в квартире просыпался сын, Роман Малышев, юноша спортивный, учился он в первую смену, будильник ставил на половину седьмого, трусы, майка и кеды еще с вечера лежали на стуле у дивана; двадцать минут на физзарядку во дворе, где была перекладина и шведская стенка, еще десять на умывание. Мать просыпалась в 06.55, делала сыну емкий и высококалорийный завтрак по рецептам самого Романа. Он был очень усидчивым и организованным, успевал до ухода в школу (08.10) просмотреть учебники. Хлопала дверь, пробуждая главного наблюдаемого, объект (Герман Никитич Малышев) был чужд спорту и не раз ворчал: чепуха всё это, надо делать то, что просит организм, а не насиловать его. За многие годы совместного житья-бытья четыре человека так согласовали свои привычки, что почти не мешали друг другу, с новой квартирой свыклись быстро, район обитания обегали и знали, что в булочной хлеб несвежий, зато в продмаге возле аптеки бублики вкусные. Пока старший Малышев плескался в ванной, жена его успевала позавтракать и в 08.34 — 08.38 вылетала из квартиры. Герман Никитич, уже выбритый и в домашних шлепанцах, в домашних же брючках и простенькой рубашке спускался вниз, к почтовому ящику, завтракал он только держа под глазами газету (выписывал «Известия» и «Советскую Россию»). Недочитанное совал в портфель, тягуче одевался, долго; шепча проклятья, завязывал галстук, иногда с омерзением скидывал с себя рубашку и надевал новую, критически оценив свежесть воротника. Насвистывал мелодии — не очень громко, на мотивы песен, которые так и не были распознаны группой аналитиков. Перед уходом протяжно звал: «Марина!..». Дочь не отзывалась. Еще через минуту, снимая с вешалки пальто, он чуть строже повторял призыв к пробуждению, а

затем ногой распахивал дверь в девичью комнатушку: «Я тебе сколько раз говорить буду!». Намеренно громко ударял дверью по косяку, чтобы грохотом поднять заспавшуюся дочь (09.10). Спускался вниз. Оперативная машина тут же отъезжала, давая агенту на углу знак: объект скоро сядет на автобус, действуй по обстановке — и сразу оживлялась вся цепочка, провожавшая Германа Никитича от дома до института. Не было еще случая, чтоб Малышев сворачивал куда-либо. Человек он был пунктуальный, день расписывал по минутам, которым, однако, не следовал рабски, да и сама жизнь выталкивала его из намеченных планов. До метро иногда добирался пешком, обычно же впрыгивал в уже полупустые автобусы; пригодились хитрости, разработанные еще до Вениамина: агенты менялись на ходу, сходили и подсаживались, передавали объект в метро от одного к другому, как спортсмены — эстафетную палочку. В таком сложном деле всегда бывают казусы, агенты теряли вдруг подопечного, начиналось мельтешение, приходилось иногда подсказывать, где искать «Столяра» (такой оперативный псевдоним присвоили Герману Никитичу), агента частенько оттирали от трамвайной подножки — возле метро «Бауманская» — более наглые и вертко торопящиеся пассажиры, и тогда выручал нацеленный в институте на Малышева человек (тоже преподаватель и с той же кафедры), сообщая, что доцент на месте. За трамваем, впрочем, следовала оперативная машина. Преподавал Герман Никитич историю СССР, ее он начал изучать еще в педагогическом институте, и в дали годов исчез день и час, когда аспирант Малышев встретил и полюбил (а как же иначе!) студентку Бауманского училища Кобзеву, вскоре ставшую его женой. Работала она сейчас в НИИ Министерства связи, всегда прибывала туда с опозданием минут на пять-десять, что никого не волновало, режим там был свободным, для виду иногда кадровики устраивали засады в проходной. До половины десятого Малышева ворошила вчерашние бумажки, заодно домазывая губы, брови и ресницы. В обеденный перерыв все женщины отдела дружно устремлялись за проходную, стремительно наполняя сумки продуктами в придачу к тем, что получали в институтском столе заказов. Так и не смог Патрикеев установить, а чем, собственно, занимается Малышева (как и все прочие в отделе и во всем институте), пока не внес ясность Вениамин, рассказавший поразительную историю. Оказывается, институт отяготили не разработками новой техники, а писанием тех бумажек, что входило в обязанности работников Министерства связи, в результате чего ни одного чертежа из стен НИИ не вышло, а все сотрудники НИИ — родственники министерских служащих. Дважды за рабочий день супруги обменивались телефонными звонками, Герману Никитичу поручалось кое-что прикупить. Дома появлялись почти одновременно. Так и текли будние дни. Жена в выходные изредка посещала театр, попытка вытащить туда

супруга кончалась брезгливым отказом последнего: «Не тот вид информации...». Раз в неделю Герман Никитич навещал тещу на Минской улице, что казалось странным, известна ведь обоюдная, исторически оправданная неприязнь зятя и тещи. Софья Владиленовна ежедневно звонила матери, но не более, какая-то кошка пробежала между дочерью и матерью много лет назад, иногда в ворчании Малышевой проскальзывали намеки на некие совершенные матерью ошибки, но какие именно — Патрикеев допытываться не стал: пусть аналитики думают. Роман прибегал домой около двух часов дня, ровно на пятнадцать минут впадал в какое-то состояние полусна, о котором однажды отозвался: «Расслабление по известному методу». Затем вскакивал и мчался на тренировку в спортобщество «Спартак» (гимнастика). Около пяти был дома и прилежно садился за учебники, которыми насыщался до прихода из школы сестры, полной негодования на учителей и подруг. Мать прижимала ее к себе, успокаивала, отец пропускал мимо ушей стенания притворщицы, а что таковой она была — уверяла Наденька, снисходительно добавлявшая, что все девчонки в ее возрасте — врушки, по себе судит, однажды напраслину возвела на одну бабенку в очереди. Между отцом и дочерью пролегало взаимное неприятие, проявившееся три года назад во всей очевидности (Наденька разнюхала). Двенадцатилетняя Марина в слезах вернулась из школы, разъяренная увиденным на уроке физкультуры, когда девочки разделись: у всех одноклассниц уже были или наметились грудки, а у Марины — даже намека не выступало. Поскольку мать обладала бюстом, который не мог скрыть ни халат, ни просторные домашние платья, в физическом изъяне были обвинены хромосомы отца, на него и обрушился гнев дочери, желавшей иметь всё из того лучшего, что есть у подруг. Наверное, отвечал он обидно, а возможно, вообще не счел нужным что-либо говорить, но с этого дня Марина фыркала, когда отец заходил по вечерам на кухню.

Сейчас у неё было всё то, чего недоставало раньше. Груди не только взбухли, но и обозначились. Как только утром за отцом закрывалась дверь, Марина резво вскакивала и голенькой делала в общей комнате суматошную физзарядку под радиолу, дергалась в танце, кружилась, застывала в разных позах, хохотала. Частенько подкрадывалась к двери на балкон, приоткрывала ее, воображала себя голой перед десятками мужчин, пялящих на нее глаза, в предвкушении чего хохотала, вздергивала руки, заламывала их, пытаясь коснуться лопаток, потом словно в объятиях кавалера на танцах изгибала стан и плавно кружилась в вальсе. Пятнадцать, двадцать минут уходило на эти упражнения, после чего она лезла в ванную, делала завтрак, неторопливо съедала его, листала учебники, писала домашние задания, отрываясь на переговоры с подругами и пока неизвестными мужчинами (или юношами, судя по голосам).

Вениамин, навестивший как-то Патрикеева, долго рассматривал несовершеннолетнюю дочь объекта, оторвался от окуляров и озабоченно вымолвил:

— А девица-то — с душком... Эксгибиционистка. Намаемся мы с ней.

Лишних денег семья не имела и надежно жила скромными доходами. 460 рублей чистыми приносил Герман Никитич, 150 жена его, итого 610 минус квартплата, телефон и прочее, рублей 100 уходило на тещу, получавшую очень низкую пенсию. Начальство до копейки учитывало все расходы, стремясь найти переплату и открыть источник каких-то дополнительных сумм, но всегда концы сходились с концами.

Не за теми наблюдаем — к такой мысли приходил Патрикеев. И не туда, намекал он Вениамину, брошены лучшие силы наружного наблюдения. Да, соглашался тот, семья без пороков, никаких связей с заграницей, никакого поползновения вступать в контакты с нею, взаимная любовь, мир и покой царят в этой ячейке коммунистического общества, но что само по себе уже подозрительно.

— Мы диалектику учили не по Гегелю! — наставлял Вениамин и приводил убийственный довод. Пунктуальный и наблюдательный Герман Никитич каждое утро видел оперативную машину у подъезда, давно бы мог догадаться, чья она и для чего дежурит, однако не обращал на нее ни малейшего внимания, глаза его не косились на номер «Волги» серого цвета. Либо он знал, что номера каждый день меняются, либо не признавал за собой никаких грехов и оставался истинно советским человеком.

О Малышевых Наденька имела свое, отличное от всех мнение. Герман Никитич ее не интересовал, переключилась она на Софью Владиленовну, поначалу дергалась в возмущении: «Мыться надо чаще! Душ утром и вечером!». Но потом смилостивилась: «А может, ей и надо пахнуть немытой бабой? Некоторые мужики клюют...».

7

Герман Никитич Малышев, человек далеко не безгрешный, вызывающий к тому же веские подозрения, вдруг заслужил звание настоящего советского человека, когда узнал, что домашний телефон его — прослушивается. Преступную халатность проявила безмозглая, порочная и лживая девица на слуховом контроле. Она отсекала звонки из автоматов или делала «занято», если не успевала установить номер, с которого звонили. Сортировала, короче говоря. Оклад ее — больше, чем у Софьи Владиленовны, за такие деньги можно кое-чем и поступиться, уж кое-какие страсти свои отложить на потом, на после смены. Но девица заимела хахаля, общаться с которым хотела ежедневно — если не в кровати, то по телефону, вот и дала она ему номер Малышевых,

надеясь перехватывать его звонки. На всякий случай сказала, что телефон этот — запараллелен, и хоть бы сидела дура у аппаратуры, так нет, частенько отключала телефон Малышевых и шла в коридор трепаться с такими же болтушками. И недосмотрела или недослушала, у Малышевых зазвонил телефон, трубку поднял Герман Никитич, сказал, что гражданин, видимо, ошибся, никакой Люси здесь нет. Звонивший хахаль, поддатый и потому настойчивый, заговорил по-мужски, рекомендовал Герману Никитичу положить трубку и при следующем звонке ее не поднимать. Люся, добавил хахаль, догадается.

Догадался и Герман Никитич. Ни жене, ни детям ничего не сказал. Но с того случая все переговоры вел через институтский телефон, а чтоб прослушать его, требовалась бригада слухачей.

Девицу хотели выгнать, но из органов кого-либо удалить — тягомотина. Оставили на том же окладе, объявив выговор по партийной линии да лишив премии за квартал.

Герман Никитич показал себя во всем блеске: не стал писать кому-то или куда-то, жалуясь на нарушение каких-то там конституционных прав. Ученый, доктор наук (беспартийный, правда, был за ним такой грех) понимал, что прослушивают если не всю Москву, то уж всех тех, кто склонен болтать лишнее. И сделал правильные выводы, которые, конечно, порадовали Патрикеева, подвигнув того на ответную благодарность.

Никаких подозрительных контактов наблюдение так и не выявило, сам Герман Никитич слежки за собой не чувствовал — это особо отмечали все агенты. Однако начальство зорким глазом порылось в отчетах наружного и слухового контроля, кое-что обнаружило и засомневалось: нет, Малышев не такая уж рохля, как о нем докладывают, а хитрый и злобный конспиратор, умеющий прибегать к наивным, но тем не менее очень эффективным методам контрнаблюдения, потому что частенько останавливается у магазинных витрин, высматривая агентов. Не сказывается ли в этом немалый опыт ухода из-под наружного наблюдения? Наденька, брошенная на контроль, подозрения эти подтвердила. Частые остановки Германа Никитича на улице Патрикеев отметил еще при первом контакте с ним, но ничего дурного в этом не увидел, поскольку помнил робкую походку больного отца. Теперь, проклиная настырных контролеров, Патрикеев добыл медицинскую карточку Малышева и установил, что тот страдает облитерирующим артериосклерозом и, будучи по натуре скрытным, не хочет остановками на прохожей части улицы возбуждать интерес к себе, потому и задерживается у витрин, медики давно дали определение такому недугу: синдром витринной болезни. Медицинской справкой Вениамин и Наденька удовлетворились вполне, однако начальство рангом выше сделало удививший Патрикеева вывод: а может, объект специально сочинил себе эту болезнь, чтоб контролировать слежку? Спорить Патрикеев не

стал, углубился в историю болезни, нашел данные ангиографического исследования, которые свидетельствовали: нет, не притворяется объект. Но доказывать это начальству посчитал не нужным, даже вредящим себе. (Познания в медицине сослужили ему хорошую службу в дальнейшем, он научился по походке определять, какие болячки досаждают объекту, и многое, многое другое.)

8

А затем произошло событие, заставившее Патрикеева вспомнить пророчество Вениамина о дочери Малышева: «Намаемся мы с ней...».

Было это в субботу вечером, подступало время ужина, а Марина запаздывала. Обеденный стол — впритык к окну, слева от Патрикеева, наставившего на кухню бинокль, место хозяйки, строго следившей за тем, чтобы все вовремя садились если не в назначенное или определенное время, то уж по призыву ее: Малышева, распустеха и бездельница в НИИ, билась дома за порядок, выгадывая час-другой на книги, поездки к подругам и треп по телефону. Половник погрузился в кастрюлю, суп разлит был по трем тарелкам, дочь решили не дожидаться. А Патрикеев уже начинал тревожиться: где же эта чертова девчонка? Вдруг что случилось — так родители разбегутся искать ее, попробуй уследи за Малышевым, начальство немедленно укажет: объект воспользовался обстоятельствами и смог из автомата кому-либо позвонить и передать секретную информацию.

Поэтому он оторвался от оптики, высунулся из окна и обрадованно увидел идущую из школы Марину. А за нею тащился ее вечный поклонник, еще с декабря бесконтактно провожавший ее до дому. К себе она его не подпускала, держала как бы на привязи, заставляла соблюдать пятнадцатиметровую дистанцию, и парнишка это расстояние сохранял. Но в этот вечер Марина, идя по уже освещенной фонарями аллее между домами, остановилась вдруг, повернувшись к доброжелательному преследователю. Тот же стал в смущении топтаться на месте. Патрикеев нацелил бинокль на парочку, вспоминая свои школьные годы с бестолковым ухаживанием за девчонками в коротеньких юбках. Марина, перебрасывая портфель с руки на руку, сказала, видимо, что-то такое, что побудило скромнягу на решительный шаг — он приблизился к Марине. Говорили минут десять и, кажется, вполне миролюбиво, потому что познакомились наконец-то (парнишка был из соседней школы), рукопожатие свершилось, обрадованный юнец исполнил на снегу какой-то дикарский танец. И, видимо, был приглашен на ужин, потому что уже рядом с Мариной подошел к подъезду, входная дверь открылась и закрылась, Патрикеев направил бинокль на окна.

А на кухне уже очистили тарелки от супа и уплетали что-то мясное с гарниром, третьим блюдом был то ли компот, то ли кисель, разговоры

о текущих делах, никакого интереса не представлявшие для Патрикеева. Он, во-первых, не слышал их, а во-вторых, много раз прокручивая запись кухонных бесед, уяснил себе: Герман Никитич не тот человек, чтобы о своих, весьма интересующих наблюдателей делах, рассказывать домочадцам. Роман поднялся первым — и тут в узком проеме обзора появилась Марина, и не одна, с провожавшим ее юнцом. Тот помог ей снять пальто, сам разделся, мать что-то сказала, увидев юнца, поставила две чистые тарелки. Парнишка был сильно смущен, отчего и потирал в волнении руки. Скрылся в ванной, возник, сел за стол, рядом — Марина в школьном платьице (юнец предпочитал пиджачок общегражданского типа). Дочь начала что-то говорить, увлеченно помахивая ложкой, мать слушала, недоуменно раскрыв рот и посматривая на мужа, как бы призывая его отреагировать правильно. Юнец же ерзал, нервничал, поглядывал на дверь, стремясь подняться и исчезнуть, а Марина взахлеб продолжала начатую речь. Мать сложила руки так, будто ахнула, потом испуганно глянула на Германа Никитича, продолжавшего безмятежно допивать компот (или кисель). Ни страхи жены, ни восторг и ужас, исходивший от жестов и мимики дочери, его не трогали. Торопливо сглотнув, несовершеннолетний ухажер поднялся, чтоб вихрем помчаться в прихожую. Мать — за ним, дочь — тоже. Герман Никитич проявил, кажется, нервозность, потому что — закурил, а это ему за столом не разрешалось, обычно он выходил на лестничную площадку, что немало тревожило Патрикеева: площадка выпадала из обзора, на ней могли свершиться те контакты, о которых предостерегало начальство. Закурил — а мог бы подняться, пойти в свою комнату, открыть форточку и задымить.

Юнец наконец выметнулся из квартиры, — с таинственной, знакомой Патрикееву улыбкой Марина вернулась на кухню, чем-то встревоженная мать — следом. Заговорили. Мать, судя по жестам, взывала к чему-то или кому-то, способному разрешить все конфликты. Герман Никитич невозмутимо курил.

И вошел Роман, что-то яростно бросил в лицо сестре, и та расхохоталась. Мать предостерегающе вытянула руку, чтоб помешать чему-то, но было уже поздно. Роман наотмашь нанес сестре пощечину левой рукой, а затем правой, и хотя от места наблюдения до кухни пятьсот метров, а жучок работал только на машину у подъезда, Патрикеев тем не менее услышал звонкий и смачный звук: такой силы были пощечины. Марина кошкой прыгнула на брата, но мать перехватила ее, потащила в коридор, а Роман, демонстративно сполоснув руки под краном в кухне, ушел к себе. Герман Никитич наконец произнес слово, такое веское, что теперь мать тигрицей хотела налететь на него, но тот выставил указательный палец, было произнесено еще какое-то слово или повторено только что сказанное, но мать, затыкая уши пальцами, раскрыла рот, возможно — заорала в испуге.

Патрикеев ничего не понимал, но догадывался: запись будет у него не завтра утром, а через полчаса. И запись принесли. Он дважды прокрутил ее, потому что сходу понять было невозможно: такой наглой лжи он еще не слышал. Приведя ухажера — его звали Геной Красиковым — на кухню, ни словом не обмолвясь о том, что знает его, Марина сказала, что парень этот не далее как полчаса назад пытался ее изнасиловать: повалил в снег и даже стянул шерстяные колготки, но она приняла соответствующие меры, строго по науке, недавно она прочитала ценную и нужную всем девушкам книгу о том, как вести себя в подобных случаях, и знания применила на деле. Сопротивляться она не стала, а толково объяснила насильнику, что много лучше для него и нее будет половой акт в нормальных человеческих условиях, то есть в домашней обстановке. Следуя тем же инструктивным нормам, она и привела человека этого сюда, чтоб популярно и элементарно объяснить ему нелепость полового акта на снегу. У всех насильников (это Марина доказывала родителям, а Роман слушал ее в общей комнате) — комплекс неполноценности, парня этого надо образумить, отнесясь к нему как к больному, то есть ласково накормить и напоить, показать ему ущербность обуреваемого им желания, приручить, ведь тяга к изнасилованию — следствие переходного возраста, у человека этого, как видите, прыщики...

Родители слушали, рот раскрыв. Роман не показывался, будто его нет, от телевизора не отходил, и лишь когда несчастный и опозоренный Гена Красиков убрался вон, брат, хорошо знавший Гену по спорту, влетел на кухню и нанес сестре такой удар по щеке, от которого голова ее мотнулась в сторону боксерской грушей.

— Ну, гегемон, сейчас такое дерьмо полезет, что хоть глаза, нос и уши затыкай, — озабоченно произнес Вениамин, на следующий день прослушав запись. От него не ускользнула брошенная Германом Никитичем фраза: «Вся в тебя...» — сказано было им на кухне жене (дети уже разошлись по комнатам), причем тоном не осуждающим, а как бы бесстрастно подытоживающим, и в ответ — ни словечка, Софье Владиленовне будто рот заткнули. Промолчала она и чуть позднее, когда Герман Никитич, в нарушение всех семейных правил затянувшийся еще одной сигаретой, с легким укором произнес: «Когда ты все-таки бросишь своего Вадика? Ты ж слово мне давала...».

Любую жену могли доконать эти фразы, но всполошили они не ее, а Вениамина и Патрикеева, мгновенно понявших ущербность всей проделанной ими работы. Два с половиной месяца висели над семьей, рапортовали наверх о полном благополучии, и вдруг — дочь с порочными наклонностями, вдруг — распутница-мать, вдруг — Вадик.

«Вся в тебя» — означать это могло одно: Софья Владиленовна была лгуньей и развратницей, что когда-то проявилось и стало, возможно, причиною прохладных отношений между мужем и женой, до сих пор

длящихся. Много сказали бы записи телефонных трепов Софьи Владиленовны с подругами, но их-то, записей, как раз и не было: начальство чтило конституцию и наложило запрет на прослушку разговоров детей и жены Германа Никитича, на звонки его теще и родственникам, сестре и тетке (родители умерли в прошлом и позапрошлом году).

Всполошенное начальство ударилось в поиски Вадика, и тот был найден: антисоветчик и алкаш, падкий на баб холостяк, в прошлом — однокурсник Софьи Владиленовны. Он, по слухам, что-то пописывал — гадкое, клеветническое, но в передаче чего-либо на Запад уличен не был, потому что ничего на самом деле не писал, а только набивал себе цену, разглагольствуя о каких-то хранящихся у него взрывчатой силы рукописях. Никакой реальной опасности для социализма Вадик не представлял, давно был изучен: грязный человечишка, живший на подношения женщин, коим несть числа и которые в его полуподвал не спускались без бутылки, покидая логово холостяка довольными и разнеженными. Уборщица из жэка принесет четвертинку — он и уборщицу отблагодарит любовью, дамочка какая прибежит, оглядываясь и краснея, он и ее встретит с приспущенными штанами. Софья Владиленовна бывала у него не раз, уходя с работы после обеда, никакого интереса к ней Пятое управление не испытывало, помалкивало, так и не раздутое, к счастью, дело беспутного Вадика покоилось на донесениях наружки трехлетней давности и лежало в одном из многочисленных шкафов. («Переучет нужен! Переучет!» — воскликнул Вениамин.) Развязали тесемочки подзапыленных папок, Патрикеев с омерзением рассматривал фотографии жены Малышева в невообразимых позах, Софья Владиленовна превосходила развратом всю рать проституток «Ленинградской». Щадя Наденьку, женщину все-таки замужнюю, не все фотографии эти ей показали, шутливо поинтересовались, однако, а могла ли она так вот, умеет ли вот этак... Та вооружилась очками, которые надевала только при культурных связях с заграничными товарищами, облизнула губы: «Могла...Сумела бы... Смотря с кем...».

Вдруг от сидевших на прослушивании поступил тревожный сигнал: Герман Никитич не прочь сбежать за границу! Сигнал оказался ложным. Но тем не менее настраивал на подозрения и возбуждал желания еще более глубоко изучить Малышева, который в разговоре с каким-то Веденяпиным Виктором Сергеевичем неожиданно промолвил: «К черту на кулички подался бы из Москвы, до того всё опротивело...». А сутки спустя грустно промолвил ему же: «Ты прав, евреям легче, у них есть повод...».

Кто такой Веденяпин — поди узнай, за всеми не уследишь, разговоры же Германа Никитича крутились вокруг дачного домика и участка, который ему не удавалось приобрести, несмотря на все старания, но в феврале впервые появилось в беседах его слово «побег», и встревоженный Патрикеев ударил в колокола, звон дошел до ушей начальства, был

ими услышан, и Вениамин сумрачно заявил: Герман Никитич Малышев дописывает книгу под условным названием «Побеги. Социокультурный феномен», что, конечно, симптоматично, что, разумеется, является так называемой фрейдистской оговоркой, — таково, друг Патрикеев, мнение руководства, но, кажется, о реальном побеге на Запад Герман Никитич пока не помышляет.

— Пока! — наставительно произнес Вениамин и поднял указательный палец, как бы призывая друга Патрикеева к бдительности.

Тайны из своей книги Малышев не делал, наброски к ней оказались у Патрикеева, и дух у него захватило от прочитанного. Под побегами Герман Никитич понимал неуемную страсть русских людей менять среду обитания, убегать от князей, воевод, помещиков и эксплуататоров вообще в края, далеко от Москвы отстоящие — в Сибирь, на Дон или поближе к Архангельску. Там они обустраивались по-разному: кто сколачивал банды и промышлял разбоем, кто посреди бескрайней тайги сжигал лес и распахивал землю, а кто создавал нечто вроде колхозов, частенько объявляя их (это в 17-м веке-то!) республиками со своей конституцией. Бежали и те, кто страшился наказания за грабежи и убийства, для поимки их посылались специальные команды, был на Руси не только сыск, но и наружное наблюдение, и не в 1894 году берет оно свое начало, а много раньше, чуть ли не с Ивана Калиты, — не организованное еще в какие-либо государственные подразделения, всего лишь по вольному замыслу дьяков, но уже с единой системой опознавания, и словесный портрет тогда же появился.

Занимательна и увлекательна история земли русской! Полная загадок и неизвестных Патрикееву терминов. Величественная и кровавая, пытали всех — и подозреваемых, и доносчиков, ставили на правеж и вздергивали на дыбе, травили ядами и...чего только не было! Патрикеев давно уже обследовал книги в квартире уехавшей в Вюнфсдорф учительницы, с радостью снял с полки том Ключевского, стал заглядывать и в Карамзина. Герману Никитичу он завидовал: надо ж, все эти книги им читаны, поневоле такого человека станешь уважать. И жалеть, потому что в жены взял развратницу, дочь — подленькая и паскудная, того и гляди скоро переспит с каким-нибудь бойким фарцовщиком, и лишь Роман услаждал душу отца, мужская часть семьи часто уединялась и вела беседы на темы, далекие от жизни: о диалектическом материализме, о смысле истории, если таковой вообще был, в чем Герман Никитич сомневался, что и проявлялось подчас в его разговорах по телефону. Однажды подговорили преподавателя, осуществлявшего контроль за ним в пределах института, тот стал названивать ему домой, жаловался на судьбу, намекая на притеснения, но Герман Никитич повздыхал сочувственно и урезонил жалобщика: «Эта страна, этот ректор — как бы от Бога, судьба, которую не отменишь никакими декретами власти...».

Сам же декретировать что-либо Герман Никитич не собирался. Пописывал и почитывал, а вместе с ним, нередко заглядывая через плечо, почитывал Патрикеев. Слежки за собой объект по-прежнему не чувствовал, во всяком случае никак не реагировал на нее, и всё чаще Патрикееву приходила в голову едкая мысль: не напрасны ли их труды, не пора ли выпускать Германа Никитича на волю, так сказать, не приспело ли время переключаться на настоящих врагов.

9

Твердо глядя в глаза Вениамину, он однажды решительно заявил, что ему надо знать, в чем конкретно подозревается его подопечный, и Вениамин засмущался, нерешительно сказал, что надо испросить разрешения руководства. Ведь, напомнил он, известно, какие сложности бывают, когда решается вопрос о наружном наблюдении. Следовательно, имелись веские причины. Какие — знать не положено, но раз «гегемон Патрикеев» требует, то...

Причины оказались более чем вескими.

Пропал, бесследно исчез документ, который — будь он опубликован на Западе — нанес бы СССР ущерб, не сравнимый даже с кражей чертежей водородной бомбы. Чудовищная по последствиям катастрофа разразилась бы, поток лжи и клеветы хлынул бы на СССР, заливая весь советский народ мутной отравой. Виной всему — наш всероссийский и всесоюзный бардак. В феврале 1956 года, после того как был разоблачен культ личности, а деятельность чекистов поставлена под сомнение, прилепившиеся к Хрущеву интриганы решили покопаться в сверхсекретных архивах. Но поскольку в тот период никто уже никому не доверял, к делу пристегнули студентов Института международных отношений, они и сортировали документы, все по глупости перемешав, и когда через много лет начали розыск самого страшного документа, обнаружился он в архивной описи, которая на вполне законных основаниях выдана была историку Герману Никитичу Малышеву. Тот получил и расписался: семь папок, всё о ссыльных Туруханского края, все дела конца позапрошлого века, но в том-то и дело, что безмозглые студенты ухитрились без внесения в опись сунуть в папки документ, датированный 1916 годом, его-то мог Малышев похитить или снять с него копию.

Совсем запутавшийся Патрикеев спросил, а где же, черт возьми, документ? Может, он уже за кордоном?

Вениамин сокрушенно вздохнул.

— Нет его, пропал... Ищут. В квартире Малышевых его нет, это точно. Но он мог его передать близкому другу, к примеру. На хранение. С последующей передачей на Запад.

Близких друзей у Германа Никитича не было — это уже установили. Но, возможно, в прошлом приятельствовал он с кем-нибудь из тех, кто сейчас переправляет рукописи за рубеж.

Четыре месяца изучали семью — а результат плачевный. Надо было на что-то решаться. Всю неделю прокручивали записи телефонных разговоров Германа Никитича, прихватив заодно и треп Софьи Владиленовны. Десятки имен, сотни эпизодов, не поддающихся расшифровке.

Решение напрашивалось само: подключить к анализу всех телефонных переговоров человека, хорошо знавшего семью Малышевых. Никакие аналитики на Лубянке не в состоянии распутать этот клубок.

Еще неделю слушали — и человека нашли, Анну Петровну Шершеневу , не очень-то рвавшуюся в гости к Малышевым, ей там мало что интересного виделось, слишком хорошо она их знала, обычно ограничивалась двумя звонками в неделю, потому что была из породы тех женщин, которые только тогда чувствуют себя в жизни уютно, комфортно, когда о таком же комфортном существовании десяти-пятнадцати приятельниц узнают сами. Эти краткие, ни к чему не обязывающие телефонные беседы с ними напоминали обход рачительной хозяйкой квартиры перед сном: газ выключен, дверь заперта, дети спят, муженек уже нырнул под одеяло и — всё в порядке, жизнь продолжается! Жизнь же у Анны Петровны была скучноватой. Сорок лет, как и Софье Владиленовне, но работать не надо, жила Анна Петровна на пенсию за погибшего мужа, летчика-испытателя, родом была из семьи, где книги любили, и кроме чтения их да обзвона подруг ничем производительным она не занималась.

Анну Петровну взял на себя Вениамин. Поведал ей о том, какую ценность для советской науки представляет известный ей доктор исторических наук Герман Никитич Малышев и какие меры надо предпринять, чтоб для этой науки сохранить доброе имя ученого, то есть противостоять происка м, исходящим от пока неизвестных личностей, которые пытаются совратить их общего друга с пути истинного...Анна Петровна все поняла и с увлечением стала прослушивать записи, за голосами стали прозреваться и вырисовываться фамилии и биографии, от наплыва их кружилась голова. Для уточнений требовались визиты Анны Петровны к Малышевым — и в этом она преуспела, как-то незаметно и быстро втерлась в полное доверие, хоть на полчасика да заскакивала в Теплый Стан — к радости Патрикеева: он на свои деньги купил два баллона для мытья стекол, загрязненных промышленным чадом столицы настолько, что наблюдать за Малышевыми становилось с каждым днем все труднее. Шершенева быстренько надоумила Софью Владиленовну (да в конце марта не так уж и холодно), две женщины раскрыли окно сперва на кухне, потом в спальне, промыли стекла. Ставшая закадычной подруга чутко схватывала значения пауз и взгля-

дов, то есть того, что недоступно оптике. Доклады ее не давали повода сомневаться: нет, ни Герман Никитич, ни жена его к заграничной жизни не стремились и даже не помышляли покидать Отечество. О побегах же доктор наук мыслил только исторически.

Вновь наступил выжидательный период, Патрикеева никто не дергал, начальство смирилось, кажется, с отсутствием результатов или перенесло поиски документа в другие семьи, дома, учреждения, архивы и библиотеки. Малышевы продолжали спокойно жить, говорили на своем — домашнем — языке, никто из соседей не понял бы их. Югославский магазин «Ядран» поблизости семья называла «Ядром», такой же магазин «Лейпциг» — «Ляпсусом», булочная именовалась «лавкой», для Германа Никитича дочь была «Риной», женская часть семьи так именовалась им: «клухи», свои словечки имела и Софья Владиленовна. Спокойствие в семье поддерживалось постоянными и кратковременными ссорами по сущим пустякам, но пламя легкого скандальчика никогда не перерастало в стену рычащего огня, и очаги вспышек были такими, что затушить их можно было всего одним плевком. По тому, как повышал голос отец семейства, Патрикеев сразу догадывался: через пять минут в квартире воцарится мир. Иногда закатывала истерики Марина, не найдя что-то из своего тряпья, Софья Владиленовна злобно шипела на нее: «За-мол-чи!». И дочь умолкала. Роман с вежливым отстранением выслушивал стенания сестры, советы матери и короткие реплики отца, и Патрикеев радовался за мальчика, такого умного и стойкого. Его начинали тревожить вроде бы бесцельные прогулки Марины после школы, девчонка блуждала по дворам, норовя стать мишенью для приставаний шпаны. Утренние ее танцы, когда она голенькой отплясывала посреди комнаты, становились тягучими, иногда она застывала перед окном, неотрывно смотря в даль, чуть ли не в глаза ему. Прав был Герман Никитич: дочь унаследовала от матери желание быть осмотренной со всех сторон и оцененной. Сама Софья Владиленовна по субботам и воскресеньям стала выходить утром на балкон в одних трусиках и бюстгальтере, и не на минутку, чтоб глянуть на цветочницу или покопаться в шкафчике, а подольше — и как раз тогда, когда на другом балконе, повыше и левее, появлялся с сигаретой молодой мужчина, с удовольствием глазевший на обнаженную мать добропорядочного семейства. Каким способом узнавала она о перекуре соседа — загадка, тайна, ведь полностью исключались любые средства связи: телефон в эти предсигаретные периоды безмолвствовал, радиоустройств в квартире, обследованной досконально, не могло быть. Наверное, Софья Владиленовна раскладывала в уме какой-то математический пасьянс, высчитывая точно, когда мужчину неодолимо потянет к сигарете. А может, тот по каким-то признакам узнавал о скором посещении балкона женщиной с весьма недурной фигурой.

Управление пополнялось свежими кадрами, Патрикееву дали на воспитание новичка, трудолюбивого Витю. Парнишка этот чем-то ему не нравился, но и придраться к нему было почти невозможно. Усидчив, от оптики не отрывался, фиксировал все передвижения Малышевых по квартире, при случае мог смотаться в гастроном и проследить за Германом Никитичем. Однажды позвал к биноклю Патрикеева: у Малышевых впервые появился некий гражданин.

— А... — всмотрелся Патрикеев. — Академик Лебедев. Двумя этажами выше живет.

Прибавил веско, для уточнения:

— Это МУР и прочая милиция занимаются разными там бандитами, шулерами, взяточниками и воришками. У нас другая публика. Ученые, конструкторы... С ними общаемся.

Однажды Витя взял на дом книгу из квартиры, где они обосновались. Брать же ничего было нельзя, сам Патрикеев по утрам обегал глазами квартиру и замечал, где что сдвинуто, порядок ли на кухне, все книги в шкафу и на полках держал в памяти. Поэтому-то отсутствие «Королевы Марго» не осталось без внимания, ученик признался безо всякого смущения: да, прихватил с собой, что тут такого? Что «такого» не знал и сам Патрикеев, сказал поэтому невнятно: не мы хозяева здесь, не мы. Молодого, понятно, влекла к себе обнаженная женская натура. Он покрывался потом, наблюдая за утренними плясками Марины, и поглядывал на часы, ожидая на балконе Софью Владиленовну, которая — в лучшем случае — показывала себя в комбинашке. Патрикеев не выдержал-таки, пристыдил молодого, приказал не пялить больше глаза на женщин семейства, не нарушать конституцию и оперативное задание.

10

Сам же он мучительно думал: так что же это такое — семья? На чем она держится? Герман Никитич не прогнал же «бабу» свою прочь, узнав о ее шашнях с Вадиком, а Софья Владиленовна изменяла мужу не первый раз и о всех нарушениях ею семейной, так сказать, конституции было ему давно известно. Значит, либо сильно любил ее, либо закрывал глаза на измены ради сохранения семьи, то есть будущего детей, либо ценил в ней нечто, другому мужчине не понятное. Ее иногда что-то раздражало, она, накричавшись на дочь, сына и мужа, впадала в отупение, и тогда Герман Никитич обнимал ее, прижимал к себе, и они долго так стояли, и Софья Владиленовна успокаивалась, возвращалась к обычным своим занятиям. Она, напропалую изменявшая ему, тем не менее продолжала любить мужа. Рубашки его гладила на кухне, и не просто водила утюгом по ним, а — любовно, иного слова не подберешь, с особым удовольствием рассматривала отглаженное, находила кое-

какие изъяны в собственной работе, вновь принималась за утюг, последнюю морщинку выравнивая.

Исполнилось же Патрикееву 27 лет, начальство косовато посматривало на холостяков, не жалуя, впрочем, и женатиков, которые так и норовили изменять супружницам, талдыча при этом об улучшении жилплощади. Жениться повелевало время: мать уже не успевала обстирывать сына и дочь, на случайных женщинах можно сломать и жизнь и карьеру. Блондинка вспоминалась всё чаще и чаще — не как образец будущей супруги, а как позыв к действию, к знакомству с той, которая всю женскую страсть обратит только на одного, на него, Патрикеева, и на страсти этой исчерпает себя, жизнь посвятит семье, то есть ему и детям.

Найти такую женщину было почти невозможно. Блондинка могла себе эту страсть позволить по той простой причине, что была богатой, очень богатой женщиной, и если бы Патрикеев женился на такой же богатой, то у начальства немедленно возникли бы неприятные вопросы, и сущей мукой стало бы заполнение анкеты.

Мечталось о девушке из очень хорошего семейства, но такого, чтоб наружное наблюдение за ним не велось бы.

И такая девушка повстречалась.

Наденька подарила ему два билета во МХАТ на «Дядю Ваню», их ей дали ради причастного к Малышевым объекта, тот рвался на спектакль, но по каким-то причинам изменил планы. Патрикеев поблагодарил, решил потащить в театр мать, та заболела, вот и пришлось идти одному. Оделся как обычно, то есть так, чтоб не привлекать внимания, продавать билет постеснялся (дармовой все-таки!), но в них, билетах, была у публики большая нужда, их начинали спрашивать еще на улице Горького. Огляделся и увидел со вкусом, то есть скромно и почти без примет одетую девушку, не очень-то красивую, симпатичную всего лишь, но умненькую, строгую и года на три моложе его. Определил: москвичка, студентка, живет не на стипендию, но бережлива. Она ищуще посматривала на возможных обладателей лишних билетиков, но ни к кому не приставала и барыг вниманием не удостаивала. Патрикеев сказал ей просто: билет есть, вот он (сунул его в узкую ладошку), но достался он ему бесплатно, завком поощрил за ударную работу, денег поэтому не надо. Походил по фойе, услышал звонок, сел (пятый ряд, одиннадцатое место), а девушка, конечно, рядом. Ни слова не сказал ей, будто впервые видит, и она тоже взгляда даже не бросила. Патрикеев осторожно оглядывался, в театре — ни разу не бывал, не считать же им утренник для детей пятнадцать лет назад, ни разу не пас никого в подобного рода заведениях, однажды, правда, всю неделю таскался по кинотеатрам. Публика здесь какая-то особая: толпа, умеющая молча выстраиваться в рассредоточенную очередь. Раздвинулся занавес, на сцене — что-то вроде дачи того старика, к которому приезжала Блондинка. Местность,

правда, хорошо обозревается без оптики, виден стол с самоваром, предстоит беседа на открытом воздухе, не надо лезть на столбы, чтобы увидеть и заснять. Имеется программа: кто будет на сцене — словно начальство позаботилось и определило, за кем наблюдать, кого вести. Старушка у самовара — это, наверное, старая нянька Марина (тут же вспомнилась другая Марина), у стола мается некий гражданин, фамилия которого будет позднее установлена.

Вдруг старушенция раскрыла рот, чтоб произнести «Кушай, батюшка», — и Патрикеев заерзал. Перед его глазами начинала раскрываться жизнь посторонней ему семьи так, будто он находился на стационарном месте наблюдения, и когда голос Марины прозвучал, то первой мыслью было: «А куда ж техники, мать их так, засадили жучок?.. Почему такая слышимость?». Может быть, гадал далее, жучки ходячие, то есть прикреплены к Марине и гражданину? С такими жучками, «сигналами», сплошная морока, прилаживать их к объекту очень сложно и трудоемко, да и опасно: стоят он, жучки эти, дорого и на особом учете.

Гражданин оказался доктором Астровым, начавшим беседу с Мариной, и к радости наружки разговор сразу обозначил степень знакомства, а также немаловажную для наблюдения предысторию, установочные данные. Потом еще один тип появился, как оказалось — Войницкий, и чем больше вникал Патрикеев в смысл происходящего, тем больше вопросов задавал себе и отвечал на них. Люди на сцене подставляли себя под наружное наблюдение, осуществляемое сотнями глаз, знали об этом наблюдении, потому что кто-то их предупредил, но делали вид, что никак не осведомлены о провале и о сути не говорят, длинно рассуждают о вещах, которые для непосвященных в быт семьи поняты быть не могут. Конспираторы они хорошие, надо признать, но, кажется, находятся в тайном сговоре с наружкой, потому что начинают выдавать себя, произнося нечто важное, представляющее определенный интерес для наблюдателей, часть которых была вооружена средствами дальновидения, биноклями то есть. Несколько озадачила Патрикеева суфлерская будочка, поначалу он склонен был полагать, что выполняет она роль машины у подъезда, но, подумав, от этой версии отказался. С понятной целью человек в будке был скрыт от взоров зала, но не только он командовал отлично организованным обманом наружки. Кто-то еще много времени отвел на тренировки людей в зале и на сцене.

Странно, непонятно, дико.

От девушки пахло незнакомо, но почему-то казалось, что — как от Блондинки: духи, наверное, были их тех, каких добивалась от Софьи Владиленовны ее дочь. В антракте познакомились, звали девушку Еленой, училась она, как и предполагалось, в МГУ на филологическом, в театрах бывала часто и могла быть хорошим прикрытием в будущем, если придется пасти кого в этих заведениях. Но, кажется, сейчас ее

больше интересовала заводская жизнь, Патрикеев признался, что в театрах бывает редко, даже очень редко, работа сменная, в цехе нередки аварии, тогда вытаскивают из дома, оплачивают, правда, солидно эти аварийные часы. Такую мысль ввернул он, чтоб девушке стало понятно: человек он занятой, пусть на него не рассчитывает, в театры ее сопровождать не будет. Да и девушка такого желания не высказывала.

От театра до метро шли вместе, и наконец прозвучал вопрос, которого Патрикеев страшился.

— Как вам понравилось?

Нравится не нравится, а отвечать надо — и не фразами же из рапорта о результатах наблюдения за домом Серебряковых. Люди-то на сцене нередко выходили из-под контроля наружки (зрителей), то скрываясь в другой части дома, то просто удаляясь невесть куда. Правда, при возвращении давали понять, чем занимались. Лишь один человек тщательно скрывал свои намерения, хотя и говорил много: Войницкая. Ей будто не успели шепнуть перед выходом на сцену: «Мария Васильевна, за нами смотрят из дома напротив, попридержи язык и вообще...».

— Мне кажется, — неуверенно произнес он, — Войницкая выпадает из игры...

Девушка была так удивлена, что остановилась и отступила на шаг, чтоб получше разглядеть Патрикеева. Долго молчала. Сказала тихо:

— У вас безукоризненный художественный вкус... Я вам завидую. Мне бы такой — я бы в школу-студию пошла учиться. Что вам и советую. И знаете... не забывайте меня.

Из сумочки был извлечен блокнот, из него вырван листик, на нем написан телефон.

— Звоните мне. Я буду очень рада.

Патрикеев дал ей свой телефон, домашний, торопливо простился («На работу в ночную опаздываю!») и помчался в Теплый Стан. Полусонный сменщик (Малышевы уже, насмотревшись телевизора, разбрелись по комнатам) с радостью покатил домой, а Патрикеев бережно взял с полки томик Чехова с «Дядей Ваней», дважды прочитал пьесу и догадался наконец о том, что такое режиссер и как пишутся драматургические произведения. Всё просто. Человек — в данном случае Антон Павлович Чехов — от анонимного, скажем так, источника получил машинописный текст записанных на магнитофон разговоров в доме хорошо знакомого ему семейства и, естественно, обнаружил вопиющее несоответствие: слова не сопровождались указанием той интонации, в которой произносились. Слова — что еще естественнее — никак не совпадали с истинным смыслом того, что происходило в доме, где Антон Павлович часто бывал, поэтому-то великий писатель земли русской переозвучил их и внес поправки в машинописный текст, сделал подлог, говоря честно, чтоб некое начальство — публика в данном случае — удовлетворилось его работой. Седьмое

управление КГБ до такого надувательства редко доходило, однако само давало оценки тому, что приносила прослушка, могла ту или иную фразу толковать в нужном смысле. Пьеса, в сущности, это отчет тому, кто дал указание провести оперативную проверку.

За ночь была прочитана «Чайка» и сделан вывод: писатели — самый трудоемкий объект для наблюдения. В доме Малышевых же ничего, конечно, не произошло. Точно в 06.30 поднялся Роман, за ним последовательно Софья Владиленовна, Герман Никитич и, наконец, лентяйка Марина, сразу после ухода отца занявшаяся танцульками в голом виде. За зиму у нее прибавились груди и чуть раздались бедра. Домашние уроки занимали всё меньше и меньше часов, девчонка висела на телефоне и (у Патрикеева зашлось дыхание) выкурила сигарету, поставив его в исключительно неудобное положение: как предостеречь девочку и как стукнуть матери о прогрессирующем моральном разложении дочери?

Ушла наконец в школу. Роман появился — и далее как по графику. Все чинно и спокойно, хоть время и торопило. Вениамин, не менее Патрикеева обеспокоенный, рассказал: начальство в панике, в ноябре созывается какой-то конгресс в Лондоне, Германа Никитича столько раз уже не пускали за рубеж, что западные коллеги его разъярились, Малышев пользовался известностью как специалист по 18-му веку, и коллеги взбунтовались: подавай им Малышева живым или мертвым, но в Лондоне, иначе отменим конгресс! Вот начальство и бесится, ничего ведь наружное наблюдение не установило. Внутреннее тоже, хотя внедренная в дом Анна Петровна Шершенева и радовала своими комментариями. Душевное волнение охватывало ее, когда она — с пляшущей в пальцах сигаретой — впитывала в себя голоса на ленте. Ахала, осуждающе покачивала хорошенькой головкой, сучила точеными ножками, язвительно улыбалась, иногда хохотала. Ее долго благодарили, намекнули, что могут чем-либо поощрить, на что она ответила решительным отказом, однако день спустя пожаловалась на головные боли и тоже намекнула: не пора ли ей побыть в тишине, в безголосном мире, — и намек поняли, организовали путевку в тихий подмосковный санаторий. Непрослушанными остались всего три бобины, но это были производственные отходы, ошибочные звонки случайных людей.

11

Начальство, похоже, смирилось уже с тем, что либо Герман Никитич ни в чем не повинен, либо настолько погряз в преступлениях, что ему уже нет нужды с кем-либо контактировать, то есть документ особой государственной важности давно передал (или продал) Западу. Патрикеев стал вхож в кабинеты руководства 5-го управления, с ним совето-

вались, его спрашивали, и он уверенно отвечал: Герман Никитич Малышев — настоящий советский человек!

И вдруг «Столяр» взбрыкнул, показал — прилюдно! — всей наружке кукиш: да знаю я, знаю всё о вас, и катитесь к черту, шпики проклятые, филеры тупые, вам не за доктором наук следить, а за алкашами у магазинов.

В воскресный день произошло это неслыханное по дерзости нарушение доброго и тайного соглашения. (Вениамин позднее так отозвался о дикой выходке Германа Никитича: «Вероломно нарушил пакт о ненападении!».) Вся семья в сборе, все заняты своими делами, пообедали, как всегда, в половине третьего, Германом Никитичем намечалось чтение принесенного накануне реферата своего ученика, к понедельнику обещался отзыв — пока устный. Перед ответственной работой — чтением — Герман Никитич вздремнул с полчасика. Патрикеев тоже полежал немного, потом углубился в «Живой труп», изредка заглядывал к Малышевым. Ничего примечательного, все воскресные дни Германа Никитича изучены, новостей сегодня (как и неделю назад) не будет.

Вдруг запищала рация, встревоженно заговорил агент в машине: объект вышел из подъезда и направляется в сторону автобусной остановки! Патрикеев не знал, что и подумать. Куда это направляется Малышев? Холодильник полон продуктов, в кино Герман Никитич не ходок. Куда? К кому?

А надо было что-то решать, немедленно. Напарник отпущен домой (надо же людям отдыхать!), ни одного человека под рукой, чтоб прицепиться к Герману Никитичу, который пропал, как дядя Ваня в третьем акте. Вся опергруппа, усыпленная советским образом жизни Малышевых, нежилась в воскресном безделье.

Подняли тревогу, Наденька, жившая на Ленинском проспекте, на такси полетела к месту чрезвычайного происшествия. Малышев мелькнул у входа в метро «Беляево», то есть мог сойти на любой станции и бесследно исчезнуть. Но на хвост ему сели, когда он пересаживался на кольцевую линию. А на кольце — все вокзалы, что особенно тревожило Вениамина. «Киевский!» — доложено было Наденькой, которая обладала верхним чутьем. На двух машинах подлетели дежурные оперативники, но никто из них Германа Никитича в лицо не знал, да к тому же Наденька малость сплоховала, решив, что объект пересаживается на Арбатско-Покровскую линию. А тот вышел на площадь у Киевского вокзала и оказался под сводами вокзала, в гудящем зале ожидания уставился на расписание поездов. К этому времени Наденьку уже вооружили рацией, а вокзальную наружку нацелили на Малышева. Тот же очень умело передвигался в толпе, заслоняя себя галдящим вокзальным людом. Патрикеев и Наденька воспряли духом, когда увидели: Герман Никитич медленно направляется в ресторан. Как потом выяс-

нилось, это было его тактической уловкой. Агенты подгребли к ресторану, двое из них заняли места за столиком, а Малышев преспокойно отошел от буфета, толкнул дверь, еще несколько шагов — и оказался в самом начале перрона, там, куда втыкались все пути четырех платформ, где останавливались электровозы и где следил за порядком величавый Ильич на пьедестале. Патрикеев взлетел на третий этаж вокзальной администрации, командовал оттуда. Герман Никитич же неторопливо двинулся вдоль вагонов десять минут назад поданного поезда Москва-Прага. Не всем продают билеты на международные экспрессы, публика ездит в них чистая, не обремененная мешками и купленными в столице шмотками. Малышев, ни с кем не контактируя, шел по почти пустой платформе, и только тогда Патрикеев осознал дьявольский умысел Германа Никитича: за ним идти было — н е л ь з я! Все агенты были одеты для толпы, чтоб сливаться с нею, никто не мог сойти за отъезжающего, а выделиться, последовать за объектом было смертельно опасно. Стоило тому обернуться — и агент разоблачил бы себя, агент оказался бы на безлюдной платформе, как на лобном месте. Приходилось поэтому, скрипя зубами, издали наблюдать за, несомненно уже, шпионом, который хитроумным маневром отсек от себя наружное наблюдение. Рассмотреть его можно только с платформы пригородных электричек, туда и бросили агента, но вдруг на первый путь первой платформы подали поезд Москва-Гомель, и тот сразу заслонил обзор. Становилось ясно, что время появления на вокзале было Малышевым продумано и высчитано, если, конечно, аналитическую работу эту не выполнили в американском посольстве. Одиннадцать агентов наружки застыли в ожидании, не зная, что предпринимать. Нумерация вагонов пражского экспресса — с хвоста, то есть последний, семнадцатый, у ног Владимира Ильича, возле третьего Герман Никитич задержался на полминуты, о чем-то поговорил с неизвестным или неизвестной в вагоне, а затем резко повернулся и пошел обратно, наводя Патрикеева на воспоминания о памятнике героям Плевны и корреспондентке словацкого радио, заодно и внушая надежду на скорое возвращение объекта домой.

Рано, однако, радовался Патрикеев. Малышев, подставив себя под глаза лучшим бойцам Седьмого управления, вдруг исчез, как сквозь землю провалился: на платформе оказался вход в метро, несколько месяцев назад сделанный, и даже Наденька не знала о нем. Пока думали и гадали — Малышева и след простыл. Более того, нигде, ни на одной станции не замечен он был выходящим из метро. Ускользнул, как угорь. «Гегемон!» — презрительно обозвал себя Патрикеев любимым словечком Вениамина. Да и кого, кроме себя, винить? Сам ведь снял часть людей с объекта, убаюканный смирным поведением Германа Никитича. А тот, вполне вероятно, вступил в разговор с кем-то в поезде буквально для отвода глаз. Весь его проход по платформе мог быть контроль-

ным, то есть Малышев, показывая себя кому-то в одном из вагонов, давал знак: всё у меня в порядке. Или наоборот: нахожусь на грани разоблачения.

И всё. Пропал человек. Был человек — был и объект, была и наружка. Нет человека — нет и наружки. «Я ему глаза выцарапаю...» — скулила насмерть обиженная Наденька.

Вернулись в Теплый Стан, прослушали последнюю запись. «Ты куда?» — это Софья Владиленовна. И ленивый, со вздохом ответ мужа: «Прогуляюсь малость, голова болит...».

Было уже семь вечера. Экспресс еще не дошел до Брянска, а списки пассажиров лежали перед Вениамином: той самой корреспондентки ни в одном вагоне не обнаружили, а допрашивать проводниц решено было в Киеве. Наденька успокоилась и даже тихохонько радовалась неприятностям начальства, имея свое мнение об отлучке Германа Никитича. Мужику, рассуждала она, надоела баба, вот и съездил потрахаться с ассистенткой Ритой, есть там на кафедре такая костлявая уродина. Кто-то возразил: жена красавица — и на уродину? «Э, милый, в них такой костер пылает, что только палки успевай подбрасывать!» Посмеялись и забыли, другой вопрос терзал: к а к мог Малышев догадаться, что за ним неустанная слежка? Жил затаенно несколько месяцев — и вдруг сорвался. Кто шепнул ему, кто навел на мысль? Наружка, то есть Седьмое управление, лучшая в мире, распознать слежку может только профессионал высочайшего класса, но никак не доцент какой-то там кафедры. И где сейчас этот доцент? С американским паспортом и измененной внешностью садится в лайнер? Документ с ним или пересекает границу в дипломатической почте?

Герман Никитич появился около десяти вечера, Софья Владиленовна, вдоволь наболтавшись по телефону, несколько удивилась: «Ты где это пропадал?». Ответом было невнятное бурчание, зато звонко расхохоталась Марина: «Папа! Ты молодец: завел любовницу!». Сидевший в кустах наружник внес некоторую ясность: Герман Никитич к дому подъехал на такси и со стороны проспекта Вернадского.

Начальство громы и молнии метать не стало, приказало собрать все сведения о протекшем дне и доложить во вторник, наблюдение же усилить.

12

Еще не опомнились от шпионской (в лучшем случае — хулиганской) воскресной выходки Малышева, как он подбросил сущую подлянку — на следующий же день, в понедельник. Вернулся из института домой, пообедал, позвонил теще, узнал, в чем нуждается ее холодильник, Софья Владиленовна пофыркала, отсчитала деньги (она ими распоряжалась в

семье, что, Патрикееву казалось, ущемляло права Германа Никитича). Малышев же доехал до «Профсоюзной» и потолкался на Черемушкинском рынке. После вчерашнего провала наружники старались ничего не упустить, вели групповое наблюдение, кольцом охватив объект. Патрикеев подкатил на машине, контролировал. Герман Никитич смирнехонько сел на 130-й автобус, шедший до Минской улицы. Агенты менялись, чтоб не примелькаться. Один сошел на остановке «Ленинский проспект», следующий должен был сесть на «Метро Университетская». Герман Никитич же покинул автобус на полдороге между остановками, у кинотеатра «Прогресс», что не показалось странным: изредка объект кое-что из молочных продуктов прикупал в магазине поблизости. И вдруг, как вчера на вокзале, Малышев испарился, исчез. Агенты забегали. Десять, пятнадцать минут — а Германа Никитича всё не было. Не доверяя шоферу (тот плохо запоминал людей), Патрикеев сам сел за руль, вел машину медленно, вглядываясь в прохожих, и увидел-таки беглеца: Малышев преспокойно стоял на той же остановке, будто никуда с нее не отлучался. День был мокрым, еще с ночи зарядили дожди, у остановки — обширная лужа, Герман Никитич стоял в метре от нее, и разъяренный Патрикеев промчался мимо него так, что окатил вероломного подшефного с головы до ног грязной водой: на тебе, получай, и впредь не смей!

Через пять минут выяснилось, что Герман Никитич заскакивал в ранее неизвестную наружке книжную университетскую лавку, в том же доме, но с тыльной стороны (в лавку эту Патрикеев стал потом захаживать), что Малышева в какой-то мере оправдывало, но сам тот факт, что объект вздумал своевольничать и, более того, глумился над наружкой, — такого Патрикеев стерпеть не мог. Именно так расценивал он то, что на языке юристов называется эксцессом, потому поостыв немного, поразмыслив вместе с Вениамином, догадался: шпион так вызывающе дерзко себя не ведет, здесь иная мотивация — предательство! Не Родины, конечно, хотя и такое не исключается. Предательство! Измена всему тому, что стало нормой поведения двух сторон — наружки и самого Германа Никитича.

Горя мщением, он красочно расписал Вениамину очередную выходку Германа Никитича. Тот поколебался, но всё же принял меры. Три дня в квартире Малышевых бесновался телефон, специально натасканные хлопцы сквернословили, обозвали Софью Владиленовну блядью, самого Германа Никитича мудаком, пытались было и Марине нахамить, но та лишь радостно хихикала, выслушивая предложения перепихнуться. А потом ребята вообще отключили телефон — не надолго, конечно, семью надо было слушать.

На четвертые сутки строптивый Герман Никитич понял, что от него требуется, и стал по телефону, говоря с институтскими коллегами,

излагать между прочим план предстоящих действий: куда пойдет, с кем, на какое время.

Успокаиваться, однако, было рано, начальство поставило правильный вопрос: кто выдал наружку. Из чьих уст вылетела секретная информация, какой идиот не вовремя высунулся или выдал себя взглядом, жестом, словом? Кого за уши оттянули от замочной скважины? Кто наследил, черт возьми?

13

Решили прослушать все записи за последний месяц, неспешно вникнуть в них. Наденька пришла в Теплый Стан одетой под супругу дипломата, лишь юбку укоротила, чтобы показывать Патрикееву ноги, которыми очень гордилась. (Однажды, огладив себя изящными руками от шеи до бедер, сказала почему-то с горечью: «Алмаз, ограненный наружкой...».) Села в глубокое кресло, закурила «Мальборо» (сигареты доставала в «Ленинградской»). Слушала, думала, останавливала магнитофон, сверяла его с докладами всех групп наблюдения. Сварила кофе. Потерла виски. Помассировала голову — себе и Патрикееву. И слушала, слушала. Слушала...

Вскочила:

— Ах, мерзавка!.. Ах, сволочь!.. А я ей путевку выбила!.. Ах, сучка!

Почти одновременно с нею догадался и Патрикеев. Подвела их Анна Петровна Шершенева, страстная любительница книг, считавшихся модными, она выклянчивала их на ночь, готова была мчаться на такси к знакомым, чтоб перехватить, а тут вдруг повезло, академик Лебедев дал на пару дней Герману Никитичу «Дар» Набокова, и Анна Петровна, которой уши прожужжали этим писателем, внезапно завалилась в гости к Малышевым и попросила того дать ей «на вечерочек» этот «Дар» — не вытерпела, подходил к концу указанный Лебедевым срок, и Герман Никитич не мог не вспомнить, что Шершеневой о Набокове не говорил, вообще никому в семье о «Даре» не рассказывал, книгу держал под ключом в письменном столе. Следовательно...

Наденька никак не могла успокоиться, крыла Шершеневу такими словами, что за стеною вздрагивал бывший матрос Витя.

— Ну и народ пошел! — гремел Наденькин голос. — Мораль потерял, ни чести, ни совести! Не на кого положиться! Суки ржавые! Лахудры! Я с самого начала чуяла: эта Анька нас подведет! У нее что-то японское в морде!

Вызвали Вениамина. Тот погрустил, задумался. Патрикеев с тревогой ждал его решения.

— Вот что, ребята: надо угомониться. Если мы Малышевым еще раз подсунем кого-нибудь, Герман Никитич взбеленится и такого нагоро-

дит, что до Председателя дойдет. И так уже люди с ног сбились, в Киеве растрясли весь поезд, а уж в Чехословакии...

Дух захватывало от того, что творилось в братской стране, волосы вставали дыбом. Тамошнее 10-е Управление МВД объявило аврал, из отпусков отозваны лучшие кадры, в Брно арестовано восемь человек. Однако Дагмара Поспишил, давно обложенная наблюдением, пронюхала о предстоящем аресте и рванула на Запад, вчера поливала грязью социализм, изменнице всё теперь не нравится, даже нефтепровод «Дружба». Тут поневоле дашь команду «отбой». Тут пора самому Герману Никитичу призадуматься. Рассказать бы ему об арестах в Чехословакии, так он по утрам бы стал бы оперативнику в дежурной машине докладывать, куда идет и зачем.

Угомониться, по мысли Вениамина, означало следующее: больше никого в квартиру не вводить, чересчур инициативному ассистенту кафедры дать по рукам, пусть не всучивает Герману Никитичу миниатюрный фотоаппарат «Минокс». Какие-то непонятные проблемы у объекта возникли с ректором — так с ректором надо поговорить, чтоб не цеплялся по пустякам. Нельзя ли, кстати, рублей на двадцать повысить оклад и жене и самому Герману Никитичу?

Патрикеев возмутился.

— Кто кого пасет? Мы его ведем — или он нас? Так мы что — под его дудку плясать будем?

Молчание Вениамина громче слов говорило: такой вариант допустим. В конце концов, выдавил он, ничего страшного не произошло: информаторша выдала только себя, а не всю сеть, Малышеву за урок же — спасибо, недооценили его на Лубянке.

Посидели, подумали, повздыхали, решили учесть и такой нюансик: Анна Петровна могла с умыслом расшифровать себя, сознательно.

Между тем все магнитофонные записи попали опытным агентуристам Седьмого управления, и они сделали тревожный вывод: доцент кафедры истории Герман Никитич Малышев, не сходя, как говорится, с места, распознал всю паутину информаторов института. И сделал это чрезвычайно продуктивно и просто. Он — по телефону — доверял какой-нибудь слушок выбранной им группе сотрудников, а спустя некоторое время, постепенно обзванивая всех коллег и в том числе тех, кто не связан был с группой, определял по ответам, через кого слушок стал достоянием многих. Два-три таких опроса — и становилось известно, кто с кем связан и по какому признаку.

Агентуристы поразились и пошли к начальнику управления. Метод Германа Никитича приняли на вооружение. Надо бы его самого поощрить за ценные идеи, но ограничились благодарностью Патрикееву. Не преминули однако напомнить:

— Паспорта и визы для поездки на конгресс начнут оформлять в октябре, время еще есть, надо изобрести такой ход, чтоб Герман Никитич забыл о Лондоне.

14

Патрикеев переставил людей из наружки, на всякий случай изменил оперативные псевдонимы. Герман Никитич из «Столяра» стал «Астровым», Софья Владиленовна, которая так и напрашивалась на «Серебрякову», переименовалась в «Ирину». На неделю освобожденный от наблюдения, Патрикеев искал такую зацепочку, чтоб Герман Никитич об Англии зарекся думать. Забрел в Ленинку, полистал ученые труды. Сидел в холлах гостиниц, думал.

И случайно встретил Тамару из «Ленинградской». В далеком прошлом продавщица, она и на новом поприще пустила в оборот словечки «прейскурант», «ассортимент», «уценка», «покупатель всегда прав», а теперь честно призналась, что от «розничной» торговли перешла к «оптовой», иначе говоря — создает бордель высокого класса, кадры — выдающиеся: жены ответственных работников. Именно жены, на штатных проституток клиенты, все из южных республик и в ранге не ниже заместителей министров, не клюют, им подавай замужних и обязательно из высшего света. Квартирка шикарная, сейчас дооборудуется техникой, меблировка опять же, и — требуется нетрепливая прислуга, причем в юном возрасте и с хорошими внешними данными, остро нужны девочки в буквальном и физиологическом смысле, чтоб клиенты облизывались, но не более. В таком подборе кадров, разъясняла Тамара, большой смысл. Юные создания сбавят гонор министерских жен и придадут заведению особый характер, возбуждающий потенцию далеко не молодых клиентов, они как бы включатся в детскую игру «Зарница».

Патрикеева озарило: Марина! Бордель долго не просуществует, его прихлопнут, Тамарку возьмут (и вскоре выпустят!), кого надо запечатлеют на пленке, а милая школьница Мариночка, вляпанная в уголовное преступление, преградит отцу путь на Запад.

Прекрасная идея! Восхитительная! И едва не сорвавшаяся, потому что Наденька по своим каналам узнала о квартирке, куда будут на часок-другой заезжать жены ответственных товарищей, и о кандидатуре на роль прислуги. Прознала — и затаилась, как-то особо посматривала на Патрикеева, и тот почуял опасность, да и Вениамин честно предупредил: Наденька, если на кого озлится, со свету сживет. Тем не менее Патрикеев пошел к начальству, которое с мукой во взоре слушало его. Потом потекли долгие речи о чистых руках, горячем сердце и холодном уме. Сказано было, что вопрос с борделем еще не утрясен, нет согласия Председателя, но кое-

какой смысл в рационализаторском порыве существует. «Подождем и подумаем».

Помощь пришла с неожиданной стороны. Вениамин приказал срочно прибыть в Теплый Стан — техника уловила прелюбопытный разговор сына и отца. Такие беседы велись во многих квартирах столицы: подходили к концу выпускные экзамены в средней школе, и первейшая родительская обязанность — устроить детей в вузы. Проблема для многих семейств мутная, но не для Малышевых, поскольку Роман гарантированно кончал школу с медалью, собеседование ему не страшно, и Герман Никитич на самого сына возложил право выбора, то есть куда идти учиться. И сын, оказывается, этот выбор сделал, и речь его была выслушана не только отцом.

Срывающимся от волнения голосом, с паузами и запинаясь, Роман обличительно заговорил о моральном разложении социализма. Сказал, что он, секретарь комсомольской организации школы, был не так давно по делам своим в райкоме и стал невольным свидетелем разговора, которому поначалу не поверил, но позднее навел справки и понял, что собеседники говорили правду, а была она в том, что бюро райкома не выгнало из партии директора рынка, растлившего школьницу, дало «строгача», с милицией снеслось и уголовное дело замяло по той причине, что арестование директора означает назначение нового, которому еще надо воровать и воровать, чтоб набить карманы по самую завязку, а старый наворовал столько, что уже имеет возможность не брать ни копейки, то есть он отныне честный коммунист. Невероятная история эта побудила его, Романа, внимательно всмотреться в окружающую действительность, и он увидел мрак стяжательства, мир взяточничества и надругательства над всеми святынями, теми, ради которых делалась революция. Но в этом гнусном мире есть и страх, страх перед органами, и только он, Комитет государственной безопасности, в состоянии удерживать воров и стяжателей от разграбления государства. Поэтому, делал вывод грядущий медалист и сегодняшний комсорг, будущее свое он представляет так: служба в Комитете государственной безопасности! Он подает заявление о приеме его на учебу в Высшую школу КГБ.

Возрадованные Вениамин и Патрикеев поднялись и пожали друг другу руки, соединив их над магнитофоном, с надеждой поглядывая на него.

Ответ Германа Никитича отнюдь не охладил их. Отец, не возражая и не одобряя, спокойно сказал, что в любом случае уважает выбор сына. Однако должен заметить, — продолжал он, не повышая голоса, — что государство как единое целое не может ни развиваться, ни разлагаться по частям, и Роман не прав, приписывая стране всеобщее воровство и частную, исключительную роль органов безопасности. Там те же самые болезни, но только в скрыто-запущенном виде. И там, как везде, как во всем лагере социализма, как и в странах капитализма, наконец, царст-

вует миф, иллюзии, и социализм, кстати, такой же миф, как и капитализм, и, возможно, цивилизация — всего лишь степень самооглупления человечества мифами.

То есть, если Роман верит в КГБ, то пусть становится офицером КГБ.

Таково было решение отца.

15

Это была неслыханная удача, и начальство поздравило всю группу с крупным успехом. К школьникам относились в «Вышке» с пренебрежением, абитуриенты — люди неизученные, психика их еще не сформирована, установочные данные на них зыбкие, от молокососов этих жди любых подвохов. Начальство, однако, снеслось с руководством, и «Вышке» приказано было благосклонно принять документы Романа Германовича Малышева. Что и было сделано. Патрикеев и Вениамин вздохнули с облегчением. Роман Малышев сдаст, несомненно, вступительные экзамены, не все, конечно, а положенные медалисту, станет курсантом высшего учебного заведения Комитета государственной безопасности СССР, о чем исподволь известят зарубежных коллег Германа Никитича, и те в Лондоне примут его настороженно. А если он и протащит через кордон искомый документ, то оценят провоз его как провокацию, а сам документ — отлично сработанной фальшивкой. В будущем же таланты Германа Никитича найдут применение в «Вышке», где он сможет читать курс лекций по теории и практике наружного наблюдения. Не исключено, что одновременно с избранием Г.Н. Малышева членом-корреспондентом Академии педагогических наук он будет повышен в звании до полковника.

У Патрикеева появилось свободное время, так нужное ему, чтоб как-то разрешить мучительную борьбу с собой, потому что к нему всё прилипчивее льнула театральная знакомая Лена, она часто звонила ему домой; со страхом начинал он понимать, что чем-то понравился ей, и девушка эта постоянно напоминала ему о Блондинке; иногда в театре плечи их соприкасались, и тогда голова его поникала в смущении; он смотрел на нее сбоку, видел нос, четкие линии губ, розовое ушко, светящееся сквозь прядки волос. И — что пугало — никакого желания обнимать, целовать и оголять плечи, грудь, — и всё потому, что была она не совсем обычной девушкой, а дочерью заместителя заведующего Вторым европейским отделом МИДа, то есть не пара ему, и когда — на другой же день после первой встречи — он, осторожности ради и номер телефона зная, поинтересовался, с кем столкнула его судьба, то напуган был, и такая еще мысль залила черной ваксой девушку: а не Наденька ли всё подстроила?

Ни матери, ни сестре не говорил он, где служит-работает и кем. Уверял, что в секретной организации, занятой ракетами, и Лене внушил то же

самое, не скрыв, однако, учебу в заочном юридическом. Пришлось ей поверить, однажды позвонила ему, дома не застала, заговорила с матерью, а та в старческой болтовне и пожаловалась — сын, мол, в вечерней смене и некому сходить в аптеку за лекарствами. А Лена — что очень настораживало — была практичной и деловой, воспользовалась предлогом, прибыла к матери, лекарство, конечно, принесла, но и насытила любопытство свое: квартиру рассмотрела, убедилась, что кроме матери и сестры никого из женщин в ней нет и не было, книги на полке изучила и убедилась, что насчет юридического — никакого вранья нет.

Что делать с ней — Патрикеев не знал, а самого очевидного страшился. Сделает предложение, женится — и голая правда выпрет: «Семерка», Седьмое управление КГБ! И какая жена, даже введенная в заблуждение, потерпит мужа, который днями и ночами пропадает неизвестно где, а ясным солнечным утром почему-то берет с собою зонтик в сумке, плащ, банку консервов и кое-что из одежды. А в отделе нехорошо усмехнутся — никак, спросят, злоупотребил служебным положением? И не докажешь же, что случайно познакомился, не объяснишь, что на дипломатов нацелена особая группа.

Она дважды приглашала его к себе, намечались, разумеется, смотрины. Отец ее, это уж точно, только порадуется такому зятю: работяга в семье укрепит его отнюдь не шаткое положение в министерстве, диплом юриста позволит трудоустроить парня из пролетарского сословия.

Как ни крути, а что-то надо делать, порывать, что ли, с Леной, — и Патрикеев проклинал тот день, когда сдуру сунулся в грузчики транспортно-экспедиционной конторы.

Что ни решай, а надо ждать окончания этого затянувшегося дела. Как только приказом начальника Высшей школы КГБ Малышева Романа Германовича примут в ряды чекистов, можно напроситься в длительную командировку. В маленьких городах местные наружники так примелькались, что для заполнения брешей часто вызывали столичных.

16

Софья Владиленовна забрала дочь с собою и укатила на юг. Решению сына она не противилась, изредка позванивала в Москву и получала благоприятные вести: мальчик прошел первый тур собеседования на политические темы, и ныне он в учебном лагере, где вместе с будущими однокурсниками готовится к экзаменам. Герман Никитич утрясал институтские дела свои, попыток выйти из-под контроля не предпринимал. Он был дома и валялся с книжкой на диване, когда встревоженный агент у подъезда доложил:

— Лариосик появился!

Роман то есть, Роман Германович Малышев появился, а по всем грубым и точным подсчетам в Теплом Стане возникнуть он не мог, ибо под строжайшим присмотром был на учебной базе Высшей школы КГБ. Только прослушав запись и ничего в ней не поняв, Патрикеев позвонил в испуге Вениамину, сообщив тревожную новость. Сын Германа Никитича, юноша, на которого такие смелые надежды возлагал Комитет ГБ, своим ключом открыл дверь, поставил чемодан и отчетливо произнес: «Я передумал. Мне там не место». Герман Никитич спросил: «Кушать будешь?» — и в вопросе не было ни одобрения, ни порицания. Да и Роман, видимо, не расположен был к разговору. Промолчал и тогда, когда отец сказал о том, что есть еще время подать документы в МГУ или «куда хочешь».

Что случилось с умным и честным мальчиком в учебном лагере, за что выгнали его, какие провинности совершил — за ответами поехал в Звенигород Вениамин. Порядки в лагере строгие, дисциплина там жесткая, — но именно к такому суровому быту и приучал себя с детства Роман Малышев. Надерзить начальству он не мог, убежать в самоволку тем более, алкоголь презирал — так что же, черт возьми, произошло?

Вениамин вернулся. То похохатывал, то замирал в томительном недоумении, то вздыхал обреченно. Закрыл дверь, чтоб Витя не слышал, и огорченно поведал правду. Роман из лагеря сбежал, забрав документы, и что произошло с ним — не такая уж загадка. Конкурс в «Вышку» — как в Физтех, человек пятнадцать на место, чекистами хотели стать старшины обеих правительственных дивизий, Таманской и Кантемировской, люди отобранные и рекомендованные особыми отделами, сотрудники разных НИИ, работавших в системе госбезопасности, парни по путевкам комсомола и прочие и прочие, в том числе и только что кончившие школу ребята. Жили в палатках, по шесть человек в каждой под опекой майора или капитана, эти изучали будущий контингент. Еще до лагерей майоры и капитаны побывали в семьях будущих чекистов, знакомились с родителями (семью Малышевых освободили от этой повинности, чтоб ничто не препятствовало поступлению Романа в «Вышку»). О том, каков конкурс и кто достоин — было известно каждой палатке, и все изощрялись в доносах друг на друга. «Товарищ майор! Абитуриент Сидоров в неположенное время общался с девушкой через забор и получил от нее две пачки сигарет!» Абитуриента Сидорова немедленно отчисляли. «Товарищ капитан! Вчера к абитуриенту Петрову приходили родные и вели антисоветские речи!» Естественно, Петрова тоже отчисляли. Донесли и на Романа, поскольку никто к нему не приезжал: «Товарищ майор! Родные Малышева не одобряют политику партии и правительства, решение сына ставят под сомнение!». Романа, однако, не отчислили, а с доносчиков строго спросили: откуда вам известно о настроениях в семье Малышевых? Кто дал информацию?

— Не советский он человек, — сказал Вениамин о Романе Малышеве. — Не нашенский. Человек при социализме должен в быту и на работе жить так, словно за ним присматривают. Да и не только при социализме, — обобщил он, и Патрикеев не мог не согласиться с ним. Он не только в семейство Малышевых всматривался, он видел, как живут соседи справа и слева, внизу и этажом выше. Люди соблюдали некие правила поведения в семье, голыми не ходили, хотя температура в комнатах позволяла это, старались не ссориться и в свару вступали только ради установления мира в пределах двадцати восьми квадратных метров, тридцати шести или сорока семи, и наружное наблюдение за ними осуществляла некая безличная организация, имя которой — мораль, нравственность, традиции.

— Помнишь, у Толстого где-то высказана мысль: воспитанный человек должен, оставшись наедине, вести себя так, будто он в обществе.

Тут-то Витя и доказал, что служил на флоте не каким-то там безмозглым артиллеристом, а гидроакустиком: через две двери услышал разговор. Прервал доверительно-горькую беседу друзей, глянул на начальников почти презрительно.

— Что-то вы с Толстым ошиблись... Я его в школе проходил. Это же он написал «Севастопольские рассказы». Артиллеристом служил, офицером на батарее. А не в наружке.

Патрикеев вспылил и едва не обозвал Витю кретином, но Вениамин сострадающе погладил юного наружника по бравому чубчику и успокаивающе глянул на друга — всё, мол, нормально, всё образуется, поумнеет твой Витя, прицепим его к какому-нибудь меломану — так он и оперу полюбит, на литературного критика посадим — специалистом по словесности станет.

17

Горький был день, и еще горше неделя, когда решали, что делать дальше. Пока думали да строили варианты, Роман Малышев обманул всех еще раз, его приняли в МГУ без проволочек, начальство опоздало, и не забрать теперь парня в армию, не быть ему заложником в крайнем случае. Еще одна недурная идея возникла — не подбросить ли Герману Никитичу фотографии с Вадиком и Софьей Владиленовной: гнусно обманутый муж обязан подать на развод, судебное разбирательство станет поводом для отказа в выдаче визы. Патрикеев стал уже признанным спецом по семье Малышевых, ему эту идею дали на экспертизу, и после долгого раздумья он ее отклонил. Нет, Герман Никитич если и возмутится, то из семьи не уйдет, слишком он любит неверную и развратную жену, в его тихой и неугасающей страсти к супруге был накал тех двух суток, в которых Блондинка очертя голову отдавалась сибиряку. Более того, сам разврат Софьи Владиленовны каким-то непонятным

образом укреплял семью, сплачивал ее. Уже на курорте Софья Владиленовна пустилась в разгул, хоть рядом и была дочь, оказавшаяся к тому же ябедницей: Марина написала отцу об очередном романе матери, и Герман Никитич, прочитав письмо, без насмешки и негодования спокойно, будто о погоде в Сочи, сказал: «Мать наша опять дурит...», на что сын ответил снисходительным смешком.

Тупиковая ситуация, но начальство не казалось удрученным. Приказало Патрикееву идти в отпуск, вспомнило вдруг, что оставило без внимания вызов института на экзаменационную сессию, присоединило к отпуску еще и десять положенных дней. Патрикеев урывками, набегами сдавший уже экзамены, томился от скуки и ожидания Елены, которая была на практике. Неделя прошла, другая, он позвонил однажды в Теплый Стан. Трубку никто не поднимал, в чем не было ничего удивительного: у Малышевых, возможно, никого нет, наблюдение временно свернули, агент караулит на углу дома, всё в порядке.

Но и через час, через два — молчание. А Софья Владиленовна уже третий день как в Москве, у Германа Никитича никаких дел в институте нет, дома обязан сидеть, и Роман... Что-то определенно случилось, а Вениамин помалкивает да бубнит какую-то невнятицу. Патрикеев поехал к нему в управление и еще больше встревожился. Старый друг избегал взгляда, потягивался, рассуждал о суете сует, вздыхал, жаловался на одиночество: ни одна баба не нравится, квартира убогая, нет денег на приличную мебель...Удалось все-таки его растормошить.

— А что?.. А ничего... Кто на смене? Никого на смене. Пусто.

— В чем дело?

— Да нет никакого дела, сказал же я тебе!

— А яснее?

Вениамин смотрел на него пустыми глазами.

— Снято наблюдение. Полностью. Жучки тоже.

— Почему?

— Документ, который искали, нашелся.

— Где? У кого?

— В Вашингтоне. В библиотеке Конгресса.

У Патрикеева подкосились колени. Он взмокнул.

— Значит, Малышев переправил его все-таки за границу... Их уже всех арестовали или только Германа Никитича?

Страдальчески сморщилось лицо друга и начальника, рука взметнулась к потолку и легла на лоб.

— В библиотеке Конгресса документ. Лежит он там с 1923 года. И никогда не был в архивах ЦК.

Прислушиваясь к тому, что происходит в нем, Патрикеев напрасно искал в себе злобу, разочарование или что-либо, унижающее и оскорбляющее. Не было документа — ну и черт с ним.

Другое просилось на язык.

— А что у Малышевых?

Тут у Вениамина слова потекли не жидким ручейком, а бурным потоком. Всё в порядке у Малышевых, радостно сообщил он. Герман Никитич собирается в отпуск, выбрал Подмосковье. Романа включили в какую-то молодежную бригаду. Софья Владиленовна, понятно, строит куры какому-то лоботрясу. Но Марина-то, Марина, — Марина по-своему оценила скоротечный романчик матери с гражданином Ивлевым из Минска, читает толстые книги, привела как-то к себе того Гену, которого некогда обвиняла в попытке изнасилования, но поразительно скромно вела себя, не провоцировала, не дрыгала ногами, разочаровала Витю...Ну, а что дальше — так кто их знает, наблюдение-то — снято.

— А жаль, — подводил итоги Вениамин. — Оно должно быть за всеми. Человек обязан помнить, что любой его поступок станет известным коллективу, руководству, государству... Тебя-то вот обо мне начальство — спрашивало?

— Нет. Ни разу.

— И правильно делало. Толку от тебя никакого. Начальство хочет получать только ту информацию, которая подтверждает уже выработанное ими или указанное свыше мнение. А ты чересчур честный, ты лепишь не то, что они хотят услышать.

— А тебя обо мне — спрашивали?

— А как же. И я всегда отвечал так, что они были довольны. И мною, и тобою.

Тяжелый был разговор, и чтоб свернуть его Вениамин рассказал хохмочку. Патрикеева — ищут! О Патрикееве уже написаны горы бумаг! Опер из Второго управления, какие-то виды имевший на Малышева, обратил внимание на некоего молодого человека, который с полным знанием дела изучал в Ленинке историю побегов на Руси и в библиографическом отделе задавал вопросы, которые могли свидетельствовать: молодой человек усиленно подбирается к Герману Никитичу с, возможно, преступными целями.

— Своя своих не познаша, дорогой гегемон.

Еще более удивительным было превращение Наденьки в научную работницу. Написала она трактат о роли Владимира Ильича в создании наружного наблюдения, исходя из фразы Вождя: «Знать массы. Знать настроения. Знать всё». Начальство почему-то оскорбилось, сурово заметило: у Ленина достаточно заслуг перед народом и партией, незачем вешать на него еще и наружку. Зареванная Наденька ходила по обоим управлениям, жаловалась, никто ее не понимал. Тогда в обществе «СССР — Франция», столкнувшись с одной еврокоммунисткой, она всплакнула: «Я — узница совести...». И пылкая француженка обняла ее, рапорт же по этому поводу помирил начальство с Наденькой.

18

Елена вернулась к началу кинофестиваля. Отец, конечно, обеспечил ее абонементом в клуб МИДа, фильмы там крутились не хуже тех, что в Доме кино, или во Франции, где Елена прожила пять лет. Можно было дивиться умению режиссеров заглядывать в чужие жизни с помощью того, что Патрикеев назвал в н у т р е н н и м наблюдением, и, пожалуй, некоторые ленты затмевали достижения всех управлений КГБ. Жарко было в Москве, газировочные автоматы прыскали теплую жидкость, за мороженым очереди, в кафе на улице Горького Елена пила холодное шампанское, тонкие пальчики ее крутили бокал, трогали вилки, ложечки, последние дни она больше молчала, да и Патрикееву не хотелось говорить.

Она молчала — и он молчал. Довел он ее однажды до скверика, где обычно прощались, она протянула руку, а он не мог ее взять: смотрел в поднятые к нему глаза и вдруг обнял Елену, так и не решаясь сказать то, что говорят, когда просят девушку идти в загс. Он прижимал к себе тело, внезапно ставшее женским, таившее в будущем краткий, как взмах ресниц, взлет чувств, пока неизвестно, на кого обращенных, но для всех гибельных, и в бесконечности поцелуя был ужас, испытанный им в момент, когда он увидел умирающую Блондинку, и вера в то, что теперь-то он освоит английский язык.

А Елена сказала, что полюбила его в тот миг, когда он предложил ей билет в театр; что все бытовые хлопоты — квартира, свадьба, место работы — она берет на себя; что, если ему это интересно знать, он, Патрикеев Леонид, ее первая любовь, и он же будет ее первым мужчиной.

19

Всё уладил Вениамин, и пришедшего из отпуска Патрикеева начальство встретило понимающими улыбками — да знаем всё, знаем, можешь не говорить, утрясем!..

Утрясли. Эта среда обитания себя исчерпала, в новую предстояло войти через полтора месяца: студент очного юрфака, МГУ.

Последний и уже не контрольный звонок в Теплый Стан, трубку поднял Герман Никитич. Растянутое, приглашающее говорить «да-а...слушаю...», затем понимающее молчание, щелчок — и словно ветер подхватил уроненное, взметнул его к небу, которому надо быть благодарным: любая семья в стране могла стать учебником жизни, но Патрикееву повезло, ему достались люди с благородными пороками, он жил с ними, напитывался ими и воспитывался ими же. Он не просто сменил среду обитания, он поселился в квартире, которую обжил, которую полюбил.

20

Историки, слависты и русисты встретились в ноябрьском Брайтоне. Итоги конгресса подвела пресс-конференция. Герман Никитич Малышев вел себя превосходно, отметая провокационные вопросы, что дало сидевшему в зале Патрикееву подумать о том, что благодаря ему и его коллегам удалось сохранить для мировой науки талантливого исследователя.

От сидевшей рядом жены не укрылось его внимание к соотечественнику. Спросила: он что — знаком с ним?

— Нет, не знаком... Но много читал о нем, много слышал...

25.02.99

КОММЕНТАРИЙ К СУДЬБЕ

* * *

С крючка сорвавши макинтош,
Разгневанный — сказал сурово:
— Ты полоумная, ты врешь,
Ты ненадежна, будь здорова.

— Прости меня, — скажу. — Прости.
— За что?
— За всё. (Мы будем кратки).
За то, что я взялась расти
Назло первоначальной кладке.

— Единодушье есть обет.
А ты изменчива как линза.
— Но разве мы в ответе (нет)
За ранний огнь максимализма?

Я в рост пошла.
— Да ты ж как яд
Съедаешь тех, кто постоянней.
И прочь, а на тебя глядят
Руины обоюдных зданий.

— Неправда: я держала речь
Навек... Я не была лукава...
— Ты больше ни вещать, ни жечь,
Ни трогать — не имеешь права!

...Замечу: этот разговор
В просветах ужаса и дрожи —
Не о любви (иной узор) —
О дружбе. Что нам делать, Боже?

Татьяна БЕК — родилась в 1949 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор нескольких поэтических сборников — «Скворешники» (1974), «Снегирь» (1980), «Облака сквозь деревья» (1997) и др., а также антологии по истории акмеизма («Акмэ». М., 1997) и многих критических статей и эссе в центральной периодике. Член редколлегии журнала «Вопросы литературы», доцент Литературного института. Живет в Москве.

* * *

Всё равнодушней, всё аморфней,
Всё плоше сбивчивая кровь...
Тебя преобразят, как морфий,
Моя жестокость и любовь —

Нена́долго. И снова ломка:
Тревоги иволга: врага
Сварганить: голосить негромко,
Покуда радуга-дуга

Взойдет над кровью, как над рябью
Узорной: озеро... осот...
Игла — и гибель! Душу рабью
(Твою, спесивец) н е спасет

Умышленное зазеркалье,
Правдоподобное
как ложь.
...Ты былью был. Тебя украли.
И мне ль распутывать грабеж?

* * *

Когда ты там один... Когда с улыбкой мрачной
Пластинке говоришь, как девочке: «Играй!» —
Я брошена, как мяч у изгороди дачной
(Уехал, позабыв заколотить сарай),

И в изморози я — ненужная — зимую,
И лгу сама себе, что сторожу жилье,
И слушаю звезду, огромную и злую,
Но все-таки *м о ю* . . . Я слушаюсь ее,

Родную сироту среди чужих созвездий
(Возможна параллель, но нет, остерегусь)...
О, стол на Рождество — напротив у соседей,
Где свечки, и пирог, и золотистый гусь, —

А ты паришь во тьме, а я лежу в канаве,
Как пионерский мяч... Сколь мощен человек,
Когда с библейских дней его не доканали
Разливы страшных бед,
и катастроф,
и рек!

* * *

Кто там — Кащей или добрый колдун?
Красное солнце над черными елями.
На голове моей, видишь, колтун:
Я не расчесывалась неделями.

Солнце нежданное — выкормыш тьмы.
Ретироваться и прятаться некуда.
Жду откровения, чуда, чумы,
Напоминая невесту и рекрута.

Треснули от напряженья очки.
Стая взлетела — воронья и галочья.
(О, неужели — опять в новички
И в персонажи из Федор Михалыча?)

Да. Не получится выжить в норе —
Только в миру, обязательно в мороке,
Где вместо точек — сплошные тире
(«Авторский список», как скажут текстологи).

Если *кипит*, то *бежит* молоко...
Видишь: кипела — бежала — не выросла.
(Не уходи и теперь далеко,
Детская жажда загадок и вымысла.)

Кто там — вещун или злой чаровник?
Пряди расчесаны. Кофта парадная.
...Снова берется писать черновик
Жизнь окаянная,
жизнь ненаглядная.

Конец апреля

О. Сидельниковой

1

Чудь чудила и меряла меря...
А сегодня, на пике весны,
Провокация русского хмеля
Насаждает кустистые сны.

Самолеты летят на Чикаго:
Ну и я, никуда не летя,
Не в таких воздусях ночевала —
Полудревнее полудитя.

— Собирай сундуки-саквояжи.
И вперед, и не мучайся даже:
Мне достанется больше вина!
Без конца и без краю весна.

2

А в конце апреля
мы съездили на кладбище...
И, представь, снегирь красногрудый
сидел на служебной табличке.
Задержался или вернулся?
И впрямь — изобилье пищи:
Куличи размокшие, пасха, изюм, яички.

Мы сажали с Олей рассаду,
водой казенной
Поливали тугую землю,
а тряпкою терли даты...
И горело красное солнце
над грязной филевской зоной:
Видишь, жизнь уходит, но ей не кричат «Куда ты?».

Наведя порядок
мы долго еще плутали.
Имена чужие и числа
распутывая как нити...
— О, мои снегири и люди,
летите в любые дали,
Но пока живите, но только повремените.

3

Мо́рок кончился, ура:
Гимн сыграем на баяне,
Даже если жизнь — дыра,
И мура, и куча дряни.

Будем в «классики» играть,
Будем в «ножички» сражаться,
И на солнце загорать,
И в озерах отражаться,

И ходить, чеканя шаг,
В неотглаженной одежде...
— Ненавижу! Сам дурак, —
Я чуть что кричала прежде.

А теперь скажу: — Прости.
Дура — я. Отныне будем
Петь,
и гибнуть,
и расти,
Свет не застя добрым людям.

* * *

Так, благость и милость (Твоя) да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
Псалом 22.

Эй вы, мои други-вороги,
всё жрете, хитрите, пляшете?
Ну, нетушки: злому сборищу
даю от ворот поворот.
Господь меня успокоит
на злачной, зеленой пажити
И за руку к тихим водам,
как Пастырь (бочком), сведет.

Да, Он мою душу морит,
чтоб стала блаженно-крепкою,
Он правдою озаряет,
как лампою, путь земной...
Пускай дорога к вершине
репьем заросла с сурепкою,
Я их не боюсь, поскольку
Твой посох теперь — со мной.

Я — грешная, я — пропащая,
я мечена злыми шашнями,
Но даже мою макушку
Его умастил елей.
Мне с Ним хорошо, — как в детстве,
пока мы в ладу с домашними...
О, жить бы в Господнем доме —
чем далее, тем светлей!

Сергей БАБАЯН

КАНОН ОТЦА МИХАИЛА

Повесть

30 декабря. Ясная Поляна. 1903. [...] Хочется написать: 1) [...] 5) Что ты, Иисусе, сыне Божий, пришел мучить нас.

Л.Н. Толстой. Дневник.

I

— Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистыя Своея Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого мученика Полиевкта, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси святых праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец... Аминь.

Завершив отпуст и благословив народ на выход из храма, второй священник церкви Мирона-мученика отец Михаил — высокий, немного рыхловатый молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, с красивым бледным лицом и вьющейся бородою, — скрылся в алтаре и, войдя в маленькую, с лакированным трехстворчатым шкафом и напольным зеркалом ризницу, перекрестился и начал снимать облачение. Сегодня на вечернюю службу пришло необычно много людей, и отец Михаил — несмотря ни на что и за последнее время уже непривычно ему самому — был глубоко растроган. «Какие глаза, какая улыбка была у той девочки! — в умилении думал он, снимая ризу и видя перед собою девочку лет двенадцати, в цигейковой шубке и козьем платке, стоявшую во время службы вблизи амвона. — А тот старик с бородой!.. — и на месте девочки появился высокий морщинистый темнолицый старик с серебристыми, разложенными надвое волосами. — Господи, дай им всем счастья... И мне, мне помоги!..»

Повесив фелонь, епитрахиль и подризник на плечики в шкаф, отец Михаил надел толстый свитер с оленями на груди и превратился в обыкновенного молодого человека «гуманитарного» типа, лишь с не-

---

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 году в Москве. Окончил авиационный институт. Писать начал в 1987 году. Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», «Крымская осень», «Мамаево побоище» («Континент» №85, 87, 92), сборника прозы «Моя вина» (1996). Живет в Москве.

сколько, может быть, преувеличенной против мирских бородой. Разоблачась, он сам почувствовал это свое превращение — правда, не так наружное, потому что нарочно не смотрелся в зеркало и лишь краем глаза видел себя, как внутреннее — нарушение строя души: казалось, с каждой снимаемой им священной одеждой его светлое, высокое чувство ослабевало и замещалось телесной усталостью почти двухчасового служения и уже хорошо знакомой ему за последние дни растерянностью и тоской.

В ризницу неуклюже посунулся дьякон Василий — от одного вида его громадной фигуры сразу стало тесно и даже как будто темно, — остановился в дверях и, вытащив огромный грязный платок, затрубил в него с такой силой, что где-то наверху отозвался эхом иконостас. С осени до зимы Василий мучился насморком; «Восьмый ангел вострубил», — недовольно говорил настоятель, семидесятипятилетний и ветхий уже старик отец Филофей, державший в строгости молодого нового дьякона взамен недавно рукоположенного в иереи отца Михаила. — Дождись, когда народ выйдет из храма, тогда труби!..»

— Ну что, домой? — бодро спросил Василий, движениями человека, вытягивающего веревку, снимая с плеч орарь.

— Нет еще... Посижу в трапезной, почитаю.

— А дома чего?

— Дома... шумно, — неохотно сказал отец Михаил, надевая шарф и пальто и снимая с верхней полки заячью шапку-ушанку. — Телевизор, соседи...

Василий, пыхтя, потянул через верх стихарь.

— На голодный желудок читать... Ты в академию, что ли, собрался?

— Да нет... «Академия, — вдруг понял он. — Господи, какая академия... Что же делать?!»

— А что? Я на следующий год попробую. На заочное. Любой диссер тебе за деньги напишут, у них там расценки... А?

— Не знаю, там видно будет... Ну, я пошел. До завтра.

— Пока.

Отец Михаил вышел на улицу. Было очень холодно и темно, в пустом церковном дворе мертво торчали кресты и черные чахлые метлы обрезанных по осени тополей. Со стороны невидимого проспекта, отгороженного от храма циклопическим павильоном метро, шел ровный, угнетающий гул; с трех других сторон нависали уступчатые громады сталинских многоэтажных домов, редко и тускло светящиеся пещерными прорубами окон. По небу разливалось кровянисто-серое зарево, золотившее невысокие церковные купола и перевязанные цепочками планки восьмиконечных крестов. В дальнем углу двора тяжко погромыхивал цепью и иногда первобытно, по-звериному страшно рычал Ингус — огромный лохматый пес, спускаемый на ночь сторожем, одноруким Степаном. Глядя на черную будку,

отец Михаил вдруг подумал с тоской: храм Божий стеречь от людей... да еще с собакой!..

Он вошел в «трапезную», как они называли одноэтажный кирпичный домик для причта, открыл свою комнату, включил свет, разделся, бросил вещи на старый, продавленный и протертый диван, — сел за письменный стол и опустил голову на руки. Отец Михаил был в тупике или, вернее будет сказать, в безвыходном, казалось ему, лабиринте. Еще неделю назад было легче — он стоял на хотя и требующем нелегкого выбора, но ясном ему распутье; сейчас же он заблудился не только в своих делах, но и в своих мыслях и чувствах.

Беда, постигшая отца Михаила, была в сложном, вдруг случившемся переплетении нескольких жизненных обстоятельств. Первым из них было то, что отец Михаил полюбил. То есть, конечно, в том, что человек полюбил, беды быть не могло, — беда была в том, что женатый человек, священник отец Михаил полюбил замужнюю женщину, свою прихожанку.

Наташа (ее звали Наташа) на вид была ровесницей отца Михаила — он до сих пор не знал, сколько ей лет. В его глазах она была очень красивая: у нее были черные волосы (которые он, впрочем, видел лишь из-под шапочки или платка), удлиненное с тонкими чертами лицо и темно-карие, с золотистым отливом глаза под пушистыми круто-изогнутыми бровями. Отцу Михаилу было страшно признаться себе, на кого была похожа Наташа, — и в последнее время он избегал смотреть на икону, поставленную по обычаю слева от царских врат.

В первый раз она появилась в церкви (то есть в первый раз он увидел ее — выделил ее из толпы: убежденный, что он не смог бы ее не заметить раньше, отец Михаил был уверен, что это был ее первый приход), — в первый раз она появилась в церкви около года назад, в самом начале его священничества — перед тем он два года дьяконствовал. Он увидел и сразу запомнил ее лицо — хотя сейчас, конечно, не смог бы уже описать первых движений своей души — да и тогда едва ли: зарождение любви неуловимо для касти рассудка... Потом он увидел ее во второй, третий, четвертый раз — то есть уже всякий раз узнавая, вспоминая ее, — и у него... нет, и тогда еще он не мог выделить никакого определенного чувства — ну, может быть: «какое приятное женское лицо...» — да! уже — «приятное ж е н с к о е лицо», тогда как во время службы у большинства его прихожан были одухотворенные, приятные п р о с т о лица. И все-таки началось его падение — произошла первая, казалось, совсем неопасная, незначительная осыпь обрыва, к самому краю которого он опрометчиво подошел, — пожалуй, с того, что однажды он вспомнил ее лицо п е р е д службой — и, выйдя на солею и не увидев его среди лиц прихожан, почувствовал легкое разочарование, или огорчение, или досаду. Она появилась через не-

сколько дней — и, увидев ее, отец Михаил обрадовался и заволновался, — и вот после этого раза он уже перед каждым богослужением вспоминал о ней и хотел увидеть ее.

Погибельно для него было еще и то, что он не вдруг распознал опасность: *всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем,* — а в чувстве его и искры не было вожделения, ему было просто приятно и радостно смотреть на нее... Первое настоящее потрясение, которое открыло ему глаза на пропасть, разверзшуюся перед ним, он испытал вскоре на благовещенской литургии.

Они служили вдвоем с отцом Филофеем; она пришла и стояла в толпе, у придельного иконостаса, — среди однообразных лунок десятков лиц он отчетливо видел ее лицо. Провозглашая троичное славословие, отец Михаил вдруг понял, почувствовал страшное: что он служит для Господа... и для нее! — нет, даже так: *и* для Господа, *и* для нее!.. — и неожиданное осознание этого так потрясло его, что он сам, вместо лика, начал читать псалом... Правда, с ним и раньше случалось, что, захваченный видом самозабвенно внимающих его слову людей, он испытывал ощущение, что служит для Господа *и* для паствы — в том смысле, что не вполне отрешается от желания как можно глубже, сильнее (во славу Господню и на благо пасомых) воздействовать на нее — и даже (и вот это, уже, конечно, был грех) от осознания — впрочем, без всякой, конечно, гордыни — силы своего воздействия на людей. Он, кстати, подозревал, что среди священнослужителей встречаются люди с Наполеоновым комплексом — испытывающие нечистое наслаждение при виде полностью подчиненной им, управляемой ими толпы; должно быть, страшные люди: они стремятся занять место Бога! Так вот, отцу Михаилу случалось испытывать чувство, что он, обращаясь к Богу, тщится произвести как можно более сильное впечатление на прихожан, — и это тоже, наверное, было неправильно, нехорошо: амвон не сцена и не трибуна. Но здесь было даже совсем иное. Во-первых, в смятении разбирал после службы отец Михаил, эта, тогда еще незнакомая ему, женщина была единственной после Бога, для кого он служил, — в тот момент он забыл о пастве; во-вторых, он действительно заботился о впечатлении, — но впечатлении не от боговдохновенного слова молитвы, а (пусть невольно! пусть подсознательно!) о впечатлении... мерзко подумать — от е г о голоса, произносящего святые слова, еще омерзительней — от е г о движений, е г о лица! И в-третьих, — в-третьих, он, видя на ее лице упоение (чем? только молитвой? или е г о молитвой? ведь он видел: она смотрела не на образа — на него!), — он, видя это ее... н а с л а ж д е н и е ?.. — желал усилить, продлить его, — и это, хотя наслаждение ее было духовным, отдавало уже даже каким-то плотским грехом!..

II

Здесь необходимо остановиться и пояснить, что отец Михаил — в отличие от не столь уж редких *лукавых пастырей* — искренне, всем сердцем и разумом верил в Бога. Вера его, в раннем детстве любовно привитая ему бабушкой, не знала и тени сомнения (хотя назвать его православным ортодоксом (sic) было никак нельзя, — но об этом потом). Он никогда не мог, например, понять — несмотря на все учения о первородном грехе, изначальной испорченности, искушениях, дьяволе и т.д., — как можно сознательно, не забываясь, грешить: ведь истинно, безусловно верующий человек не может не понимать, что Бог прозревает каждое его душевное и физическое движение. Человек постыдится плюнуть на пол, не то что украсть, находясь в одной комнате с другом или отцом, и уж во всяком случае хотя бы из страха не совершит преступление на глазах у милиции; как же можно грешить, зная, что рядом с тобою денно и нощно находится и смотрит на тебя Бог?! (Кстати, из-за этого, — из-за явственно испытываемого им чувства постоянного присутствия Бога, — Михаил в годы юношеского воздержания никогда не удовлетворял свою донимавшую его иногда похоть противоестественным образом.) Однажды он увидел, как дьякон Василий в пятницу ел около метро чебурек; это его поразило: несоблюдение поста, хотя и никак не предуказанного Богом, — есть прямое неуважение к земным страданиям Бога!

Отец Михаил не был ни рассудочным ригористом, ни человеком сколько-нибудь выдающейся силы. Впрочем, однажды на Пасху, еще в семинарии, при звуках могучего, колокольно-тяжкого баса отца Димитрия, возгласившего Иоанново: *В начале бе Слово, и Слово бе у Бога, и Бог бе Слово...* — он весь вдруг затрепетал — и с жертвенным восторгом, криком в душе непонятно подумал: «Взойду на костер!!!» — но тут же смутился, поняв: гордыня... Нет, отец Михаил просто знал, что на него смотрит Бог, и полагал, что действительно верующий человек может грешить, только будучи принужден к этому телесными муками или уступив инстинкту самосохранения плоти, способному сокрушить хотя и искренне верующий, но растерявшийся дух. Правда, по некоторым размышлениям он пришел к выводу, что большинство слабостей человеческих есть опосредованные проявления именно этого могущественного инстинкта, подкрепленного генетической памятью (отец Михаил был из молодых священников «с мыслями») о не столь уж поколенчески давних первобытных веках: например, жадность имеет в первооснове своей стремление приобрести как можно больше еды и одежды, чтобы обезопасить себя от голодной и холодной смерти; гордость — которая без романтических одежд есть желание первенствовать, подавлять ближнего — вытекает из биологического закона «выживает сильнейший»;

сродни ей по происхождению зависть, недоброе чувство к имеющему больше тебя — как следствие тревожащего напоминания о том, что у тебя меньше запасов на случай угрожающей жизни нужды, что ты более уязвим, что ты умрешь первым. Даже пристрастие человека к одурманивающему питью, азартной игре или непотребному зрелищу есть всего лишь стремление к удовольствию, а получение удовольствия — единственный движитель жизни животного, не просто поддерживающий, но и охраняющий жизнь. Движитель человеческой жизни есть тоже получение удовольствия, думал отец Михаил, но, стремясь к удовольствию (удовлетворению) нравственному — внутреннему согласию, миру с собой, — человек способен поступать наперекор своей плоти и даже сознательно прервать свою жизнь. Аввакум жил по совести, и это поддерживало его, но не мог не понимать, что разрушает себя и что упорствование в своих убеждениях может привести его к смерти: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?!» — «Марковна, до самыя до смерти!» — «Добро, Петрович!». Другое дело, что искусственные, изобретенные человеческим разумом удовольствия часто разрушают и духовную, и телесную жизнь, но произрастают они из того же корня — инстинкта в ы ж и т ь...

Впрочем, эта связь человеческих слабостей и пороков с инстинктом едва ли способна, полагал отец Михаил, их оправдать: в нынешнем обиходе грехи редко совершаются под страхом опасной для жизни нужды и тем более смерти, и у человека, живущего с Богом в душе, достанет сил не грешить.

В особицу стоял грех прелюбодеяния (тогда — во время этих своих размышлений — отец Михаил без опаски думал об этом), то есть не просто прелюбодеяния, утоления похоти — что было тоже инстинктом и что́ отец Михаил как искушение понимал, но что́ победить, казалось ему, было делом посильным, — а грех запрещенной Богом любви — любви женатого человека, любви к замужней, равно разведенной, женщине: *кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, то прелюбодействует; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует*... По рассказам отцу Михаилу были известны случаи, когда иереи отказывались от сана ради незаконного соединения с женщиной. Происходило это, в его понимании, потому, что либо они не веровали — и тогда это было понятно, либо веровали — и тогда это было страшно: веруя, они возлюбили женщину больше Бога — на место Бога они возносили Женщину!..

В сторону надо сказать, что сам отец Михаил (не подозревая об этом) женщину никогда не любил: женился он по сердечному расположению, легко, из-за открытости его сердца, принятому им за любовь, и по хотя и благочестивому, но расчету. По Апостольским правилам, священно-

служитель, будучи рукоположен неженатым (чему, правда, противился стародавний церковный обычай), уже не мог вступить в брак; и отец Михаил — смиренно не преувеличивая своих сил для борьбы с искушениями, не питая честолюбивых помыслов о епископстве да и, снисходительствуемый Господом (*кто может вместить, да вместит*), не видя в отказе от семейной жизни (по Златоусту — окормления м а л о й ц е р к в и) особой нужды и даже напротив того — желая иметь жену, подругу в любовном служении друг другу и Богу, и детей, из которых, надеялся он, выйдут хорошие люди, — отец Михаил по всему этому за полгода до хиротонии женился. Жена его... но о жене его после.

Возвращаясь к размышлениям отца Михаила о грехе и о невозможности истинно верующему человеку сознательно, не забываясь, грешить, надо сказать, что с годами (хотя их у него и немного было, годов) он всё более с горечью убеждался: как мало вокруг него людей, действительно, без сомнения верующих — то есть убежденных в существовании Бога (и истинности Слова Его) так же твердо, как в существовании себя. Даже среди пастырей, казалось ему, было много таких, кто ревностно служил не так Богу, как Церкви, — ну, может быть, богу Церкви, — но никак не Богу над сонмом церквей: *люди сии чтут Меня устами своими, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно они чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим...*

Теперь мы должны рассказать о том, в чем была вера отца Михаила. Возможно, это будет нарушением литературной традиции, но традиция эта часто вызывает у нас хотя и почтительное, но недоумение. Мы хорошо знаем, например, как жили и что делали на длинном, коротком ли отрезке своего жизненного пути отец Сергий, протоиерей Туберозов, преосвященный Петр, отец Василий Фивейский, старец Зосима... — но мы ничего или почти ничего не можем сказать о том, во что, собственно говоря, верили эти люди. Мы имеем в виду не догматы, распространенный взгляд на которые как на основное отличие и суть христианской веры представляется нам наивным: мы думаем, что поскольку для человека главное — жизнь, то главное в вере, которую он исповедует, — как ему эту жизнь прожить. Можно, конечно, сказать, что правила эти содержатся в катехизисе, — но, во-первых, катехизисы порою меняются, причем изменения часто касаются очень важных вещей (тот же Дроздов, например, ничтоже сумняшеся написал, что убивать на войне и казнить по суду — не грех), а во-вторых, катехизис — не Священное Писание, и по крайней мере в душе иерей его может не признавать...

Многие миряне, например, уверовав в самое общее — хотя и, конечно, главное — в существование Бога, на писаное Учение Его как будто испуганно закрывают глаза — или не испуганно, а просто потому, что им, кроме существования Бога и самых общих понятий о Нем, ничего не надо и не хочется знать: они знают, что есть всемогущий Бог, что Он мило-

стив, что Он поможет, если Его хорошо попросить, что Он, может быть, даст вечную жизнь, — а то, что Он сказал, например, в Исх. 20 или Мф. 5-7, — это... так, написали. (Воистину *проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу»*.) Вера многих таких людей есть сдача себя: они не только не труждаются на поприще жизни, освещенной новым источником, а, наоборот, расслабляются по сравнению с тем, что было их прежним, неверующим состоянием. У священнослужителей такого, конечно, не может быть — уже в силу их большей осведомленности, но часто и они, презрев августиновское «разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь», настолько погружаются в обрядовые и догматические наслоения (или толщи, если угодно) веры, что с их глубины не хотят и не могут видеть земную жизнь...

Писать о священнике или даже просто о верующем человеке — и не разъяснить его веры, — что может быть удивительнее? Дело здесь вовсе не в удовлетворении любопытства читателя — большинство читателей равнодушно к вопросам веры, — а в том, что без этого просто невозможно понять, почему верующий человек сделал то или это и вообще чем, кроме еженедельного стояния в церкви, верующий отличается от невера. По всему по этому мы всё же постараемся хотя бы коротко (насколько у нас хватит способностей) рассказать о вере отца Михаила; читатель же, вовсе не интересующийся этим, может после следующих двух абзацев (они все-таки необходимы) сразу же перейти к V главе.

Чувством, которое отец Михаил испытывал к Богу, была любовь-сострадание — а иногда даже так: сострадание-любовь. Великую любовь и, несмотря на бесчисленно возглашаемые им *помилуй, спаси, сохрани*, великую жалость — из-за претерпенных Господом мук и того, наверное, глубокого разочарования, огорчения и даже обиды (именно так чувствовал отец Михаил), которые доставил и доставляет Ему отвергнувший Его великую жертву народ, — отец Михаил испытывал к Богочеловеку Иисусу: догмат о триединой сущности Бога он, естественно, признавал — и столь же естественно не понимал, соглашаясь, что творение и не может постичь сущности его Сотворившего.

Впрочем, причина его своеобразного (чтобы не сказать еретического) постижения Богочеловека (и как бы не Человеко-Бога) Иисуса крылась не только в умонепостигаемой сущности Троицы — а может быть, и вовсе не в ней. Да, отец Михаил прослушал полный курс семинарии: несколько лет изучал историю Церкви, догматику, основное и нравственное богословие, десятки других специальностей и общих наук — и был не в числе последних. Но основа его веры и чувства к Богу, не поколебленная ни науками, ни опытом, ни авторитетом Святых Отцов (не из-за его сознательного упрямства, просто природу ее невозможно

было поколебать), была заложена в нем в старом рубленом доме в Твери, где отец Михаил родился и вырос.

Однажды, когда ему было лет шесть или семь, он рылся в ящике бабушкиного комода (бабушка его баловала) — и среди старых фотоальбомов, сплюснутых шляпок с газовыми цветами, пластмассовых статуэток, разбитых очков и многих других безумно интересных вещей — интереснее всего остального дома — увидел большой, темного дерева крест, с лежащим, раскинув руки, на нем полуголым — в одних, показалось ему, трусах, — страшно худым и как будто изломанным человеком. Со страхом и жалостью — еще ничего не понимая, он почувствовал страх и жалость, — он осторожно, за кончики вытащил крест из картонной коробки, где он лежал, принес его бабушке и, волнуясь, спросил, что это такое. «Это Иисус Христос, — ответила бабушка и непонятно поводила перед собою рукой. — Он пришел, чтобы научить людей добру, а злые люди его за это распяли». — «Как это — распяли?» — спросил маленький отец Михаил. — «Прибили большими гвоздями к кресту, — ответила бабушка и, взяв ладошку отца Михаила, показала, куда Иисусу вбивали гвоздь. — Потом крест подняли, — бабушка взяла и поставила крест торчком, — и Господа нашего, Иисуса Христа, оставили висеть на нем, пока он не умер». Вид темного креста с поникшим на нем светлым телом Иисуса, свежая память о боли, которую маленький отец Михаил испытал накануне, ступив на гвоздь, печальные и ласковые бабушкины слова на всю жизнь — неизживаемо — потрясли отца Михаила — и навсегда разбудили в нем то чувство именно жалости и любви, сущность которого не смогли изменить никакие прочитанные им книги и прослушанные науки, поведавшие ему в сотни тысяч раз больше о жизни и учении Иисуса, чем простые бабушкины слова. Он и догмат искупления, опять-таки признавая, не очень понимал — вернее, понимал его так, что Иисус в образе человеческом пришел к людям, чтобы научить их добру, а люди смеялись над Ним, оскорбляли Его и после пыток распяли: Он принес себя в жертву л ю д я м, а не триединому Богу для удовлетворения правосудия Божия и во искупление рода человеческого, — вот как понимал отец Михаил (по пятому возглашению православного чина — анафема)... Воистину есть слово и слово; в начале было бабушкино Слово.

Божьим Законом для отца Михаила (законом в душе: он не думал о том, чтобы в своем служении пастыря коснуться канонов) были Евангелия — и более ничего (по десятому возглашению православного чина — анафема). Уже в семинарии он в глубине души был убежден, что Евангелия в главном — определении истинного пути жизни — согласуются с Ветхим Заветом не более, чем с Кораном, — что, например, Мф. 5, 32 решительно отвергает развод Втор. 24,1, Мф. 5, 33 — клятву Втор. 23, 21, Мф. 5, 39 — возмездие Втор. 19, 21, Мф. 5, 43 — ненависть к врагам Втор. 20, 13-16, Мф. 7, 1 — суд Втор. 16, 18, Мф. 10, 35-36 — значение родства Втор. 5, 16 и т.д. и т.д. На известное августиновское

Vetus Testamentum in Novo patet,
Novum autem in Vetere latet*

семинарский сосед Михаила по комнате, «вольнодумец» Пашка Орлов ответил стишком:

Пятикнижье Моисея
Иисус не зря похерил...

— и, не удержавшись, добавил:

Хрии ж Павла и Петра
Зря похерили Христа.

Михаила коробило панибратское отношение к Богу, но в душе он не мог не согласиться с этими виршами. Именно послания Апостолов, казалось ему, — по крайней мере в том виде, в котором они дошли, нанесли самый тяжелый удар христианству, превратив светлое Слово Христово — заповедавшее смиренное неподчинение злу как органичное слияние законов неделания зла и непротивления злу, во всей своей полноте претворенное в жизнь несколькими римскими легионерами первых веков, смиренно взошедшими на плаху, но отказавшимися, по принятии христианства, взять в руки меч, — в учение бессловесных не Божьих, а человечьих рабов. Словами Петра и Павла, а не Иисуса, было *всякая душа да будет покорна властям, ибо нет власти не от Бога; начальник есть Божий слуга, тебе на добро; будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога; слуги, со всяким страхом повинуйтесь своим господам* и т.д. и т.д. Ни 1 Пет. 2, 13, 18, ни Рим. 13, 1-4, ни Кол. 3, 22, ни 1 Тим. 6, 1, ни Тит. 2, 9 и 3, 1 не имеют ни одного параллельного места в Евангелиях (к Евр. 13, 17 указано Мф. 25, 13, но это ошибка), они перекликаются только между собой; недаром ни один из Апостолов перед этими стихами не засвидетельствовал: *говорит Иисус*... Преподаватель церковной истории, протоиерей Александр, с которым у Михаила сложились доверительные отношения, однажды сказал: «Ну подумайте, Миша, мог ли Рим принять в качестве государственной религиозной доктрины Нагорную проповедь? Конечно, нет, и не принимал, пока ее не затолковали посланиями. Но нет худа без добра: все-таки люди получили Благую Весть, а имеющий уши да слышит...»

По всему по этому, признавая только Евангелия откровением Божьим, отец Михаил только в Евангелиях и видел закон, по которому надо жить. Правда, за двадцать веков было написано великое множество книг, авторы которых (кто от чистого сердца, кто из любви к властям, которые *несть аще не от Бога*) на все лады толковали нестыкуемые

---

* Ветхий Завет в Новом раскрывается,
Новый Завет в Ветхом скрывается (*лат.*).

места, пытаясь протащить в Игольные уши верблюда, и в конце концов, надо отдать им должное, воздвигли грандиозное богословское здание. Будучи семинаристом, отец Михаил, конечно, подобные книги читал, но они хотя и затронули, но не убедили его разум и тем более сердце. Он признавал, что люди, их написавшие, были намного умнее и образованнее его; он глубоко уважал их титанический труд, благодаря которому богословие превратилось в не имевшую себе до недавнего времени равных по литературе науку; его поражало и восхищало, что исследования и толкования двух с половиной десятков древних письмён в сотни тысяч раз превышают по объему самые письмена. Но для отца Михаила из его абсолютного знания о существовании Бога вытекало абсолютное же одно: ТОЛКОВАТЬ БОГА НЕЛЬЗЯ. Нельзя не потому, что нельзя, — в этом нет ни самонадеянности, ни кощунства, тем более что Евангелия десятки раз переписывались и редактировались после того, как десятки лет передавались вообще изустно, — а просто потому, что бессмысленно: любое толкование Слова Божьего, то есть принятого за первый источник Евангелия, — толкование пусть даже Апостолами, Соборами, Святыми Отцами — но *человеками*, лишает Его единственного исчерпывающего доказательства Его истинности, единственно возможного абсолютного авторитета перед всем сказанным и написанным от века и во веки веков: *истинно, потому что так сказал Бог*. При любом толковании единая вера рушится, метафизика превращается в физику с ее бесчисленными и бесконечно идущими вглубь «почему», трещат, сталкиваясь лбами, искусственные и бессмысленные догматы и на земле разворачивается двадцативековой богословский диспут, — потому что нет и никогда не будет на земле толкователя, о котором бы кто-то другой не сказал: *ракá**. . .

Поэтому в Слове Божьем, Евангелиях, верил отец Михаил, должно быть — и может быть — только так: что непонятно — то непонятно, что непрозрачно — то и будет туман, что ясно — то ясно и подлежит исполнению. Сказано ясно не только *не убий, но и не гневайся*** — не убий и не гневайся. Сказано не только *не прелюбодействуй, но и не разводись* — не прелюбодействуй и не разводись. Сказано *не суди, не клянись, не противься злому,*

---

* *Ракá* — сирийское слово — пустой, негодный человек; считалось очень оскорбительным у иудеев во времена Иисуса Христа. — *Ред.*

** В синодальном переводе у Мф. 5, 22 сказано: «не гневайся *напрасно*». Вольнодумец Орлов, читавший Толстого («В чем моя вера»), сказал Михаилу, что в большинстве евангельских списков, в т.ч. самом древнем, слова «напрасно» нет; в других списках это прибавка не ранее V в. Михаил согласился, что прибавка эта бессмысленна: *напрасно* не надо делать вообще ничего, и странно было бы возводить это в закон. Толстой смотрел варианты у И.-Я. Грисбаха («Symbolae criticae ad supplendas et corrigendas varias lectiones N.T.», Halle, 1785-93).

л ю б и в р а г о в с в о и х — не суди, не клянись, не противься, люби. Филарет говорил: «Люби врагов своих, бей врагов отечества», — кто это говорит? Филарет. Либо ты христианин, либо филаретáнин.

Казалось бы, при таком образе мыслей отцу Михаилу естественно было сделать еще один шаг и сказать: поскольку Евангелие говорит, например, н е у б и й и л ю б и в р а г о в, а Церковь допускает войну, — как почти тысячу лет, пока ее не отделили от государства, не только допускала, но и благословляла почти всё из того, что безусловно запрещает Евангелие, — значит, она... но отец Михаил не делал этого шага. Во-первых, не суди — и с ц е л и с я с а м, — во-вторых... зачем? Он любил свой маленький храм, зажатый в теснине вдвое превышавших его домов, он не лукавя служил Богу и людям, — ему не надо было кривить душой. В конце концов, Бог не умалится никакими грехами и ошибками Церкви.

III

Но как же, исповедуя такие взгляды, жил и поступал отец Михаил? *Что пользы, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Вера без дел мертва есть.*

Вот уже несколько лет, с тех пор как нерассуждающая любовь к Иисусу подкрепилась сознательной верой в истинность Слова Его, отец Михаил старался изо всех своих сил не грешить — и, казалось ему, и умышленно, и поступками мало грешил. Он, конечно, не убивал и не крал; если гневался, то старался сразу тушить свой гнев; не судил — а если случалось ему сгоряча осудить, то скоро опоминался; не изменял жене (а до женитьбы женщин и вовсе не знал); изо всех сил старался любить людей: полюбить людей было много труднее, чем Иисуса, но он старался. Отец Михаил, конечно, бывал грешен в помыслах, но дурные помыслы, хотя мы и не можем не признать их за грех, часто возникают в мозгу не по нашей воле: наше дело — их побороть.

Истины ради здесь нельзя не указать на два обстоятельства, которые в известной степени помогали отцу Михаилу нести добродетельную (не по его — по нашей оценке) жизнь. Первым из них было то, что отец Михаил, будучи по природе и воспитанию человеком обычным — то есть таким, в душе которого наряду с добрыми чувствами уживаются — и бурно пробуждаются иногда — и дурные: злоба, похоть, корысть, тщеславие, унизительный страх*, — не имел среди дурных наклонностей ни одной, которая развилась бы в порок, не просто умножающий, но и

* Унизительный — потому что, уступив ему, человек испытывает стыд. Здесь отец Михаил следовал за В. Соловьевым: ощущая себя высшим творением природы, человек стыдится, когда под страхом голода, холода, боли и т.д. теряет власть над собой, т.е. когда дух его побеждается плотью, когда он превращается (у н и ж а е т с я) в н и з ш у ю тварь, в животное.

делающий иногда неодолимой силу соблазна. Конечно, иной, тоже склонный к порокам, но все же верующий человек тоже не будет грешить — однако скорее под страхом Божиим, тогда как отец Михаил не боялся Бога: сердцем он не только не верил *в печи огненные, в муку вечную, в плач и скрежет зубовный* и т.д. (по восьмому возглашению православного чина — анафема), относя все эти образы за счет представлений мрачного, мстительного иудейства, механически перенесенных последователями Иисуса в Евангелие для вящего устрашения погрязших в пороках израильтян, — но и непримиримому Матфееву *кто не со Мною, тот против Меня* предпочитал Марково и Луки *кто не против вас, тот за вас,* — а это было далеко не одно и то же. (Другое дело, что если бы отец Михаил был человеком порочным, мог ли бы он, по свойствам своей души, испытывать подобное чувство к Богу — любить и жалеть Его, не боясь?.. — но в эти дебри мы углубляться не будем.)

Вторым обстоятельством было то, что отец Михаил был иереем. Конечно, грешить можно всегда и везде — свинья грязь найдет, — но все-таки ему было б труднее исполнять заповедь не убий, если б он был солдатом, не кради — чиновником, не прелюбодействуй — режиссером, не лжесвидетельствуй — политиком или газетчиком и т.д. и т.д. Сам отец Михаил был убежден (раньше, до событий, от которых мы отвлеклись), что везде устоит против искушений и духа, и плоти, — но понимал, что в иных условиях это потребовало бы от него намного больше усилий.

Были ли вообще у отца Михаила соблазны? Конечно, были. Недавно был даже соблазн... — когда отец Михаил разобрался, он грубо сказал: «украсть». Отец Филофей выдал ему из кассы деньги на свечи — обычную сумму, на которую они покупали свечи в Сокольниках; Василий же нашел где-то украинцев, которые продавали вдвое дешевле, и предложил остаток разделить пополам. Отцу Михаилу нужны были деньги — маме в Твери задерживали зарплату, Оля просила шубу, они копили... конечно, он отказался: свечи купили украинские, а разницу вернули обрадованному отцу Филофею. Был соблазн малодушия: как-то приезжал благочинный, протоиерей Николай (знавший его Орлов говорил: «православный изуверского толка»), и привез письмо к Патриарху — с просьбой лишить сана одного из московских священников: тот обвинялся в злостном нарушении чина, католической ереси, «воинствующем экуменизме» и попутно — даже в плотском развращении прихожан. Под обращением уже стояло десятка два подписей, из них почти половина *протов**; отец Филофей подписался сразу, не дочитав, — при слове «латинский» его начинало трясти, Василий тоже — ему было всё равно, как же не подписаться... а отец Михаил отказался, хотя взгляд

* протоиереев. — *Ред.*

благочинного давил утюгом: отношение к ересям и экуменизму у него было понятно какое — в душе он сам как бы не был еретиком, — а плотское развращение... как он мог с чужих слов обвинить в таком человека?.. Были в семинарии и соблазны похоти: группа сокурсников познакомилась в городе с компанией полугулящих девиц и навещала их еженедельно; тяжко было тогда Михаилу — но он устоял... Да мало ли было соблазнов, которым другие люди уступают без тени упрека в душе?..

Но на берегу Генисаретского озера Иисус дал еще две заповеди, которые и составили, как понимал отец Михаил, суть христианского вероучения (то есть учения Иисуса Христа, а не считавших себя Его последователями людей), — заповеди непротивления злу и полного нестяжательства: *Вы слышали, что сказано древними: око за око и зуб за зуб; а Я говорю вам: не противься злому. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку; всякому просящему у тебя дай и от взявшего твое не требуй назад.* Вся душа христианства виделась отцу Михаилу именно в этих словах — ведь именно этим более всего оно отличалось от других современных ему религиозно-нравственных учений, исключая разве лишь учение Будды, который за пять веков до Христа проповедовал то же самое: *«Если люди обругают тебя, что ты будешь делать?» — «Я не стану отвечать им». — «А если они ударят тебя?» — «Я не стану бить их». — «А если они захотят убить тебя?» — «Смерть сама по себе не есть зло; я шагу не сделаю, чтобы отдалить или приблизить ее».* Тогда как заповеди десятословия, естественно подтвержденные Иисусом — не убий, не кради, не лги, не прелюбодействуй (да и заповедь если не «возлюби», то «будь хорош с ближним»), были просто правилами замкнутого общежития практически всех народов и до Христа и не имели никакого отношения к исповедуемой ими религии, — правилами, без преимущественного исполнения которых любое общество — род, племя, княжество, государство — было обречено на непрерывную внутреннюю «войну всех против всех» и потому на неизбежный распад или разгром более организованными соседями.

В сущности, две эти заповеди можно было свести к одной — «не противься злому», то есть человеку, который делает тебе зло, — потому что добрый человек никогда не отнимет у тебя ни верхнего, ни рубашки, доброму (честному) просящему всякий даст и назад не потребует — уже потому, что в том не будет нужды: добрый (честный) и без требования отдаст. Надо сразу сказать, что у отца Михаила эта заповедь никогда не вызывала того внутреннего протеста и изумления, которые она вызывает у полуверов и тем более не верующих вовсе людей. Отец Михаил в абсолютной разумности и необходимости исполнения этой заповеди не сомневался — во-первых, потому, что так сказал Бог, а во-вторых, потому (отец Михаил был все-таки дитя конца XX века, и Тертуллианово

«credo, quia absurdum est»* было не совсем по нему), что в ней, по его разумению, был скрыт глубочайший практический смысл.

Всё внешнее зло, верил отец Михаил, порождается только злом в душе человека — из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лихоимство, лжесвидетельство, хуления. А зло в душе не уничтожается злом, лишь до времени загоняется внутрь: прибитый тобою злой испугается и убежит и еще больше озлобится, зло же, которое ты сам, прибивая злого, допустил к себе в душу, еще более умножит общее зло. Думал отец Михаил и о том, чем же поддерживается в таком случае внутригосударственный и общемировой порядок. Ему казалось: как созидательной силой добра, так и равновесием зла. Ведь внутри очень многих государств мы видим скорее равновесие зла. Говоря осторожно, люди более добрые, нежели дурные (по задаткам и воспитанию), менее склонные ко всякого рода насилию, большею частью живут в естественном мире между собой и занимаются честным трудом — то есть таким, который исключает обман, развращение и подавление ближнего; люди же более дурные, нежели добрые, более склонные к насилию, часто идут в уголовные, полицейские, политики, чиновники, военные, спекулятивные коммерсанты и занимаются всякого рода соперничеством и взаимной враждой — убивают, грабят, разоряют, сажают в тюрьмы, подавляют чужую волю приказами и позорят друг друга. Отец Михаил верил, что в стране с решительным преобладанием в душах людей добра не будет много ни уголовных, ни чистой воды спекулянтов**, ни просто бесчестных людей — и не нужно будет много ни полицейских, ни чиновников, ни политиков, ни военных, ни юристов, то есть много того, что называется г о с у д а р с т в о м. Но когда скорее дурных, нежели добрых, людей в стране очень много, то создается положение, при котором лишь незначительная часть людей честно, без ненависти и зависти к ближнему и стремления его подавить работает, а огромная — убивает, грабит, разоряет, сажает в тюрьмы, позорит и охраняет друг друга и друг от друга. Однако поскольку эти

---

* Верю, потому что нелепо (*лат.*).

** Поскольку продажа с целью наживы есть основа любой торговли — занятия необходимого и часто вполне добропорядочного, здесь нельзя не пояснить, кого имел в виду отец Михаил под «чистой воды спекулянтом». Это человек, торговые операции которого не приносят пользы никому, кроме него самого: биржевой игрок, искусственно повышающий или понижающий курсы акций («быки» и «медведи»), или торговец, опять же искусственно вклинивающийся между покупателем и продавцом: если кто-то предложит, например, по объявлению автомобиль ниже сложившейся рыночной стоимости, то купит его вернее всего не человек, который на нем будет ездить, а фирма, специализирующаяся на подобного рода негоциях, для перепродажи в том же городе по объявлению в той же газете.

люди сами боятся быть ежеминутно убитыми, разоренными, посаженными в тюрьму и т.д., в стране их усилиями устанавливается пусть и относительный, но порядок — порядок, основанный на равновесии зла: ты не убиваешь и публично не оскорбляешь меня не потому, что ты разумный и добрый человек, а потому, что боишься, как бы я или мои однодельцы не убили или не оскорбили тебя (Моисей: *Слушай, Израиль. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему: душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.)*

Такую же картину отец Михаил предполагал и в отношениях между многими государствами; картина эта омрачена была тем, что многие небольшие, возможно, с преобладанием добра в душах своих подданных, государства вынуждены были из страха перед нападением своего более дурного, нежели доброго, соседа вступать в международные военные блоки и тем самым отягощать чаши весов, на которых устанавливалось всемирное равновесие зла, — подобно тому, как честный, но недалекий обыватель голосует за бесчестную партию, чтобы уравновесить другую, еще более в его понимании бесчестную.

Итог отца Михаила был таков. Мир (и мір, и мир) в значительной степени — никто не может сказать, какой, — держится равновесием зла. Исторический опыт, наука и здравый смысл показывают, что мир, поддерживаемый равновесием зла, как состояние в принципе неустойчив и исторически долго сохраняться не может. Если он на значительной (а в дальнейшем достаточно будет и незначительной) части Земли нарушится, то при существующих и грядущих орудиях уничтожения человеческий род прейдет. (Заметим в скобках, что отец Михаил был в исповедовании Писания чистым «евангелистом»: он и откровение Иоанна — Апокалипсис, исходящий от Бога, — за Откровение не признавал: он допускал «человеческий» Апокалипсис.) Если в мірe не уменьшится количество зла, если мир будет держаться более равновесием зла, нежели преобладанием добра, — этот мір погибнет. Бог не спасет; даже Блаженный Августин признавал: «Бог мог создать нас без нас, но спасти нас без нас он не может». Его антипод, великий Пелагий, в своей ереси выражался более энергически: «Человек сам грешит, сам спасается» (отец Михаил был более с ним согласен; по первому возглашению православного чина — анафема). Две тысячи лет назад, когда самым страшным оружием была стрелявшая обломками скал баллиста, Иисус прозревал, что спасти человечество от самого себя может только уменьшение зла в душах и поступках людей, и заповедал: *не делай зла* и *не противься злому*, — то есть *не делай зла никому*. И лишь на первый взгляд может показаться, что заповедь непротивления лишняя, что предшествующие заповеди, в которых Он говорил «не делай зла» и перечислял, что такое зло, уже есть закон жизни, истребляющий зло: не делайте зла — и не будет злых. Но Он все-таки дал последнюю,

абсолютную и всеохватывающую: «но если кто-то не послушается Меня и сделает тебе зло, ты все-таки не делай зла, не умножай своим злом общее зло, и тогда ты — и, есть надежда, весь мир — спасетесь».

Отец Михаил был глубоко удовлетворен этими своими рассуждениями: он дошел своим разумом до ratio legis великой заповеди Христа, венчающей Божественное учение! Конечно, отец Михаил был удовлетворен тем, чем ни один неверующий или полувер нисколько не удовлетворился бы. Он сам не мог не поставить перед собою вопрос: как эту заповедь исполнять? Правда, ему, в отличие от неверующего или полувера, было совершенно ясно, во-первых, то, что эту заповедь надлежит исполнять (а как можно не исполнять з а п о в е д ь?!!), а во-вторых, то, что в абсолютном большинстве случаев жизни абсолютного большинства же людей эту заповедь легко исполнять. Вместо исторжения «ока за око и зуб за зуб» *не противиться злому* — в обыденной жизни означало лишь то, что не надо ругаться в ответ, если тебя обругали в троллейбусе; не надо лезть в драку, если тебя толкнули на улице; не надо преследовать упреками сослуживца, если он не отдал тебе десять рублей; не надо бросать мусор на дачный участок соседа, если он набросал на твой; не надо увольнять подчиненного, если он говорит о тебе дурное, и т.д и т.д. То есть не надо противиться злому, д е л а я е м у з л о (тем более, что в абсолютном большинстве случаев он не такой уж и злой), — не надо (для неверующих и полуверов) уже потому, что тебе самому лучше будет: перевести через дорогу старуху несравненно приятнее и (для совсем уже прагматиста) полезнее, чем ударить обидчика по голове: в первом случае ты испытываешь удовлетворение ласковое и покойное, во втором — нервическое и злобное, а нервность и злоба располагают к разрыву сердца и апоплексии.

Вместе с тем *не противиться злому* вовсе не означало п о д ч и н я т ь с я з л о м у, п о е г о п р и к а з у д е л а я з л о, как это было выведено огосударствленной Церковью (пусть под вуалью) из посланий Апостолов. В предшествующих заповедях (Мф. 5:21, 22, 27, 28, 32, 34), рассуждал отец Михаил, Христос обобщенно говорит: н е д е л а й з л а (А), далее следует (Мф. 5, 39-44) — н е п р о т и в ь с я з л о м у (Б). Непротиворечивое соисполнение заповедей А и Б возможно лишь при одном значении Б — «не противься злому, делая зло»; из этого и вытекает единственно возможный закон Иисуса — *не противься злу злом, не противься злу насилием*, — закон, которому учили и который исполняли учители и обращенные первых веков (прежде всего по отношению к самому страшному злу — войне) и который спустя полторы тысячи лет почему-то назвали «толстовством».

Всё это отец Михаил разобрал очистки совести для: он не довольно знал греческий, но по-русски «не противиться», «не сопротивляться» всегда звучало для него именно так — не противиться злу злом, но не подчиняться злу, делая по его приказу зло. В большинстве случаев

обыденной жизни это тоже было легко исполнять: хотя и не ругайся с троллейбусным хамом, но и не расталкивай по его требованию локтями людей; хотя и не говори подлеца дурному начальнику, но и не пиши по его приказу донос; хотя... Подавляющее большинство случаев в обыденной жизни были те, о которых Петр или Павел сказали бы: *будьте покорны всякому человеческому начальству*, а Иисус — *ни начальнику, ни кому-нибудь по приказу начальника, — никому не делайте зла.*

IV

Не видя серьезных препятствий этому в жизненном обиходе, отец Михаил обдумал и последний рубеж, из-за которого Церковь и люди окончательно отвергли Закон Иисуса: непротивление злу, угрожающему твоей или ближнего жизни. В заповедях *не противься злому, любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас* нет исключений (там, где они есть, Иисус их оговаривает); эти заповеди нельзя отнести и к третьей части поученья Пелагия: «Бог запрещает злое, повелевает доброе и советует совершенное», — совершенным (*не все вмещают сие, но кому дано*) Иисус называет безбрачие... Эти заповеди во всех случаях надлежит исполнять.

Не делай зла и не противься злому, если тебя будут бить и, может быть, забьют до увечья или убьют. Не противься злому, если он отберет у тебя всё, что у тебя есть, и ты, может быть, умрешь голодной или холодной смертью. Не убивай по приказу злого, хотя за отказ убивать тебя самого убьют, и не убивай приказывающего злого, чтобы самому избежать смерти. Исполняй: г о в о р и т И и с у с.

Неверующий или полувер сразу сказали бы, что это нелепо. Отцу Михаилу было ясно, что это не может быть нелепо. Во-первых — потому, что так сказал Бог (а без Божьего — или пусть даже мирского: родителей, идеи, традиции — авторитета, с точки зрения личности, а не уголовного права, нелепы заповеди «не убий» и «не укради», не говоря уж о «не гневайся», «не клянись» и т.д.: отчего же не убить и не украсть, если ты находишь это полезным для себя и уверен в своей безнаказанности? Другое дело, что это не будет тебе полезным, но ты об этом можешь не знать. Во-вторых же — это не нелепо потому, что и человек, и мир спасутся только неделанием зла, уменьшением количества зла: человек праведный после жизни земной обретет ж и з н ь в е ч н у ю (*кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее*), а главное — мир земной не прейдет. Это было не только не нелепо, но единственно разумно и правильно, — но...

Однажды — это было еще в семинарии — Орлов принес книгу религиозных сочинений Толстого. (На последнем курсе Павел совершенно закусил удила; когда кто-то заметил, что на Толстом анафема,

он отвечал Пустосвятом: «А мы вашими анафематствованиями себе а ф е д р о н ы подтираем!»). Толстой писал, что для истинно, по Евангелию, верующего человека не противиться злу даже в случаях, угрожающих жизни, не то что легко, а совершенно естественно — неестественным было бы иное. В своих рассуждениях он ни словом не упоминал о телесной природе человека, о могущественном инстинкте, охраняющем жизнь, — как будто их вовсе не было и вся жизнь человеческая управлялась только его сознанием в соответствии с его убеждениями. Либо Толстой заблуждался в себе, либо великий разум его действительно обрел совершенную власть над плотью, но во всяком случае провозглашать (то есть он даже не провозглашал, а просто молчаливо признавал) полный примат разума над плотью у миллиардов людей было очевидной ошибкой. Сам отец Михаил, который искренно веровал и редко грешил потому, что знал: на него смотрит Бог, — попадал в положения, когда его любящий и верящий разум почти полностью подавлялся инстинктом. В первый раз это было, когда он пережил крушение поезда: вагон сильно, так, что болезненно дернулось тело, ударило, попадали стоявшие люди, пронзительно зашипел вырвавшийся откуда-то пар и страшно, раздирая рот и выкатывая глаза, закричала сидевшая напротив отца Михаила женщина; в другой раз — когда он ехал домой на каникулы и на автобусной остановке в Твери на него набросилась, приняв его за кого-то другого, толпа полупьяных парней. Бог спас — отбила каким-то чудом подъехавшая милиция, — но в эти секунды он забыл обо всем: была только невыносимая мука страха, непреодолимый порыв бежать, и если бы в этот момент в руках его оказалась какая-то могучая, земная или волшебная, сила, он с ужасом в клочья разметал бы осатаневшую от жажды крови толпу. В эти мгновенья разум почти угасал — а если не угасал, то освещал единственно всевластную волю инстинкта: спастись! выжить!.. Тому же последователю Толстого, исповедующему Евангелие, но не верующему в загробную жизнь, для того, чтобы совершенно исполнять заповедь непротивления злу, надо обладать не просто незаурядным, а фантастическим мужеством, — несравненно большим, чем мужество солдата в бою, когда он, хотя и рискуя жизнью, но изо всех сил защищается, чтобы выжить, — христианин Толстого должен сознательно выбрать смерть... Но и христианину, верующему в бессмертную душу, тяжело без сопротивления выбрать смерть.

Это был тот, пожалуй, единственный случай (исчерпывающе отец Михаил, вспомнив мучителя и мученика Дантона: «я предпочитаю быть гильотинированным, нежели гильотинирующим», — определил его так: «дай убить себя, хотя ты можешь убить убийцу»), когда животный оборонительный инстинкт самосохранения и человеческий разум христианина вступили в борьбу, поднявшись во весь рост, с отдачей всех

своих сил, — и исход этой борьбы был непредсказуем... Или в каждом отдельном случае предсказуем? И просто его, Михаила, вера слаба?! Римские легионеры Марцеллий, Кассиан и Мартын предпочли умереть, но не взяли в руки оружия; в истории инквизиции Гус, Бруно и сотни безвестных других, выбирая между смертью и «отрекаюсь», выбрали смерть; у нас только при Иоакиме двадцать тысяч самосожглись, но не приняли новой веры. Разум и воистину свободная воля — без начальников, без надежд, что пуля просвистит мимо, без стадного чувства толпы — одержали верх над инстинктом.

Здесь отец Михаил увидел противоречие — и не вдруг понял, что это противоречие, при котором единственно возможна истинная, человекобожеская — человека с Богом, — а не животная жизнь. С одной стороны, страх смерти, животный инстинкт противился безусловному исполнению заповедей; с другой стороны, без страха смерти, инстинкта была бы невозможна земная, телесная жизнь, потому что единственный движитель ее — сохранение, поддержание плоти. Без заповедей живет скот, без инстинктов — Ангелы небесные; человек живет с заповедями и с инстинктами. Не труд создал из обезьяны человека — труд создал из обезьяны не человека, а обезьяну в костюме и за рулем. Из трудящейся обезьяны человек может получиться только тогда, когда разум его впервые воспротивится инстинкту, когда между ними возникнет противоречие, — то есть когда в нем пробудится искра Божия — совесть...

Оставалось последнее. Как исполнять заповедь непротивления злу, если убивают и мучают ближнего? Отец Михаил, когда начал уяснять себе это, в первую очередь представил себе маму и Олю, жену, — как их будут мучить, — и ему стало страшно. Но дело было не только в страхе — хотя отрешиться от него он не мог. Дело было в том, что он никак не мог найти этому — непротивлению злому, когда мучают ближнего, а не тебя, — не только оправданья в душе (когда убивают тебя, ты сам выбираешь непротивление и смерть; когда убивают другого, ты, не защищая его, выбираешь непротивление и смерть за него и против воли его) и не только разумного согласования с жизнью, хотя это было второстепенно и служило лишь опорой самонадеянному и потому слабому разуму: т а к с к а з а л Б о г — и пусть погибнет мир, но свершится правосудие Божие! Он не видел в непротивлении злому, когда мучают не тебя, а ближнего, и логического согласования со всем духом Учения Иисуса Христа.

Промучившись несколько месяцев, он остался там же, где был. С одной стороны, Иисус сказал — *не убий* и *не противься злому*; с другой стороны, по Его Учению ближнего никак нельзя было оставить в беде...

Отец Михаил не выдержал и поехал к Орлову. Маленький, худенький, остроглазый Орлов (который так и не принял сана и сейчас

преподавал историю в каком-то лицее), как всегда, обрадовался ему — и сказал:

— Подумаешь, бином Ньютона! Тебя ударили по левой щеке — ты подставь правую. Но Иисус никогда не говорил, что надо стоять и молчать, когда бьют по щекам другого. Тем более люди, Миша, если и веруют, то в какую-то троицу Ягве, Перуна и африканского Духа Болот; они не верят Иисусу, им страшно, они просят тебя помочь, — *возлюби ближнего как себя самого*, помоги.

— Так я и не собираюсь стоять и молчать...

— Ну, а о чем ты тогда спрашиваешь?

— Но ведь бить и убивать нельзя!

— Ты кровожадный какой-то стал — сразу бить, убивать... Поди, Филофей заедает? Бить и убивать, понятно, нельзя. Останови словом, крестом, закрой своим телом, отвлеки на себя... я понимаю — мерзкая плоть, но мы ведь с тобой теоретически рассуждаем?

— Ну... да, конечно. Нет, это у меня было — закрой своим телом, отвлеки на себя... но ведь это может быть недейственная защита. Тебя схватят, убьют — и будут продолжать мучить кого-то...

— Во-первых, это тебя уже не касается. Твое дело — исполнить Закон, а не рассуждать о последствиях. Авраам рассуждал?

— Нет, но...

— А во-вторых, никто тебя не схватит и не убьет... при одном, конечно, условии.

— Каком?

— Матфей пять, сорок четыре.

— Сорок четыре?.. *Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас...*

— Ну?

— Что — «ну»?

— Миша, враг бьет и убивает того, кто его боится и ненавидит. Того, кто не боится и любит врага своего, враг не ударит и не убьет.

Отец Михаил ошеломленно смотрел на него.

— Миша, это в ста случаях из ста... если враг, конечно, не пьяный и не обкуренный, но тогда это и не человек — временно не человек, и его можно и должно вязать. Просто в ста случаях из ста люди своих врагов боятся и ненавидят. Конечно, они могут, прочитав Евангелие и решив, что это возвышенно и хорошо, подойти к громиле и попытаться остановить его умным словом; но поскольку Евангелие у них в голове, а не в сердце, они будут его бояться и ненавидеть, и громила их прибьет и пойдет дальше громить. А вот ты подойди к нему, не боясь и любя... Легко сказать, а? Но тот, кто на это способен, — христианин. А мы с тобой и всё наше кафолическое воинство — так... конфессияне. *Медь звенящая и кимвал звучащий...*

— Подожди... то, что ты сказал, это уже очень много, но вот, например, случай... Когда враг, — то есть он не враг мне, а ближний, — стреляет из автомата или пушки по дому, где я нахожусь — ну, и другие люди. Он же не видит меня и не знает, что я люблю его...

Орлов сразу усмехнулся.

— А я тебе всегда говорил, что человечество обречено. Убийцу глаза в глаза Иисус остановит, а христолюбивого воина за километр — никогда. Прогресс породил цивилизацию, прогресс ее и убьет. Все снисходительно говорят: «но ведь прогресс же не остановишь...» Не остановите — конец вам!

— Подожди, но как быть с защитой ближнего?

— Знаешь что, бросай ты своего Филофея и иди к нам. Ты там совсем обезумеешь: едите плоть, пьете кровь... ну не буду, не буду! Миша, ну ты что? Златоуста начитался? Да на войне даже с точки зрения здравого смысла на той стороне такие же дурные и подневольные, как и на этой. Эти победят — будут резать тех, те победят — будут резать этих... А с христианской — и на той, и на другой стороне они тебе ближние. Какого ближнего ты собрался защищать, когда их надо защищать друг от друга? Ходи, перевязывай раны... и молись, чтобы тебя поскорей убили! чтобы не видеть и не слышать всего этого!.. — Орлов засверкал глазами и нездорово, пятнами покраснел. Год назад с какой-то правозащитной организацией он был на кавказской войне. — И чтобы вообще всех убили к чертовой матери! Человечество после первой же войны потеряло право на жизнь!..

...Они еще долго проговорили, и отец Михаил ушел. Он не знал своих сил, часто с горечью думал о них: «слабых сил», — но многолетние поиски истины были закончены. Закончим и мы, читатель.

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не противься злу злом.

...Таково было «Верую» отца Михаила, второго священника церкви Мирона-мученика, который сидел сейчас в своей комнате за старым канцелярским столом и мучительно размышлял о своем, казалось, безвыходном положении.

V

После того случая, когда отец Михаил осознал — и ужаснулся, — что он служил для Господа и для т о й ж е н щ и н ы (для Нее!!!), — его дотоле ясной, прямой, согласной, он надеялся, с Богом жизни пришел конец. Правда, раскаяние и боль от своего прегрешения, от обиды, нанесенной им Богу, он приглушил в тот же вечер молитвой, — но через неделю т а ж е н щ и н а пришла снова, и если не всё, то многое

повторилось: служа Господу, он не мог ни на минуту забыть о ней... и по возвращении домой, снова и снова, волнуясь, вспоминая ее лицо — ее тонкий, дымчатый от распушившейся прядки волос полупрофиль — и весь какой-то струящийся, античный очерк ее фигуры, — отец Михаил ясно понял — признался себе, — что ему... очень нравится эта женщина. Надо сказать, что в ту минуту это не так смутило его, как представлялось задним числом: и потому, что плотское было скрыто в такой глубине его чувства, что он его почти (п о ч т и) и не осознавал, — и потому, что всякий соблазн, влекущий человека к закрытой двери, за которой таится плод, набирает неодолимую силу только тогда, когда дверь чуть-чуть приоткроется. Здесь же ничего подобного не было — а была незнакомая прихожанка, наверное, из новообращенных — ни разу не подошедшая к исповеди и святому причастию (а может быть, и вовсе неверующая: мало ли их, измученных терниями жизни, заходит в храм отдохнуть блуждающей в мирских потемках душой?..), — женщина эта сегодня пришла, завтра уйдет, а если даже и не уйдет — ну что же, она будет приходить, а он будет, как и прежде, служить, — какое всё это может иметь для него и для нее продолжение? И отец Михаил, вновь помолясь и покаявшись в хотя и неясных ему, но связанных с этой женщиной помыслах, — опять успокоился.

Но через несколько дней, в преддверии литургии, направляясь в придел для принятия исповеди, отец Михаил вдруг увидел ее среди ожидавших исповеди прихожан!.. — и сердце его страшно забилось. Она стояла... четвертой, в своем голубовато-сером текучем плаще, в платке из розового с блестками газа, — всего в очереди было шесть человек... Отец Михаил, жестоко и непонятно волнуясь — и хотя и молясь об укреплении, но наверно не зная, в чем его укрепить, — подошел к аналою, возложил на него Евангелие и крест, поправил епитрахиль — и, глубоко вздохнув, начал покаянный псалом:

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя...

«Помоги, Господи», — быстро — и опять же не зная, в чем и как ему помочь, — подумал между стихами отец Михаил.

— Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну...

«Что же она мне скажет?.. Но ведь я рад, рад, что она придет!..»

— Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда́ судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя...

Окончив псалом и прочитав вступительные к исповеди молитвы, отец Михаил — успокоившись — перекрестился и движением рук пригласил к покаянию. Подошла старуха — приземистая, расплывшаяся, с мясистым красным лицом, страдая одышкой (отец Михаил ее знал,

но не помнил имени), — перекрестилась и трижды, с трудом, поклонилась Кресту и Евангелию.

— Здесь Христос невидимо предстоит, принимая твою исповедь, матушка, — повторил отец Михаил. — Веруешь ли ты во всё, чему учит нас святая апостольская Церковь?

— Верую, верую, как же не верить, батюшка, — испугалась старуха. — И во единого Бога-Отца, и во единого Господа Иисуса, Сына Божьего, и в Духа Святого, которого... которого от Них выходящего...

— Дух Святый исходит от Бога-Отца, — кротко сказал отец Михаил — и подумал, что с отцом Филофеем мог бы случиться удар. — Какие особенные грехи имеешь, матушка?

— Ох, батюшка отец Михаил, — быстро и горячо зашептала старуха — так энергически шевеля: то вытягивая, то втягивая их — губами, что у нее запрыгали щеки, — ...ох, батюшка, в среду съела скоромное: нога разболелась, на улицу не выйти... а дома, окромя дочкиных щей, ну хоть шаром покати!

«Ну, как это может быть? — невольно подумал отец Михаил, отводя взгляд от водянисто-серых слезящихся искренних глаз старухи. — Что, ни картошки, ни хлеба не было?..» Впрочем, он уже привык к тому, что старухи каялись... ну, может быть, и не в пустом: не ему об этом было судить, — но все-таки в незначительных прегрешениях. Иногда ему даже казалось, что они, по вынужденной малогрешности своих часто одиноких, старческих жизней, сами себе придумывают грехи.

— А на той неделе с соседкой сцепилась, батюшка. Слово за слово, слово за слово... ну, и сказала ей, батюшка: сволота ты, говорю, Настя, прости меня Господи. Да и то сказать, отец Михаил: площадку перед квартирами я раз в неделю по субботам мою, а у меня ведь радикулит, я сорок пять лет на заводе, девчонкой в войну пришла, а она, Настя-то, всю жизнь в конторе, бумажки перебирала... и всё носит и носит грязь: у нее у двери два мешка с картошкой стоят, деверь из Павлова Посада привозит, так она каждый день сумку набьет и к метро спекулировать ходит, а грязь-то сыпется и сыпется, а я убирай, а сама-то хоть раз бы убрала...

— Заповедано нам: *всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду*, — успел сказать отец Михаил, потому что старуха задохнулась.

— Грешна, грешна, батюшка! — но потом помирились: я кулебяку вчера испекла — зять приезжал, они с дочкой плохо живут, он у себя, она здесь — что же это за семья? — так вот я испекла вчера кулебяку, кусок отрезала — большой кусок, — и ей отнесла: на, говорю, Настя... Взяла.

«Ох-хо-хо», — подумал отец Михаил. Вслух он сказал:

— Это ты хорошо сделала, матушка.

— Да-да-да-да-да, — заторопилась старуха — и вдруг выпучила глаза: — Ох, батюшка, вот ведь был грех! Когда ногу-то у меня разломило, я возьми

да и скажи: ну за что же это такое наказание, Господи? Чего я Тебе сделала-то? Ведь это грех, батюшка, так говорить, а?..

— Грех, но Бог милостив, — вздохнул отец Михаил. В первые свои исповеди он сильно волновался, стеснялся, переживал: как, с каким лицом выслушивать, быть может, тягостные откровения, как увещевать, успокаивать и что вообще говорить — кроме положенного по чину? Но со временем он привык — еще и потому, что до сих пор так и не столкнулся с признанием в тяжких, в его понимании, грехах (только однажды женщина лет пятидесяти призналась ему, что желает смерти своему страшно пьющему мужу): то ли грешники избегали таинства исповеди, то ли безрассудно утаивали грехи. Но и привыкнув, он относился к исповеди с глубокой ответственностью. Вздохнул он на словах «Бог милостив» потому, что видел: старуха исполняла привычный обряд и свои простительные грехи вовсе не считала грехами.

— Пожалуй, батюшка, всё, — сказала старуха и завозила ногами, пытаясь стать на колени. Отец Михаил удержал ее.

— Тебе трудно, матушка, достаточно поклониться.

Тяжело дыша, старуха склонилась над аналоем; отец Михаил возложил на ее голову в черном, с аляповатыми цветками платке конец епитрахили и произнес:

— Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо, вся согрешения твоя; и аз, недостойный иерей, властию Его мне данною... — несмотря на привычность минуты, что-то торжественное шевельнулось при этих словах в душе отца Михаила; голос его поднялся, — ...прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

— Спаси Бог тебя, батюшка, облегчил, — бодро сказала старуха и, перекрестясь, отошла. Отец Михаил не по своей воле посмотрел на ожидающих покаяния: о н а стояла и смотрела на него, глаза их встретились...

Отец Михаил тут же отпрянул. Подошла красивая высокая девушка лет восемнадцати, в замшевой куртке и джинсах в тугую обтяжку, с непокрытыми крашеными белыми волосами, крашеными глазами, крашеными губами... вся крашеная. Еще год назад отец Филофей велел отцу Михаилу написать и повесить в притворе объявление: чтобы женщины не входили в храм Божий в брюках, коротких юбках, б е з м е р ы накрашенные (уступил) и с непокрытыми головами. Отец Михаил составил («...дабы не уязвлять благочиния места и памятуя о земных страданиях Господа нашего Иисуса Христа...»), а псаломщик Федя написал плакатным пером, красивым упрощенным полууставом. Но простоволосые, буйно раскрашенные и нескромно одетые продолжали ходить: старухи шипели, дьякон Василий ухмылялся тайком, отец Филофей, не осмеливающийся на открытый протест из-за горячего ревнованья о кассе, забивался в ризницу и там, изругавшись, пил корвалол, — а отец

Михаил молча переживал: стоять в разжигающих похоть одеждах перед образом отходящего в муках Христа!..

Девушка остановилась перед аналоем, напротив отца Михаила, и, видимо, не зная, куда девать руки, сцепила их перед собой. Несмотря на джинсы, ярко раскрашенное лицо, очень длинные и узкие, как стручки, темно-красные ногти, — вид у нее был смущенный и даже как будто испуганный. Отец Михаил доброжелательно смотрел на ее лицо. Его тронуло ее замешательство.

— Можно... говорить? — прошептала девушка и оглянулась на довольно близко стоявшую очередь.

— Ты в первый раз у исповеди, сестра? — мягко спросил отец Михаил.

Он чувствовал себя много старше, опытнее, сильнее ее, он видел ее смущение — и, охваченный желанием ей помочь, немного даже отстранился в своих мыслях от той, кого с таким волнением ожидал.

— Да.

— Не волнуйся и не стесняйся меня, сестра. Здесь Христос невидимо предстоит, принимая твою исповедь, — опять повторил он обычную формулу — и от сердца добавил: — Бог милостив; нет такого греха, которого бы Он не простил, видя искреннее раскаяние... Веруешь ли ты во всё, чему учит нас святая апостольская Церковь?

Девушка так тихо сказала «да», что отец Михаил не был уверен, сказала ли она это; но повторять свой вопрос и еще более смущать ее он не стал.

— В каких грехах ты хочешь исповедаться перед Господом?

Девушка вздохнула, по-прежнему не поднимая глаз — глядя на аналой, — и закусила губу. Кончики ее длинных, загнутых полукольцами черных ресниц почти касались лепесточно-нежных, голубых с золотистыми блестками век.

— Позавчера... позавчера я, святой отец... пре... прелюбодействовала.

Ресницы дрогнули. Отец Михаил усилием воли не позволил себе нахмуриться. Эти слова — рядом с ее юностью и красотой — прозвучали на его слух оскорбительно. Он был неприятно удивлен: женщины очень редко признавались ему в прелюбодеяниях — может быть, оттого, что молодые и интересные, с мужской точки зрения, женщины вообще исповедовались ему редко... Девушка молчала, не глядя на него, и он, стараясь, чтобы его огорчение и разочарование не отразилось в его голосе, сказал:

— Меня зовут отец Михаил... Это всё?

— Нет, — сказала она, и он уловил в ее голосе какое-то изменение. — Вчера... вчера, отец Михаил, я снова прелюбодействовала.

Она подняла голову и прямо взглянула ему в глаза. Сейчас в ее лице не было и тени смущения или испуга — у нее было дерзкое, хищное,

дьявольски-красивое и даже как будто раздраженно-насмешливое лицо.

— С другим.

«Да что же она... издевается надо мной?.. и над... Тобою?..» — потрясенно подумал отец Михаил — и холодок какого-то тоскливого и вместе брезгливого страха пробежал по его спине. В таких редких случаях он оскорблялся, боялся и переживал не за себя — за любимого Бога. Он вспомнил вдруг, как месяца два назад, когда он в рясе стоял у метро, ожидая Василия (в отличие от многих нынешних иереев, отец Михаил часто надевал рясу, если ехал прямо из дома на службу или со службы домой; он не понимал, как можно стесняться одежды служителя Бога?!!), — он вспомнил вдруг, как месяца два назад у метро к нему подошел высокий небритый худой человек лет тридцати пяти, в поношенном плаще, лысоватый, — и отчеканил, царапая черными горячечными глазами его лицо:

Попам не верил Робин Гуд
и не щадил попов,
кто рясой брюхо прикрывал
к тому он был суров,

— а потом, ощерясь, выворачивая губы до прокуренного испода, раздельно, с ненавистью произнес:

— Раздавите — гадину...

Отец Михаил стоял и кротко и скорбно смотрел на девушку. Та чуть улыбнулась карминовой ниткой губ, как будто даже с сожалением глядя на него.

— А сегодня я тоже прелюбодействовала, отец Михаил. Сразу с двумя.

Вся кровь бросилась ему в голову; он опустил глаза — увидел ее туго обтянутый джинсами, округло сходящийся к лону живот, — мерзкая картина всплыла в мозгу... Гнев, отвращение — и вдруг — удушливая волна похоти — захлестнули его; он в ярости вынырнул, весь содрогаясь в душе от крика: «Будь проклята, мерзкая плоть! Что ты перед Ним?! — злосмрадная скверна, ничтожество!!!». Вдруг краем глаза он уловил слева какое-то раздражающе-быстрое, хотя и далекое передвижение, — бросил исподлобья затравленный взгляд в сторону выхода: у киоска, где продавались духовные книги, свечи и образа, стояла пестрая кучка девиц — они перешептывались, поталкивали друг друга локтями, прыскали в кулаки, поглядывая на него... И гнев и отвращение его разом исчезли — погасли, как уголья под водой, — он почувствовал одну бесконечно тоскливую, раздавливающую его душу и тело усталость.

— Вы очень дурно поступаете... сестра, — глухо сказал отец Михаил, глядя на аналой. *Не здоровые имеют нужду во враче, но больные...*

— Но ведь О н отпустит мне эти грехи?

Отец Михаил сделал огромное усилие и посмотрел ей в глаза. Перед ним как будто разверзлась пропасть: бессильный, беспомощный, готовый на муку, но обреченный на поражение, он стоял на краю ее... ге-Инном пылающей и торжествующей... рядом с Христом...

— Я не вижу у вас раскаяния, сестра. Я прошу вас — уйдите.

Кажется, она перестала улыбаться, — повернулась... исчезла под стук каблуков — отец Михаил не смотрел ей вслед. Он хотел вытереть лоб платком, но платок был в брюках, под длинным глухим подризником, — и он вытер лоб просто рукой. Появился мужчина с бородкой, лет сорока пяти... после мужчины придет о н а... знакомое бледное, порывистое лицо... да — Георгий.

— Слушаю тебя, брат Георгий.

— Гордыня, опять гордыня, отец Михаил! Сил моих больше...

«За что?! Он умер лютой смертью за них, а они над Ним — бесконечно милосердным! — смеются. *Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему*. Ты не мог простить хулы на Духа Святого — уже потому, что это было не в Твоих силах, — но за Себя Ты им простил! А они?..»

— ...тот уже профессор, этот банкир, тот депутат — а я... Понимаю, что гадость, в первую голову глупость, всё понимаю — и — ничего! Читаю и Соломона, и Евангелия, и «Путь жизни», и... почитаешь — камень с души, а час проходит — опять! А главное...

Георгий так волновался, что говорил почти в полный голос. Отцу Михаилу тоже было тяжко — так тяжко, что нестерпимо, до дрожи в коленях, хотелось повернуться и быстро уйти, — уйти от кающихся, из церкви, полной людей, вообще от людей... Он несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь собраться с силами, с мыслями, — мерзкая тварь стояла перед глазами, смотрела, улыбаясь развратным ртом, на умирающего Христа... «Прости ей, Господи, не ведает, что творит», — неискренне подумал он, надеясь кротостью успокоить мятущийся в соблазне проклятий разум, — не помогло. «Если они такие... то зачем всё это?.. Зачем?!!»

Георгий продолжал горячо говорить: «...смысла... ничего... никому не нужен...», — отец Михаил медленно, с полузакрытыми глазами кивал: всё было всё равно. Вдруг в уголке сознания как будто промелькнуло спасение — рванулся из последней силы к нему. «Но почему ты решил, что она хотела оскорбить Его? Она хотела посмеяться лишь над тобой, унизить тебя... может быть, она не любит церковь, но церковь — это еще не Ты; многие верят в Тебя, но не признают нашей Церкви...» Вспомнил, как на последней встрече с Орловым один подвыпивший новообращенный баптист чуть не кричал: «Это такие, как вы, православящие, распяли Господа нашего Иисуса Христа! Приди сегодня Иисус — ваши первосвященники тут же побегут в прокуратуру, чтобы

Его расстреляли. Уж Он-то знает, что вы за смоквы; миллион крепостных у вас отобрали, землю отобрали, заг отобрали, так вы на тысячелетие водкой пошли торговать?!».

Но нет, это всё самообман, этому раскрашенному чудовищу был нужен Он, а не слабая Церковь; такие ненавидят Его, отвергающего власть их распаленных похотным жаром, алчущих обезумленной жертвы чресл...

Вдруг — отец Михаил вспомнил о той, кого он так ожидал; его как ударило: а ты? а ты?! «Изыди, сатана!.. — заревел он вне себя про себя, — Господи, ты же знаешь, что это совсем другое!..» Не в силах противиться побуждению, он чуть повернул голову и, продолжая мирно кивать в такт почти не задевающей сознания исповеди Георгия, посмотрел на н е е... она стояла первой, шагах в десяти от него, лицо ее было прекрасно — чисто, кротко, немного бледно, — он смотрел на нее с надеждой... с любовью: помилуй, спаси, сохрани, — упокой сознанием, что не всё в мире скверна... Господи, какое лицо! Она с нами, Боже... Отец Михаил, светлея, отвел глаза — и посмотрел, сочувственно помаргивая, на Георгия.

— ...мерзость в душе. И уже не знаю — что в моей жизни от убеждения, от веры, а что просто от неспособности и безволия... которые прикрываю верой и убеждениями. Ведь до чего дошел: иногда думаю: «А без Бога ты что — слаб? Не можешь? Кишка тонка?!». И вообще... что? для чего?! — чуть не выкрикнул он. — Какая-то бессмысленная, бесполезная каторга, а не жизнь! Ну... что делать, отец Михаил?!!

Георгий замолчал... и наружно враз успокоился. Отец Михаил знал и этого человека, и других, подобных ему людей: где еще они могли выплеснуться, кто, кроме него, стал бы их слушать — и кому бы они решились это сказать? Интеллигенция, люди-борцы-с-собой, скованные бесконечной — замкнутой — цепью из «что делать» и «почему», они были неспособны вполне уверовать, потому что их Бог-Разум страстно хотел, но не мог склониться пред Богом веры, и мучили себя, потому что к их постоянной борьбе с собой прибавлялась еще борьба между верой и разумом. Отец Михаил знал и жалел этих людей, истерзанных изощреннейшими пытками самоедства, но сейчас, взглянув на Георгия и услышав и вспомнив, что он говорит (а он всегда говорил об одном и том же), вдруг опять почувствовал досаду и раздражение — уже на Георгия. Все, все думают только о себе! Страдают, мучают себя и других из-за химер, созданных их лукавой, пресыщенной, неспособной к д о в е р ч и в о с т и душою, — спешат к покаянию, просят у Бога прощения, просят их поддержать, ободрить, чтобы на изнемогшей под тяжестью «Я» душе стало легче — на час, на день, на несколько дней, до очередного, оскорбительного по своей ничтожности, повода для уныния: «не самореализовался», «не самовыразился» — о, что за слова! о, жалчайшая тварь — человек! место тебе среди бабуинов!.. А кто из вас подумал о Нем? Ведь Ему не стены эти нужны... золоченые (и правиль-

но, в самое сердце ужалил тогда баптист: «Ходите в парчовых одеждах перед обнагощённым Христом!»), не песнопения, не земные и поясные поклоны, — Ему вы нужны! Ему нужно знать, что Он не напрасно умер!..

— Нет ничего неразумнее тщеславия и гордыни, брат Георгий, — с сердцем сказал отец Михаил. — Какая житейская сладость пребывает печали не причастна? какая слава стоит на земли непреложна? Вся сени немощнейша, вся — соний прелестнейша; единем мгновением, и вся сия смерть приемлет... — Уязвление отца Михаила было так велико, что он говорил погребальными самогласнами. — Где есть мирское пристрастие? Где есть злато и серебро? Где есть рабов множество и молва? Вся — персть, вся — пепел, вся — сень... — Георгий заморгал и взялся за коротко подстриженную бородку. Отец Михаил вздохнул. — Если вам... да нет, ну вы подумайте хоть с мирской точки зрения: ведь пройдет двадцать пять, ну, тридцать лет — и все, и министры и дворники, — все будут т а м ; а пройдет еще тридцать — и хорошо, если родные внуки их вспомнят... «Что-то я не то говорю», — подумал отец Михаил — и потому, что говорил действительно что-то несообразное (пастырь наставляет пасомого с м и р с к о й т о ч к и з р е н и я!), и потому, что слова его, видимо, возымели обратное действие: узкое, бледное, сегодня явно не бритое лицо Георгия еще более побледнело и как-то тоскливо обмякло; но у отца Михаила уже было только одно желание — чтобы этот человек поскорее ушел и на его место пришла о н а — и своей чистотой, своей любовью... к Нему успокоила и поддержала его... — Брат Георгий, — сказал он, смирив досаду и нетерпение, — но смирил их не до конца и потому слова его прозвучали непривычно ему самому формально. — Что я, недостойный иерей, могу сказать паче Господа? *Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо приидет Сын Человеческий и воздаст каждому по делам его...*

Георгий опустил глаза, вздохнул и встал на одно колено. Отец Михаил — с облегчением и одновременно волнуясь, — то стараясь не торопиться, когда ему хотелось поторопиться, чтобы скорее встретиться с н е ю, то стараясь не медлить, когда ему хотелось помедлить, потому что он робел встречи с нею, — прочел разрешительную молитву.

— ...от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Георгий поднялся, перекрестился и отошел. Отец Михаил ждал, глядя прямо перед собой на уже сгустившуюся в центре храма толпу и слыша удары своего сердца. Вот в уголке его левого глаза появилось светлое пятнышко — верно, ее лицо, — чуть подрагивая, затеняя россыпи свечных огоньков, стало приближаться к нему; затаив дыхание, он медленно тронулся взглядом ему навстречу... встретился:

...очень крупное полное женское немолодое лицо...

Отец Михаил дрогнул и рывком оглянулся.

...Ее не было. Она ушла.

VI

Пришло время сказать несколько слов о жене отца Михаила.

Как мы уже предваряли, женился он не по любви — то есть сам он думал, что это любовь, но на самом деле это было просто тем доброжелательным чувством, которое он, по природе своего сердца и воспитанию, испытывал ко многим знакомым людям и, согласно с Божьими установлениями, стремился испытывать ко всем. На настоящую любовь мужчины к женщине это чувство показалось ему похожим лишь потому, что было ярко окрашено естественным влечением молодого мужчины к молодой и красивой женщине — тем более при его целомудрии. Не чувствуя, повторимся, в себе достаточно сил для безбрачной жизни, на которую он обрекал себя, будучи рукоположен неженатым, зная о препятствиях, которые стародавний обычай чинил рукоположению холостых, и, кроме того, искренне желая иметь семью — жену и детей, Михаил незадолго до выпуска из семинарии, поехал в очередной раз домой, к матери и бабушке в Тверь (отец с матерью развелись, когда Михаилу было пять лет; отец сильно и буйно пил и сгинул где-то в Сибири на заработках; в Твери у них был рубленый дом — большой, крестовый, но очень старый — середины двадцатых годов). Приехав к своим, Михаил попросил мать и бабушку познакомить его с доброй и, по возможности, верующей девушкой, с которой бы он, если Бог даст, мог соединить свою жизнь...

Через месяц девушка отыскалась. Михаил приехал, их познакомили, была весна, всё зеленело, пело, цвело, — Оля была светловолосая, голубоглазая, несколько пышная для своих лет, по разговору разумная, скромная и добрая, сказала, что верит в Бога... она ему очень, очень понравилась. Оля заканчивала курсы медицинских сестер; мать ее работала библиотекарем с матерью Михаила, отец был мастером на заводе, брат, несколькими годами старше ее, держал привокзальный ларек... — впрочем, всё это к сведению: для Михаила главное было то, что Оля ему понравилась. До выпуска оставалось полгода; он приезжал еще несколько раз и раз в неделю звонил — и радовался, видя ее и слыша ее нежный, с волновавшими его придыханиями голос — и мысли, что у него будет такая жена... Закончив семинарию, он вернулся домой, и через месяц они обвенчались, — а еще через месяц Михаил был направлен в Москву и рукоположен в дьяконы в церкви Мирона-мученика. Поселились они в маленькой двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома на Масловке: квартиру снимала епархия.

Наверное, через полгода — или год? — отец Михаил понял, что его жена... нет, не неразумна, нескромна и недобра, а просто не так разумна, скромна и добра, какой она казалась ему до свадьбы. Сказать, чтобы он

был разочарован, было ни в коей мере нельзя, — не только потому, что он сам был о себе самого смиренного мнения, не только потому, что разумом решительно отказывал себе в праве судить (чувства иногда прорывались), не только потому, что он привык и привязался к жене (это мы со стороны говорим: он был уверен, что он ее любит) и жили они скорее все-таки дружно (с к о р е е в с е - т а к и относилось к тому, что Оле случалось и сердиться, и плакать, и несколько раз даже кричать — причем по ничтожным поводам: «Миша, давай сходим на Киркорова... ну, или в театр». — «Оленька, это неприлично моему сану». — «Ну, поедем хоть к твоему Орлову». — «Обязательно поедем, но после поста. У него очень много пьют». — «Я еще синий костюм ни разу не надевала! Зачем же...» — и т.д. и т.д.); он был нисколько не разочарован еще и (подсознательно) потому, что все его очарования и разочарования были совершенно бессмысленны: слова — *что Бог сочетал, то человек да не разлучает* — были для него не сентенцией, но были — Закон; венчаясь, он твердо знал, что с женою его разлучит только смерть, и принимал ее такою, как она есть, — как мать или бабушку, то есть как родного тебе, навсегда связанного с тобой человека, — тем более что Бог располагал жену даже ближе: *сего ради оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, и будет два в плоть едину...*

Другое дело, что отца Михаила иногда огорчало то, что Оля слишком, на его взгляд, увлекается косметикой и одеждами, — и он позволял себе иной раз напоминать ей: *да будет украшением вашим не плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но нетленная красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.* Огорчало, что она любит смотреть телевизор намного больше, чем читать не то что духовные, но и просто хорошие книги, и, наверное, смотрит эти глупости целый день, когда его нет, — и однажды отец Михаил, когда она по какому-то поводу сослалась (как на авторитет!) на одну совершенно непотребного вида и образа жизни певичку, не выдержал — согрешил — и ядовито даже заметил: «Между прочим, «вземший в супружество блудницу или п о з о р и щ н у ю — певицу, актрису — не может быть в списке священного чина, а если уже состоит — да будет извержен». Не так уж часто, как было бы хорошо, ходила она и в церковь — хотя она, конечно, верила (точнее, как и многие, п о л у в е р и л а) в Бога, а как-то даже выразила неудовольствие телесным воздержанием отца Михаила во время поста (впрочем, увидев в его глазах негодование и изумление, глубоко и жалко, до слез, смутилась). Его огорчало, что она не работает какую-нибудь богоугодную, душеспасительную работу — например, воспитательницей в детском саду или медицинской сестрой (она собиралась — и всё никак не могла собраться; отцу Михаилу было положено хотя и не много, но и не мало, и денег хватало на жизнь вдвоем), и что, напротив, когда подруга предложила ей место в ларьке вещевого рынка, она легко

согласилась и уже на другой день бы пошла — если бы не воспротивился расстроенный отец Михаил: он не любил... ну, не то что не любил, а душа его не лежала к торговцам...

Но всё это огорчало отца Михаила не более — или немногим более, — чем он огорчал себя сам: и тем, что ленив и до сих пор не озаботился поступлением в академию (под лукавым предлогом, что толковать Бога нельзя; а кто заставляет Его толковать? — но познание мира — обязанность перед Богом: *блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся*); и тем, что часто прямо-таки выходит из себя, видя и слыша всякого рода скверну, — а ведь извергающие ее — в первую очередь глубоко несчастные люди, которых надо не казнить, а спасать (*идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева*); и тем, что не только любит вкусно поесть и долго поспать, но и, живя семьей и пользуясь необходимым, казалось, для жизни имуществом, не исполняет, как должно, заповедь полного нестяжательства: *если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим* — а вокруг было так много бедных, нищих и даже бездомных людей, — и что правильнее бы ему было, наверное, укрепиться и по выходе из семинарии принять постриг, а он оказался слаб и не сделал этого...

Но все эти огорчения, которые доставляла ему и Оля, и он себе сам, будучи и рассеяны во времени, и перемежаемы радостями, не нарушали спокойного, ровного течения его домашней и вообще жизни. Более всего его огорчало то, в чем ни он, ни Оля не были виноваты: минуло уже три года, как они поженились, а у них до сих пор не было детей.

VII

Вернемся к нашему повествованию. Несостоявшаяся исповедь — которую отец Михаил, однако, почему-то запомнил именно как первую встречу с н е ю — окончательно сокрушила его: с того дня он стал откровенно — уже не таясь от себя (таиться было уже бессмысленно и грешно, это был бы прямой обман) ждать э т у ж е н щ и н у . И с такой томительной, с юношеских лет уже позабытой сладостью звучало в его ушах при воспоминании о ней это обычное, заурядное слово: ж е н щ и н а ! Вместе с этой сдачей себя — безоговорочным признанием своего, пусть и сейчас не до конца ясного, чувства — резко возросло и смятенье в его душе. Он понимал, что ему нравится эта женщина, понимал, что чувство его совершенно бессмысленно и бесплодно, понимал совершенную невозможность хоть какого-то проявления этого чувства, его воплощения в жизнь: он женатый человек, иерей, посвятивший себя служению Богу и во всем стремящийся следовать предуказаниям Бога, — да и не желал (то есть не то что не желал, ему было даже дико подумать — да он и не думал! — об этом) никакого из-за этого

чувства изменения в своей на всю жизнь определившейся жизни... Но подспудно в душе его, видимо, шла какая-то неосознаваемая им внутренняя работа, которая изменяла — и изменила — его, потому что когда через две недели он увидел е е в дверях, он, конечно, обрадовался и разволновался, — но когда он увидел, что она идет прямо к нему — к людям, ожидающим исповеди, он вдруг почувствовал страх — и острое нежелание, чтобы она исповедовалась ему...

Почему?!!

Он, почти не слушая, принимал одного за другим прихожан — среди них опять был Георгий (кажется, от него пахло вином), мучил его своей неистребимой гордыней, — он чисто механически (сознание его цепляло сущность греха и тут же выдавало ответ) увещевал их памятными ему лучше других слов на свете словами Евангелия (и в этом уже был непростительный грех, грех небрежения Богом: святые слова звучали в его устах отговоркой!) — и одновременно напряженно думал о том, почему он не хочет увидеть и услышать ее на исповеди... что изменилось? Он понимал — или, вернее, чувствовал — поверхностную, скрывающую что-то очень важное и даже, может быть, тяжкое для него причину этого страха: почему-то ему казалось, что если он выслушает ее исповедь, то их отношения переменятся (какие отношения?.. но ведь у них нет никаких отношений!), — то есть, конечно, не переменятся, а определятся каким-то неприятным для него и даже пугающим его образом, — что если он выслушает ее, то она... будет навсегда потеряна для него!? — но разве он когда-нибудь мечтал обрести ее?!! И вдруг — как будто разверзлась бездна в его душе, и он с ужасом, жадно, не в силах противиться искушению — и д и и с м о т р и — заглянул в нее: да! — он мечтает быть с этой женщиной! по одному ее знаку он сегодня, сейчас бросит всё и пойдет за ней (*и сказал ему: следуй за Мною; и он, оставив всё, последовал за Ним*); и если он примет у нее исповедь, если она откроет ему свои, быть может, постыдные женские тайны и помыслы, он будет после этого в ее глазах не мужчина — будет священнослужитель, женский врач, бесполое существо, — да, она будет навсегда потеряна для него!.. Он стоял потрясенный, раздавленный — осознанием вдруг открывшегося ему собственного ничтожества, отчаянием, что у него оказалась столь жалкая, не выдержавшая первого же серьезного (и это серьезное?!!) испытания жизнью душа, чувством уже никогда и ничем не искупаемой вины — перед висевшим над ним на раздирающих плюсны гвоздях, в муках и смертной тоске умирающим за него Иисусом... Кто-то, перекрестясь, отошел; на его место встала о н а.

Отец Михаил очнулся. Он увидел перед собою ее — близко, на расстоянии вытянутой руки, — и она заслонила всё. У нее были карие, золотистые, как будто немного печальные и ласковые глаза... и хотелось целовать эти глаза, хотелось сделать всё — совершеннейшая бессмыс-

лица замелькала в мозгу: в клоаку города, в лес, в пустыню, пахать, торговать, взрывать!.. — чтобы эти глаза были счастливы; брови у нее были черные и пушистые, и в чуть опущенных уголках ненакрашенных — или может быть тонко, бледно накрашенных — губ золотился пушок; она была невысокого роста, на голову меньше его, на ней был светлый струящийся плащ и светлый платок — наверное, снятый с шеи, потому что шея ее — белая, теплая, нежная — казалась беззащитно обнаженной в свободном вырезе кофточки, или блузки, или как это называется, открывающем хрупкие, светлые рядом с тенистыми ямочками ключичные бугорки... Он стоял и во все глаза смотрел на нее. Вот — это было счастье.

— Здравствуйте, — тихо сказала она.

Голос. Ее голос!..

— Здравствуйте... сестра, — наслаждаясь этим «сестра», сказал отец Михаил.

Она застенчиво, чуть-чуть, улыбнулась. Отцу Михаилу стало трудно дышать. Не то чтобы он забыл, что идет исповедь, что его ждут люди, что впереди причащение Святых Тайн, — нет, он всё это помнил, просто ему больше всего на свете хотелось молчать и смотреть на нее — и он не мог совладать с собою и стоял и молчал... Наконец он сказал:

— Вы в первый раз у исповеди, сестра?

Она чуть кивнула.

— Я не так давно стала ходить в церковь... поверила в Бога.

— А как это случилось... сестра?

«Сестра, сестра, сестра... как это хорошо, как чудесно, как чудесно так говорить... Как мне с ней хорошо...»

— Я прочитала Евангелие, — сказала она, снизу вверх доверчиво глядя ему в глаза. — Мне подруга в аптеке дала... я работаю в аптеке. Я прочла и подумала: ведь это невозможно придумать, правда?

— Конечно, — легко и радостно сказал отец Михаил. Всё, что давило на сердце, исчезло: и нечистые его опасения, и чувство собственного ничтожества, и мука от осознания этого, и вина перед Богом... Сейчас в нем было только одно: он ощущал себя ее могучим, самоотверженным другом. — Вы знаете... мы, верующие, братья и сестры во Христе, обычно обращаемся друг к другу на «ты». Вы не возражаете?

— Нет-нет, что вы, — испугалась она.

Он испугался того, что она испугалась.

— Как т е б я зовут, сестра? — Он как будто прикоснулся — прикоснулся лаская — к ней этим «ты»: это было кощунственно, это было... но он как-то не почувствовал в этом кощунства.

Она два раза моргнула. Она моргала, как... лань. Отец Михаил так подумал — «лань», хотя ни разу не видел, как моргает лань.

— Наташа.

— А меня — отец Михаил, — сказал отец Михаил и, как будто извиняясь перед ней, улыбнулся. При этом он заметил, как у него двинулась борода, и стороною подумал: «Надо постричь бороду... вот как у Василия. Зачем уж так-то, лопатой? Я ведь не старовер...» Кроме того, он почувствовал, что ему не хотелось говорить бесконечно привычное его и внутреннему, и наружному слуху «отец Михаил», что ему бы хотелось — очень хотелось — сказать ей просто: «Михаил» — или даже, в ответ на ее простое «Наташа» — «Миша», — ведь они были, наверное, ровесники...

Слева от них — там, где стояли люди в ожидании исповеди, — кашлянули. Отец Михаил понял, что ее... Наташу (теперь он знал, как ее зовут!), уже хотят у него отобрать, и, почувствовав раздражение (непривычное ему раздражение; вообще многие чувства, испытываемые отцом Михаилом сейчас, были непривычны или даже вовсе незнакомы ему), сурово, в осознании своей силы и власти — которых у него хватит, чтобы ее защитить, — посмотрел на очередь. В ней было три человека; первой стояла высокая жилистая старуха с недовольно поджатым и оттого неприятно-глубоко провалившимся ртом, — демонстративно поглядывала в сторону солеи, на которой никого, впрочем, не было: отец Филофей и Василий, в закрытом алтаре, приуготовляли Святые Дары, — только псаломщик Федя, одиноко стоя на правом клиросе, нараспев возглашал час третий. «Ну и куда ты торопишься?» — спросил про себя у старухи отец Михаил, — но тут к ожидающим вновь подошел, теребя бородку, Георгий, и следом за ним — незнакомая маленькая, серая, востроносая — совершенно воробьиного вида — старушка... Отец Михаил повернулся к Наташе, вздохнул — и чуть не развел руками.

— В чем ты хочешь исповедаться перед Господом, сестра Наташа? — ласково спросил он. Это «сестра Наташа» прозвучало, наверное, дико, он это почувствовал: он должен был назвать ее полным именем и по-церковному — «сестра Наталия», но назвать ее так у него не повернулся язык. Это было еще более дико. «Буду называть ее просто "сестра"», — подумал он.

Наташа опустила глаза. Отец Михаил вдруг заволновался. Вслед за этим — за первым своим, еще не осознанным волнением — он вдруг вспомнил отчего-то девицу в джинсах — и заволновался так, что тронул крест на груди.

— Отец Михаил... — неуверенно, тихо, не глядя на него, сказала Наташа; у нее была крохотная ямочка на кончике носа и чуть голубоватые веки с черными прямыми ресницами. Отец Михаил видел каждую ресничку. — Отец Михаил... я не люблю своего мужа.

В первое мгновенье его неприятно поразило слово «муж»: почему-то он раньше (или отчетливее) других услышал его (таинственна природа этого его неприятного удивления: оказывается, в недоступной его

мыслящему «я» глубине крылась надежда, а может быть, и уверенность (надежда — для чего? уверенность — почему?..), что она не замужем; но он никогда отчетливо не думал об этом!), — в первое мгновение его неприятно поразило слово «муж», но уже в следующее он воспринял всю фразу: «я не люблю своего мужа» — и она совершенно перевернула и... счастливо ошеломила его. «Хорошо, ах как хорошо! — прозвучало внутри него. — Как хорошо, что ты не любишь своего мужа!» Он вообще... как-то махнул на себя и на всё рукой. Вслух он сказал:

— А почему, сестра?

Он ожидал, что теперь, после ее признания, она поднимет голову и ответит, глядя ему в глаза — как они разговаривали до сих пор, — но она продолжала смотреть на Евангелие и крест, лежащие на аналое... и его вдруг охватил ватно обессиливший его страх: он был так рад видеть и слышать ее, что к нему не сразу пришла очевидная мысль: если она, такая красивая, нежная, молодая, не любит своего мужа, — значит, она любит кого-то другого!.. Она молчала; он совсем потерял голову и быстро, настойчиво переспросил:

— Отчего же вы не любите вашего мужа?

Она подняла на него глаза — и, взглянув ей в глаза, он сразу счастливо успокоился.

— Нет-нет, я не испытываю к нему какой-то... вражды... просто он стал мне совсем чужим человеком. Понимаете... года три назад он занялся коммерцией, до этого был инженер, — продает какие-то вентиляторы; его интересуют только деньги... ох нет, что я говорю? Его и деньги не интересуют... мне кажется, его не интересует вообще ничего. — В ее тихом голосе зазвучало даже как будто раздражение — тихое, усталое раздражение. — Он как машина какая-то: уходит рано утром, приходит поздно вечером, а в воскресенье, — в субботу он тоже работает, — в воскресенье... ну, просто страшно смотреть: лежит целый день — просто целый день, с утра до вечера — и смотрит телевизор. Лежит на диване, курит и даже не встает, только нажимает кнопки на пульте... и, по-моему, ни одной передачи до конца не смотрит. С ним даже не о чем поговорить... то есть он со мною почти не разговаривает, да и мне не хочется с ним говорить. Ведь это плохо... плохо, отец Михаил?

Отец Михаил вышел из радостного недоумения (как это можно — жить рядом с нею и не обращать на нее внимания? И хорошо, и хорошо!) — и потерялся. Плохо?.. Кому угодно другому он бы сразу сказал, что дурно здесь то, что к человеку, живущему без Бога в душе, должно испытывать сострадание (вспомнил чье-то ехидное: вера хороша уже тем, что люди сострадают друг другу: верующие — неверующим, неверующие — верующим...), что долг христианина — помочь блуждающему в потемках, тем более близкому, человеку нащупать дорогу к Богу... но говорить это Наташе отец Михаил не стал. Он — осторожно — сказал:

— Я не вижу в этом твоей вины, сестра. Ведь это твой муж (ему было неприятно произносить это — «твой муж») отдалился от тебя. — Он помолчал. Долг боролся в его душе с чем-то дурным — этим дурным было то, что ему очень хотелось: пусть всё будет, как будет... даже не будет, а так, как было сейчас. Но здесь долг победил. — Ты... не пыталась обратить его к Богу?

— Это совершенно бесполезно, — горячо сказала она. — Если бы вы... ты... вы... — она запуталась и покраснела. Отец Михаил должен был — понимал, что так правильнее всего было бы — сказать: «Говори так, как тебе удобнее, сестра», — но впервые прозвучавшее в ее устах обращение к нему «ты» было так приятно ему — он как будто ощутил ласковый, осторожный — прикровенный — толчок, доставивший ему наслаждение, — что он не смог побороть желания еще раз услышать и почувствовать это и — наверное, виновато и чуть напряженно, фальшиво улыбнувшись — сказал:

— Мы же договорились обращаться друг к другу на «ты», сестра?

И ему стало стыдно.

— Да-да... если бы... ты, отец Михаил, знали, что он смотрит по телевизору...

Отец Михаил вовсе не смотрел телевизор: он лишь видел иногда краем глаза, что́ по нему показывают, и не понимал, как можно такое и показывать, и смотреть: на его взгляд, это было (и с той, и с другой стороны экрана) полное сумасшествие.

— Да, это очень печально, — искренне сказал отец Михаил.

— Однажды я дала ему Новый Завет — он так на меня посмотрел... и сказал... он грубо сказал, он был чем-то раздражен по работе, и я нарочно ему дала, думала его успокоить... он сказал, что он еще не сошел с ума, — он сказал «ошизел», — чтобы читать эти... бредни.

Как ни был отец Михаил поглощен своими новыми чувствами, его лицу стало жарко от негодования и обиды.

— Слепцы... Боже, какие слепцы, — с горечью сказал он. — Человек шесть дней бегает не помня себя и продает вентиляторы, а седьмой лежит на диване и смотрит телевизор... и он счастлив?

— Я не люблю его, — печально и твердо сказала Наташа. — И вы не представляете...

Она осеклась и опустила глаза. Отец Михаил подумал, что она что-то не договаривает... наверное, что-то интимное, — и конечно не договорит. Ему стало очень жалко ее... и тяжелое, недоброе чувство к этому неизвестному ему человеку (который из-за этой своей неизвестности казался еще более отталкивающим — потому что был лишен человеческих черт) поднялось у него в душе... Отец Михаил понял, что это ревность. Еще никогда в жизни он не испытывал ревности. Она посмотрела на него, и он посмотрел на нее — со всеми чувствами,

которые сейчас жили в нем, — и они оба увидели, что в их лицах что-то переменилось.

— Я не хочу с ним жить, отец Михаил.

Теперь отец Михаил опустил глаза. Он стоял так, глядя на крест, на светлое тело Спасителя, поникшее на кресте, и молчал. Он молчал, хотя должен был ясно и твердо сказать: «Это грех, сестра, большой грех. Ты должна жить со своим мужем, ибо *что Бог сочетал, того человек да не разлучает*». (Но ведь они скорее всего не венчаны, — как-то суетливо промелькнуло у него в голове. — Ну и что? Иисус ничего не говорил о венчании, Ты говорил: *и будут два в плоть едину*. Плоть едина — вот что такое муж и жена...) Ему надо было сказать: «Ты должна помочь своему мужу, помочь своей кротостью и любовью (*чтобы те мужья, которые не покоряются слову, чистым богобоязненным житием жен своих без слова приобретаемы были*)...» А он сказал:

— Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, сестра Наталия, все согрешения твоя; и аз, недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

И задрожавшей от своей дерзости — и нежности — рукой возложил на ее склоненную голову лентие епитрахили.

— Спасибо, — прошептала она — и, перекрестившись и поцеловав Евангелие и крест, пошла... Он, волнуясь, смотрел ей вслед, и на душе его было необъяснимо светло. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного...» Впрочем, он м о г дать ей спасительный совет, но где сказано, что он о б я з а н был сделать это? И ему ли судить, где обретается чужое спасение?..

VIII

Пробуждение, как и следовало ожидать, было тяжким: ему было больно и стыдно — и оттого, что он лукавил перед Богом, и просто оттого, что он потерял власть над собой. Опять его бросило в мучительный круг самообличения и самокопания — поневоле он вспоминал бичующегося Георгия. Снова и снова он пытался оправдать себя тем, что у него не было и нет дурного намерения; предположим, н а м е р е н и я у него действительно не было — еще и потому (он не хотел признаваться в этом себе), что по-прежнему не было никаких, даже самых шатких оснований для претворения в жизнь какого-либо его намерения: что связывало его и ее? — ничего; да и какие... какие у него, христианина, священнослужителя, вообще могли быть здесь намерения?!! Но — день шел за днем, в душе его продолжалась всё та же, уже давно начавшаяся и до сих пор не вполне осознаваемая им внутренняя

работа, и хотя и небыстрое, но непрерывное течение этой работы неуловимо подтачивало его.

Теперь он не просто часто, а, наверное, каждую свободную минуту вспоминал о Наташе. Он сам не заметил, как эти воспоминания — то есть просто представления ее лица, ее голоса, ее фигуры — превратились в мечты, — мечты неотступные, упоительные и нелепые — уже потому, что мечты эти, не то что осторожные, а совершенно невинные, были кусками воображаемой жизни, лишенными всякого продолжения, событиями, происходящими без всякого смысла и цели — в свою очередь потому, что никакой цели у него не было. То он представлял, что встречает ее по выходе из церкви, на паперти, — она задержалась, у нее... ну, например, развязался шнурок (в моде как раз были ботинки с высокими шнурованными голенищами; правда, отец Михаил не знал, есть ли у нее такие ботинки), — они вместе идут по двору, на дворе гололед, она поскальзывается, и он поддерживает ее — за локоть, может быть, чуть выше локтя, — и она говорит, краснея и смущаясь: «Спасибо...»; то он представлял, что они садятся вдвоем в сорок третий троллейбус, им куда-нибудь (куда? ну, неважно куда...) по пути, — в троллейбусе тесно и шатко, она не может дотянуться до поручня, и он опять поддерживает ее — ее узкую, с чуть осязаемыми уголками лопаток спину...; то совершенную уже чушь — он встречает ее во дворе страшно замерзшую (а зачем она мерзнет в церковном дворе? — ну, не знаю...), — ведет в свою комнату в трапезной, снимает с нее пальто, надевает на нее свой толстый, связанный мамой свитер, поит горячим чаем... однажды увиделось — и навсегда привилось: снимает с нее сапоги и греет ее маленькие ноги в своих руках... Представлять всё это ему было настолько приятно, что одну и ту же картину — или, вернее будет сказать, маленький фильм — он просматривал несколько раз подряд, при каждом просмотре, в свою очередь, часто останавливаясь и возвращаясь к какому-нибудь особенно близкому, полюбившемуся ему месту.

Он понимал, что это плохо — уже потому, что это было какое-то (сродни, наверное, наркотическому) одурманивание себя, потеря себя, неспособность духа противостоять... нет, не плоти, — наверное, так: неспособность его высшего духа противостоять какому-то духу плоти, стремящемуся к радости. И если он мог до сих пор (и смог бы, казалось ему, и сейчас — он не любил вспоминать случившегося с ним на исповеди помрачения) управлять своими поступками, — то перед своими помыслами он оказался бессилен: он не мог заставить себя не думать о ней, не представлять, как он поит ее в своей комнате чаем или поддерживает ее... поддерживая, обнимает ее (конечно, обнимает — а как же еще?) в троллейбусе... Он молился, но молитва ненадолго помогала ему; ему стало страшно: он понимал, куда могут устремиться неподвластные его воле мечты, он чувствовал, как с каждым днем

крепнет его властное (как будто черпающее силы из слабеющей воли его) желание видеть ее, разговаривать с ней, делать что-нибудь, что будет хорошо для нее, — и знал, как называется чувство, порождающее эти — и другие — желания... а оно всё нарастало, как будто камень катился с горы, — наверное, еще и потому, что Наташа стала часто ходить не к вечерне, а к литургии (работа у нее была сменная), к исповеди... Исповедоваться ей было решительно не в чем, и когда отец Михаил понял, что она, подобно местным старухам, придумывает себе игрушечные грехи и, значит... — когда отец Михаил понял это, он совсем потерял голову.

В первое время, когда в жизни отца Михаила появилась Наташа, он никак не связывал ее с Олей — и потому, что чувство его было очень неясно, и потому, что в нем ничего не было плотского. Но теперь, когда это чувство усилилось и развилось, — когда отец Михаил ясно понял, что ему больше хочется быть рядом с Наташей — в церкви, во время службы или на исповеди, в мечтах — в переполненном троллейбусе или церковном дворе, — чем дома с женой, — к его угрызениям совести перед Богом добавились угрызения совести перед Олей и жалость к ней — тем более что он чувствовал, как у него день за днем изменяется к ней отношение: его уже не так огорчали, как раздражали и ее наряды, и ее телевизор, и ее праздность, — ему уже всё реже хотелось близости с ней, и во время этой близости он, всегда осторожный и ласковый, теряя власть над собой, бывал груб — ему хотелось быть грубым, — и после этого терзался, мучился, испытывал ненависть и отвращение к себе... Наконец — и это особенно тяжело поразило его, — он перестал огорчаться тем, что у них до сих пор нет ребенка, и досадовать на то, что Ольга с необъяснимым упорством не хочет показаться врачу; то есть он по-прежнему любил детей и хотел, чтобы у него были дети, но... дальше он обрывал себя.

Исповеди продолжались. Но не только исповеди — для столь частого покаяния у нее не хватало ни действительных, ни воображенных грехов. Она стала подходить к нему иногда после службы — это были короткие, одновременно радостные и томительные для отца Михаила встречи, во время которых она иногда просила разъяснить ей непонятное место в Евангелии, иногда жаловалась — она работала фармацевтом в аптеке, и ее, к великому изумлению и возмущению отца Михаила, сильно обижала начальница. На мужа она не жаловалась — о муже она вообще перестала говорить, но при этом отец Михаил как-то чувствовал, что в ее отношениях с мужем ничего не переменилось — и был этому рад (стыдно было — но был рад, рад, рад). Иногда... иногда она просто и ласково спрашивала его: «Как ваши дела?» (когда она пыталась в чем-то покаяться, она заученно обращалась к нему на «ты»; когда они говорили о чем-нибудь не на исповеди, — на «вы», и это чередование «ты» и «вы», на слух отца Михаила, только придавало их разговорам особое обаяние — волнующую таинст-

венность и теплоту), — так вот, иногда — да не иногда, а в последнее время часто, можно сказать, всякий раз, — она тихо и ласково (и немного заговорщицки? — ведь в нескольких метрах всегда стояли люди, тоже желавшие поговорить с отцом Михаилом) спрашивала его: «Ну, как ваши дела?», — и отец Михаил, обрадованный и взволнованный тем, что она, после двух-трех дней ожидания, наконец, пришла, рассказывал ей, как у него дела... а после ее ухода бывал потрясен: ведь духовные беседы они превращали в свидания!!!

...Месяц назад она подошла к нему и сразу же, быстро сказала, что собирается развестись с мужем. Она сказала это твердо, сильно волнуясь, близко глядя ему в глаза. Отец Михаил без участия разума тихо сказал:

— Я люблю тебя.

Она сказала:

— Я тоже.

Счастливый, отец Михаил оказался в мучительном тупике.

IX

Шоркнула дверь. Отец Михаил очнулся и поднял голову. Вошла баба Катя, уборщица.

— Мишенька, батюшка, хочешь пирожок? Не бойся, с капустой...

Отец Михаил отодвинулся от стола. Он почти обрадовался — и потому, что сначала испугался Василия, за своими размышлениями не сообразив, что Василий давно уже дома, и потому, что любил старуху. Она чем-то — впрочем, может быть, только старостью — была похожа на покойную бабушку.

— Спасибо, баба Катя. Сколько я тебе должен?

— Что ты, что ты, деточка! Это я сама испекла. Буду я всякую срань на улице покупать... Кипяток-то есть?

Отец Михаил заозирался в поисках чайника. Он становился рассеян, в последнее время ставил чайник то на окно, то на шкаф, то на стол, то в стол... Баба Катя мелко засеменила к окну — чайник оказался за занавеской.

— Воды-то нет... Сейчас я тебе принесу.

— Да что ты, баба Катя, я сам...

— Сиди, сиди, отдыхай! Шутка ли — два часа на ногах, да еще служить в полный голос. До тебя-то отец Николай, царствие ему небесное, думаешь как служил? Бормотал что-то себе под нос, на крылосе не было слышно...

Баба Катя положила на стол пакет с двумя пухлыми румяными — пирогами, а не «пирожками» — и вышла с чайником в коридор. Ей было уже за семьдесят, и убираться ей было трудно, тем более что из-за катаракты у нее быстро слабели глаза. Василий подбивал отца Филофея

взять на ее место свою знакомую, молодую приезжую женщину, — но отец Филофей по старости сам сочувствовал старости, да и отец Михаил вступался за бабу Катю, которая жила одна, схоронив и мужа, и сына... Баба Катя вернулась.

— Ну, а уж включишь ты сам, я их боюсь, этих чайников. У моего Пети покойного как-то взорвался...

— Спасибо тебе, баба Катя.

Отец Михаил включил чайник, открыл дверцу стола, вытащил чашки, ложки, жестяную коробку с чаем и пачку сахара.

— Я тебе налью, баба Катя?

— Нет-нет, мне не надо, мне, Мишенька, вредно много воды... Крестовоздвиженский-то поп — слыхал? — снова запил. Анисья говорит, на Обрезание белугой ревел, слова было не разобрать, а потом пропал на неделю: Крещение один Виталий служил. Другого бы выгнали давно, так у него отец вона где... Был бы у тебя такой, Мишенька! Ты у нас молодец, уже бы приход получил.

Отец Михаил покивал и слегка улыбнулся. Почему-то ему стало легче от того, что крестовоздвиженский Федор запил.

— Ну, я пошла. Благослови, батюшка.

Отец Михаил положил крест.

— Спаси тебя Бог, баба Катя.

— И тебя, Мишенька.

Он дождался, когда чайник заклокотал, и прямо в чашке заварил себе чаю. Слышно было, как в коридоре поплескивала тряпка и гремело дужкой ведро. Отец Михаил снова подсел к столу и оперся на руки подбородком. Что делать? *Камо грядеши?..*

...После того признания совершенно безмысленное счастье, охватившее отца Михаила, продолжалось недолго — до возвращения в тот же вечер домой. Положение казалось — да не казалось, а было — безвыходным. Разводиться было нельзя, потому что развод запретил Господь, потому что разъединиться с одним телом и слиться с другим — это гнусно, это скотство, это прелюбодеяние. Разводиться было нельзя, потому что это значило бросить жену, сделать зло жене, а Господь запретил делать людям зло, и отцу Михаилу было жалко жену. Подобное разделение Закона и нравственного чувства может показаться формальным, но отец Михаил привык сверять ощущения совести — хотя обычно они появлялись первыми — с требованиями Закона, и почти всегда голос его совести совпадал с буквой Закона. Дурные поступки в глазах человека есть те, которые он сам, по научению Богом или людьми, признает дурными. Закон не выше и не ниже совести: совесть есть голос разума, укоряющий человека за дурные поступки, — отражение признаваемого им нравственного закона в душе; если же человек Закона не признает и подчиняется ему только из страха, совесть его молчит.

Отец Михаил признавал Закон, и его мучила совесть. Кроме того, он бесконечно любил Христа; он не мог оскорбить, оттолкнуть Его, презревши Его Закон, — он, один из немногих стремившихся быть верным Ему (не с осуждением и не гордясь, а с великой горечью думал он) среди миллионов не признававших Его людей. И совсем уже наконец — он знал, что священнослужитель, уже по церковному праву, вообще не мог развестись и жениться в другой раз; разведясь, отец Михаил должен был снять с себя сан, то есть отказаться от единого смысла всей своей жизни — служения Богу, выйти из клира в мир — им это ощущалось, как выйти из Церкви, — а Церковь, что бы он рассудочно ни думал и ни говорил, растила его с малых лет, с того дня, как он в первый раз пришел в нее с бабушкой, — Церковь воспитала из него иерея, Церковь была ему мать, и ни отвергнуть, ни поменять Ее было ему нельзя...

Казалось, всё это страшно — и это действительно было для отца Михаила словами непередаваемо страшно: когда он думал об этом, его охватывала телесная слабость, хотелось сесть, — и казалось, что думать и колебаться тут нечего, выбора нет... — но после того, как в вечер признания они с Наташей встретились возле церкви, и пошли вдвоем по чуть освещенному заревом неба двору, и во дворе было скользко, потому что Дмитрий уволился, а нового дворника еще не нашли, и Наташа скользила и он поддерживал ее под хрупкий ласковый локоть, и сели в сорок третий троллейбус, и в нем было шатко и тесно, и поручень был далеко, и он обнимал ее узкую спину с чуть осязаемыми холмиками лопаток, и перед тем как она вышла — она ехала к матери, — он ее поцеловал и она поцеловала его, и от нее изумительно пахло какими-то неведомыми цветами, и когда его губы прижались к ее виску и в уголок их, ласкаясь, проникла пушистая дужка брови — и краешек трепетного века под ней, — исчезла вся его жизнь... всё исчезло — детство, юность, священство!.. — после всего этого он понял, что в его духе и теле нет сил отказаться от этого...

Но пойти против Бога он тоже не мог, — то есть он понимал, что уже шел против Бога, не слушал Его, но это было лишь в минуты забвения, потери себя, за которые он, очнувшись, презирал и казнил себя, — но сознательно, разумной волей ослушаться Бога было ему нельзя; и здесь был уже страх не только обидеть Бога, любимого Бога, но и страх потерять свою жизнь, потерять дорогу, утратить смысл своей жизни — смысл ежедневного завтрака, одевания, поездки в храм, служения Богу, разговоров с отцом Филофеем, Василием, бабой Катей, утешения Георгия, чтения книг, поездок к матери, рождения детей... — был страх утраты всего: отвергнув одно, он разрушал, подвергал сомнению целое, переступив одну заповедь, он мог искуситься и небереженьем другой, — терялся Свет, руководивший его в смятении жизни, единый могучий источник, Логос, исчезал, дробился на множество —

где истинных? где ложных? — огней... Как тогда жить? Метаться, обжигаясь, среди этих огней — или превратиться в животное и жить единственно на плотскую радость себе?..

Всё продолжалось по-старому. Они встречались раз, два, много три раза в неделю — она приходила, он служил, провожал ее до остановки, она уезжала... за эти короткие пять, десять минут они говорили о Боге, о службе, о ее работе в аптеке, о его поступлении в академию, о кактусах, которые она разводила, о старинных открытках с изображениями церквей, которые он собирал... Однажды она мельком сказала, что муж ее стал много пить, дела его пошатнулись, кричал на нее... пьяный, наверное, приставал, — страдая, думал отец Михаил: этот муж, имени которого он даже не знал, потому что она никогда не называла его по имени, представлялся ему огромным, тупым, бессердечным чудовищем, которое мучило, терзало ее, — но он не осмеливался спросить, подала ли она на развод, он даже не знал, сказала ли она мужу, что собирается с ним разводиться, — а она об этом почему-то больше не говорила... впрочем, он подозревал, почему, и казнился этим: после того, что они сказали друг другу, разговор о ее разводе, наверное — или конечно?.. — предполагал и какое-то решение с его стороны, — а он молчал! — у него решения не было, была одна бесплодная мука... День шел за днем. Уже наступил новый год и близились Святки; уже как-то Василий, посмеиваясь, сказал: «Что-то эта брюнеточка часто ходит. Это к Богу... или к тебе?»; уже отец Филофей однажды недовольно указал ему на нарушение чина; уже редкая даже литургия воодушевляла его, — нет, он был искренен в своем отношении к Богу, просто очень устал...

Вдруг — всё это взорвалось.

Отцу Михаилу изменила жена.

X

Произошло это так... вспоминать было тяжко. Отец Михаил плохо себя почувствовал перед обедней, измерил температуру — оказалось почти тридцать восемь, с трудом отслужил, приехал домой, открыл дверь, снял пальто и пошел в гостиную — услышал, что Оля там; ему было очень плохо, хотелось скорее лечь... увидел: Виктор, сосед, — коренастый, белобрысый, иногда заходил к отцу Михаилу, вкрадчиво, осторожно расспрашивал его о Христе, — малиново-красный, с бесцветными на красном лице глазами, в какой-то неестественной, напряженной позе замер на стуле, стоявшем почему-то посреди комнаты, — а Оля, тоже красная, с бессмысленным, размякшим лицом, стояла в углу (как-то странно далеко: дальше некуда было, бросалось в глаза — от стула) и судорожно, прыгающими руками застегивала халат... Злоба, отвращение, боль охватили отца Михаила; он постоял несколько вре-

мени молча — жар заливал лицо, гудело в ушах, всё вокруг — комната, мебель, люди — было уродливым, незнакомым, чужим, — сосед приподнялся со стула, криво улыбнулся, развел руками и тут же протянул правую растопыренную руку к отцу Михаилу и нелепо закивал головой; жена хотела что-то сказать или, может быть, просто пошевелила губами, — она никак не могла застегнуть последнюю пуговицу, из-под короткого халата торчали ее голые, в золотистых ворсинках ноги, в разошедшихся между соседними пуговицами полах ярко белела внутренняя поверхность бедра... Отец Михаил очнулся, в ужасе, ненависти, тоске закричал: «Мерзость!.. Молчи, молчи!..» — повернулся, шатаясь вышел в соседнюю комнату, упал на диван — перед глазами в такт гулким ударам сердца закружились лица соседа, жены, отца Филофея, Наташи, Василия, кого-то еще... — и погрузился в тяжелый, душный полубред, полусон...

Наутро, проснувшись, он не вдруг вспомнил всё — а вспомнив, застонал от тоскливого, обессиливающего отчаяния. Чувство его было — рухнула, кончилась жизнь; и вокруг, и впереди была пустота. Думать он в этот день не мог и весь день пролежал с этим тоскливым, бессильным чувством; слабость после вчерашнего жара спасала его — чувство было тягостным, но не острым. Жены дома не было, она пришла к вечеру, — он с ней не разговаривал, ему было противно, и ненавистно, и страшно — боялся еще большей, быть может, невыносимой, душевной боли — даже видеть ее, — она тоже молчала и, казалось, испуганно избегала его: с низко опущенной головой, как-то боком проскальзывала в гостиную, когда он выходил в уборную или на кухню. Температура его уже утром спала (он померил ее: ему было бы всё равно, болен он или здоров, если бы тоска не гнала его прочь из дома); лег он рано, во второй или третий раз в жизни приняв снотворное, и на следующее утро проснулся, показалось ему, здоровым — лишь со слабостью в теле и уже какой-то беспокойной тоской в душе, — быстро через силу (через силу именно потому, что страшно спешил) позавтракал, быстро оделся, с огромным облегчением закрыл за собою дверь — всё время боялся что о н а выйдет из комнаты — да еще, не дай Бог, что-нибудь скажет ему... — и поехал в церковь.

В дороге чувства его наконец осознались, оформились — до этого была просто почти физическая, безмысленная, бессловесная мука. Ему было очень больно, мерзко, обидно, что его жену, которой он столько отдал («всю свою жизнь! всё для нее!..»), — жену, которая была только е г о, в е г о доме трогал, смотрел, доводил до потери себя, до рабьего, скотского исступления посторонний мужчина — и кто?!! — тупой красноглазый крол, уродливый и примитивный, не закончивший не то что семинарии — обычного института и развозивший по газетным объявлениям мебель на ободранном слабосильном грузовике. Ему было безнадежно-горько осоз-

навать, что весь мир затоплен ложью, пороком, скверной... как же не весь, если скверна вошла даже в его собственный дом! «В м о й д о м» — вдруг, потрясенный, чуть не закричал, подходя к остановке, отец Михаил. — В дом, где я столько молился Тебе! и Ты видел этого сопящего от вожделенья самца и эту распаленную, истекающую похотью самку!..» — и при этой мысли угрюмая ненависть к надругавшейся над ним и над Богом жене раздавила все прочие чувства отца Михаила...

Он приехал в церковь — его не ждали, — отрешенно служил, потом пил чай в своей комнате с Василием и отцом Филофеем, — и они страшно тяготили его, тем более что старик вдруг ключом вскипел и напустился на латинян, обращаясь в основном к отцу Михаилу: дьякона он считал и вовсе мальчишкой... Потом он вышел к вечерне — и на вечерне увидел Наташу.

Он увидел ее лицо — она смотрела на него с верой, надеждой, любовью, — и страшная тяжесть вдруг сорвалась с его сердца, он очнулся, ожил: ведь он свободен — свободен! — он может оставить жену и уйти к Наташе! Ведь это жена его предала, совесть его чиста: *кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния*, — на нем вины нет... И с облегчением, во всю мощь своего голоса, он возгласил предначинательный псалом:

— Благослови, душе моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличился еси зело; во исповедание и велелепоту облекся еси. Одеяйся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспренняя Своя, полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветрену; творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный...

После вечерни он встретился с Наташей, они пошли на дальнюю остановку, через старый липовый парк; шел огромный медленный ласковый снег, всё вокруг было черно-белым, чуть золотистым в свете редких, искрящихся снежинками фонарей. Месяц прошел с тех пор, как они безумно сказали друг другу «люблю», — и ничего с тех пор не было решено, — но сейчас... или очень скоро — всё должно разрешиться. Он шел и думал о том, что надо ей всё рассказать, — но пока молчал: он не знал, что, но что-то удерживало его... Наташа сказала:

— Тебя позавчера не было. Я пришла, а служит ваш старичок.

— Я заболел, — сказал Отец Михаил.

— А что с тобой было?

— Не знаю... Температура поднялась. Простыл, наверное.

— Высокая?

— Тридцать восемь.

— Ужас какой. Ты что-нибудь принимал?

— Да нет. Я не люблю принимать лекарства.

— Тебе надо обязательно попринимать бисептол, — сказала она, и отец Михаил улыбнулся, радуясь ее встревожившемуся голосу и лицу. —

Это может быть грипп, после него бывают ужасные осложнения. Ужасные... можно остаться инвалидом на всю жизнь, не приведи Бог. Пойдем, зайдем в аптеку. Здесь рядом с остановкой аптека.

— Я сам зайду, ты езжай, — изменившимся голосом — даже ему самому было слышно — сказал отец Михаил. Он вдруг очнулся. Наверное, он действительно не вполне оправился от болезни, и разум его ослаб. Сейчас он вспоминал свои недавние мысли и ощущения, как протрезвившийся человек свои хмельные слова и дела, — со стыдом и недоумением.

— Честное слово, зайдешь? Дай честное слово.

Они подошли к остановке. Он через силу, изо всех сил пытаясь скрыть наваливающуюся тоску, посмотрел на нее. В ее глазах светились две золотые точки, по одной в каждой блестящей ласковой радужке, — отражения близкого фонаря.

— Наташа... да, честное слово.

Ему не то что не хотелось — было мучительно трудно идти в аптеку, как и вообще что-то делать и куда-то идти, — но ему не хотелось ее огорчать.

— Смотри, ты дал честное слово.

Светясь и урча, подошел троллейбус.

— До свидания... Миша, — ласково сказала она. Она еще редко называла его по имени. — Ты... не переживай, ладно?

— Спасибо, — сказал он — и поцеловал ее во второй раз в жизни, и она поцеловала его. — Я не переживаю, ну что ты... Ты́ не переживай. Всё будет хорошо. Когда ты приедешь?

— В пятницу.

Лязгнули двери; она вошла и помахала ему рукой, по-детски сгибая и разгибая пальцы в разноцветной вязаной варежке. Он так же помахал ей в ответ. Двери схлопнулись с гуденьем и скрежетом; троллейбус ушел — синий, почему-то не изуродованный рекламой троллейбус с ярко-желтой опояскою окон. Улица была длинной, и он долго смотрел на ее силуэт в заднем окне. Потом со стоном вздохнул и пошел в аптеку.

У него было чувство, как будто на разум его набросили сеть — и с каждой попыткой освободиться он всё более в ней запутывается. Глупец, о , трижды глупец... От чего ты о с в о б о д и л с я? Он шел, и уже высокий свежевыпавший снег громко поскрипывал у него под ногами. Лицу его было жарко — наверное, снова повысилась температура. Если это грипп, к пятнице он может не выздороветь. Так... Мысли его — как сетные нити — путались, у него не хватало выдержки — а может быть, мужества — их разбирать; до конца не распутав ни одну, он бросал ее и начинал тянуть за другую. А это куда, зачем? Вдруг — раздражение, даже гнев охватили его... За что?! Сеть распустилась, опала.

Итак, что изменилось? Изменилось то, что Ты разрешаешь мне развестись: прелюбодействует тот, *кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние.* Я развожусь за прелюбодеяние, то есть перед Тобою я чист. Но... церковный развод для клирика — не гражданский развод; священнику нельзя развестись иначе, как по причине измены жены... то есть это надо идти в консисторию, быть может, к епископу... самому Артемию, — и что там? рассказывать, доказывать, может быть, писать заявление? о мерзко, стыдно!.. Но: правило Неокесарийского Собора гласит (отец Михаил вышел из семинарии третьим): «аще жена по рукоположении мужа впадет в прелюбодейство, он должен развестись с нею; аще же сожительствует, не может касаться служения, ему порученнаго». Он д о л ж е н ехать к епископу, и вся епархия будет знать о его позоре! Но: он всё равно не может жениться на разведенной Наташе, потому что это воспретил Бог: *женившийся на разведенной прелюбодействует* («но почему, почему?.. а если муж ее бросил?..»); но!.: он всё равно не может жениться на Наташе, потому что Апостольское правило гласит: «вземший в супружество вдову или отверженную от супружества не может быти в списке священного чина»... Всё! Отец Михаил прошел мимо аптеки, вспомнил, остановился... он дал слово Наташе — вернулся, попросил... как называется это лекарство? кажется, бесалол, — купил бесалол.

Поехал домой.

По дороге, в троллейбусе, глядя в черные со смазанной радугой окна, он принял спасительное — или, по крайней мере, успокаивающее — решение: как Бог даст. К а к Б о г д а с т относилось ко всему, что связано было с Наташей, потому что то, что он разведется с женой, ему было ясно: никакое унижение перед епископом (а Артемий, по слухам, был крут, наверное, мог сказать: «Если ты не смог окормить семью, как же ты окормляешь паству?»), никакой позор перед клиром десятков церквей (вспомнил вдруг: «Крестовоздвиженский-то, говорят, снова запил...») — ничто не заставит его жить с этой женщиной. Всплыла в памяти гнусная поговорка: «кто любит попа, а кто попадью...». Гадина, мерзкая тварь! Бесплодная смоковница!.. Его внутренний слух резанула непривычная ему грубость, за последние слова ему стало стыдно: «Прости меня, Господи, не слушай меня... до чего я дошел!» — и вдруг он подумал — как будто кто-то внутри осторожно спросил его:

— «А сам?..»

— «Что — сам?»

— «Не тебе ли первому понравилась эта женщина? (Не «Наташа» этот кто-то сказал — «эта женщина».) Не ты ли медлил идти домой? Не ты ли охладел в последнее время к жене? (*Не уклоняйтесь друг от друга, разве для поста и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана воздержанием вашим.*) Не ты ли первый... предал жену?»

— «Я?!! — потрясенный, взревел отец Михаил. — Я л ю б и л, а не в о ж д е л е л! Если бы не ее похоть, я бы никогда не оставил ее!»

— «Да?..» — угрюмо спросил кто-то из темноты.

— «Да...» — пробормотал отец Михаил — отворачиваясь.

Да. Да, он разведется с женой, а с Наташей... с Наташей — как Бог даст. Сейчас не прежние времена, в Уставе есть спасительная оговорка: в случае необходимости или... или ввиду выдающихся качеств клирика церковной властью могут быть допущены диспенсации. Диспенсации — отступления от общих правил... рукоположили же его в двадцать пять лет, хотя по Уставу положено тридцать. Да — но только ли в Церкви дело?! Ведь жениться на разведенной воспретил Иисус! *Предел, его же не прейдеши...* «Господи, помоги... Всё. Как Ты дашь...»

Наутро отец Михаил проснулся решительным и как-то обреченно-спокойным. Он вышел на кухню — жены, к счастью, не было, — сварил себе яйца, кофе, сел за стол, начал лупить яйцо... В голове было ясно и пусто. Вошла жена.

— Послушай, только послушай меня, пожалуйста, не гони меня... — быстро-быстро заговорила она: он весь напрягся от звука ее голоса, перед глазами возникла позавчерашняя отвратительная картина... мысок скорлупы не снимался, он отодрал его вместе со слоем белка. — Послушай, я не прошу тебя, ничего не прошу, я просто... я не знаю, как это вышло... но ничего там не было, почти ничего, я знаю, что это всё равно, раз могло... быть, но всё равно, то, что было, я не знаю, как это вышло... Я дрянь, я уеду, оставь меня... мне очень плохо, Миша, но просто ты не... ты не думай... что я...

Она горько заплакала и ушла в свою комнату.

Отец Михаил съел только одно, уже очищенное, яйцо, выпил кофе, оделся, вышел из квартиры — и осторожно закрыл за собою дверь. На улице был крепкий мороз, вчерашний плотный, напитанный влагою снег рассыпался пудрой. Солнце светило не грея из ледяной синевы. И вообще всё вокруг — и он сам — было не таким, как вчера.

Отцу Михаилу стало жалко жену.

XI

Это было два дня назад — и за эти два дня отец Михаил, сидевший сейчас за столом и пивший чай с бабы-Катиными пирожками, не сделал решительно ничего. Он знал, что ему надлежит развестись... и, конечно, он разведется, — но пока он как будто спрятался в скорлупу, отгородившись от мира, так измучившего его. Он устал, ему надо было хоть чуть-чуть отдохнуть.

Он допил чай, вытряхнул хлебные крошки, застрявшие в бороде, перекрестился... посмотрел на висевший у него над столом образ Иису-

са. Отец Михаил не любил распятий — ему было больно смотреть на них, и еще у него было даже чувство (оно шло в столь глубокий разрез с двухтысячелетней традицией, что он никому, кроме Орлова, об этом не говорил) совершаемого святотатства, кощунства — из-за той, иногда казалось ему, холодной, спокойной, противоестественной даже жестокости, с которой в муках угасавшего человека выставили... да, на праздное обозрение всем. Это чувство возникло — или, может быть, резко усилилось — лет десять назад, когда Михаил, листая в гостях художественный альбом, наткнулся — как будто с размаху ударился — на картину Гольбейна «Труп Христа». Картина эта не просто взволновала, а совершенно раздавила его: страшно костлявое, с огромными суставами тело, развороченные багровые, наверное, гниющие раны на руках и ногах, противоестественно длинное, посинелое, костяное лицо с закаченными под полуприкрытые веки глазами и отвалившимся подбородком... нестерпимо жутко, больно было смотреть, — а он смотрел и, умоляя себя не смотреть, не мог отрваться. (Позже он узнал, что эта картина сто лет назад жестоко потрясла Достоевского; сам же он после увиденного месяц болел душой — и до конца, наверное, так и не излечился.) При его предшественнике, покойном отце Николае, над столом висело большое распятие из темного дерева и крашенного маслом папье-маше. Отец Михаил его снял и отдал Василию — оно ему «нравилось» (это же надо было такое сказать), а себе повесил старый темный бабушкин Спас.

Он встал, прошелся по комнате, посмотрел в черно-синее, забираемое леденистым узором окно... Хватит тянуть, хватит мучиться, а главное — хватит лукавить перед Богом и перед собой. Завтра надо исповедаться отцу Филофею и подавать... что там подают? Какое-нибудь заявление на развод... «Почему же Ты не прощаешь прелюбодеяние? — вдруг — осторожно — подумал он. — Ты прощаешь всё и всем, искренне раскаявшимся, а прелюбодеяние нет. Хотя... хотя как нет: Мария из Магдалы была блудницей, и Ты простил ей и больше того — по воскресении первой явился ей. И в Иерусалиме Ты сказал о другой: *кто из нас без греха, первый брось в нее камень*... Но тогда почему Ты брату велишь прощать до *семижды семидесяти* раз, то есть всегда, а разводиться дозволяешь за одно-единственное прелюбодеяние? Я это не потому спрашиваю, что усомнился в Твоих словах, — Ты знаешь, что я не усомнился, я весь перед Тобою, — а потому, что, может быть, Твои слова записали как-то не так?..»

«Действительно, непонятно», — несколько смущенный, подумал отец Михаил, возвращаясь к столу. Домой идти не хотелось... рано идти домой. Он сел, открыл дверцу стола, взял с полки старинное, тоже бабушкино, Евангелие. Он знал Его почти наизусть, поэтому сразу нашел Мф. 5, 32: *кто разведется с женою своею, **кроме вины любодеяния***...

Переведено, конечно, не совсем по-русски, об этом еще что-то Орлов говорил, но по смыслу — за любодеяние можно разводиться. У Матфея же 19, 9: *кто разводится с женою своею* ***не за прелюбодеяние***... Можно. Параллельные места Мк. 10, 11, Лк. 16, 18, 1 Кор. 7, 10, — ну, Павел-то ладно... Так, Марк: *кто разводится с женою и женится на другой, тот прелюбодействует.* О том, что можно разводиться за прелюбодеяние, ничего не сказано. Раньше он не придавал этому никакого значения — зачем это было ему? («А сейчас зачем?..») Так... Лука — то же самое: *всякий разводящийся с женою своею прелюбодействует.* Павел... *не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены своей.* Никаких оговорок о прелюбодеянии. Получается, Матфей против Марка, Луки, да еще и Павла, который здесь, в отличие от многих своих поучений, подчеркивает: «Господь говорит», — а Церковь разрешает развод, а клириков так еще и обязывает разводиться...

В дверь постучали.

— Войдите, рад вам, — привычно сказал отец Михаил.

Вошел — Алексей Иванович.

— Здравствуйте, отец Михаил.

— Здравствуйте, Алексей Иванович, — со стеснившимся сердцем сказал отец Михаил, вставая.

Алексей Иванович — человек лет пятидесяти, невысокого роста, с широким грубоватым лицом и задубелыми красными, несоразмерно большими руками, — года полтора или два назад вдруг и горячо уверовал в Бога. Произошло это потому, что с ним случилось, в его понимании, чудо. Алексей Иванович работал на стройке; однажды его окликнул издалека бригадир, Алексей Иванович положил инструмент и пошел к нему... и тут же на то место, где он только что стоял, рухнула сорвавшаяся со стрелы железобетонная балка. Потрясенный, Алексей Иванович уверовал сразу, безоговорочно и навсегда; он купил Библию, стал читать ее каждый день, в церковь ходил не реже двух раз в неделю, исповедовался безо всякого снисхожденья к себе и после службы нередко поджидал отца Михаила на паперти, прося разъяснения или совета, — и, вообще говоря (хотя и дурно было так говорить), иногда отцу Михаилу надоедал. Кстати сказать, отец Михаил с трудом добился у него отчества: Алексей Иванович, как это принято в товариществе простых, рабочих людей (впрочем, как и в паучниках буржуазно-богемных гостиных), несмотря на разницу в возрасте, упорно представлял себя Алексеем. Конечно, на исповеди отец Михаил говорил ему по традиции «ты» и «брат», но при разговоре вне церкви ему было неудобно называть по имени человека вдвое старше себя.

Вера у Алексея Ивановича была дремучая, темная, полуязыческая — как, впрочем, у многих из тех, кто пришел к Богу по случаю, вдруг, а не просветленный медленной и многотрудной работой души. Богу он

был бесконечно благодарен — и страшно Его боялся, — боялся за то, что Бог, Всемогущий Бог, Который его пожалел и спас ему жизнь, в другой раз может жестоко и столь же всемогуще его покарать (*вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже*). Отец Михаил ему объяснял, что бояться надо не наказания за грехи — такая боязнь уже грех, жить надо праведно по убеждению, а не из страха, — бояться надо утратить Его любовь — или даже не так: бояться надо огорчить своим поведением любимого Бога, а не наказания, — объяснял терпеливо, стараясь говорить проще, мирским языком, — но Алексей Иванович, чувствовалось, не понимал. По натуре он был человеком неустойчивым, слабым, без твердых понятий о жизни, и раньше, по рассказам его, много грешил: мог выпить лишнего, обидеть жену, утащить со стройки исправную, а на ее место положить свою сгоревшую дрель, обыденно сквернословить и лгать, — грешил без осознания и раскаяния, а в некоторых случаях, как, например, со сгоревшей дрелью, даже радуясь и гордясь своей ловкостью; будучи человеком, редко и мало думающим на отвлеченные от обыденной жизни темы, — как многие из недостаточно развитых и выполняющих тяжелую и грубую работу людей, — он и уверовав, забываясь, грешил (хотя, по его словам, и вполовину не так, как прежде), но искренне каялся в этом, — хотя и трудно было сказать, чего в душевных терзаниях его было больше: светлого раскаяния или темного страха...

Год назад Алексея Ивановича постигло несчастье: у его жены, которую он называл Марусей, обнаружился рак. Алексей Иванович был сокрушен; оказалось — прежде для него самого неведомо, — что он очень любит жену. Во время службы он теперь часто стоял на коленях и исступленно молился, а по ее окончании прямо шел к отцу Михаилу. Отец Михаил как мог утешал его; вообще говоря, это было делом ему привычным: многих из его прихожан приводила к Богу беда, чаще всего болезнь, — но он и глубоко уязвлялся страданиями Алексея Ивановича: здесь была и невыносимая жалость к жене, стремительно пожираемой страшной болезнью, и жесточайшие угрызения совести за те действительные и воображаемые обиды, которые он ей наносил, и горе и страх, что после стольких лет жизни вместе он останется жить один, без нее, и непрерывно сосущая мука вопроса: «За что?!». Отец Михаил призывал надеяться, уповать на милосердие Божие, — Алексей Иванович не понимал: если Бог милосерд — то есть да! да! конечно, Он милосерд, — но если в чем-то виноват муж, за что Бог карает жену? Его Маруся — святой человек: добрая, спокойная, работящая, красивая — такая была красивая! — двадцать пять лет терпит его, — за что?!

Что мог сказать на всё это отец Михаил? Что Бог посылает нам испытания, но *претерпевший до конца спасется*? Что неисповедимы пути Господни, что Бог знает, что делает, и что бесконечно малому человеку

даже задаваться вопросом, почему или зачем Бог сделал то или это, — не то что гордыня, а просто до невероятия глупо? Что даже если у матери умирает ребенок, то горе матери есть недоразумение и даже грех, ибо *детей есть Царство Небесное*, — что Бог не ошибается и как знать, не выросло ли бы из невинного младенца чудовище? Что всё в воле Божьей, *что ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего, у вас же и волосы все на голове сочтены*? Что такой добрый человек, как Маруся, непременно спасется: *блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, и милостивые, ибо помилованы будут, и чистые сердцем, ибо они Бога узрят?..*

Но в расхожую фразу «Бог посылает нам испытания» отец Михаил не верил, потому что не мог понять, откуда следует, что Бог посылает нам испытания, — напротив того: *Бог не искушается злом и Сам никого не искушает* (иудейское Б ы т и е с искушением Авраама он, естественно, не признавал). Не верил он также ни в полное, ни в частичное предопределение судьбы человека и в этом был тайным пелагианцем — тем более что *у вас же и волосы все сочтены* обращено было только к Апостолам, чтоб укрепить их дух перед проповедованием Слова Христа. Говорить же о Царстве Небесном как о тихом пристанище, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная», о том, что в смерти не зло, а воссоединение с Богом: *ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия*, — что неразумно жалеть усопшего, а не себя, разлученного с ним, — говорить всё это, пока Маруся, благодарение Богу, была жива, у отца Михаила не поворачивался язык — уже потому, что Алексей Иванович, кажется, и не верил в загробную жизнь... и что сам отец Михаил знал о загробной жизни?.. Он утешал, как мог, — а Марусе становилось всё хуже и хуже.

XII

Однажды вечером Алексей Иванович пришел к нему в трапезную — отец Михаил, отслужив, собирался домой. Увидев Алексея Ивановича в дверях своей комнаты, куда тот никогда раньше не заходил, он первым делом подумал: «Всё...» — и поднялся из-за стола с тем чувством какой-то торжественной, светлой печали и одновременно вины, которое в нем всегда пробуждала смерть... но, подойдя к Алексею Ивановичу поближе и увидев его против ожидания не убитое, а страшно возбужденное, растерянное лицо, решил, что, дай Бог, ошибся.

— Извините, отец Михаил, — задыхаясь, прошептал Алексей Иванович, — думал уж, вы ушли... — Лицо его было даже для его обветренной кожи красным, волосы прилипли косицами к мокрому лбу, губы дрожали. — Извините, отец Михаил... я это...

Он сунул руку за лацкан потертого, лоснящегося на сгибах пальто — и вытащил и протянул отцу Михаилу — бумажник: толстый, размером

с книгу небольшого формата, из зеленоватой блестящей кожи под крокодила (а может быть, и крокодила?), обжатый медными кантами по углам, — кричаще неуместный в его огромной, корявой, неотмываемой от грязного масла руке... Отец Михаил, не понимая, смотрел на него.

— Вот... нашел.

Отец Михаил взял бумажник — потому что Алексей Иванович тыкал им чуть не ему в лицо, — бумажник был сухо-скользкий, тяжелый, тугой, — коротко осмотрел его и протянул Алексею Ивановичу.

— Да вы посмотрите!

— Это не мое, — кротко — чтобы не обидеть ,— сказал отец Михаил.

Алексей Иванович взял подрагивающей рукою бумажник, осторожно открыл его, двумя рубчатыми заскорузлыми пальцами залез в гармошку многочисленных отделений, — наполовину, углом, вытащил серовато-зеленую пачку... долларов.

— Вот... три тыщи... в телефоне, на полке... — прохрипел Алексей Иванович, глядя на деньги, — и вдруг с ужасом, с мольбою, с тоской уставился на отца Михаила. — Что с ними делать-то, отец Михаил?!

Отец Михаил — дрогнул. Он знал, что лечение Маруси требовало денег, больших денег, — проклятых денег, которых у Алексея Ивановича и его одинокой дочери не было. Просто так, без всякого продолжения — нельзя было думать о продолжении, — он подумал об этом. Он стоял и молча смотрел на бумажник, своим видом как будто кричащий... нет, скорее даже снисходительно уведомляющий — о богатстве и силе его владельца. В целлулоидном окошке поблескивала разноцветная карточка с фотографией вывалившей по-козьи расходящиеся груди девицы, надписью ДОСУГ и телефонными номерами под ней; груди были зримо тяжелые, тугие, лоснистые, с румяными луковицами огромных сосков; девица улыбалась — одновременно дерзко и робко, похотливо и неприступно, отталкивая и зовя... *великая блудница на звере багряном, с чашей в руке своей, наполненной мерзостями и нечистотою блудодейства ее, упоенная кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых*... Пышущая жаром, соромно-прекрасная, упивающаяся своим всемогуществом, гордая своим всеоскверняющим унижением п л о т ь смеялась в лицо отцу Михаилу, смеялась над памятью тысяч мучеников, смеялась — над Богом... Отец Михаил резко поднял глаза; в нем вспыхнуло раздражение против вторгшегося с этой кастью в его жизнь человека, — но, увидев его лицо, он сразу и виновато остыл.

— Что же делать-то?.. — жалко спросил Алексей Иванович.

Отец Михаил глубоко вздохнул. Он знал, что делать, и знал, что надо сказать, — но еще не нашел слов, которыми надо сказать. Алексей Иванович вдруг сморщился, быстро перекрестился, вновь засунул пальцы в бумажник — и, как будто ожегшись, выдернул из него визитную карточку.

— Вот...

Отец Михаил взял карточку. Совместное предприятие «Гиперкон». Свирский Александр Дмитриевич. Адрес, телефон... да и в этом ли дело? Отец Михаил отдал карточку. Само промедление — уже грех, причем грех, конечно, больше на пастыре, чем на пасомом. Он молчит и этим молчанием лишь усугубляет соблазн. *Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня...* Годами Алексей Иванович не дитя — но он ли не *малый*? Грех во спасение — пустейшая, до титла мирская фраза, неверно понятый церковнославянский текст. Не человеческое дело решать, где спасение; во спасение можно делать только одно — следовать предначертаниям Божьим. Отец Михаил опустил глаза — на бесформенные, разбитые чоботы Алексея Ивановича... посмотрел на Бога — и твердо сказал — про себя:

«Алексей Иванович. Заповедано — не кради. *Кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тот малейшим наречется в Царстве Небесном.* Молитесь и верьте; ибо *если вы будуте иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей: перейди оттуда туда, — она перейдет. Просите, и дано будет вам; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и всякому стучащему отворят...* Алексей Иванович, деньги надо вернуть».

Отец Михаил поднял глаза.

Алексей Иванович с ужасом смотрел на него.

Отец Михаил сказал:

— Это вам самому решать, Алексей Иванович. — Помолчал. — ...Неисповедимы пути, по которым снисходит к нам благостыня Господня...

Алексей Иванович заморгал, быстро с поклоном перекрестился — и вышел почти бегом... Отец Михаил очнулся. Что он сказал?..

Ведь он — усомнился в Боге!..

Отец Михаил бросился к образу, громко шепча молитву. Человек, не чувствуя в себе достаточно сил для борьбы с соблазном, обратился к нему за помощью. Вопрос был самый простой: что делать с найденными деньгами? Ответ был один: вернуть. Он, Михаил, не мог усомниться в этом... но усомнился?! «Нет, нет, нет! — восклицал он про себя, глядя снизу вверх на лицо Иисуса, — Ты мог подумать, что я не верю Тебе... что я пренебрегаю Тобой, — но Ты же видел, что всё было не так...» В ту минуту, когда он дал ответ Алексею Ивановичу, он не знал, почему произнес именно эти, а не заготовленные слова, — за него говорило сердце; он видел, что Алексей Иванович колеблется, что его мучит соблазн, что он надеется, что неправедные деньги помогут Марусе, — наверное, он пожалел Алексея Ивановича, чувствуя, каким тяжелым ударом будет для него совет их вернуть...

Растерянный и растроенный, отец Михаил опустился на стул. Нет, он не крал... и не помог украсть, — он просто сказал: «Это вам самому

решать, Алексей Иванович". Соблазн? *Кто соблазнит...* Но Алексей Иванович не дитя, он вдвое старше его; и душа укрепляется в самостоятельной борьбе с искушениями, а не в слепом следовании за пастырем. Пастырь помощник, а не поводырь. Да, но потом он еще сказал... что он сказал? Неисповедимы пути Господни... неисповедимы пути, по которым Господь идет к нам на помощь. Так?! Так... Отец Михаил встал. Это соблазн? Это не соблазн, это прямое указание пастыря: «укради».

Отец Михаил перекрестился. «Господи... без дурного умысла, не по воле своей!» В мятущейся душе его шевельнулось: «Всё равно эти деньги пошли бы на блуд...». Не суди! не суди! — грубо оборвал он себя — и вдруг почувствовал угрызения совести: совесть обычно пробуждалась в нем раньше, чем он вспоминал Закон (в огромном большинстве случаев он его вовсе не вспоминал), но сегодня, до сей минуты, совесть его почему-то молчала. Это было странно — Закон нарушен, а совесть его молчит, — и это было страшно, потому что означало, что он внутренне, для души, для жизни своей не признает истинности Закона... но как он может не признавать заповеди «не укради»?! Но ему уже было стыдно, стыдно, — стыд нарастал лавиной после его механического укоряющего «не суди»... Не суди! — вот закон, который затмило его сочувствие Алексею Ивановичу и отвращение к неизвестному ему коммерсанту; вот закон, который по-другому осветил ему первый и пробудил его совесть! Мысли посыпались градом камней; отец Михаил стоял красный, с опущенной головой, не глядя в лицо Иисусу. А вдруг у этого человека тоже больная жена? А вдруг эта карточка попала к нему вообще случайно? А вдруг его дети в беде? А вдруг у его предприятия нет ничего, кроме долгов, и само предприятие — три человека с печатью? А вдруг он вез эти деньги, чтобы расплатиться за что-то, что жизненно важно ему? — кто будет просто так возить в кошельке три тысячи долларов? А вдруг... да и не в этом дело! *Не кради* и *не суди*, человек! А ты, не зная даже, судил!

...Происшествие это доставило отцу Михаилу немало тяжелых минут. На другой день он исповедался отцу Филофею. Старик выслушал его, покивал слабой своей головой и сказал:

— Отпускаю ти, чадо, только грех, что соблазнился судить, что угодно, а что неугодно Господу в столь затруднительном случае. В прочем же греха не усматриваю. Ты ведь сказал пасомому, что ему самому решать?

— Сказал, отец Филофей.

— Вот и хорошо. А что неисповедимы пути, по которым, как ты сказал, снисходит к нам благостыня Господня, — то разве не так?..

После этого отец Михаил успокоился; к тому же в один из ближайших дней он в первый раз повстречался на исповеди с Наташей — и

новые, незнакомые ему чувства почти без остатка захватили его... Алексей же Иванович после того пропал, и отец Михаил не видел его даже в церкви — да и, по совести говоря, не хотел встречи с ним: он боялся и просто того, что Маруся умрет, — ему было жалко и Марусю, и Алексея Ивановича, — и того, что Алексей Иванович не вернул найденных денег (а скорее всего не вернул), а Маруся умерла, и, напротив того, что Алексей Иванович деньги вернул, а Маруся всё равно умерла, — и он страшно, опять же упрекая, презирая себя за суетность своих мыслей и чувств, боялся укора — даже не так в словах, как в глазах Алексея Ивановича... Но время шло, и ни Алексея Ивановича, ни... отпеванья Маруси не было, — значит, Маруся была жива; отец Михаил был этому рад — и понемногу начал уже забывать о Марусе и Алексее Ивановиче.

XIII

...И вот сейчас Алексей Иванович стоял посреди комнаты — в старом своем пальто, в грубых ботинках, в блеклой вязаной шапочке гребешком — и молча смотрел на него. Выражение его широкого, красного и, показалось отцу Михаилу, более, чем раньше, морщинистого лица было хмуро — не печально, а именно хмуро, недобро... Отец Михаил обреченно, со страхом подумал: «Всё?..» — и, глубоко незаметно вздохнув, как можно мягче спросил:

— Как Маруся, Алексей Иванович?

— Маруся померла, — сразу, безо всякого выражения сказал Алексей Иванович. — Месяц назад.

— Как... месяц назад?

— Месяц. Еще в том году схоронили.

— Господи, — от всего сердца сказал отец Михаил, — упокой душу новопреставленной Марии, возьми ее на Свои пажити, прости ей все прегрешения, вольные или невольные...

— Да не было у нее никаких прегрешений, — устало сказал Алексей Иванович.

Отец Михаил смутился.

— Ну да, ну да... А... где отпевали?

— А мы ее и не отпевали.

Отец Михаил страшно — до потери себя — растерялся.

— Как... не отпевали?!

— В Библии не сказано, что нельзя помереть без отпевания, — с некоторым даже упрямством сказал Алексей Иванович.

— Но... есть же еще учение святой Церкви...

— А деньги я, отец Михаил, не вернул, — не слушая сказал Алексей Иванович. — Маруся во всю жизнь дня так не прожила, как эти два

месяца в больнице... для богатых, которых не пустят в Царство Божие. В палате одна, сестры вежливые, чуть что простыни переменяют... главное, лекарства хорошие — почти не мучаясь отошла. А кормят как! Я, бывало, приду посидеть, она говорит: покушай, Алеша, я всё равно не хочу... я и покушаю, чтоб ей было приятно...

— Крепитесь, Алексей Иванович, — дрогнувшим голосом сказал отец Михаил. — Лишаясь жизни временной и многопечальной, мы обретаем жизнь вечную, безболезненную... Алексей Иванович, душа бессмертна, смерть тела не есть смерть души. Маруся просто в другом мире... она, может быть, видит и слышит нас.

Алексей Иванович опустил глаза и наклонил голову — и уже исподлобья посмотрел на него.

— Откуда вы это знаете, отец Михаил?

— Как?.. Но в этом же смысл всего! Алексей Иванович, в вас говорит боль утраты. Прошу вас, не... не отвергайте Бога!

— Да я и не отвергаю... я просто вот что хотел сказать, зачем и пришел. Вот я до Бога жил не тужил... и злодеем не был; появился Бог — и всё перевернулось вверх дном... оно, может, и по-божьи стало, но, ей-богу, не по-человечески. Мясо каждый день есть — плохо, заказчику-кровопийце матерьял приписать — плохо, бабу одинокую пожалеть — плохо... у спекулянта деньги забрать для больной жены — опять плохо. Всё плохо. А что хорошо? Жрать нечего — хорошо, бьют тебя — хорошо... жена помирает — тоже хорошо, к Богу идет! Оно-то, может, и действительно хорошо... да только как жить-то? Где взять силы, чтобы так жить?! — Лицо его вдруг побагровело до синевы, в глазах заблестели слезы, — он резко повернулся к висевшей над столом иконе Спасителя и хрипло что есть сил закричал:

— Зачем ты, Иисусе, сын Божий, пришел мучить нас?!!

— Опомнитесь, Алексей Иванович! — ахнул отец Михаил. — Мучить нас! Ведь это Он за нас пострадал!

— Да как же он пострадал, отец Михаил? — Отец Михаил вдруг с ужасом подумал, что их могут услышать — в доме, во дворе... такие слова! — Он же Бог: его распяли, а он воскрес, — какое же тут страдание? Это мы живем однова... и никогда не воскреснем!

Отец Михаил расстроился, возмутился, смертельно обиделся.

— А крестные муки? А страх? Ведь Он послан был к нам ч е л о в е к о м, Он страдания и страх испытывал человеческие! Ведь Он просил накануне смерти: «Отче мой, да минует меня чаша сия!». Ведь... ведь Он на кресте изнемог и закричал: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?..».

Алексей Иванович поджал губы. Отец Михаил совсем потерял голову.

— Да ведь Он вас спас, неблагодарный вы человек!

— Да спас, спас... а зачем он меня спас-то? Чтобы мучить?! Мучить, мучить, мучить меня?!!

Отец Михаил убито молчал. Еще одна, едва узревшая свет, душа человеческая отторгалась от Бога! Еще один отвергал Божью любовь, отрекался от умирающего лютой смертью страдальца, воссоединялся с глумливой толпой: *Радуйся, царь Иудейский! Спаси себя самого, если можешь, — сойди с креста!..*

— Прощайте, отец Михаил, — глухо сказал Алексей Иванович. — Больше не приду и Бога просить ни о чем не буду. Я просил за Марусю и... хватит. Всю жизнь молить, просить, всю жизнь виноват... уж на что я человек негордый, но всё это время чувствовал себя просто гадом каким-то... да еще и мешком пришибленным.

— Да не молить-просить! — из последних сил вскинулся отец Михаил, — нет да! да! — молить и просить! Но не просить — дай то, дай это, как все вы... как все мы просим, — а просить, чтобы наставил на путь истинный, чтобы... укрепил в борьбе с искушениями, с грехом. И что это за гордыня такая? И перед кем — перед Богом! Вот вы же, наверное, перед отцом своим не будете гордиться, а тут — Бог!

— Да... хрен с ней, с гордостью, не в этом дело. Я и без Бога знал, что хорошо, а что плохо, да не мучился так. Вот он к милосердию призывает, а сам милосерд? Чуть что — в геенну, во тьму внешнюю, будет плач и скрежет зубов... Людей мучить нельзя!

— Да нет никакой геенны, забудьте вы о ней! — Отец Михаил уже на всё махнул рукой.. — И почему мучить-то? Он просто вам говорит: будете жить так, как я учу, — не завидуя, не гордясь, не делая зла, — будете жить хорошо... Не слушаете Меня — будете жить плохо... и долго не проживете: показываете глупые фильмы, как будете жить через тысячу лет, а не опомнитесь, не изменитесь — и сотни не проживете... А самое главное, вы поймите: доброму человеку — жить хорошо, а злому — плохо!

— А если я от природы злой?

Отец Михаил потерялся.

— Ну какой вы злой...

— А чего ж он тогда мучил меня?

Отца Михаила больно кольнуло это не «мучит», а «мучил».

— Да это не Он вас мучит, а совесть ваша, которую Он в вас разбудил. Вот вы говорите — «зачем ты пришел мучить нас». Да ведь это кричал бес в бесноватом! Иисус пришел мучить бесов, сидящих в нас, бесов, которых мы сами растим, — мучить совестью нашей. Ведь это чудо какое, бесценный дар — совесть!

— Да уж... бесценный. Ему легко судить человека, не зная греха... как старику молодого. Да вот и вы... не в обиду будь сказано, отец Михаил, я вас уважаю, — вот вы ведь, я знаю, без детей, и оклад у вас твердый, да и работа... служба ваша, если правду сказать, к греху не

особо располагает, — вам ведь тоже просто жить без греха. А вот вы поживите среди людей...

— «Я?..»

Отец Михаил почувствовал, как кровь жарко заливает ему лицо. Просто жить без греха... не живя? А ты, ты живешь в скорлупе, среди ничтожных соблазнов, ни за чью жизнь, кроме собственной, не отвечая, — и ты не сумел устоять! Что ты после этого есть? Тебе ли учить людей истинному пути жизни? И кого ты любишь — Бога или с е б я, любящего Бога?..

— Ладно, — тихо сказал Алексей Иванович после долгого, мучительного молчания. — Простите меня, отец Михаил... Прощайте.

Повернулся — и вышел.

Отец Михаил тяжко осел на стул.

В черно-синем окне мертво голубели сугробы. Из сугробов поднимались чуть посеребренные инеем кресты и стволы деревьев. Над будкой Ингуса едва теплился одинокий фонарь. Что делать, что делать?.. И вдруг — *затрубили трубы, и обрушилась вся стена до своего основания*: как?! ты не знаешь, что делать?! Нет, я знаю... знаю, что делать... но почему ты знаешь, что надо делать именно это: потому что так надо — или потому что так надо и ты чувствуешь так? Но я не чувствую так, я люблю ее... но мне жалко е е. И почему ты решил, что надо именно так?! Ага! опять заюлил?! Не знаешь, как надо? особенно теперь, когда всё это произошло?! Всё! А... т е? Ведь могут узнать... А т е м я скажу: *суббота для человека, а не человек для субботы!*

Отец Михаил посмотрел на Иисуса, вытер вспотевший лоб — и придвинул к себе телефон. На третьей или четвертой цифре его вдруг охватил жуткий страх... «Господи, помоги!..» — но в чем, в чем тебе помочь?! — набрал последнюю цифру, подержал, — сердце билось так, что толкало в грудь, — отпустил: диск, стрекоча, вернулся на место...

Занято.

Отец Михаил с рычанием выдохнул, набрал в другой раз, зажмурился, — вздрогнул под ударами пронзительных частых гудков, — положил трубку на рычаги. Занято. Опять поднял трубку, подрожал ею в руке, — положил... Вдруг страшно устал. «Как Ты дашь», — спасительно-привычно подумал он — и осекся. Ну, нет... Бог тебе уже ничего не даст: всё, что нужно, Он тебе дал. Всё! — жизнь, и как эту жизнь прожить. Всё!! Стиснув зубы, он еще раз набрал телефон — не зная, как и что говорить... занято... Отец Михаил быстро оделся и вышел на улицу.

Храм уже давно погасили; церковный двор был безжизненно темен и пуст. Справа и слева, и сзади поднимались, теряясь крышами в темноте, светящиеся глубокими, как будто насупленными окнами стены громадных домов. За близкой, казалось, хрупкой прутковой оградой колыхались, урча, бесчисленные толпы продающих и покупающих; над ними, озаряя тенты

ларьков, бесновались огни реклам; напористо, с хулиганскими нотками, хрипло кричал мегафон: «Мом-ментальная лотерея! Подходите и выигрывайте! Пять тысяч долларов — за пять новых рублей!..». Отец Михаил вышел из ограды, замкнул за собою калитку и стал пробираться между строем нахохлившихся нищих старух и бурлящей в переулке толпой. Метро было прямо за церковью... то есть это церковь, конечно, была за огромным вычурным павильоном метро, выходящим на необозримо-широкий проспект. Павильон этот был выстроен в виде полуротонды со входом и выходом по бокам, с внутренним двориком, огороженным по фасаду решеткой. Отец Михаил выбрался из потока, неудержимо вливавшегося, как в створы плотины, в светящиеся ячейки дверей, и остановился подле ограды: и в темной, безликой толпе ему было тяжко, еще страшнее показалось ему очутиться в освещенной толпе...

С ужасом и отвращением — изо всех сил борясь с этими дурными, недостойными чувствами и не имея сил их побороть — смотрел он на окружающий его мир. Перед метро кипела тысячами голов болезненно-ярко освещенная площадь. Вокруг дико расцвеченных, содрогающихся от тяжелых ритмов ларьков, как мухи над извержением, густо роились люди. За витринными стеклами буйно цвело похабное изобилие: раззолоченные бутылки сотен размеров и форм, торты, заплывшие лоснящимся жиром кремов, копчености, багровые с просинью от запекшейся крови, сырные головы, цветущие мраморной плесенью, ободранные и рассечённые трупы животных и птиц, неистовствующие красками кассеты видеофильмов... — всё для услаждения изгоняющей Духа плоти, для помрачения разума, для блуда очес, для разжигания зверской похоти: жри, пей, совокупляйся, мычи в упоении чрева и чресл, — ты могуч и свободен, выживает сильнейший, ты выжил и радуйся — smile! smile!! smile!!! — в лицо голодным, увечным, мертвым, — улыбайся всегда, Homo erectus, прямоходящий сверхчеловек! Тут же на лотках продавались книги, злосмрадные отправления освобожденного разума, — сверкали лакированной кровью, зубами, ножами, грудями, животами, ягодицами... За площадью ревел, гудел, переливался огнями проспект; к тротуару подкатывали огромные, сияющие зеркальными крыльями автомобили: из них выходили мужчины в ослепительно-черных пальто и женщины в серебрящихся шубах, — брезгливо ступая, с плакатно-неподвижными, обесчеловеченными сытостью лицами шли в соседствующий с церковью ресторан. Напротив выхода из метро мелкорослой гомонящей стеной тянулись старухи — с батонами хлеба, пачками сигарет, платками и кофточками, пакетами с яблоками и капустой; парень с опухшим лицом, с отрезанными до паха ногами, сидел в инвалидном кресле с картонкой в руках, рядом с еле слышно хрипящим магнитофоном; две девушки в красной и желтой куртках и черных колготках, казалось, без юбок, курили тонкие темные сигареты

и презрительно посматривали в сторону выхода из метро; мальчик лет десяти, с напряженным усталым лицом, пиликал, спотыкаясь красными пальцами, на детской гармошке; из грязно-серой толпы под часами кто-то пьяно вдруг закричал, со злобой и гордостью: «Что ты мне, дура, мозги гребешь? — мне, православному!!!» Отец Михаил содрогнулся; «хочется быть Богом — и стрелять, стрелять!» — вспомнил он вдруг чью-то исповедь, — испугался, перекрестился: стоявший рядом мужчина с тусклым лицом, торговавший газетами, дико посмотрел на него... *Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое; и не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их...* Вот он! — *великий город, Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу; и построила себе блудилища и наделала себе возвышения на всякой площади, и давала подарки и сыпала деньги свои, и яростным вином блудодеяния своего напоила народы и растлила землю любодейством своим...* Это ваш *град взыскуемый?!! Гроб повапленный, снаружи красивый, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты!..*

Отцу Михаилу стало страшно, он был один... Господи, Ты со мною?! Вдруг — дьявольским искушением всплыли чьи-то слова: «А может быть, о н действительно умер?.. И больше никогда не придет?..». А не всё ли равно?!! — если Он — или о н — действительно приходил и умер за нас! Отец Михаил повернулся — за стеной павильона, невидимые, золотились церковные купола — и горячо прошептал, с отчаянием и любовью:

— Спасибо Тебе, Иисусе... за то, что ты пришел мучить нас!

XIV

Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси
Алексию II

клирика храма Мирона-пресвитера
свящ. Михаила Александровича
Румянцева

Прошение

Прошу Вашего Благословения на отчисление меня из клира г. Москвы (храм Мирона-пресвитера) с правом перехода в другую епархию.

Вашего Святейшества
недостойный послушник
свящ. Михаил Румянцев
23 января 199* г.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему митрополиту
Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию,
управляющему Московской епархией

клирика храма Мирона-пресвитера
свящ. Михаила Александровича Румянцева

Прошение

Прошу Вашего Благословения принять меня в клир вверенной Вам епархии и назначить в любой подмосковный приход, желательно по с.-петербургскому направлению. Хиротонисан 8 февраля 199* года. Письменное Благословение на переход Правящего Архиерея г. Москвы имеется. Состав семьи — я и моя жена, Румянцева Ольга Николаевна.

Вашего Высокопреосвященства
недостойный послушник
свящ. Михаил Румянцев
23 февраля 199* г.

ЛИШЬ НИТИ СТРОЧЕК НА ЛИСТЕ...

Шестидесятница

Вдруг нарекли шестидесятницей.
Я знать не знала, я жила,
Меж понедельником и пятницей,
Не отрываясь от стола.
Жила субботой, воскресеньем,
Когда мы в гости, гости к нам,
И были нам стихи спасеньем,
А мед похвал тек по усам.
Какая я шестидесятница?
Мне этот титул не пристал.
С ним стихотворец тот останется,
Кто на подмостках обитал.
Непристально за ним следила я,
И не подмостки, а мостки
Дрожали подо мною — стылая
Река скользила — две доски,
Трухлявые, обледенелые,
Созвучные, как две строки,
Непрошенно, ненужно смелые,
Меня держали вопреки
Перилам рухнувшим и поручням,
Мосткам, висящим в пустоте,
И не было другой опоры нам —
Лишь нити строчек на листе.

1999

Елена АКСЕЛЬРОД — родилась в 1932 году в Минске. Окончила Московский государственный пединститут им. В. Потемкина. Автор многих поэтических сборников, стихотворных книг для детей и переводов. Последние годы живет в Израиле.

* * *

Памяти мамы

Покос лимонный,
Лес темно-зеленый
Всё гуще запахи, всё память горше.
Взгляни на солнце и глаза прикрой —
Увидишь небо в розовый горошек,
И Подмосковья стертые перроны,
И юной мамы сарафан рябой.

Леса редеют,
Тени коротеют,
Прозрачные израильские сосны
Невысоки, друг друга не теснят.
Лучи буравят тучу, рощу греют,
И пробиваются сквозь воздух сонный
Головки несмышленышей-маслят...

А сыну недосуг. Пора в машину.
С кроссовок счистим хвоистую глину.
Пора и мне — кормить и провожать,
И вспоминать, как в утреннем тумане
Прощалась с мамой, как она заране
Готовилась тревожиться и ждать.

7 мая 1998

* * *

Памяти отца

— Еще человек, которого надо любить, —
Сказал мой отец, когда появился внук.
— Еще один человек, которого надо любить, —
Сказала и я, когда появилась внучка.
Любил он, как жил. Мне ж бывало порой недосуг.
В работе души оставалась, видать, недоучкой.

Не знаю, откуда отец мой на внука глядит,
Не знаю куда — с глаз долой — моя внучка пропала.
Но зряч мой отец. И *оттуда* он всё мне простит —
И то, что любила не так и что думала мало,
И то, что пришлось размышлять, потому что
души не хватало,
И то, что вдали от меня
он сырою землею укрыт.

1998

* * *

Разруха — гибель. Приберу квартиру.
Протру плиту. Ее четыре глаза
Давно к вечернему взывают пиру.
Куплю цветы. Пусть не скучает ваза.
Пусть веет влагой с каменных полов.
И, вроде, дом как дом... И только слов
Для полного порядку не хватает.

Мороженое в новых блюдцах тает
У новеньких с иголочки друзей.
Им удалось и легче, и скорей
Забыть, привыкнуть... Новые слова
Вобрать, как дар, как новые права,
И, разумеется, я не права,
Что для меня жара погорячей,
Что я, прости Господь, так не нова!

18 июля 1998

Песенка о трех платьях

В белом платье подвенечном
Я тебя ждала.
В бело-звездном, бело-млечном
Двух шагов я не прошла.
Возмечтав о счастье вечном,
Кружева изорвала.

Платье красное надела.
Говорили:. «Слишком смело!».
Враки! В самый раз.
По листве ступала алой,
Задохнувшейся, усталой,
Красной без прикрас.

В платье черном, в платье скорбном
От тебя уйду.
Небольшой оставлю короб на виду.
Там найдешь в строке пристрастной
Белый день, закат мой красный,
Черную беду.

1998

В пустыне

Я не хочу тебя впускать в тетрадь,
Еще не сгинувшее время боли.
Да и тетрадь пора огню предать,
Коль печь найду... Да вот она, на воле.
Небесные дрова пылают так,
Что всё сгорает — будто не бывало.
Нет веток, нет листвы — один сушняк
И белое, как пламя, покрывало.

Сберечь ли нас тому, кто топит печь,
Кто раз иль два в году гремит заслонкой,
Чей гнев свиреп, непостижима речь,
Кто жар зальет, ушат обрушит звонко,
И снова за свое... Но дождь благословен —
Глоток воды, прохладная примочка.
Средь отдыхающих от зноя стен
Ростком надежды слово-одиночка.

1999

Первый дождь

Ждали доброго дождя,
А нагрянул черный, злющий,
Зверь, в пустыне вопиющий,
Ищущий, не находя.

Что призванием казалось,
Наказаньем оказалось.

До земли не долетает,
Каплю каждую считает —
Хилый плод бессильной плоти —
Только в стены, знай, колотит.

Дрожь снаружи, дрожь внутри,
Свет забился в фонари.
Съежившись на перекрестке,
В куртки прячутся подростки,
Дрожь снаружи, дрожь внутри...

1999

* * *

Надгробные речи —
Оплывшие свечи,
Но воск застывает,
Храня каждый звук.
И вот уже к нам
Кто-то тихо взывает,
А нам нету дела,
А нам недосуг.
Живущий за жизнью земною
в погоне,
Всё хвалит кого-то,
Кого-то хулит,
Кого-то ласкает,
Кого-то хоронит...
А дух, ужасаясь,
Во тьму погружаясь,
Как раненый пес,
В своей будке скулит.

* * *

— Привет. — Пока.
— Привет. — Пока.
Как два щелчка,
Как два хлопка
Дверей, окон —
И вышел вон.

— Пока. — Привет.
— Пока. — Привет.
Тебе, еще один рассвет,
Тебе, мой стол,
Тебе, мой плед,
Тебе, рычащий грузовик,
Тебе, гора молчащих книг,
Тебе, некупленный билет
Туда, откуда писем нет.

1998

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Христианская эпопея в двух частях

Действующие лица:

А п о с т о л.
Д а к, торгующий хлебом.
Ж е н щ и н а, торгующая любовью.
Е л л и н, торгующий идеями.
В а р в а р, торгующий вином.
С к и ф, торгующий оружием.
Ф и н и к и е ц, торгующий печалью.

Часть первая

Середина первого века от Рождества Христова. Македония. Солнечная поляна у подножия горы, омываемой морем. «О, Картагена!» Голосистая кифара исходит печалью, но расположенные вокруг связки пшеничных колосьев, тяжелые амфоры, дымящиеся котлы стоят на том, что, ничего, жить можно.

Посреди поляны высится округленная куча камней, напоминающая основание будущей колонны. Вокруг этого основания разминается молодая танцовщица. Зачарованные бородачи следят за нею не дыша, но как только танец выходит за рамки приличия, из-за скалы выплывает огромная, разношенная корзина и долго, словно хмельная, блуждает по всему пространству, мешая свободному процессу созерцания.

— Эй, ты, рыжий!

Корзина медленно опускается. Из-под нее выползает кряжистый, ушедший в свои заботы труженик. Поставив корзину, тут же принимается укладывать в свое странное сооружение принесенные камни. Исполнив труд, вытряхнув корзину, оглянулся, ища кого-то, чего-то. Увидев рядом скалу, направился к ней. Поднявшись, невероятным образом, на самую верхушку, обратив ладони раскинутых рук к небесам, таинственно, про

Ион ДРУЦЭ — родился в 1928 году в селе Городище (Дондошанский район, Молдавия). Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг прозы и драматургических произведений, получивших широкую известность. Живет в Москве.

рочески возгласил: «Вам, Римлянам! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами!».

За тысячи и тысячи верст племена услышали его; земля качнулась, глубины пришли в движение, и замерла, в глубоком оцепенении, развеселая компания.

Тем временем Собиратель камней спустился, вытряхнул корзину и ушел, не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Озадаченная танцовщица подошла к краю обрыва и долго всматривалась в морскую даль.

В а р в а р: Ну, чего стоишь, точно кукла? Танцуешь, не танцуешь? Зритель ждет.

Ж е н щ и н а: Этот, с кошелкой, испортил настроение.

Д а к (*грохоча походными жерновами*): Положим, не он тебе, а ты ему.

Ж е н щ и н а: Что он такого делает?

Д а к: Не видишь? Камни собирает.

Ж е н щ и н а: Каменщикам нужно еще и настроение?

Д а к: Он скорее чистильщик.

Ж е н щ и н а: Что чистит?

Д а к: Лик земной.

Ж е н щ и н а: Зачем?

Д а к: Чтобы чисто было. Красиво. Чтобы было вам где бесноавться.

Ж е н щ и н а: Я готова танцевать хоть на скалах, лишь бы его тут не было.

Д а к: Так уж он тебе ненавистен?

Ж е н щ и н а: Не столько он, сколько его запахи.

С к и ф: Эй, ты, рыжий! Ну-ка, сгинь!

Д а к: Пусть работает. Он аккуратно, краешком ходит.

Ж е н щ и н а: Что с того, что краешком, если от него несет так, что выворачивает.

Д а к: И не от него, а от его плаща. Должно быть, долго путешествует. Пыль, жара, потные животные. Вместе в гору, вместе с горы. Ночевка у дороги, под открытым небом. Половину плаща подстелил, другой половиной укрылся. А шерсть, она, если что впитала, прощай...

Ж е н щ и н а: Отчего не выбросит?

Д а к: Как выбросишь хорошую вещь! Я думаю, если тот плащ выстирать в двух-трех водах, просушить, проветрить...

С к и ф: Много чести. Стирать, сушить, проветривать.

Д а к: А что делать?

С к и ф: Удар мечом — и в пропасть.

Д а к: Нельзя убивать чистильщиков земли.

С к и ф: Почему?

Д а к: Они — служители небес. Если их обидеть, небеса восстанут, плохо будет нам.

С к и ф: Эй ты, мусорщик! А подойди ко мне.

Собиратель, аккуратно уложив очередную ношу, ушел за скалу.

Е л л и н: Независим и трудолюбив, как все Апостолы.

Ф и н и к и е ц: Что есть Апостол?

Е л л и н: Носитель веры, озабоченный внутренним миром человека.

Ф и н и к и е ц: Что он тут продает?

Е л л и н: А ничего.

Ф и н и к и е ц: Может, купить чего хочет?

Е л л и н: Тоже не думаю.

Ф и н и к и е ц: А тогда, что ему тут?

Е л л и н: Собирает грехи земные, несет их на себе, страдает и почитает это смыслом жизни.

С к и ф: У нас их называют бездельниками. Я этих бездельников давлю конем и скачу дальше, не оборачиваясь.

Д а к: Уж вы их надавили на своем веку. Земля опустела, одичала, смотреть на нее — сердце разрывается.

В а р в а р: А это всё они, Апостолы! Они во всем виноваты!

Д а к: Не Апостолы, а варвары всё разрушают. Дух — он животворит, и там, где пройдет Апостол, там мир, благодать, и травка следом за ними зеленеет.

С к и ф: Эй, ты, как тебя там! Ну-к, подойди.

Д а к: Не трогайте его. Сбор камней — святое дело.

В а р в а р: Сбор камней в горах — это глупость.

Д а к: Почему глупость?

В а р в а р: Потому, что горы — это и есть огромная куча камней.

Е л л и н: Ну, горы — это не только камни.

В а р в а р: А еще что?

Е л л и н: Высота. Чистота. Простор. Не случайно богиня Гера изгнала в горы свою любимую нимфу по имени Эхо.

Ж е н щ и н а: Из-за чего ее так жестоко наказали?

Е л л и н: Болтала много.

Ж е н щ и н а: И что она, так в немоте всё время и пребывает?!

Е л л и н: Только последний слог из каждого слова ей позволено повторять.

В а р в а р: Я слышал ее сегодня утром.

Ж е н щ и н а: Что, она прямо тут, в этих горах?!

Е л л и н: Конечно. Ну-к, послушаем тишину. Чу!

После долгой, тревожной паузы, в верховьях раздался протяжный крик, похожий на детский плач. Из низин, из ущелий, ответили.

В а р в а р: Ага, плывут, голубчики! Спешат, покупатели.

Е л л и н: Не похоже. Море — до самого горизонта — пустыня.

В а р в а р: Отсюда мачты не видать, но с вершин заметили и подали сигнал. Бухта ответила — вход свободен.

С к и ф: Слава морским безумцам!!

Д а к: Теперь, главное, не снижать цены.

Е л л и н: О ценах, друг мой, забудь. Они не торгуются.

Д а к: А тогда... как?..

В а р в а р: Что дадут, на том и спасибо.

Д а к: А могут и просто так?..

В а р в а р: Очень даже могут.

Ж е н щ и н а: Они что, и меня... могут?

Е л л и н: Тебя-то в первую очередь.

Ж е н щ и н а: Что же мне делать. Бежать?

В а р в а р: От пирата не убежишь. Пират — это как рок.

Ж е н щ и н а: Куда ты меня, варвар, затащил? Что мне делать?

В а р в а р: Приголубь их, умиротвори, расслюнявь...

Ж е н щ и н а: Как? Чем?

В а р в а р: Своим искусством. Оторви от земли и уже не давай им на нее опуститься.

Е л л и н: Ты ставишь ей непосильную задачу.

В а р в а р: Почему непосильную?

Е л л и н: Тяжеловата.

В а р в а р: Ничего, она у меня взлетит. Просто этот нудный раб со своей кифарой всё время прижимает ее к земле.

Ж е н щ и н а: И вовсе не в кифаре дело.

В а р в а р: А в чем?

Ж е н щ и н а: Наряды расфалдились.

В а р в а р: Сбрось их к дьяволу и — лети!

Ж е н щ и н а: Как сбросить? В чем останусь?

В а р в а р: В чем мать родила. Лучших нарядов у вас не было и не будет.

Д а к: Неприлично делать женщине такие предложения.

В а р в а р: Почему неприлично? Она танцовщица. Я наниматель. Что закажу, то и изобразит.

Е л л и н: Ты платишь ей за искусство, а не за позор!

В а р в а р: Я нанял ее для увеселения, а истинное веселье есть полет обнаженной женщины. Видели, как танцуют гадитанки?

Д а к: Неужто голыми?!

В а р в а р: Снимают с себя всё, бросают вверх платочек, и пока платок парит в воздухе, танцуют в чем мать родила. Но подгадывают так, что парящий платочек всё время прикрывает стыдливые места. Все ждут, когда танцовщица промажет, но при мне никогда, ни одна гадитанка себя не посрамила.

Ж е н щ и н а: Я не хуже их это умею, но у меня нет такого платочка, чтобы долго парил в воздухе.

В а р в а р (*снимая с шеи платок*): Вот, подбрасывай и веселись. Гадитанки подарили. Учись у них и пойдешь далеко.

Ж е н щ и н а: Мне нечему учиться у шлюх из общественных купален. Мы по-разному смотрим на мужчин.

В а р в а р: В каком смысле?

Ж е н щ и н а: Моя задача возбуждать в мужах страсть, увеличить человеческое плодородие, а их задача — осушать болота.

Е л л и н: Профессионалки... Всюду, куда ни глянешь, профессионалки...

В а р в а р: Я тебя, детка, нанял не для умных бесед. Поди ко мне. Сними вот это, и это. И это, вот, сбросим.

С к и ф (*обнажив меч*): Не смей к ней прикасаться! Она — богиня!

В а р в а р: Дурья твоя голова, это не богиня, а храмовая проститутка, которую выгнали из святилища за пристрастие к танцам.

Ж е н щ и н а: Вот уж неправда. Меня не выгоняли, а отослали на расстояние колокольного звона с условием, что если не буду пропускать молитвы, смогу туда вернуться.

В а р в а р: Так ты в ожидании часа молитвы всё торчишь над пропастью?

Ж е н щ и н а: Так.

В а р в а р: Ну, если ты всё еще считаешь себя храмовой, возьми свои пожитки и мотай.

Ж е н щ и н а: Заплати, что мое, и я уйду.

В а р в а р: За что платить? Мы условились, что будешь развлекать клиентов за одну десятую от выручки, а вина я сегодня не продал ни капли, и всё по твоей вине.

Ж е н щ и н а: Почему по моей?

В а р в а р: Ты говорила, что сводишь мужей с ума, а ты этого не умеешь.

Ж е н щ и н а: Как не умею? Посмотри вокруг — одни обалдевшие рожи!

В а р в а р: Вина, однако, не покупают!!

Ж е н щ и н а: Я свою работу сделала. Они все мною бредят, а то, что при этом не покупают вина, это уже твоя забота. Мой товар пользуется спросом, твой — нет. Рынок — это рынок.

В а р в а р: И кто это так уж вожделеет? Покажи мне его?

Ж е н щ и н а: Да хотя бы и он.

В а р в а р: Скиф не в счет. Он всегда готов вскочить в седло, только платить нечем. А ты расспроси тех, что при средствах.

Ж е н щ и н а: Ты сомневаешься, ты и спроси.

В а р в а р: А что, и спрошу. Я не такой дурак, чтобы бросать деньги на ветер. Начнем с крайнего, с Дака. Скажи, пахарь, глядя на танец этой жрицы храма Сладострастий, зашевелилось ли у тебя...

Д а к: А чего ему шевелиться, когда, вон, засуха замучила! Третий год без дождя, держимся поливами. А сколько воды на том буйволе натаскаешь?

В а р в а р: Стало быть? Дак мимо. Скиф не в счет. Я — наниматель. Что до Еллина...

Е л л и н: (*углубленный в чтение*): Меня тут нет.

Ж е н щ и н а: А где же ты?

Е л л и н: Ученые больше пребывают в мире идей, чем в этом греховном мире...

Ж е н щ и н а: Как же ты, пребывая в мире идей, заявляешь, что я тяжеловата?!

Е л л и н: Ну, может мельком что и приметил, но глубоко не вникал.

Ж е н щ и н а: Как же ты, не вникая...

Е л л и н: Душечка, философы уходят в горы для размышлений, а не для того, чтобы смотреть танцовщиц!

Ж е н щ и н а: В Афинах мало места для размышлений?!

Е л л и н: Для глубоких размышлений — мало, и потому, когда нами овладевает великая, но спорная идея, мы уводим ее в горы.

В а р в а р: Ну вот, еще один мимо. И хотя сама Волупия посвящала тебя во все тонкости женских чар, никого ты тут не охомутала.

Ж е н щ и н а: Как не охомутала? Послушай кифару! Посмотри в его глаза!

В а р в а р: Рабы не смеют мечтать о любви свободных женщин, их за это кастрируют.

Тем временем из-за скалы выплыла тяжелая корзина и долго маялась по поляне, мешая беседе.

В а р в а р: Сгинь!!

Ж е н щ и н а: Апостола не спрашиваешь?

В а р в а р: А он тут при чем?!

Ж е н щ и н а: При том, что он больше всех меня хочет.

В а р в а р: Вот эта копна рыжих волос?!

Д а к: Апостолы — наша опора, это труженики, жертвующие собой, и потому, если когда и споткнутся, их нужно прощать.

С к и ф: Что ты за него всё заступаешься? Он тебе кто?

Д а к: Соработник. Он собирает камни, очищает лик земной, я иду за ним, пашу и сею. Вместе творим хлеб насущный.

В а р в а р: А как с ним поговорить? Он же и не видит и не слышит ничего вокруг.

Д а к: Сборка камней — труд тяжелый. Подождите. Когда устанет и сядет передохнуть...

В а р в а р: Как же, стану я ждать... Эти рыжие никогда не устают. Эй, ты! Петух!

Апостол продолжал укладывать камни, и тогда Варвар подошел и ступил ногой на его плечо.

В а р в а р: Ты, петух!

А п о с т о л: А вот этого не надо.

В а р в а р: Чего не надо?

А п о с т о л: Грубо со мной обращаться.

В а р в а р: А то что?

А п о с т о л: Будет плохо тебе. Сгоришь.

В а р в а р: Почему это я сгорю?

А п о с т о л: Civis romanus sum*.

В а р в а р: Я, по-твоему, кто?

А п о с т о л: Северный варвар, торгующий вином.

В а р в а р: И что из этого следует?

А п о с т о л: Следует то, что за грубое обращение с римским гражданином варвар может быть умерщвлен на месте, без суда. Помни, мы на землях Рима и под сенью римского права пребываем.

Д а к: Как он словами орудует!! Точно искру из камня высекает!

В а р в а р (*отступив, более миролюбиво*): Скажи, Цивис романус, верно ли, что эта молодка тебя как бы...

А п о с т о л: Что?

В а р в а р: Завлекла.

Ж е н щ и н а: Откройся перед ними, не стесняйся.

А п о с т о л (*после некоторого раздумья*): Прости меня, жено. Сознаю, соблазнила ты меня, и в помыслах своих я согрешил с тобой. Это тяжкий грех, да простит меня мой Господь. И тебя, жено, прошу о прощении.

Ж е н щ и н а: Но, если ты меня безумно желаешь, сознайся перед всеми! Чего стесняться!

А п о с т о л: Я говорил о том, что было, а не о том, что есть.

Ж е н щ и н а: Как? Только что сгорал от страсти, и всё прошло?

А п о с т о л: Мои признания не пойдут тебе на пользу.

Ж е н щ и н а: ...иль ты не мужчина?!

А п о с т о л: Я, конечно, мужчина, очень даже мужчина, но я испытываю влечение ко всем женщинам, которых встречаю. Танцует ли она, месит ли тесто или несет кувшин на голове — я их всех желаю, со всеми успеваю мысленно согрешить.

В а р в а р: Скажи какая прорва!

Д а к: Ну, зачем со всеми! Одну пожелал, и довольно.

А п о с т о л: Что поделаешь, дано мне от Господа такое жало во плоти. Чтобы побороть в себе эти постыдные искушения, изнуряю себя путешествиями и тяжелой работой.

---

* Я римский гражданин (*лат.*).

Ж е н щ и н а: Ну, не хочется тебе с нами грешить — найди работу поприличней. Зачем превращать себя в мула?

А п о с т о л: Что делать! Наступает каменное время, и носим камни на себе...

Е л л и н: Что значит — каменное время?

А п о с т о л: Как известно, существует время разбрасывания и время собирания камней.

Е л л и н: И это всё, чем занят человек?!

А п о с т о л: Такова наша планида — мы или строим, или рушим. Другого нам не дано.

Е л л и н: Человек, по-твоему, безумен?

А п о с т о л: Когда он без Бога, конечно, червь безумия точит его. Осмотрись. Поразмысли. Вся история человечества есть история строительства и разрушения крепостей. И снова собираем камни, и снова возводим крепости. И опять осада, штурм, камни летят во все стороны. Конца и края этому нет.

Е л л и н: И не будет, потому что человек несовершенен, демон саморазрушения заложен в нем самом.

А п о с т о л: Не так.

Е л л и н: А как?

А п о с т о л: То, что создано Всевышним, не может быть несовершенным. Надо только не лениться и вовремя убирать разбросанные камни.

Ж е н щ и н а: Зачем?

А п о с т о л: В мире много несправедливости, обиженному хочется отомстить, и если камни валяются у него под ногами, велико искушение...

Ж е н щ и н а: Да простится мне моя глупость, но я все-таки не понимаю, зачем их собирать?

А п о с т о л: Сейчас я тебе объясню. Поди сюда. Видишь этот камушек?

Ж е н щ и н а: И что?

А п о с т о л: Как ты думаешь? Для чего он может быть пригоден?

Ж е н щ и н а: Чтобы валяться в пыли.

А п о с т о л: И он валяется, валяется, пока кто-нибудь не подберет и не убьет своего ближнего.

Ж е н щ и н а: Вот этой крошкой?

А п о с т о л: Вот этой крошкой. И пока на наших тропах валяются подобные камушки, мой дух неспокоен. Господь будит меня ранними утрами и говорит — сын мой, пойди, пособирай, слишком уж много их поразбрасали, как бы не началось новое кровопролитие...

В а р в а р: И много тебе за это дают?

А п о с т о л: Много не дадут, но вечность могут дать.

Е л л и н: Вечность — это не хлеб, вечностью не прокормишься.

А п о с т о л: Хлеб мой — на мне.

Е л л и н: Что ты умеешь делать? Какое у тебя ремесло?

А п о с т о л: Палатки. Или дорожные дома, как их называют.

Ж е н щ и н а: Если умеешь делать палатки, зачем тратишь время на пустое? Скоро ночь, нам негде будет укрыться.

А п о с т о л: Долгим и трудным будет твой путь в мою палатку, жено.

Ж е н щ и н а: А почему он должен быть таким уж долгим и трудным? Разве ночь не сближает тех, кто днем приметили друг друга?

А п о с т о л: Ночь сближает тела, души сближает Бог.

Ж е н щ и н а: Что ты хочешь этим сказать?

А п о с т о л: Что в мои палатки сначала входят души, только потом тела.

Ф и н и к и е ц: О Картагена, моя Картагена...

Д а к: Как жалостливо поет! Хочется бросить всё, вернуться к жене, к деткам, обнять их...

В а р в а р (*рабу*): Перестань! Вино скисает от твоей тоски...

Кифара умолкла. В наступившей тишине вершины подали голос. Низины ответили.

Д а к: Корабли на горизонте! Все в пурпуре и золоте!

С к и ф: Морские волки, они всегда берут неожиданностью!

В а р в а р (*рабу*): Давай что-нибудь повеселее, типа — ах, вчера-вчера-вчера, мы всю ночку обнимались... Ну, красотка, настал твой час! Лети!

Ж е н щ и н а: Чтобы полететь, нужен разбег.

В а р в а р: Ну и разбегись!

Ж е н щ и н а: Мало места. Занесет над пропастью.

В а р в а р (*свирепо*): Лети в пропасть к манам в подземелье, но раздевайся и — лети!

Ж е н щ и н а (*плача*): Но что мне делать, если я не могу белым днем обнажаться! Такая вот грешница!

А п о с т о л: Не убивайся. Пока ни обнажаться, ни летать не перед кем.

В а р в а р: Как не перед кем? На горизонте корабли! Богатейшая клиентура!

А п о с т о л: После обеда, когда лучи солнца косо скользят по волнам, море начинает отливать золотом...

В а р в а р: Но вот Дак, видевший корабли собственными глазами!

А п о с т о л: Простите этого бедного пахаря. У него слабое зрение, а правый глаз, тот совсем темен.

Все подходят к краю пропасти, исследуя морские дали.

Е л л и н (*после паузы*): Но ты же не станешь отрицать, что вершины запросили бухту и бухта дала добро? Была перекличка.

А п о с т о л: Какая перекличка! Вой шакалов и больше ничего.

С к и ф: Мы, по-твоему, не видели шакалов в своей жизни?!

А п о с т о л: Во время брачных сходок у шакалов меняются голоса.

Е л л и н: Откуда у тебя такое знание?

А п о с т о л: Из страны детства.

Е л л и н: Где прошло твое детство?

А п о с т о л: В городе Тарсе. Среди ткачей, пиратов и горных шакалов.

Е л л и н: Ты смог бы чем-нибудь подтвердить свои слова?

А п о с т о л: Конечно.

Сложив определенным образом ладони, издал некий вопль, похожий на тот, что доносился с гор. Ему тут же ответили — и вершины, и бухта. Глубокое уныние охватило поляну.

Д а к: А скажи, добрый человек, кто тебе сказал про мои глаза?

А п о с т о л: Сам страдая зрением, я, при встрече, смотрю, у кого какие глаза.

Д а к: Но как ты догадался, что именно мой правый глаз темен?!..

А п о с т о л: Ты постоянно поворачиваешь голову вправо; у тебя и плащ истерт на правом плече.

Д а к: Одно слово — Апостол!

С к и ф: Да еще рыжий.

В а р в а р: Рыжая голова — это предвестник пожара!

А п о с т о л: Не надо обижать рыжих, которых Господь посеял довольно и среди иудеев, и среди еллинов, и в холодных краях варваров они, надо думать, водятся...

Д а к: Как же! Я сам, в молодости, был немного рыжеват. А потому, преславный труженик, позволь тебя обнять и назвать своим братом.

А п о с т о л: Ты братьев по волосам выбираешь?

Д а к: По разумности, трудолюбию и вере.

А п о с т о л: Тогда и я, ради душевности твоей, назову тебя своим братом, ибо кто душевен, тот и духовен.

Д а к (*разломав глиняную статуэтку на две половинки*): Вот, возьми. Когда будешь за Дунаем, спроси слепого пахаря при одном буйволе, и тебя всякий направит в мой дом. Как преступишь порог, покажи свою половинку, и едва половинки сойдутся — мой дом, это твой дом.

А п о с т о л: Да освятит Господь этот союз гостеприимства.

Д а к (*после взаимных лобызаний*): А если мне случится побывать в твоих краях, как найти твой дом?

А п о с т о л (*после долгого раздумья, печально*): Имя, данное мне от рождения, изменилось, родина моя далеко за морем.

Д а к: Нехорошо оставлять своих.

А п о с т о л: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе».

Д а к: Звучит складно, но вникнуть не могу. Скажи мне то же, но моими словами.

А п о с т о л: Святое Писание говорит — родню дает Господь, и Господь может ее отвергнуть.

Е л л и н: Из-за чего произошло отвержение?

А п о с т о л: Долгий разговор.

Д а к: Укороти, но скажи.

А п о с т о л (*после паузы*): Так у нас полагают, что мир делится на иудеев и неиудеев. Поскольку иудеи, как известно, народ избранный Богом, то неиудеи, стало быть, не избранны и переступить порог нашего дома, восседать с нами за одним столом, не могут.

Д а к: Почему?

А п о с т о л: Считается, что они как бы нечисты, и, общаясь, они нас оскверняют. Тех, которые жили подолгу среди неиудеев, стали чураться. Обходили и меня. Ну, я и ушел от своих.

Е л л и н: Поступок достойный, но мудрости в нем нет.

А п о с т о л: Отчего же?

Е л л и н: Уйдя от своих, ты никуда не пришел.

А п о с т о л: Почему?

Е л л и н: Потому что мир может сближаться только до определенной точки, ибо, по природе своей, он разнороден и несовместим.

А п о с т о л: Не так.

Е л л и н: А как?

А п о с т о л: Мир гармоничен и един. Мир основан на предрасположенности человека к человеку. Посмотри, сколько нас тут на этой поляне, и все мы, хоть и такие разные, а получаем удовольствие от общения друг с другом. И, что самое главное, не мы собрались, нас привело сюда...

Е л л и н: Кто?

А п о с т о л: Провидение.

Е л л и н: Каким образом?

А п о с т о л: Через наши судьбы.

Ж е н щ и н а: Что есть судьба?

А п о с т о л: Это Богом уготованный для каждого путь. Мы шли и шли, каждый по своей тропинке, пока не встретились сегодня на этой поляне. Уклоняться от уготованного тебе пути, уходить от судьбы грешно перед Богом и глупо перед людьми.

Д а к: Но как можно строить жизнь, не возвращаясь! Вот распродадим товар, каждый вернется под свой кров, к своему очагу. А как же ты, без крова и очага? Один, в этих диких горах?

А п о с т о л: Служитель неба никогда не бывает один. Со мной всегда, всюду и везде — мой Бог. Он моя Кровля и мой Очаг, мой Советчик и мой Защитник.

Д а к: Так близок Он тебе?!

А п о с т о л: Ближе, чем, вот, рукой дотянуться до тебя.

Д а к: Если Бог к тебе так близок и так благоволит, выпросил бы у него что-нибудь для своего брата Дака.

А п о с т о л: Имя твое уже посажено в моих молитвах.

Д а к: И неужто? А что ты собираешься выпросить у Бога для меня?

А п о с т о л: Мира и терпения.

Д а к: Может, к этому как-то добавить, чтобы мне помогли из беды выбраться?

А п о с т о л: Из какой беды?

Д а к: Третий год свирепствует засуха. Сгорело всё.

А п о с т о л: Положим не всё, раз ты тут стоишь.

Д а к: Вот! Сколько видишь, столько и уродило.

А п о с т о л: Разумно ли всё продавать? Чем прокормишь семью?

Д а к: Пшеничный хлеб — слишком дорогое лакомство для нас. Продам пшеницу, а за вырученные деньги чечевицу куплю.

А п о с т о л: Что ж, на чечевичном отваре можно перезимовать, и я не вижу такой уж большой беды.

Д а к: Осень, вот, стоит сухая. Если земля уйдет под снег без влаги, пропадем. Четыре года засухи — это конец, могила.

А п о с т о л: В трудные времена, чтобы выжить, надо упрочить мир вокруг своего дома. Вне мира жизни нет.

Д а к: Мы с соседями, душа в душу.

А п о с т о л: Не надо лукавить. Со Скифом вы постоянно в ссоре, что до Варвара...

Д а к: Варвара я ценю и уважаю.

А п о с т о л: Ценишь, уважаешь и ненавидишь.

Д а к: Я, да чтобы ненавидел этого замечательного, очаровательного, задушевнейшего Варвара? (*Подходит и обнимает его. Потом, смутившись, отходит.*)

А п о с т о л: Брат мой задунайский, помни, что я близок к Богу и когда мы беседуем, над нами витает Всевышний. А Он ненавидит ложь и может за каждое слово неправды покарать...

Д а к (*после паузы*): Ну, если совсем уж по правде, то Варвара я остерегаюсь.

А п о с т о л: Почему?

Д а к: Коварен, жесток и бесчеловечен. Для него что вино, что моча, что кровь людская — лишь бы платили хорошо. Недаром говорят — встретишь Варвара утром, пропадет день; встретишь весной — год пропадет.

А п о с т о л: Народ любит забавляться хлесткими словечками...

Д а к: Причем тут хлесткие словечки, когда я из-за этого чудовища встать на ноги не могу!

А п о с т о л: Почему не можешь?

Д а к: Унижает на каждом шагу.

А п о с т о л: Сегодня, вот, не унижал!..

Д а к: Как не унижал! На рассвете, когда стало зябко, я подошел к его костру, так Варвар, едва завидя меня, тут же стал засыпать угли землей!

Е л л и н: Свидетельствую, Дак говорит правду.

С к и ф: И мои глаза видели это его коварство.

В а р в а р: Видели, да не поняли.

С к и ф: Чего мы не поняли?

В а р в а р: Подойдя к костру, Дак и не думал греться, а стал с подветренной стороны и вытянул нос, чтобы подышать винными парами.

С к и ф: И ты пожалел для него винных паров?! Смерть Варвару!

В а р в а р: Будет тебе размахивать мечом, стоя на костылях. Я поспешил засыпать угли, потому что вино полагается довести до кипения, но не кипятить. Как только запахнет хмельным, угли тут же надо гасить, иначе пропадет добро.

А п о с т о л: И ничего не пропадет, у кого хорошие соседи.

В а р в а р: Не знаю, как у других. У меня — одни мерзавцы.

А п о с т о л: Но вот Дак, который не дал пропасть твоему добру! Обычно за это благодарят.

В а р в а р: Чем?

А п о с т о л: Кто словами, кто подарком, у кого как. Не грех, если разопьете чашу мира.

В а р в а р: Если заплатит за вино, могу с ним выпить.

А п о с т о л: Я что-то не понимаю... Дак удружил тебе, помогая спасти добро, и ты его же заставляешь купить вино, чтобы отблагодарить?! Это называется у тебя — чаша мира?

В а р в а р: В любом мире одна сторона заинтересована, другая не очень. Платит тот, кто заинтересован.

А п о с т о л: И почему ты думаешь, что Дак больше заинтересован в мире?

В а р в а р: Потому что я хитрее, сильнее, богаче. Хочешь жить в мире со мной — плати. Так между королями, так между городами, так между людьми.

Е л л и н: Почему и между людьми должно быть так?

В а р в а р: Потому что жизнь — это вино, бабы, золото!

А п о с т о л: Нет. Не так.

В а р в а р: А как?

А п о с т о л: Жизнь — это великий дар небесный, который мы разменяваем на пустяки, чтобы купить на них огорчения. Да простят нас небеса. (*Молится.*)

Ф и н и к и е ц: Как можно человеку общаться с небесами, когда мы тут, а небеса вон они где!

А п о с т о л: Посредством Божьей Благодати.

Ф и н и к и е ц: Что есть это слово твое, Бла...

В а р в а р: Ты, раб ничтожный, как смеешь вступать в беседу мудрецов, не испросив на то моего разрешения!..

Ф и н и к и е ц: Да позволено будет и мне сказать слово.

В а р в а р: Говори.

Ф и н и к и е ц: Что есть это слово — Благода?!

А п о с т о л (*подумав*): По моему разумению, Благодать — это луч надежды, пробивающийся сквозь черные тучи, в самый трудный день нашей жизни. А солнечный свет — это жизнь, это мир, это, наконец, любовь. И еще раз мир, и еще раз любовь.

Е л л и н: Зачем так много любви? Любовь — это не маслины, масла из них не выжмешь.

А п о с т о л: Любви никогда не бывает слишком много. Всё, что есть прекрасного в этом мире, создано человеком в состоянии любви. Вне любви нет созидания, и, стало быть, нет жизни, ибо и сам человек есть плод любви.

В а р в а р: Почем ты знаешь, как я был зачат? А может, моя мать была изнасилована отцом, и на свет появился я?

Д а к (*обращаясь ко всем*): Вот, скажите, можно ли с таким человеком жить в добрососедстве?

С к и ф: Смерть Варвару!!

Е л л и н: Выслать на пустынный остров...

А п о с т о л: Ни убивать, ни высылать не надо, а ты, брат мой задунайский, сделай вот что... Набери хворосту и разведи свой костер.

Д а к: Какой в этом смысл?

А п о с т о л: Смысл будет в том, что, как только ты его разведешь, уже не ты к нему на огонек, а он к твоему очагу попросится.

В а р в а р: Как же. Разбежался. У меня что, нет своего огня?!

Д а к: Слышал, что он говорит?

А п о с т о л: Не обращай внимания. Варвары любят болтать, но в здравом уме им не откажешь.

Д а к: И если подойдет, отвести ему место?! После всего, что между нами было?

А п о с т о л: Ты выделишь ему лучшее место. Ты искренне обрадуешься ему. И ты станешь мудрее. Человечнее его. Выше его.

В а р в а р: Что ты за глупости несешь! Как он может, при одном старом буйволе, быть выше меня, если у меня пять ослов и четыре

верблюда в загоне. Кто из имеющих разум может поставить его выше меня?

А п о с т о л: Бог.

В а р в а р: Он что, ничего не смыслит в человеческих делах, этот твой бог?

А п о с т о л: Отчего же! Он очень хорошо разбирается, иначе не направил бы мои стопы сюда, не поставил бы меня между тобой и этим пахарем.

В а р в а р: И для чего он тебя так поставил?

А п о с т о л: Чтобы ты не унижал, не обдирал, не душил его, ибо вы — братья.

В а р в а р (*мучительно изучая соседа*): Да, но... Я его не люблю.

А п о с т о л: И все-таки вы оба — дети Всевышнего и, стало быть, духовные братья.

В а р в а р: Ну, а если мы братья, почему не можем стоять рядом? Почему твой бог непременно хочет ставить этого несчастного выше меня?

А п о с т о л: Потому что брат мой Дак не просто разведет костер.

В а р в а р: Что он еще может? У него ни вина, ни котлов.

А п о с т о л: Разве ты не слышал, как он целый день гудит жерновами?

В а р в а р: И что?

А п о с т о л: У него достаточно муки, чтобы замесить тесто и испечь хлеба.

В а р в а р: Хлеба могут так возвысить человека?

А п о с т о л: «Я есмь хлеб», — сказал Господь. Замесив тесто и поставив его на горячие угли, мой брат Дак не просто испечет хлеба; он Господа приведет в нашу общину.

В а р в а р (*Еллину*): Что, хлеб и Бог — одно и то же?

Е л л и н: По крайней мере, из всех открытий человеческого разума, хлеб — единственное открытие, которое всегда и везде ведет к жизни, и только к жизни.

С к и ф: У нас тоже хлеб почитают. Нету праздника, чтобы без выпечки.

Ж е н щ и н а: Обожаю праздники.

Д а к: Я до праздников охоч как никто но, что если на рынке будет больше спроса на зерно, чем на готовые хлеба?

А п о с т о л: Причем тут рынок?

Д а к: Как причем? Для кого я их буду печь?

А п о с т о л: Надо же, и мой брат Дак только о ней одной, о торговле...

Д а к: Но что мне делать, если у меня восемь ртов в доме, а в поле засуха, сгорело всё...

А п о с т о л: Если ты тут стоишь, немного, всё же, уродило...

Д а к: Совсем мало.

А п о с т о л: Но, все-таки, больше чем у соседей?

Д а к: У соседей булыжники, и те обгорели.

А п о с т о л: А возблагодарил ли ты Господа за то чудо, которое, что ни год, происходит на твоем поле?

Д а к: Что, и за такую малость следует благодарить?

А п о с т о л: Сказано — наблюдайте, чтобы хлебы Мои в жертву Мне приносимы были... А ты ничего не несешь. Третий год Бог спасает твою семью, и ты третий год не приносишь полагающуюся Ему десятую часть.

Д а к: Но мало, брат мой, посмотри, как мало всего у меня...

А п о с т о л: Жертвовать, это и значит оторвать от себя часть того, в чем ты сам имеешь нужду. И чем труднее оторвать, тем обильнее возблагодарит тебя Господь.

Д а к: Но тут, это самое... ни храма, ни амвона, ни стола, чтобы возложить хлебоприношение...

А п о с т о л: Горы и голубой купол неба — это удивительнейший храм, самим Господом созданный...

Д а к: А как быть с тем, что, вот, амвона нет...

А п о с т о л: Скала — это несокрушимый амвон, и всё, что оттуда будет сказано, — на века!

Д а к: А стол для жертвоприношений где возьмем?

А п о с т о л: Покроем это округлое возвышение травой, цветами.

Д а к: Это может получиться красиво, но у нас священнослужителя нет. Кто, ради меня, поднимется на скалу и воззовет к Господу?

А п о с т о л: Я поднимусь.

Д а к: И воззовешь?

А п о с т о л: Воззову.

Д а к: Думаешь, спустится? Возьмет?

А п о с т о л: Возьмет сколько возьмет.

Д а к: А с оставшимися что будем делать?

А п о с т о л: Угостим братьев, помоливших и воспевших вместе с нами.

Д а к: Но... им же платить нечем...

А п о с т о л: Брат мой задунайский, принесенное Господу в дар — это уже не твое, а Господне!

Д а к: Как бы не прогадать. Я такой нехитрый, сколько раз оказывался в дураках...

А п о с т о л: В дураках ты никак не можешь оказаться, ибо Господь помнит все добрые дела и тех, кто их сотворил.

Д а к: Что я для твоего Господа, чтобы он меня помнил!

А п о с т о л: Ты Его сын, как и я. Потому мы и братья.

Д а к: А если так, между нами... как брат брату... На что я мог бы рассчитывать?

А п о с т о л: Для начала, думаю, на хорошие, плодородные дожди...

Д а к: И — всё! Большего не надо. Разве что после тех бесконечных осенних дождей — раннюю, снежную зиму, так чтобы снега до самой весны простояли...

А п о с т о л: Отцы знают нужды своих детей еще до того, как узнают о них сами дети...

Д а к (*принимаясь за дело*): Ну, жена, переплавляемся на другой берег!

А п о с т о л (*благославляя*): Да поможет вам Господь!

Ф и н и к и е ц: О, Картагена, моя несравненная Картагена...

В а р в а р (*рабу*): Ты выводишь меня из себя...

Кифара умолкла. Наступившую тишину расколол долгий, протяжный, разбойничий свист. Бухта ответила. В горах подтвердили.

В а р в а р: Надо драпать. Возвращаются головорезы.

Е л л и н: Убить не убьют, но ограбят.

Ж е н щ и н а: А что если отвлечь их танцами?..

В а р в а р: Какие танцы, куколка! Всмотрись в эту пропасть.

Ж е н щ и н а: Я давно в нее всматриваюсь.

В а р в а р: И что ты там видишь?

Ж е н щ и н а: Что-то белеет на самом дне.

Е л л и н: Там лежат кости тех, что хотели отвлечь бандитов танцами.

С к и ф: Можете положиться на мой меч.

В а р в а р: Что толку в мече, если воин на костылях?

Д а к: Но мне-то, мне-то как быть?

А п о с т о л: Размешивай тесто и не паникуй. Волнение передается, и хлеба не всходят.

Д а к: Это так, но нагрянут бандиты, а я весь в муке. Как окажу им достойное сопротивление?

А п о с т о л: Когда руки раскатывают хлеба Благодарения, ушам не пристало слушать всякую дребедень.

Д а к: Причем тут дребедень, когда пересвист кругом, банда банде сигналы подает!!!

А п о с т о л: Банды днем не пересвистываются.

Е л л и н: Кто же, по-твоему, свистел?

А п о с т о л: Пастухи перегоняют отары.

В а р в а р: Где они, пастухи-то?

А п о с т о л: Вон, по откосу, отара спускается. По соседнему склону поднимается стало коз.

Е л л и н: Откуда тебе известны повадки разбойников?

А п о с т о л: Я же сказал, что родился и вырос в Тарсе, городе ткачей, ученых и разбойников.

Ф и н и к и е ц: Да позволено мне будет спросить.

В а р в а р: Спрашивай.

Ф и н и к и е ц: Собиратель камней, кто ты есть? С какого родства происходишь?

А п о с т о л: Я — иудей.

Ф и н и к и е ц: Хороший иудей?

А п о с т о л: Хороший.

Ф и н и к и е ц: Но ты не можешь быть хорошим иудеем, если твоя родина по ту сторону моря, а ты по эту.

А п о с т о л: Я иудей по рождению, по вере — Апостол Иисуса Христа.

Ф и н и к и е ц: И это значит — что?

А п о с т о л: Это значит то, что для христианина истинная родина не столько на земле, сколько на небесах.

Ф и н и к и е ц: Оставшись без родины, люди выживают?

А п о с т о л: Без земной выживают, без небесной — нет.

Ф и н и к и е ц: А что есть для тебя жизнь?

А п о с т о л: Жизнь есть счастье непрерывного общения с Богом. С моим Создателем. С моим Отцом. Когда я чувствую Его Дух, я полон сил, находчив, умен, решителен, удачлив. Другими словами, я такой, как в свои лучшие дни, и другого мне не надо. Когда же Всевышний отринет лицо от меня — печаль, пустыня, одиночество. Конец всему. Конец всего.

Ф и н и к и е ц: А что делать тому, кто вне родины существовать не может?

А п о с т о л: Искать Бога.

Ф и н и к и е ц: Для чего?

А п о с т о л: Чтобы иметь долю не только на земле, но и на небесах.

Ф и н и к и е ц: Разве это разные вещи?

А п о с т о л: Конечно. Никогда не надо путать земное с небесным.

Ф и н и к и е ц: Что есть одно, что есть другое?

А п о с т о л: Посмотри на эти росточки.

Д а к: Можжевельник. Ягода кислая, но полезная.

А п о с т о л: Кто спорит, что этому кустику жилось бы свободнее, вольготнее где-нибудь на опушке леса, среди своих. Там и хорошей землицы полно, там птицы, дожди, близкая и дальняя родня. Судьба, однако, закинула его в расщелину этой скалы.

Ж е н щ и н а: Не приведи Господь!!

А п о с т о л: Теперь, если бы этот кустик отдавался тоске по родному лесу, давно усох бы. Инстинкт выживания заставляет его всем своим существом, всей своей болью тянуться к свету, ибо в этом жизнь. Свет — это и есть наша небесная родина.

Ф и н и к и е ц: Я, конечно, ниже всех вас, будучи рабом, но я все-таки не куст можжевельника.

А п о с т о л: Дорогой мой брат, и ты, и этот кустик — творение рук Господних. У вас один Создатель. Одним светом питаетесь, одним солнцем прогреваетесь, и временами от дерева к человеку ближе, чем от человека к человеку.

С к и ф: Мерзавец! Он владеет тайнами слов. Волнует и мучает так, что сил моих больше нет!

Д а к: А мне, вот, от его слов светло и хорошо, только мне нужна женщина.

С к и ф: Ты же сказал, что в год засухи у тебя ничего такого...

Д а к: Я не в том смысле! Хлеба не округляются. Нужны женские руки.

А п о с т о л: Вон же они рядом с тобой — молодые, ловкие, крепкие руки.

Ж е н щ и н а: Если вам нужна кухарка, сбегайте на городскую площадь, их там полно.

А п о с т о л: Твои руки еще не касались теста?

Ж е н щ и н а: Может, я его когда и месила, но теперь это не мое дело.

А п о с т о л: Твое дело есть что?

Ж е н щ и н а: Пасти мужские страсти.

Е л л и н: Это — ремесло такое?

Ж е н щ и н а: Наука.

Е л л и н: И ты владеешь этой наукой?

Ж е н щ и н а: В совершенстве. Я могу, возбуждая мужей, натравить их друг на друга, довести их до помутнения разума, могу вывести их в лес и погнать нагишом, как стадо баранов...

А п о с т о л: Господи, отними у нее дар речи, ибо эта сорока сама не ведает, что несет!!

Ж е н щ и н а: Что он сказал? Как он меня обозвал?!

Д а к: Дочка, не трать попусту время. Иди, помоги мне.

Ж е н щ и н а: Какая я тебе дочка? Посмотри на себя, мужлан несчастный, а потом посмотри на меня. Даже будучи одноглазым, можно заметить, что пред тобой стоит царская дочь, что в моих жилах течет голубая кровь!!

В а р в а р: Эта курица рехнулась.

Ж е н щ и н а: Как ты смеешь, свиное рыло...

А п о с т о л (*примирительно*): Конечно, она царская дочь, в том смысле, что Бог есть царь Вселенной и всяк рожденный волею Отца принадлежит к царскому роду...

Ж е н щ и н а (*Варвару*): Слышал, что эти златые уста изрекли?

А п о с т о л: Что до голубой крови, то ты как раз и есть дочь одной из тех кухарок, что стоят на площади в ожидании заработка.

Ж е н щ и н а: Врешь, карлик!

А п о с т о л: Отец твой, рыбак, пропал в море. Вас осталось много детей, кормить было нечем, и когда ты в двенадцать лет расцвела на удивление, мать продала тебя в храм Любви за три меры пшеницы.

Ж е н щ и н а: Это сплетни наших старых шлюх, которые завидовали тому, что я была королевой храма.

В а р в а р: Если ты была королевой, почему тебя изгнали?

Ж е н щ и н а: Нарушала час молитвы.

Е л л и н: Чем?

Ж е н щ и н а: Танцами.

Е л л и н: Что же ты, молилась и танцевала в одно и то же время?

Ж е н щ и н а: Не знаю почему, но молитвы веселили меня, и потому во время молитв у меня начинались всевозможные телодвижения. Меня поругивали, на меня шикали со всех сторон. Я старалась изо всех сил усмирять себя, но даже когда я стояла неподвижно и уста произносили молитву, все догадывались, что внутри себя я продолжаю танцевать. Хранительница, ради спокойствия, попросила уйти в мир, оттанцевать свое.

А п о с т о л: Жено, подойди ко мне.

Ж е н щ и н а: Для чего?

А п о с т о л: Надо поговорить.

Ж е н щ и н а: Мы до сих пор что делали?

А п о с т о л: Примеривались. Прицанивались. Принюхивались. Теперь время поговорить.

Ж е н щ и н а (*сделав несколько шагов*): Ближе не могу.

А п о с т о л: Почему?

Ж е н щ и н а: Ты некрасив и дурно пахнешь.

А п о с т о л: Я, конечно, перепотел. Собирание камней — тяжелая работа. А ты прикрой нос платочком, отведи глаза в сторону и всё же подойди, потому что правду, которую я тебе открою, она великая, горькая, святая правда.

Ж е н щ и н а: Ну, говори.

А п о с т о л: Я как-то сознался, что волнуешь меня, но не сказал чем.

Ж е н щ и н а: Известно чем.

А п о с т о л: Нет, эти твои округлости меня не трогают. Всё, что прилепляется телесами, на том же уровне и разлепляется.

Ж е н щ и н а: Чем другим я могла тебя взять?

А п о с т о л: Голосом.

Ж е н щ и н а: Голосом? Но, я... голосом не беру...

А п о с т о л: Конечно, ты голосом не берешь, испортив его вином и сплетнями, привив ему ту распущенную хрипоту, которая так ценится в вашем храме. Но, за хриплой глухотой, иной раз, нет-нет да и мелькнут — воистину божественные переливы.

Ж е н щ и н а: Это в моем-то голосе божественные переливы?!

А п о с т о л: Да разве ты сама не замечала, когда ангелы начинали петь твоим голосом, не перехватывало дух от высоты, не содрогалось всё в тебе от тех божественных далей?..

Ж е н щ и н а (*подошла и долго вглядывалась в его лицо, точно видела впервые*): По правде говоря, танцы — это придурь молодости, но счастлива я бываю только когда пою. Что делать, если мое пение отвергают?

С к и ф: Почему?

Ж е н щ и н а: Нету очарования, говорят. Нету купольного переката. Нету волнующего перезвона.

А п о с т о л: У лежащего в яме колокола нету голоса, потому что медь скована земной немотой. Но если тот колокол оторвать от земли, очистить, приблизить к небесам, появятся и глубина, и объем, и купольный перекат.

Ж е н щ и н а (*встав на колени*): Господин мой, помоги этому чуду свершиться, и я буду твоей верной рабыней до конца дней моих.

А п о с т о л (*возложив ей руку на голову*): Помолимся, и произойдет.

Е л л и н: Зачем берешься за невозможное?

А п о с т о л: Почему думаешь что это невозможно?

Е л л и н: Если женщина уже в зрелом возрасте, а голос ее всё еще скован земной немотой, кто может вернуть его к жизни?

А п о с т о л: Бог.

Е л л и н: Каким образом?

А п о с т о л: Чудом любви. Если, конечно, этой женщине когда-нибудь дано будет познать это великое, святое чувство...

Ж е н щ и н а: Ты, рыжее чучело, будешь мне рассказывать про любовь? Мне, королеве храма Сладострастий?!

А п о с т о л: Не говори мне больше про храм Сладострастий. Все знают, какие безумства там творятся. Но в этом не только твоя вина. За свою жизнь ты прошла через столько унижений, что превратилась в красивого зверька, презирающего всё и вся. В глубине души ты никого, даже свою родную мать, не почитаешь...

Ж е н щ и н а: Мать мою не трогай. Она шлюха и мерзавка.

Д а к: Как можно о своей родной, единственной?..

В а р в а р: А почему нельзя, если мать действительно мерзавка...

А п о с т о л: Даже если на ней грех, разумная дочь должна каждый день, утром и вечером, просить Бога, чтобы Он отпустил тот грех матери, даровавшей ей жизнь...

Ж е н щ и н а (*вопит*): Как мне просить Бога за женщину, которая бросила двенадцатилетнего ребенка...

А п о с т о л: Дочь моя, один из главных заветов Господа нашего — чти родителей, свою мать и своего отца. Не смей их судить, не смей плохо думать о них.

Ж е н щ и н а (*в слезах*): Но как же мне, если меня, в двенадцать лет...

А п о с т о л: А ты думала, каково было ей самой расстаться с тобою? Ты была самым умным, самым красивым ребенком в ее доме. Без тебя она как бы осиротела. Часто по ночам плакала, а по праздникам приходила к ступенькам храма, чтобы издали любоваться своей дочерью.

Ж е н щ и н а: Не у ступенек, а там, за оградой, она стояла.

А п о с т о л: Ты ее видела?

Ж е н щ и н а: И не раз.

А п о с т о л: Подходила к ней?! Улыбнулась хотя бы издали?

Ж е н щ и н а: Я не могла ей простить...

А п о с т о л: Теперь, уже несколько лет, она не приходит, и ты знаешь почему.

Ж е н щ и н а: Знаю.

А п о с т о л: И всё еще не можешь простить?

Ж е н щ и н а: Да, но, если ее уже нет, как это сделать?

А п о с т о л: Испеки в ее память хлеба Благодарения.

Ж е н щ и н а: Боюсь, не сумею. Хлеб я пекла не раз, но хлеба Благодарения — никогда.

А п о с т о л: Я тебя научу.

Ж е н щ и н а: Ты знаешь как?!

А п о с т о л: Знаю.

Ж е н щ и н а: Ну, тогда научи.

А п о с т о л (*после долгой паузы*): У тебя четыре сестры. И не все такие прехорошенькие...

Ж е н щ и н а: Они попросту дурнушки.

А п о с т о л: Но они рукасты, домовиты, хорошие хозяйки...

Ж е н щ и н а: Что им еще остается!

А п о с т о л: Не принижай своих сестер, ибо, чтобы испечь хлеба Благодарения, тебе придется представить себе, что ты одна из них.

Ж е н щ и н а: Ну?..

А п о с т о л: А теперь вообрази, что ты — старшая. Родителей нет, в доме холодно, кормить младших нечем, и ты пошла на площадь, стала в один ряд с кухарками...

Ж е н щ и н а: Ну?..

А п о с т о л: И еще вообрази, что сегодня не этот Варвар, а мы наняли тебя, чтобы испечь хлеба Благодарения.

Ж е н щ и н а: Ну?..

А п о с т о л: Ну и подойди к огню, возьми тесто в руки. Вспомни хватку матери, сноровку своих сестер; пой те печальные песни, которые поют кухарки перед горячей печкой, вспоминая свою угасшую родню.

Ж е н щ и н а (*подходит к тесту*): И... что будет?

А п о с т о л: Вместе с песнями печали, вместе с творением хлебов Благодарения душа твоя, озаренная светом Любви, выберется на про-

стор веры. И голос твой, не нынешний, а тот, что дарован тебе Господом, скинет с себя дремоту тяжких прегрешений, расправит крылья, и, может быть, то самое чудо и произойдет...

Ж е н щ и н а: Нет.

А п о с т о л: Что — нет?

Ж е н щ и н а: Я не буду вам кухарить. (*Орет.*) Человек не должен делать того, чего не любят делать его руки!!

Тяжело вздохнув, Апостол восходит на скалу. Долго и терпеливо держит в раскинутых руках голубой купол неба. «Вам, Коринфянам! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами». Заволновались земные глубины, и замерла в оцепенении греховная ярмарка. Женщина тихо, виновато подошла к костру и принялась кухарить. Округляя хлеба, запела, потом, спохватившись, смутилась, умолкла. (Про себя.) «Что этот рыжий со мной делает, что он со мной делает!!!»

(*Вдруг, увидев Скифа.*) Чего стоишь? Чего зубы скалишь?

С к и ф: Любуюсь. Красавица. Жизнь готов отдать за один поцелуй.

Ж е н щ и н а: Целоваться охота? А почему не вопиешь — смерть ему!!

С к и ф: Кому?

Ж е н щ и н а: Да этому мучителю моему.

С к и ф: Зачем его убивать?

Ж е н щ и н а: Как — зачем? Он же твою богиню низвергает, он ее прямо в пыль...

С к и ф: Но, он же с тебя одежды не снимает, он тебя не развенчивает...

Ж е н щ и н а: Как не развенчивает, если он королеву храма Сладострастий превращает в кухарку!

С к и ф (*подумав*): Женщина должна уметь кормить, иначе у нее не будет ни дома, ни семьи.

Ф и н и к и е ц: О, Картагена, моя горькая Картагена...

В а р в а р: Хорошую ярмарку превращают в домашнюю кухню. Дай сюда кифару. Слушай, как надо создавать соответствующее настроение. Ах вчера, вчера, вчера мы всю ночку... Почему не танцуешь?

Ж е н щ и н а: Ушла от тебя.

В а р в а р: Как ушла? Куда?

Ж е н щ и н а: К нему.

В а р в а р: Но, нанял тебя я!

А п о с т о л (*Женщине*): Сколько он тебе дал задатка?

Ж е н щ и н а (*сложив три пальца*): Вот что он мне дал.

А п о с т о л: Верни ему полученный задаток, и дело с концом.

Ж е н щ и н а (*Варвару*): Вот. Держи.

А п о с т о л: Сдачи не надо. И не приставай больше к ней. Она занята.

Возвращается к своему строению. Варвар, подняв камень, подошел сзади, прицеливаясь.

В а р в а р: А ты не думал, рыжий, что я могу тебя убить?

А п о с т о л: Меня уже столько раз убивали, что я привык умирать каждый день.

В а р в а р: Давай поговорим, как муж с мужем.

А п о с т о л: Увы. Всё. Время разговоров кончилось, настал час молитвы.

И снова восходит на скалу. Преклонив колени, слился со скалой, они стали единой каменной громадой. Поляна замерла.

З а н а в е с

Ч а с т ь в т о р а я

Обитатели поляны озадаченно следят за тем, как Финикиец разбирает Апостольскую горку.

В а р в а р (*рабу*): Разбрасывай эти камни куда подальше. И чтобы ни этой кучи, ни духу его тут не было!

С к и ф: Этакое чучело! Ни осанки, ни вида, ни голоса, но была в нем какая-то власть над людьми, над событиями. Над ним подшучивают, подсмеиваются, а он всё собирает камни и, глядишь, владеет, управляет.

В а р в а р: Апостолы — народ опасный.

Ф и н и к и е ц: Чем?

В а р в а р: Волнуют земную глубь, а когда земля волнуется, всё живое цепенеет.

Ж е н щ и н а: Зачем вы разрушаете его работу?

В а р в а р: Мы извергаем его из своей среды.

Ж е н щ и н а: Почему?

В а р в а р: Не наш человек.

Д а к: Да с чего вы взяли, что мой брат — не наш человек?!

В а р в а р: У него непомерно большая тень.

Е л л и н: И к тому же она всё время.

Ж е н щ и н а: Но это же прекрасно — человек, у которого растет тень!

С к и ф (*Еллину*): Чем это можно объяснить?

Е л л и н: Думаю, устремлением в будущее.

В а р в а р: Как это понять?

Е л л и н: Очень редко, в миру появляются такие странники, которы больше суждено жить в будущем. И хотя они копошатся рядом, их тен уже пробивают века...

Отмолившись, Апостол спускается со скалы. Разрушенную горку при нимает как должное и снова начинает ее собирать. Скиф ходит за ним п пятам, присматриваясь к его тени.

С к и ф: Слушай, господин Апостол... А смог бы ты достать у Варвар кувшин вина для моей измученной души?

А п о с т о л: Достать-то я достану, но будет ли это тебе по силам?

С к и ф: Мне-то? Один всего кувшинчик? А подай его сюда.

А п о с т о л: Не спеши, потому что, прежде чем дойти до тебя кувшин простоит между мною и тобой.

С к и ф: И для чего такая церемония?

А п о с т о л: Чтобы поговорить.

С к и ф: Иудеи обожают разговоры! А — не выдохнется?

А п о с т о л: Прикроем горлышко.

С к и ф: И куда ты его поставишь?

А п о с т о л: Да хотя бы на эту каменную округлость. Ты по ту сторону, я по эту, а между нами — кувшин.

С к и ф: Так. Удобно. К тому же, наслаждая свой слух, я смогу так, время от времени, по глотку?..

А п о с т о л: Нет. Вино — отдельно, слова — отдельно.

С к и ф: Гм! И сколько эта мука будет тянуться?

А п о с т о л: Пока не выскажусь.

С к и ф: О чем пойдет речь?

А п о с т о л: О тебе.

С к и ф: Чего удумал, паршивец! Но ты достань сначала вино!

А п о с т о л: Достанем (*Варвару*). Налей кувшинчик.

В а р в а р: Как же. Бегу — разрываюсь.

А п о с т о л (*Скифу*): Горячего, прохладненького?

С к и ф: Лучше прохладненького, но, смотри, Варвар тебя не слушает!

А п о с т о л: Белого, красного?

С к и ф: Красное полезнее, но он же повернулся к нам непотребным местом!!

А п о с т о л (*копаясь в поясе*). Ничего, развернуть его недолго.

Д а к: У моего брата водится серебро!!

Е л л и н: Где ты видел иудея, так чтобы совсем уж без серебра!

В а р в а р (*кланяясь*): Добро пожаловать первому покупателю в царство виноградной лозы, ибо все великие, все святые истины лежат на дне кувшинчика.

А п о с т о л (*вручая ему монетку*): Где лежат святые истины, мы уже знаем (*взяв кувшин, поставил его на каменной округлости*). Меч.

С к и ф: Что — меч?

А п о с т о л: Положи меч рядом с кувшинчиком.

С к и ф: О разоружении разговора не было.

А п о с т о л: Человек при мече плохо слышит того, у которого меча нет.

С к и ф: Ну, я могу одолжить тебе небольшой такой ножичек... Чтобы на равных.

А п о с т о л: Нет. Безоружным легче договориться.

С к и ф (*нехотя положил меч*): Говори. Только покороче.

А п о с т о л: Правда длинной не бывает. Что длинно, то и сомнительно.

С к и ф: Золотые слова.

А п о с т о л: Ты — храбрый воин. Поливал кровью поля во всех концах мира.

С к и ф: Весь в ранах и шрамах.

А п о с т о л: Рубил ты, рубили и тебя.

С к и ф: Искалечили, мерзавцы.

А п о с т о л: Ты шел первым на выручку друга, когда надо было выручать.

С к и ф: Это так. Я — отчаянный!!

А п о с т о л: Бывало, выбивали и тебя из седла. И вот однажды, когда ты лежал раненый и по тебе прошла конница, твоим показалось, что ты мертв. Оставили. Бросили.

С к и ф: Было.

А п о с т о л: А вот те, на которых ты шел огнем и мечом, склонившись над тобой, нашли, что ты еще жив. Перевязали. Накормили. Выходили.

С к и ф: Достойнейшие люди. Мы побратались.

А п о с т о л: Вернувшись к своим, ты удивился, что тебе как бы и не рады.

С к и ф: Подонки.

А п о с т о л: Не в том дело. Они учуяли, что ты побратался со своими спасителями. И уже не так резво садился на коня, когда устраивались набеги, не рубил первым и не спешил на раздачу добычи.

С к и ф: Иди, рыжая копна, я тебя расцелую.

А п о с т о л: Целоваться будем потом, если к тому подойдет дело.

С к и ф: Оно уже подошло.

А п о с т о л: Не спеши, я еще не кончил. Всеобщее пренебрежение обидело тебя, и ты оставил своих.

С к и ф: Я не такой человек, чтобы мною можно было пренебречь, но рубка мне надоела. Потому, вот, выставил на продажу меч.

А п о с т о л: Не лукавь. Никому и никогда не продашь ты свой меч.

С к и ф: А для чего я тут стою? Сдуру что ли?

А п о с т о л: Чтобы уйти с пиратами в море.

С к и ф: Что правда, то правда. Я продаю меч, но вместе с собой.

А п о с т о л: Любишь морские приключения?

С к и ф: Не скажу, чтобы я их особо любил, но в море, говорят, раны быстрее заживают.

А п о с т о л (*подошел, прикоснулся к его боли*): Давно?

С к и ф: Давненько. Измаялся. Гнию заживо.

Е л л и н (*подошел, изучил его зрачки*): Не в море, а на берегу раны хорошо заживают. В море тебя ждет лихорадка, агония и верная гибель.

С к и ф: Что жизнь человеческая? Фу, и нет ее.

А п о с т о л: Много народа поубивал?

С к и ф: Много.

А п о с т о л: Трудно убивать?

С к и ф: Работа как работа.

А п о с т о л: Но — приятная работа?

С к и ф: Конечно, приятная. Раз — и нету гада. Что может быть приятнее!

А п о с т о л: Ну, а толку что! Рубил ты их, рубил, а теперь заживо гниешь. Гадов, как ты говоришь, полным-полно, а силы нет. И ты просишь вина, чтобы отвести душу.

С к и ф: А вот душу мою не трогай. Убью.

А п о с т о л: Как не трогать, когда мы только о душе и толкуем!

С к и ф: Ну, если ты всё это затеял, чтобы покопаться в моей душе, тогда возьми свое паршивое вино и выпей сам. Я подожду пиратов, выйду с ними в море... Вы еще услышите обо мне...

А п о с т о л: Хорошее, плохое?

С к и ф: Жуткое. Огнем и мечом покорим мир. И вы, святые с длинными тенями, будете целовать следы наших ног, прося пощады!

А п о с т о л: Напрасны твои ожидания, воин! Корабли, которых ты ждешь, давно покоятся на дне морском.

В а р в а р: Что этот безумец несет!!!

Е л л и н: Если имеешь что сообщить, не прячь от нас.

А п о с т о л: Рим объявил войну пиратам.

В а р в а р: Когда?!

А п о с т о л: Еще с середины лета. Корабли цезаря настигают пиратов и топят во всех морях.

В а р в а р: Мало Риму сколько он золота награбил!

А п о с т о л: Не в золоте дело. Римляне топят пиратов, даже не ступая на их корабли.

В а р в а р: Тогда из-за чего война?

А п о с т о л: Разбой и порядок не могут сосуществовать в разумном государстве. Одно из двух — либо разбой, либо порядок. Середины нет. Так говорит Рим, и это так.

В а р в а р: Ты нам сообщаешь услышанное или увиденное?

А п о с т о л: Собственными глазами.

Е л л и н: Когда? Где?

А п о с т о л: Неделю назад я плыл из Яффы на Кипр. На моих глазах римляне потопили целую эскадру. Спрыгнувших и просивших пощады добивали веслами.

В а р в а р: Что в мире творится! Что в мире делается!!

С к и ф: Отпусти кувшин.

А п о с т о л: Я еще не кончил.

С к и ф: А что ты можешь, к этому, еще добавить?!

А п о с т о л: Я не сказал главного. Тебя мучают сомнения.

С к и ф: Меня? Сомнения? В каком смысле?!

А п о с т о л: Иногда тебе начинает казаться, что зря прожил жизнь.

С к и ф: Ну, почему же... Я любил и ненавидел. Жил вовсю.

А п о с т о л: Если в ненависти было твое призвание, то ты не тех и не так ненавидел; если же ты был создан для любви, то не тех и не так любил.

С к и ф (*тяжело вздохнув*): Ну, ничего... Я еще долюблю. Я еще дорублю.

А п о с т о л: Уж вряд ли. Ослабевшему мечу самое большее под силу еще один поход.

С к и ф: Я и во второй поход пойду.

А п о с т о л: Пойдешь, но не вернешься. И, предчувствуя это, ты размышляешь, а не сменить ли гнев на милость? Войну на мир? Ярость на любовь?

С к и ф: Для любви моя душа всегда открыта. Я, вон, на ваших глазах весь день изнываю, глядя на эту озорницу. Таю от обилия чувств.

А п о с т о л: Таять ты таешь, но при этом не перестаешь присуждать к смерти то одного, то другого.

С к и ф: Это так, для острастки. Веселюсь. Я мужик веселый.

А п о с т о л: Веселье твое — это занавеска, за которой ты скрываешь свою раздвоенность.

С к и ф: Какая раздвоенность?! О чем он говорит?

А п о с т о л: Рожденный на перекрестках времен и народов, ты весь век промаялся на распутьях. Выбрать один из путей не можешь, потому что остаются и другие пути, а идти одновременно многими путями никому не дано. Опьяненный беспредельностью, которая есть не что иное, как больная фантазия, ты веселишься и требуешь вина. А вино не поможет. Оно согреет, но не спасет.

С к и ф: Спасало. И не раз.

А п о с т о л: Никогда не спасало, и на этот раз не спасет, ибо раздвоенность преодолевается не вином, а молитвами.

С к и ф: Я могу и помолиться. Это недолго.

А п о с т о л: Конечно, молиться недолго, но чтобы вымолить прощение грехов, чтобы очиститься, тебе нужно сначала найти своего Бога и уверовать в него.

С к и ф: Всё? Кончил? Беру кувшин?

А п о с т о л: Еще несколько слов.

С к и ф: Убить тебя, и то мало.

А п о с т о л: Друг мой, не пей это вино. У тебя горячка.

С к и ф: Пить хочется.

А п о с т о л: Я достану тебе воды.

С к и ф: Где ты ее тут, в горах, достанешь?

А п о с т о л: Во время молитвы я услышал под скалой голос родничка. Разобрал влажные камни, и закапало. Поставил посуду. К вечеру, думаю, наберется.

С к и ф: Друг, всё горит! Силушек моих больше нет!!

А п о с т о л: Чтобы сберечь силы, подойди к Даку, погрейся у его огня.

С к и ф: Дак не примет. Мы устраивали набеги на их поля, и он это помнит.

А п о с т о л: Конечно, обиженный Дак может и не поделиться благом тепла, но мой брат Дак с радостью примет моего брата Скифа.

С к и ф: Ты назвал меня... своим братом?

А п о с т о л: Я уже пересадил твою судьбу и твои страдания в земли свои.

С к и ф: А с чего ты взял, иудей паршивый, что я хочу быть твоим братом? Ты и меч в руках не удержишь, и на коня с разбегу не прыгнешь!

А п о с т о л: Неужели ты думаешь, что мы братаемся, чтобы рубить чужие головы?

С к и ф: Для чего же еще?

А п о с т о л: Я назвался твоим братом, чтобы спасти тебя. Господь заповедал любить каждого, даже самого падшего, даже того, кого уже никто не любит. Ты отверг моего Господа и мою Любовь. Да свершится воля Его. (*Взяв кувшин, стал поливать собранные камни.*)

С к и ф: Ты что делаешь, Апостол? Я выслушал от тебя такие гадости, каких мне сроду никто не говаривал! Оставь хотя бы глоток!

А п о с т о л: Тише, не ори, а то испугаешь.

С к и ф: Кого?

А п о с т о л: Смену времен.

С к и ф: Каких времен, чего городишь?!

А п о с т о л: Разве ты не заметил, что над поляной запах хмеля начал уступать место запахам свежевыпеченного хлеба? Но хлебные запахи еще слабы.

С к и ф: Какое там слабы, когда вовсю пахнет хлебом!!

А п о с т о л: Ну, если хлебные запахи вытесняют в тебе винные, твое место теперь у огня, поближе к хлебам, ибо в них — жизнь.

С к и ф: Мне нельзя к теплу. Засохнут повязки.

А п о с т о л: Афинянин, друг мой, помоги моему брату Скифу!

Е л л и н: Как? Чем?

А п о с т о л: Перевяжи раны.

Е л л и н: Ты эти слова в мои уши вкладываешь?

А п о с т о л: В твои.

Е л л и н: Но, почему ты такие слова вкладываешь в мои уши?

А п о с т о л: Чтобы ты помог моему брату Скифу.

Е л л и н: Я философ, и оказался в горах только потому, что мы, философы, когда нами овладевает великая, но спорная мысль...

А п о с т о л: Я понимаю, дело это трудное, рискованное. Больной на пределе, ничего из нужного под рукой нет, но спасать-то надо!

Е л л и н: Ты и это мне говоришь?

А п о с т о л: Тебе, конечно.

Е л л и н: Он меня с ума сведет. (*Кричит во всё горло.*) Скажите этому рыжему Апостолу, втолкуйте в его тупую голову, что философы и лекари живут на разных улицах!!!

В а р в а р: Чего пристал! Видишь, не его это дело!

А п о с т о л: Лечение, конечно, стоит дорого. Сегодня я не в состоянии оплатить твои труды, но я помолюсь Господу, и Он отблагодарит тебя.

Е л л и н: Слушай, Служитель небес... чего ты от меня добиваешься?

А п о с т о л: Чтобы ты облегчил страдания моему брату Скифу.

Е л л и н: Как сделаю то, чего не умею?

А п о с т о л: Умеешь. Тебя сердце выдает.

Е л л и н: Чем?

А п о с т о л: Ему ведано, что такое добро.

Е л л и н: И тем не менее, я не лекарь.

А п о с т о л: Помни, ты наделен великим умом не для того, чтобы забавлять мир умозаключениями, а для того, чтобы помочь ближнему.

Е л л и н (*собирая фолианты в мешок*): Придется поискать иное место, чтобы продолжить размышления.

А п о с т о л: Ни в каком ином месте ты истину не найдешь.

Е л л и н: Кто об этом может знать?

А п о с т о л: Господь Бог. Ибо великие истины не есть плод ума человеческого. Они опускаются Господом свыше и потому так и называются — Божественные осенения.

Е л л и н (*заинтригованно*): Продолжай.

А п о с т о л: Всевышний не станет тебя больше осенять, если ты не поможешь ближнему.

Е л л и н: Во-первых, он мне вовсе не близок. Во-вторых, сам больной не обращался ко мне за помощью, так что, прощайте...

Проследив за тем, как он собирает свои пожитки, Апостол отошел, поднялся на скалу. Разведя руки, поддержал купол неба в своих натруженных руках, затем тихо изрек: «Вам, Галатянам! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами». Далекие миры ответили, глубины земли качнулись.

Е л л и н (*после некоторого раздумья, подошел к раненому Скифу*): Кувшин теплого вина. Нож. Тряпки. Кусок железа заройте в горячие угли.

С к и ф: Выжигания я не вынесу. Лучше сразу в пропасть.

Е л л и н: Выдержишь. Кто бредит женщинами и вином, выдержит и каленое железо.

А п о с т о л (*спустившись со скалы*): Нож у Скифа, железо у Дака, тряпки у меня, вино у Варвара.

С к и ф: Варвар не даст вина.

А п о с т о л: Даст. Он мне должен.

В а р в а р: Я никому ничего не должен.

А п о с т о л: Я дал тебе динарий. Вот свидетели.

В а р в а р: Верно. Дал. Я тебе налил кувшин вина. То, что ты тем вином полил камни, это уже твое дело.

А п о с т о л: В Афинах, Риме, Тарсе и всюду, где продается вино, за один динарий три кувшина наливают.

В а р в а р: Вино в горах стоит дороже. Подъем груза.

А п о с т о л: Сбросим один кувшин на подъем. Но два ты мне должен.

В а р в а р: Не забывай, здесь разбойничья стоянка. Я, может, рискую жизнью, продавая тут вино.

А п о с т о л: Рискуешь ты, продавая, рискую и я, покупая. Не забывай, я не разбойник. Один кувшин ты мне дал. Теперь наливай второй.

В а р в а р: Вот зараза! Не пьет, ничего в винах не смыслит, даже винного духа не выносит, а знает где, что и почем продается!

Е л л и н: Толкового покупателя надо уважать.

В а р в а р: А я и уважаю. Иначе стал бы я второй кувшин наливать!

Скифа уложили у костра. Мелькает раскаленное железо. Едкий дым, вопли, потеря сознания. Закончив перевязку, Еллин разжал зубы Скифу, влил в него остаток вина, и Скиф ожил.

С к и ф: Ах вчера, вчера, вчера, мы всю ночку... А где та, по которой душа моя...

Ж е н щ и н а: Всё. С танцами покончено. Теперь я кухарю.

С к и ф: Уже испекла?!

Ж е н щ и н а: Посмотри, какое чудо...

Сняв хлеба с горячих камней, выбрала самый красивый, подошла к Апостолу и опустилась перед ним на колени.

Ж е н щ и н а: Тебе, достойнейший.

А п о с т о л: Что ты! Достойнейший из нас — Бог.

Ж е н щ и н а: Этот хлеб я посвящаю тебе.

А п о с т о л: Но почему мне?!

Ж е н щ и н а: Потому что ты единственный из мужей, пожелавший меня, не стал заманивать под кусты, и заставил вспомнить родительницу, простить ее и испечь в ее память хлеба Благодарения. А потому прими этот хлеб и меня самое под свое крыло.

А п о с т о л: Что значит принять под свое крыло?

Ж е н щ и н а: То и значит. Ты меня хотел. Я, вот, согласилась.

А п о с т о л: Согласилась на что?

Ж е н щ и н а: Ну, быть твоей.

А п о с т о л: Но... это же невозможно!

Ж е н щ и н а: Почему невозможно?.. Иль ты женат?

А п о с т о л: С раннего детства, и даже еще раньше, из чрева своей матери, я был посвящен Господу, а посвященные Господу не могут иметь семьи.

Ж е н щ и н а: Ты меня не любишь. Ты меня не хотел. Ты наглый притворщик и обманщик.

А п о с т о л: Господь заповедал мне Любовь, и я говорил не раз, что безмерно люблю тут каждого.

Ж е н щ и н а: Каждого, может быть, и любишь, но хотел только меня и сгорал от страсти, когда одни наши одежды соприкасались. Что, я не видела?! Не чувствовала?!

А п о с т о л: Как ты могла это почувствовать?

Ж е н щ и н а: Не знаешь как? Возьми мои руки в свои и посмотри мне в глаза...

А п о с т о л (*исполнив просьбу Женщины, отвел глаза, смутился*): Грешен я перед тобою, Женщина, но, поверь, то плоть моя пылает, а душа — далеко, и помыслы о другом.

Ж е н щ и н а (*разочарованно*): И, теперь, что же... Я себя предложила. Ты меня отверг. Как мне дальше жить?

А п о с т о л: В страхе Господнем.

Ж е н щ и н а: Как проживу в страхе Господнем без чести, ибо, отвергнув, ты обесчестил меня.

А п о с т о л: Отвергая, я спасаю тебя.

Ф и н и к и е ц: Да позволено мне будет сказать.

В а р в а р: Говори.

Ф и н и к и е ц: По законам моей родины, этой женщине нанесен большой урон.

А п о с т о л: Прости меня, жено.

В а р в а р: Этого мало.

А п о с т о л: Серебра у меня больше нет.

Ж е н щ и н а: Есть еще один достойный выход.

А п о с т о л: Какой?

Ж е н щ и н а: Возьми меч у Скифа и убей меня.

А п о с т о л: Что ты несешь, как я пролью кровь неповинную!!

Ж е н щ и н а: Тогда женись на мне. Другого пути нету.

А п о с т о л: А что, если я возьму тебя в сестры?

Ж е н щ и н а: У тебя нету сестер?

А п о с т о л: Есть, но ты будешь нашей любимейшей сестрой. Будешь иметь о всех нас заботу, будешь хозяйкой нашего дома.

Ж е н щ и н а: Какого дома?

Д а к: Разве не видишь, что тут на поляне образовался дом!!!

Ж е н щ и н а: Тогда вкуси вместе со мной от этого хлеба, в знак того, что, при свидетелях, берешь меня в сестры.

А п о с т о л: Вкушать хлеб неурочно — это большой грех.

Ж е н щ и н а: Что за несуразный человек? Почему всё у тебя невозможно?! Вот он хлеб, вот ты, вот я, вот свидетели. Кто нам не дает из него вкусить?!

А п о с т о л: Бог.

Ж е н щ и н а: При чем тут Бог?!

А п о с т о л: При том, что испеченные хлеба жертвуются Господу за собранный урожай. Вкушать из посвященного Господу раньше самого Господа — святотатство.

Ж е н щ и н а: И мы, что же, не будем этот хлеб есть?!

А п о с т о л: Это уже воля Всевышнего. Что Он нам оставит, поделим меж собой по-братски и вкусим.

Ж е н щ и н а: Тогда поспешим поднести хлеба, пока они теплые. Что есть жертвоприношение?

А п о с т о л: Убирается стол, собирается семья, поют славу Господу, после чего начинается трапеза.

Ж е н щ и н а: Что есть трапеза?

А п о с т о л: Вкушение даров Господних семьей, связанной единомыслием.

Ж е н щ и н а: Едят, выпивают?

А п о с т о л: Мало пьют, мало вкушают, и много поют.

Ж е н щ и н а: А танцы?

А п о с т о л: И речи быть не может!

Ж е н щ и н а: Ничего, я введу в обычай и танцы. Как можно без танцев? Хлеба на что будем ставить?

А п о с т о л: Воспользуемся моим строением.

Ж е н щ и н а: Класть свежевыпеченные хлеба на грязные камни?!

А п о с т о л: Прикроем их некрасивость.

Ж е н щ и н а: Чем?

А п о с т о л: Травой. Цветами.

Ж е н щ и н а: Положим хлеба Благодарения прямо в траву?

А п о с т о л: Траву застелим покровом.

Ж е н щ и н а: Где возьмем покров?

А п о с т о л: Попросим у тебя.

Ж е н щ и н а: Я свой не могу отдать. Он мне понадобится.

А п о с т о л: Для чего?

Ж е н щ и н а: Для танцев.

А п о с т о л: Забудь о своих постыдных искушениях, сестра моя. Это грех, большой грех.

Ж е н щ и н а: Женские телодвижения взывают к мужскому плодородию. Соединись со мной, и ты познаешь Бога! Так написано на нашем храме.

А п о с т о л: Сестра моя, забудь о том храме и о тех глупых надписях, которые на нем. Покрой тело и волосы темной тканью и забудь о своей необыкновенной красоте.

Ж е н щ и н а: Если небеса создали меня красивой, почему я должна об этом забыть?

А п о с т о л: Чтобы не грешить. Нагота женщины принадлежит только мужу, с которым она сочеталась браком.

Ж е н щ и н а: А остальные с чем останутся?

А п о с т о л: Какое тебе дело до остальных?! У каждого да будет своя жена.

Ж е н щ и н а: А если кому не повезло, попалась некрасивая, он что, всю жизнь проживет, держа в объятиях то чучело? Ему что, нельзя хотя бы изредка любоваться истинно красивым женским телом?

А п о с т о л (*вопиет*): Господи, ты был тысячу раз прав, изгнав их из рая!!

В ярости поднялся на скалу, помолился. Успокоившись, вернулся к прерванному разговору.

А п о с т о л: Сестра моя, обнаженная женщина способна в одно мгновение растлить тысячи и тысячи душ...

Ж е н щ и н а: Это возможно, разом, со всеми?..

А п о с т о л: Я не о том, о чем тебе думается. Я о другом.

Ж е н щ и н а: Как о другом? Что тут может быть другое?

А п о с т о л: Видишь ли, узрев соблазнительную наготу женщины, мужи, в силу своей природы, тут же принимаются грешить с ней, и неизвестно еще, что разрушительней для человеческого духа — грех истинный или прегрешение в помыслах.

Ж е н щ и н а (*после долгой паузы*): Ты взял меня в сестры, чтобы погубить?

А п о с т о л: Чтобы спасти.

Ж е н щ и н а: Некрасивый не может спасти красивого, ибо он изначально ненавидит красоту.

А п о с т о л: Господь с тобой! Как можно ненавидеть величайшее чудо Господне, венец и смысл трудов Всевышнего! Другое дело, что красоту мы понимаем каждый по-своему.

Ж е н щ и н а: Что есть, по-твоему, красивого в этом мире?

А п о с т о л: Душа человеческая.

Ж е н щ и н а: А — тело?

А п о с т о л: Тело только в той мере, в какой оно есть продолжение красоты духовной.

Ж е н щ и н а: А может моя душа такое же совершенство, как и мое тело? Почем ты знаешь?

А п о с т о л: Одинаковыми они быть никак не могут. Одно больше, другое меньше. Большее владеет меньшим.

Ж е н щ и н а: Как то понимать?

А п о с т о л: Либо душа владеет телом и всеми его органами, устраивая жизнь человека по-своему, либо тело владеет всем и устраивает всё по-своему.

Дак тем временем украсил жертвенник.

Д а к: Стол готов. Можно нести Хлеба Благодарения?

А п о с т о л: Перед тем, как прикоснуться к хлебам, нужно сначала исполнить обряд омовения рук.

Е л л и н: Чем мыть, когда воды нет?

А п о с т о л (*ушел за скалу и тут же вернулся*): Полчаши, не меньше.

Е л л и н: Полчаши на семь пар рук?

А п о с т о л: Святая земля бедна влагой; по нашим законам, воды тут достаточно. (*Покопавшись в вещах, достал яичную скорлупу.*) Показываю, как свершается обряд омовения. Сосуд с водой держит женщина. Она же наполняет яичную скорлупу, но бережно, чтобы ни одна капля не пропала. Вода из первой скорлупы идет на размягчение грязи на руках. Я, вот, ее размягчаю. Второй скорлупой мы смываем грязь с рук. Я, вот, ее смываю. Третий раз мы наполняем скорлупу и уже чисто-начисто умываем руки. Я, вот, их умыл. Полотенце!

Ж е н щ и н а: Где возьму? У нас нет полотенец.

А п о с т о л: Как — нет? Брат мой Еллин, одолжи нам свои полотенца.

Е л л и н: Какие полотенца?

А п о с т о л: У тебя полон узел полотенец.

Е л л и н: Не скрою, у меня есть куски чистого полотна, но я в них заворачиваю наиболее ценные папирусы...

А п о с т о л: Напрасно ты их бережешь. Они не приплывут.

Е л л и н: Кто?

А п о с т о л: Пираты.

Е л л и н: Причем тут пираты?

А п о с т о л: Не надо лукавить. Все знают, что афинские философы, удаляясь в горы для глубоких размышлений, при случае подрабатывают лечением разбойников, которым опасно показываться в городе.

Е л л и н: Ты сомневаешься в том, что меня вывела в горы одна из величайших загадок, которая когда-либо посещала человеческий разум?

А п о с т о л: Я не сомневаюсь в том, что ты удалился в горы, чтобы поразмыслить, но куски полотна ты все-таки взял, чтобы, при случае, подработать...

Е л л и н: Ты полагаешь, это — грех?

А п о с т о л: Нет, отчего же... Очень даже доброе дело... Да благословит тебя Господь.

Е л л и н (*передавая куски чистой ткани Женщине*): Замысел твой, Апостол, прекрасен, благороден, грандиозен, но — не случится.

А п о с т о л: Почему?

Е л л и н: Ты не усадишь всех за один стол.

А п о с т о л: Я — нет, но Господь Бог усадит.

Е л л и н: А никогда в жизни.

А п о с т о л: Почему?

Е л л и н: Потому что мир, по природе своей, несовместим. Человек рождается в ярости неприятия окружающего мира. Этот инстинкт остается доминирующим на протяжении всей жизни.

А п о с т о л: Человек рождается добрым, преисполненный дружелюбия к брату своему. Мир совместим, потому что всё человечество есть единая семья Господня, и под сенью Отца мы соберемся за этим столом.

Е л л и н: А никогда. Начнем с меня. Я, как просвещенный Еллин, за один стол с Варваром не сяду.

А п о с т о л: Почему?

Е л л и н: Потому что мы возводим святилища, а они мечтают превратить наши храмы в конюшни. У нас разные представления о смысле жизни, о ее ценностях, о справедливости, и потому мы — несовместимы.

А п о с т о л: Совместимы в Господе Боге.

Е л л и н: Никак. Скиф никогда не сядет за один стол с Финикийцем, ибо у Скифа огромные просторы, неисчислимые богатства, а у Финикийца, кроме печальной кифары, ничего нет. Бедный с богатым за один стол не садятся. Они — несовместимы.

А п о с т о л: Совместимы в Господе Боге.

Е л л и н: Бедный Дак, зажатый Скифом со всех сторон, не сядет за один стол с могущественным соседом, ибо Сила и Бессилие есть вещи несовместимые.

А п о с т о л: Совместимые в Господе Боге нашем.

Е л л и н: А никак. Сами мы никогда не сядем за один стол с Женщиной, которую наняли, ибо наниматель и нанимаемый за один стол не садятся. Они — несовместимы.

А п о с т о́ л: Совместимы в Господе Боге нашем Иисусе Христе.

Е л л и н: Не говоря уже о том, что все мы, вместе взятые, презираем иудеев за живучесть и способность пустить корни где угодно; вы же ни во что не ставите остальной мир, считая его топливом для преисподней, а потому мы — не-сов-мес-ти-мы!!

А п о с т о л: Да совместимы же!!

Е л л и н: Но, каким образом?

А п о с т о л: Через Господа Бога, Отца нашего, мы — единое древо, и если то древо полно жизни, плодоносит, нельзя при этом вести разговоры о том, что, вот, нижняя ветка несовместима с верхними ветками, а корни не совсем одобряют плоды, которые они же сами и питают. Господь животворит, и чудеса животворения происходят каждый день, на каждом шагу.

Е л л и н: Где ты тут, на этой поляне, видел чудо животворения?

А п о с т о л: Оно было только что сотворено, причем твоими же руками...

Е л л и н: Я свершил чудо, потому что ты меня заставил, но ведь ты и есть среди нас самый несовместимый. Ты не то что из другого мира, ты точно с другой планеты свалился!

А п о с т о л: Хорошо. Начнем с меня, как с самого что ни на есть несовместимого. Я иудей из иудеев, из колена Вениаминова.

Е л л и н: Был.

А п о с т о л: Почему — был?

Е л л и н: Ты же от своих отрекся.

А п о с т о л: Я от своих никогда не отрекался. Как можно отречься от самого себя? Просто удалился от них.

Д а к: По какой причине?

А п о с т о л: Как я уже говорил, мой народ — это народ избранный Богом. Но ведь остальные народы, тоже творение рук Господних! От одной крови Бог произвел весь род человеческий.

Е л л и н: Ты говорил это там, в Иудее?

А п о с т о л: Говорил.

Е л л и н: И тебя не убили?

А п о с т о л: Четыре раза мне было по сорок ударов без одного, три раза побивали камнями, два раза я был в узах. Вот свидетельства перенесенного мною. Многое еще не зажило, уж вы простите.

Ж е н щ и н а (*потрясенная*): Боже! На человеке, который делает одно добро, живого места нет!

В а р в а р: С чего ты взяла, что Апостол делает добро?

Ж е н щ и н а: Как иначе назвать то, что он сегодня сотворил?

В а р в а р: А что он такого сотворил?

Ж е н щ и н а: Мне, вот, вернул родительский дом и взял в сестры; вырвал Скифа с того света; Даку подарил надежду на лучшие времена, просветил печаль Финикийцу, и все мы, свершив обряд омовения, как-то породнились, стали единым домом. Можно ли так казнить за добро?!

А п о с т о л: Сестра моя возлюбленная! За один этот день, который я провел тут с вами, по закону моего народа, я по меньшей мере трижды должен быть побит камнями.

Ж е н щ и н а: Трижды!! Но почему именно трижды?!

А п о с т о л: Во-первых, общаюсь, вот, с неиудеями. Во-вторых, побратался и поцеловался с иноплеменником. В-третьих, увлекся язычницей и в помыслах согрешил с ней.

Ж е н щ и н а: Не волнуйся. Они никогда не узнают, что между нами было.

А п о с т о л: А им большего и не нужно. Они меня уже приговорили.

Ж е н щ и н а: К чему приговорили?

А п о с т о л: К смерти. Вот тут, в низине, на окраине городка, синагога. Как и во множестве других иудейских храмов, там сидят и молятся мои единоплеменники, поклявшиеся не принимать пищу, пока не убьют меня. Спуститесь к ним, это тут рядом. Скажите им, что тарсянский еретик, которого они ищут, тут на поляне проводит день с неиудеями. Они тут же прибегут казнить меня.

Е л л и н: Ты учишь нас, как предавать тебя?!

А п о с т о л: Раз мы несовместимы, а я несовместимей всех, кто-то от кого-то должен избавляться! Вас много, я один. Камни уже собраны. Каратели готовы. А пока вы за ними сбегаете, я взойду на скалу, в последний раз помолюсь и исповедуюсь моему Господу.

Отойдя, поднялся на скалу и, прелонив колени, долго, подобно былинке, качался из стороны в сторону.

В а р в а р: Ну, чего замешкались?

Д а к: Как ты мог об этом подумать!

С к и ф: Воин знает, что такое бой. Предательства не приемлет.

Ж е н щ и н а: Сестры братьев своих никогда, сроду...

Ф и н и к и е ц: Кому еще, как не рабам, знать цену истинной свободы...

В а р в а р: Ну, что до меня, торговля всегда была вне политики...

Отмолившись, Апостол вернулся, обошел всех, подолгу вглядываясь в их лица.

А п о с т о л: Ну, что ж... Если не решаетесь избавиться от меня, значит, мы зеленое, плодоносящее древо, и, стало быть, совместимы. А если это так, пора собираться на совместную трапезу. Сестра, покрой стол покрывалом, чтобы наш брат Дак смог принести жертвенные хлеба.

Е л л и н: Женщина не может восседать за одним столом с мужами!

А п о с т о л: В семье сестры всегда находятся при своих братьях. Возглавит же стол труженик-пахарь, взрастивший своими руками...

Д а к: Нет-нет, я не могу во главе стола; я очень стеснителен.

А п о с т о л: Тогда тебя, Еллин, хозяина этих чудесных гор, мудрого и седого, как и эти горы...

Е л л и н: Я не могу видеть эту компанию.

А п о с т о л: Это — достойные люди. Творение рук Всевышнего.

Е л л и н: Они некрасивы.

А п о с т о л: Я тоже некрасив, однако ты, вот, смотришь на меня, беседуешь со мной.

Е л л и н: Ты некрасив, но умен, даже мудр, общаешься с небесами, сотрясаешь глубины земли, это компенсирует твой внешний вид, а они некрасивы — и только.

А п о с т о л: Они обаятельны, простодушны, артистичны, в них множество талантов, это артисты, которые еще не утвердились!

Е л л и н: Не дай бог, чтобы они утверждались.

А п о с т о л: Умеющий лечить, должен уметь преодолевать отвращение.

Е л л и н: Какое отвращение?

А п о с т о л: У тебя шок от запущенных ран Скифа. На нем действительно гнило мясо. Спасти такого больного было немыслимо, но ты это сделал! Ты спас его!

Е л л и н: Он меня даже не поблагодарил.

А п о с т о л: Прости его. Очень прошу тебя... (*Становится перед ним на колени.*)

Е л л и н: Нет и тысячу раз нет!!

Тяжело вздохнув, Апостол оглянулся, увидел скалу. Поднялся, простоял некоторое время, держа небеса на своих руках. «Вам, Ефесянам! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами». И был гул далеких миров, и снова качнулись земные глубины. Вся поляна, весь мир смотрели на Еллина, и Еллин наконец поднялся, подошел к столу. Апостол, отмолившись, спустился.

А п о с т о л (*Скифу*): А ты чего стоишь? Иди, подкрепи сердце хлебом.

С к и ф: Боли... адские... Если шевельну членом каким... упаду...

Е л л и н: Двигайся. Рядом с лекарем умирают, но не сразу.

А п о с т о л: Теперь самое время нашему другу пахарю.

Д а к: Что, опять рядом со Скифом? Вы что, с ума посходили? Тысячу лет и всё бок о бок?

А п о с т о л: Ну, раз вы соседствуете землями и в каком-то смысле родня...

Д а к: Какая там родня! Его соленое море питается пресными водами наших рек, вот и всё наше родство...

А п о с т о л: Реки и моря породнены Господом, и вас тоже Всевышний посеял рядом, так что не надо противиться воле Отца. Около пахаря будет наша сестра...

Ж е н щ и н а: Он слишком стар для меня.

А п о с т о л: Вырастивший пшеницу не может быть слишком стар для той, которая испекла хлеба. Рядом с тобой встанет тот, кто услаждал наш слух печальными песнями о Картагене...

Ф и н и к и е ц: Да позволено мне будет сказать.

В а р в а р: Говори.

Ф и н и к и е ц: Рабы не могут восседать за одним столом со свободными.

Е л л и н: Ты рожден в неволе, или тебя обратили в рабство?

Ф и н и к и е ц: Обратили.

Е л л и н: Кто?

Ф и н и к и е ц: Сам себя продал.

Е л л и н: Что тебя вынудило продать самого себя?

Ф и н и к и е ц: Погибал в горах, как и этот воин. Лихорадка вытрясла из меня всё. Чтобы спастись, вынужден был продать себя за кувшин горячего вина.

Ж е н щ и н а: Кому?

Ф и н и к и е ц: Продающему горячее вино в горах.

А п о с т о л (*Варвару*): Брат мой, Варвар, отпусти нам своего раба.

В а р в а р: Для каких надобностей?

А п о с т о л: Чтобы исполнить совместную трапезу.

В а р в а р: Обойдетесь. Он мне самому может понадобиться. Вдруг клиент нагрянет, а веселить будет некому. Вино без кифары, всё равно что невеста без жениха.

А п о с т о л: Мечтаешь разбогатеть?

В а р в а р: Об этом помышляют все.

А п о с т о л: Зачем тебе много?

В а р в а р: Долго жить хочу. В свое удовольствие.

А п о с т о л: Тебе это не дано.

В а р в а р: Почему?

А п о с т о л: Не умеешь наживать добро. В твои-то годы торчать у трех прокуренных котлов!

В а р в а р: Научи, как это сделать лучше. Войди со мной в долю.

А п о с т о л: В долю с тобой я не войду, но научить могу. Вот, ты купил этого раба за бесценок, воспользовавшись его отчаянным положением.

В а р в а р: Я его спас. Он должен дважды в день руки мне целовать.

А п о с т о л: Спас для чего? Чтобы было кому таскать амфоры по горам?

В а р в а р: Это когда переезд. А так он у меня при кифаре.

А п о с т о л: Но играть ты ему тоже не даешь! Всё время обрываешь. Почему?

В а р в а р: Воспитываю. Даю новое направление. Сколько можно про Картагину. О Картагина...

Ф и н и к и е ц: Не Картагина, а Картагена!..

В а р в а р: Ты, раб ничтожный... Не смей вступать в разговор мудрецов, не получив на то мое позволение.

А п о с т о л: Во-первых, раб — он тоже человек. Во-вторых, твой раб — человек особенный, отмеченный Богом.

В а р в а р: Чем?

А п о с т о л: Талантом.

В а р в а р: Если хочешь знать, я пою лучше его.

А п о с т о л: Может, ты и поешь лучше, но ты не избран Богом, а он — избран, и потому он — великий музыкант.

В а р в а р: Не смеши людей. С чего ты взял, что он великий музыкант? И что такое великий музыкант?

А п о с т о л: Это музыкант, у которого есть послание миру от Бога.

В а р в а р: И... где оно, послание-то?

А п о с т о л: Картагена.

В а р в а р: Возможно ли, чтобы послание было из одного слова?!

А п о с т о л: Отчего нет? Мир. Война. Перемирие. Односложные послания Господа Бога.

В а р в а р: Ну, мир, война, перемирие, это я понимаю. А что такое Картагина?

А п о с т о л: Знаешь ли ты что-нибудь про Финикию?

В а р в а р: По-моему, это фрукт.

А п о с т о л: Финикия — это страна, поднявшая, было, меч против Рима. И Рим ее сокрушил.

В а р в а р: Если не умели воевать, чего полезли?

А п о с т о л: Друг мой, да будет тебе известно, что финикийцы были великолепными полководцами! Ганнибал уже стоял у ворот Рима! Город был пуст, стоило ему войти — и мировая история пошла бы совсем по другому руслу. Но Ганнибал не любил ночных побед, он хотел, чтобы

весь мир видел, как он войдет в Вечный город. Ночью, однако, римляне сумели собрать разрозненные силы и утром сокрушили финикиян.

В а р в а р: Я же сказал — глупые, никчемные люди.

А п о с т о л: Не говори так. Финикияне — народ мудрый. Они оставили нам знаки письма, то есть алфавит, в который одето Святое Писание.

В а р в а р: Взялся учить, как наживать добро, а дошел до Святого Писания.

А п о с т о л: Я дошел до Святого Писания именно для того, чтобы научить тебя, как наживать добро. Известно ли тебе, что такое сострадание?

В а р в а р: Что-то связанное с детским ревом.

А п о с т о л: Вот, видишь ты утром соседа, которому холодно, и хотя ты сам стоишь у огня, тебе как-то неуютно, зябко, от того, что холодно твоему соседу. Видишь воина, измученного ранами, и сам содрогаешься от боли... Страдать болью ближнего — это и значит сострадать.

В а р в а р: Не понимаю. Если холодно Даку, почему должно быть холодно и мне? Если Скифа замучали раны, почему должен страдать и я, который вовсе не участвовал в сражении?!

Д а к: Вот на этом ты потерял половину состояния.

В а р в а р: То есть на чем?

Д а к: На пренебрежении человеком. И если бы ты, вместо того, чтобы заставлять этого несчастного раба таскать амфоры по горам, вывел бы его на большую арену Афин в спектакле под названием: «Последний Финикиец, оплакивающий гибель Картагены»...

В а р в а р: Думаешь, собрались бы послушать?

А п о с т о л: Весь город собрался бы. Исповедь — не блажь, а спасение. Ты разбогател бы в один день и сделал бы при этом доброе дело.

В а р в а р (*рабу*): Ты, предатель... Ешь мой хлеб, а плачешься другим?

Ф и н и к и е ц: Я пою тебе об этом с утра до вечера...

В а р в а р: Но почему другие поняли, о чем песня, а я не понял?

Ф и н и к и е ц: Потому, что им ведома боль человеческая, а тебе — нет...

В а р в а р (*неожиданно прослезившись*): Кто из живых может сказать, что прожил жизнь и не ведал боли! Ладно, иди к ним, облегчи свою душу.

Ф и н и к и е ц: Чтобы облегчить душу, нужно быть свободным, а я раб.

В а р в а р: Отпустить не могу. Я на тебя истратился.

А п о с т о л: Ладно, если не отпускаешь, мы у тебя его выкупим.

В а р в а р: Как выкупите? На что?

С к и ф: Меч отдаю.

Д а к: Полмешка зерна.

Ж е н щ и н а: Серьги.

Е л л и н: Половина свитков, они дороже, чем всё твое состояние.

В а р в а р: Я думал заработать на нем больше, но, так и быть. Уступаю. Иди, ты свободен.

Ф и н и к и е ц: Нет. Не так продаются, не так покупаются рабы.

А п о с т о л: Он прав.

Подошел к рабу, коснулся его плеча. Раб опустился на колени. Возложив ему руку на голову, кивком предложил Варвару сделать то же.

А п о с т о л: Перед Богом и перед миром. Ты этого раба нам продал. Мы этого раба у тебя выкупили.

В а р в а р: Какие гоноры! Уже и народа-то нет, а гоноры остались!

А п о с т о л (*после завершения обряда*): Теперь, брат мой Финикиец, можешь стать рядом с нашей сестрой. Ты — свободен.

Женщина поднесла ему сосуд, омыла ему руки, и раб присоединился к ним.

С к и ф: Вино будет?

А п о с т о л (*Варвару*): Налей.

В а р в а р: Будут деньги, будет и вино.

А п о с т о л: Ты нам должен.

В а р в а р: Я никому ничего не должен.

А п о с т о л: Ты нанял нашу сестру за одну десятую от прибыли.

В а р в а р: Да, но прибыли не было! Торговля не пошла.

А п о с т о л: Все-таки на один динарий ты наторговал!..

В а р в а р: И ты хочешь, чтобы я тебе его вернул?

А п о с т о л: Отдай нашей сестре ее долю.

В а р в а р: У кого я тут, в горах, разменяю динарий?

А п о с т о л: Зачем менять? Выдай нашей сестре ее долю вином.

В а р в а р: Как?

А п о с т о л: Налей столько вина, сколько полагается за один динарий, и десятую часть отдели.

В а р в а р: И что получится? Шесть, семь глотков?

А п о с т о л: Пусть будет шесть, нам и шести достаточно. Только не мерь своей глоткой! Лей на глаз.

В а р в а р: Хорош покупатель. Долго искал. Покупает вино глотками, а я продаю на глаз. Но, постойте, в этом сосуде что-то плещется! По-моему, тут вода!

А п о с т о л: Вода чистая, родниковая. Лей, не бойся.

В а р в а р: Испортим вино.

А п о с т о л: Нет. Разбавим.

В а р в а р: Вино разбавлять водой?!

А п о с т о л: Господь запретил народам пить неразбавленное вино.

В а р в а р: Почему?!

А п о с т о л: От неразбавленного вина человек колеблется, и сами земные устои качаются.

Поставив сосуд, поднял хлеба. «Господи! Ты посещаешь землю в год ее великой жажды, напояешь борозды, благословляешь произрастания, и вот, холмы препоясываются радостью, луга одеваются стадами, долины покрываются хлебами, восклицают и поют! Тебе, Господи!»

Преломив хлеба, Апостол обмакивал куски в разбавленном вине, каждому давал его долю. Ели тихо, молча, целомудренно, насыщая дух безмолвием.

Д а к: Вот ведь чудо какое! Один хлеб, и мы, многие, одно тело!!

В а р в а р: Ты же говорил, что на трапезе поют.

А п о с т о л: Сейчас я скажу слова, а наш брат Финикиец оденет их сладостными звуками.

Ф и н и к и е ц: Слушаю слова.

А п о с т о л (*после долгого раздумья*): Если каждая травинка отгородится забором, у нас не будет ни полянок, ни пашни, ни зеленых лугов; если каждый дуб отделится межою, исчезнут рощи, дубравы, леса; если каждая капля возмечтает о собственных берегах, исчезнут реки, озера, моря; если брат пойдет на брата, исчезнут языки, обычаи, отечества; если увлекаться разбрасыванием и пренебрегать собиранием камней, исчезнут печки, дома, храмы; а если нету крыши, то и Бога нет. Вот мои слова.

Ф и н и к и е ц: Дрофа — птица красивая, но — не летает.

А п о с т о л: Да простит меня мой брат Финикиец, но дрофа — это воистину Божья птица! В тяжелые годы она кормит сирот и вдов...

Ф и н и к и е ц: Да-да-да, но — не летает. Ходит, как утка, хотя и при крыльях.

А п о с т о л: Тебе нужно, чтобы летала?

Ф и н и к и е ц: Песни пешком не ходят

А п о с т о л (*после долгой паузы*): Хорошо. Подберем что-нибудь летающее.

Если человек не увидит человека,
Если человек не услышит человека,
Если человек не поймет человека,
Не простит,
Не пожалеет,
Не полюбит его,
Бог отвернется,

Погаснут светила,
И роду людскому
Наступит
Конец.

Ф и н и к и е ц (*перебирая струны*): Домашние голуби красивы, но, отяжелев от излишней пищи, летают недалеко. Невысоко. Другое дело лесная горлица. Слетит с веточки, мгновение — и растаяла в небесах!

А п о с т о л: Тебе обязательно, чтобы растаяла!

Ф и н и к и е ц: Истинная песня, как и дикая горлица, слетела с губ, поднялась, растаяла. И всё. Ее больше нет. Она — у Бога.

А п о с т о л: Иди я обниму тебя, дорогой мой брат, ибо то, о чем ты говоришь, это уже не песня, а молитва. И, видит Бог, нашему столу сегодня потребны не столько песни, сколько молитвы. (*Обняв и поцеловав.*)

Если я не увижу тебя,
Если я не услышу тебя,
Если не пойму,
Если не прощу,
Бог покинет меня,
Бог покинет тебя,
И нашему роду
Наступит
Конец.

Мелодия стала вырываться из глубин, подхватывая слова на лету. Поначалу робко и неумело, потом всё громче и слаженней распелась семья Апостола. Песня отзывалась эхом в горах, уходила далеко в море, и была какая-то тайна в рождении этого распева. Удивленный Варвар, оставив свои котлы, подходит всё ближе и ближе.

С к и ф: Ты чего?

В а р в а р: Как — чего? Чтобы петь. У меня хороший голос.

Д а к: Что толку, что голос хорош, если ты не с нами?

В а р в а р: Как не с вами? Мне тоже омывали руки.

Е л л и н: Но к преломлению хлебов ты не подошел?..

В а р в а р: Занят был. Теперь, вот, освободился...

Ж е н щ и н а: Хлеба Благодарения не вкушал...

В а р в а р: Занят был. Теперь, вот, освободился. И, если что осталось, мне даже любопытно — хлеб с вином...

Пополнившаяся семья начинает песню сначала. Гремели горы, сотрясались дали, звучный женский голос, покрывая всё и вся, подхватил песню, унося ее выше и выше, в небесную синеву, но, когда празднество было в зените, в бухте задребезжал корабельный колокол. Пение оборвалось на полуслове. Поляна замерла.

В а р в а р (*выглянув с обрыва*): Три корабля. Все в пурпуре и золоте. Подплывают.

Д а к: Что будем делать?

С к и ф: Как — что? Торговать. Для чего мы поднялись в горы?

Д а к: Но, все-таки, мы теперь как бы повязаны...

В а р в а р: Как повязаны? Кем? Чем?

Д а к: Ну, омовение рук, жертвоприношение, совместная трапеза, пение...

В а р в а р: Мало ли шарлатанов шляется по ярмаркам!

Ж е н щ и н а: А что, пираты и вправду так хороши собой?!

В а р в а р: Ах, вчера-вчера-вчера мы всю ночку целовались...

Мигом трапеза распалась. Дак лихорадочно гремит походными жерновами. Скиф наводит блеск на свою амуницию, захмелевшая кифара скачет с одного на другое, жрица храма Сладострастий наконец скинула с себя покрывало и взлетела.

«Браво-о!!» — вопили со всех сторон. Оглядев их, печальный Апостол отошел, поднялся на скалу, взял купол неба в руки и окаменел.

Е л л и н: Корабли под грузом?

В а р в а р: Еле ползут. Как беременные хрюшки.

Ф и н и к и е ц: Ушли от римской погони!

С к и ф: Мы еще покажем этому Риму, где раки зимуют!!

Д а к: Надо же. Нехорошо как получилось. Уйму муки истратил.

В а р в а р: Мука — это что! У меня, пока я распевал, два котла выкипели.

С к и ф: Два котла выкипели, но амфоры полны! А что делать мне, если меня превратили в столб, на котором висит меч!

Е л л и н: Все мы в убытке. Я, вот, остался без полотенец, а на кораблях, если за ними гонится Рим, полно раненых...

Ж е н щ и н а: И вам не стыдно плакаться по пустякам перед опозоренной женщиной?

В а р в а р: Ты не опозорена. Ты на работе.

Ж е н щ и н а: Как не опозорена! Впервые в жизни отвергнута мужчиной. В мои-то годы! При моих-то статях!!

Голос Апостола загрохотал: «Тебе, роду человеческому!!...». Торговцы замерли. Следят за каждым его движением.

В а р в а р (*вполголоса*): А что, если опять начнет раскачивать земную глубь? Оцепенение охватит всех, а при оцепенении, какая уж там торговля!

Д а к: Может, скалу эту как-нибудь раскачать?!

Е л л и н: Эта скала не-со-кру-ши-ма-я!!

В а р в а р: Остается один путь.

С к и ф: Смерть Апостолу!!

Д а к: Ну уж, это было бы слишком... Зачем нам проливать его кровь? Мы все-таки братались, восседали за одним столом. Лучше спуститься к его сородичам и, раз он у них приговорен...

С к и ф: Что бегать, когда у нас меч?

В а р в а р: У тебя меч, ты и сверши.

С к и ф: Эй, ты там! Спустись.

А п о с т о л: Что тебе, человече?

С к и ф: Убить тебя пришел.

А п о с т о л (*покорно спустившись, оглядел воина и его вооружение*): Но почему мечом? Тебе будет трудно. Ты еще плохо стоишь на ногах. Лучше камнями.

С к и ф: Как это — камнями?

А п о с т о л: Никогда не видел, как убивают камнями? Я отойду, стану под скалой, а вы подберите камни, благо они уже собраны...

И он встал под скалой, а его семья развенчала основание будущей колонны. Повыбрасывали траву, цветы, но что-то слишком уж долго они выбирали себе камни, и тогда Варвар решил возглавить казнь. Сняв одежду, обозначил место, откуда будут бросать, взял камень, подошел к своему рабу.

В а р в а р (*Финикийцу*): Ну?

Раб, подумав, освободил правое плечо, взял камень и стал в ряд.

В а р в а р (*Женщине*): Ну?

С трудом, взяв что под ногами валялось, Женщина стала в ряд.

В а р в а р (*Скифу*): Ну?

Скиф не мог нагибаться. Ему подняли камень, и он стал в ряд.

В а р в а р (*Даку*): Ну?

Дак был в отчаянии. Всё возился и возился со своим хозяйством, но его ждали, и он наконец поднял камень.

В а р в а р (*Еллину*): Ну?

Еллин ничего с себя не снял. Камень не поднял, но в ряд встал.

В а р в а р: Бросай!!!

Камни полетели, как стая одичалых птиц. Апостол упал, затем поднялся, посмотрел на них и, полный боли и страдания, направился к своей семье, прошел сквозь нее и вышел на авансцену.

А п о с т о л: Тебе, неверному роду людскому (*пауза*). Сколько бы камней ни бросали, сколько бы ни травили, ни предавали, ни уничтожали друг друга, в свой последний час вспомните, что было время, когда сидели за одним столом, ели один хлеб, пили из одной чаши, воспевали одну песнь, и горько зарыдаете, ибо то были лучшие минуты вашей жизни... (*после паузы*) Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь.

З а н а в е с

P.S. По преданию, Апостол Павел был казнен в семидесятые годы от Рождества Христова в болотистых предместьях Рима.

1996—1998

МЫ С ТОБОЙ НЕ ОДНИ...

* * *

Над заболоченной землей —
Такая грязь. Такая слякоть —
В душе моей, что перегной
Готов воспеть — а надо плакать...

В слезах ли соль, в речах ли мед...
Стенания ковром под ноги.
Читатель вряд ли разберет,
Как рифма слогом вдоль дороги
Ударным прет без колеи,
Хрестоматийный руша глянец.

А ты внимай — поводыри
Рвут плоть в куски, как иностранец
С оскалом хищным пьет Восток,
Его красы, не насыщаясь...

Внимай — земля твердит урок,
Что плод созреет ровно в срок,
И — кайся, говорит! Я — каюсь...

1992

Там плачет женщина, я был когда-то с нею...
В. Коротич (пер. Ю. Мориц)

Она не плакала, она навзрыд молчала,
Когда ей пробовали всё сначала
И объяснить, и оправдать, и речь
Чудовищем незримым возле плеч
Свивалась сетью. Это было больно.
Молчание кричало, что довольно
Иносказаний, знаков и плевел.

Максим ЖАРНИЦКИЙ — родился в 1957 году в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСИС) в 1979 году. Работает по специальности. Печатал стихи в нескольких поэтических сборниках в 1996—1998 гг. Живет в Москве.

Отряд в походе, и горнист пропел.
И в прошлое уходит спутник старый.
Он плачет, сдавленный небесной карой.
Она молчит, как грозный судия.
Там женщина — с ней был когда-то я.

28 августа 1995

* * *

Но ложимся в нее...
Ахматова

Размазывая боль по пальцам,
Продавливая кровь по жилам,
Не любопытным иностранцем
Или транзитным пассажиром —

Жить однодворцем, голытьбою,
Наследуя у всех и вся,
И право утолив судьбою,
В тебя лечь, русская земля.

Февраль 1996

* * *

Я буду с тобой в мечтах и памяти,
На диком пляже, где царствует зной,
В узорах причудливых старой скатерти,
Преданный всеми, я буду с тобой.

В миг, когда сомнения кончились
И смысл жизни спирта ясней, —
Из диких трав и весомых почестей
Сварю напиток к приходу гостей.

Мы сядем за стол с новым узором,
Вновь ощутимо потянет бедой.
В памяти между крестом и позором
Ныне и присно я буду с тобой.

1993

* * *

В этом городе чисто случайно и только проездом,
Как во всем этом мире, — проездом в плацкарте железном,
Без билета, на полке случайной и с рифмой неточной...
Заколоченный город, пространство одних многоточий...

Если что и доступно, то дамы разряда эскорта.
Есть на полке три места, есть тост за былые успехи,
Есть надежды — до стука на стрелке, до спазма аорты,
Как во всем этом мире, забытые даты и вехи.

В этом городе только проездом и чисто случайно...
Рухнет смысл бытия на колени, до спазма отчаянья,
До икоты предсмертной среди вавилонских обломков,
Без надежды на память на Запад ушедших потомков.

1992

* * *

Алексею Нейману

Кто научил тебя, как холст и лист лилейный
Связать в одну строку и закрепить в судьбе?
Кто мерил схему сфер — одну во всей Вселенной —
Уже не поплывет на первом корабле.

Снег комьями валит, скрывая Чистопрудный,
Где вольные стихи, тягучие, как мед,
Не вынести в себе, не сохранить подспудно,
Но бросить в перепляс на завьюженный лед.

Когда мы не одни — и в городе, и в мире, —
Созвучие стихов и звуков колорит
Суть вызов вдаль, мираж в пустой квартире,
Звезда волхвов, что над холстом горит.

1992

* * *

Посещения дни, посещения лета...
Мы с тобой не одни — дух и буква Завета.
Сколько миг ни тяни, сколько праздно ни сетуй,
Есть конец для войны, есть опора обета.

Посреди тишины будет явлен входящий.
То ли он во плоти, то ли в славе звенящей,
Он стучит во все двери — и открыты они...
Посещения лета, посещения дни.

1992

* * *

Сгорает в пламени Завета
Твоя вина, моя вина...
Покуда принимаешь это,
Неопалима купина.

Но если посредь злой ночи́
Накличешь дождь на это пламя,
Как в темноте найдешь ключи,
Коль дверь захлопнется за нами?

1992

* * *

Почему ты здесь, среди свечей,
А не под осенним ясным небом?
Потому что свет Твоих очей
Нас поит водой и греет хлебом.

Господи, Ты прост, а мы сложны.
В немощи и гордости нам тесно,
И Твои пророки не видны,
Если ближним мы не интересны.

Мы — Твое подобие, Господь,
Семя в почве и река в верховье,
Мечется душа, страдает плоть,
И слезой омыто изголовье.

Дай нам силы выстоять, сберечь
И усилить тихий свет скорбящий.
Догорит свеча, умолкнет речь —
Нам на воздух, к Твоей славе вящей.

1995

* * *

Когда мы все равно несчастны,
Когда мы все равны в несчастьи,
И ты коришь себя напрасно,
И я виновен лишь отчасти.

Всю жизнь навстречу шли, и вот
Свершилось — оба у барьера.
Миг — и ранение в живот.
Хрестоматийная карьера.

Что толку, если два поэта
Без удержу и без расчета
Сошлись, когда их пистолеты
Уже несут печать завода?

1992

ОТЦЫ И ДЕТИ

Рассказ из шикла «Исаакские саги»

«Поехали!»
Юрий Гагарин

Время не идет — бежит. Хотя каждодневно жизнь вроде бы течет по-прежнему. И вдруг... — всё не так. А покопаешься... И это было. А то и копаться не надо.

Как всегда, в воскресенье утром общий завтрак. Вся семья, все три составных части ее, два первоисточника и наше производное, собрались за столом. Это как бы символ семейного содружества. Я не тороплюсь в больницу — даже если хочу взглянуть на свою вчерашнюю работу, это можно и попозже. Гаврик не бежит в школу — или там на какую-нибудь олимпиаду, курсы или гульбу, днем в выходной всё же неминуемую. Лена не торопится на работу и ни на рынок, ни в магазин, это на ходу делается, идучи домой или в обеденные перерывы.

Вообще-то нынче во второй половине дня магазины уже пусты. Но, надеемся, это временно. Мы привыкли, что когда плохо, это временно. Нам ведь всегда говорили, что плохое — это временно. И так уже семьдесят лет говорят. Ничего, всё равно выкрутимся — и мы и страна. И впрямь ведь перерывы бывают — иначе давно бы все повымерли. А сегодня тем более обойдемся. Яйца Лена вчера купила, и с хлебом пока не на нуле. Значит, сегодня мы короли: на завтрак чай, яйца, хлеб и масло.

Семья в сборе — простор многословным дискуссиям о жизни, обсуждениям еды, погоды, планов... Много пустоты, но всегда весьма животрепещущей, всегда злободневно. На злобу дня. Странное выражение. Почему, если сегодня это важно, так, стало быть, злоба? Вот, можно и на сию тему посудачить. А — «посудачить»? Это что? При чем тут судак?.. Или судки?..

Юлий КРЕЛИН — родился в 1929 году в Москве. Окончил Второй медицинский институт. Работает заведующим хирургическим отделением одной из городских больниц. Писать начал в 60-е годы, впервые рассказы его были напечатаны в «Новом мире» Твардовского. Автор романа «Хирург», повести «Хочу, чтобы меня любили» и многих других повестей и рассказов, посвященных жизни врачей и печатавшихся в центральных журналах, а также выходивших отдельными изданиями. Живет в Москве.

Так и развлекались мы на разные темы, завтракая чем Бог послал.

Я не люблю трапезовать на кухне. Я всегда говорил Лене, когда она норовила в меня что-либо наскоро впихнуть, не отрываясь от плиты: «Опять хочешь с челядью меня кормить». Смешно нам было.

Правящая идея научить кухарку управлять государством косвенно оборотилась в советскую традицию принимать гостей в кухарочьем месте. В результате в каком-то смысле кухня облагородилась. Рауты, суаре, парти — посиделки близ плиты, паров вечно кипящего чайника, скворчащих сковородок, они позволяют хозяевам не отвлекаться, приготавливая чай, кофе или закуску, от политических споров, национальных проблем, обсуждения властных или просто мелькающих последнее время персон, от разговоров о литературе, искусстве, что, конечно, реже, чем осуждение изысков существующего режима. Кухня стала героем книг, экранов, сцены. И что любопытно: кухни становились всё меньше и меньше (и по размерам, и по наполнению), а разговоры кухонные (не по смыслу, но по месту) — всё более энергичными и долгими. Как бы плиты ни чадили, кастрюли, чайники ни парили, сковородки ни шипели и брызгались, мы не могли отказать себе в этих посиделках при закусках на скорую руку, при близстоящих бутылках, рюмках и стаканах с вином, водкой, чаем или кофе, ибо события в общем доме тоже чадили, парили, скворчали, шипели и брызгались. Эти кухонные сквозьнощные поддаточные дискуссии были и защитой, и обоснованием собственного алиби, и покаянием, и воспитанием...

Все-таки всех нас грела мысль, будто мы и есть те кухарки, которые приспосабливаются управлять государством. И общество всё больше перемещалось на кухню, будто и вправду готовясь к кухарочному управлению страной. Создавалась новая поросль кухонных ораторов и политиков, которые всё же были на порядок выше выдвиженцев от сохи и станка.

Ну, а сегодня? Сегодня кухонные политики еще грамотнее и образованнее, да и вышли они на арену дозволено и открыто, но вот тенденции к смещению общества в гостиные пока не обозначилось. Кризис жилья, отчасти и еды сохраняется — кухня же продолжает оставаться центром мышления.

Но в те дни, о которых рассказ, нас всё больше тянуло все-таки в комнату, где стоял телевизор. Интерес к быстро меняющимся событиям, новые люди в политике, так называемая гласность — всё это приковывало нас к, казалось бы, навечно опостылевшему ящику и газетам. Узнавать постепенно становилось важнее и интереснее, чем говорить самому...

Я уже сидел в комнате за столом, краем глаза поглядывая на картинки в телевизоре с заглушенным звуком — в ожидании исчезновения из эфира то ли клипа, то ли спортивной передачи, а то и кино. Другим

краем глаза я глядел в недавно приобретенную книгу об Иване Грозном. Я всегда считал его основателем — или предтечей — большевистского образа существования на нашей земле. Лена гремела чем-то на кухне, создавая нечто, долженствовавшее сегодня укреплять семью. Гаврик плескался в ванной — то ли, действительно, мылся, то ли устраивал шумовую имитацию, чтоб мы не привязывались с глупыми гигиеническими догмами о пользе ежеутреннего душа.

Меня не печалило это временное одиночество — я всё больше погружался в житие и бытие при четвертом Иване нашей истории, припоминая попутно и собственное когда-то пережитое.

Но одиночество скоро кончилось:

— Борь, порежь хлеб.

— Сейчас.

Будто так легко оторваться от опричников.

— Гаврик! Иди сюда. Слышишь? Оказывается Генрих VIII английский считал, что министра можно отставить, лишь казнив его.

— Ну и что?

— Что «ну и что»? Ты пойми — Генрих этот чуть раньше Грозного был. И то же мышление. Но он у них последний такой. А у нас, в принципе, до сих пор так. Ну, если не казнить, так вечная опала, небытие в общественной жизни.

— Ну и что?

— Мы ленивы и нелюбопытны. Понял? Кто сказал?

— Ну зануда. Кто надо, тот и сказал.

— Вот, вот... Не знаешь!

— А зачем это знать надо? Да ты не возникай. Я-то знаю — успокой душу свою. Пушкин сказал. Ну и что? Зачем это знать?

— Чтобы человеком быть.

— Ты уже восемьсот раз это спрашивал. Не устал? И каждый раз торжествуешь.

Сын стоял в дверях и голова его покачивалась где-то у притолоки. Он, наверное, на полголовы выше меня.

— Ладно, ладно. Умылся?

— Естественно.

— Не очень-то заметно.

— Но... пап! — Тотчас видно, что мытье относительное — реакция не столь наглая, как в предыдущих словах.

— Ладно, ладно. Умылся, так умылся.

И я в детстве не больно мыться любил. Как только в голове у меня рождался компромат на сына, я тотчас обращал свой внутренний взор на собственное босоногое детство и умиротворяюще начинал оценивать изыски гавиного поведения.

— Порежь хлеб. Мама просила.

— Она тебя просила.

— А я тебя.

— Но она ж тебя просила. Скажи лучше, что не хочешь, а хочешь читать.

— Я ж с тобой разговариваю, а не читаю.

— Разговариваешь, чтоб поучать меня.

— Да, пожалуйста, могу и сам, если тебе трудно.

— Мне не трудно. Давай порежу. Но скажи, что хочешь читать.

— Да не надо — я сам порежу.

— Нет. Давай я порежу.

— Для чего эта торговля, Гава, когда любому порезать хлеб ничего не стоит.

— Вот поэтому давай я и порежу.

— Что за спор дурацкий! Режь. Пожалуйста. Лен! Ты чего? Скоро?

— Вы начинайте. Яйца на столе. Я сейчас чайник принесу.

— Гаврик, я тебя прошу — режь, пожалуйста, потоньше.

— Так получилось.

— Ну хотя бы для меня один кусок. Не люблю толстый хлеб.

— Резал бы сам.

— Я и предлагал. Ты ж захотел.

— Захотел! Возмечтал. Взалкал. Экое дело — хлеб захотел резать. Ты мне дал, и я порезал. Не головы рубить министрам.

— Хм. Взалкал резать хлеб. Интересно. А никто не объявлял, во всяком случае публично, алчбы... головы рубить. Алчбы... Хм.

— Станешь, папаня, царем, тогда и будешь рассуждать. А так еще к вечеру задумаешься, как это люди едят, пьют...

Вот такая смешная дискуссия. Не такая уж редкость в нашей семье. Эта — первая по случаю выходного дня. А что впереди?

Наконец, из кухни явилась и мать семейства с двумя чайниками в руках — большим и маленьким, заварочным. И теперь новая дискуссия на подходе — большая или маленькая, но непременно. Ну вот — началось:

— Гаврик, ты причесывался?

— Не помню.

— А я вижу.

— У зеркала и я увижу.

— Причешись.

— Потом.

Тут уже я включаюсь:

— Да, ладно. По обычным меркам у него сегодня вполне благообразный вид. После еды всё же причешись. А у меня уже даже и расчески нет — не нужна.

— Пап, а что по телику?

— Ну вот! С утра тебе телик. Дай поесть спокойно.

— Кончай, мам, с утра заводиться. А яйца крутые, всмятку?

— Всмятку сейчас нельзя. По телевизору передавали, сальмонелёз. Двадцать минут варить надо.

— Какой там еще самолёз. А я люблю всмятку. А еще лучше сырые. Быстрее выпьешь.

— Нельзя.

— Да что будет?

— Заболеешь. Живот... Температура. Болезнь такая.

— Ну, ладно, мам. А знаешь, скоро дома разрешат иметь счетчики радиоактивности, начнут продавать индикаторы для поиска нитратов...

Тут я опять вступил в дискуссию. Или мирную (пока мирную) семейную перебранку.

— Ну хоть это приобщит тебя, может быть, к науке...

— И стану я эдаким евреем-талмудистом, в очках и сутулым.

— Во! Видишь, Лен: книги читает. Доказал этим банальным постулатом. Эрудит ты наш.

— Эрудит! На лабуду он эрудит. Да сел бы лучше сейчас, сегодня, да учебники хотя бы почитал.

— Мама!..

— Ну, что мама! Заниматься-то надо.

— Сегодня воскресенье.

— Ты из каждого дня норовишь воскресенье сделать.

Я почувствовал мрак, надвигающийся на наш безоблачный выходной:

— Давайте поедим сначала. А потом разносторонние дискуссии. И даже на дисциплинарные темы.

Но на Лену напал педагогический зуд:

— Ну, смотри, Борь! Сколько я его ни учу, что с острого конца разбивать яйцо удобнее и элегантнее, он...

— А если оно жидкое? Потечет же! Мам, это ты не возьмешь в ум, что на тупом конце есть воздушная площадка. Полость.

— И что это дает тебе?

— Я разбиваю где полость, и мне легче захватить край, не пачкая пальцы, легче в слой попасть.

— Теоретик. Ты посмотри, как папа делает: два удара и ровная крышка срезается. Аккуратно. Элегантно. Скорлупа не сыплется.

— Крышка! Для чего-то природа оставила полость на тупом конце. Надо использовать.

Гаврик явно наслаждался дискуссией, демонстрируя свою якобы тягу к научно-исследовательскому поиску и тем самым как бы умеряя наши родительские тревоги и заботы.

Я старался быть голубем-миротворцем:

— Ну пусть использует подарок природы.

— Да. Надо утилизировать всякую раскрытую тайну природы, — Гаврик с иронической улыбкой гнул свою натурфилософскую линию.

— Ты сначала по учебникам узнай про тайны природы, — а мама гнула свою педагогически-воспитательную линию.

— Ну, ты меня достала.

Я попытался стереть линию конфронтации:

— Налей чай, Лен. Только покрепче. А какой чай?

— Какой! Хоть какой. Никакого нет сейчас. Турецкий вон достала.

Лена запнулась на этом слове и взглянула на сына. Но его «достала» и мамино «достала» были из разных миров. Гаврик не отреагировал, и она продолжила:

— Да. Турецкий. Даже наш грузинский был лучше. Ты смотри, Гава, папа уже всё съел, а ты всё еще с первым яйцом возишься.

— Ты куда-то должна идти?

— Нет. Но нельзя же...

— Дай спокойно поесть. Я люблю медленно...

Тучи сгущались, и я опять попытался осветить их лучом мира.

— И какой русский не любит быстрой еды...

— Значит, я не русский.

— В каком-то смысле так...

К телефонному звонку Гаврик сорвался, словно инерции для него не существовало.

— Да... Да... Привет... Ага... Угу... Ладно... Когда?.. Где?.. Ага... Сейчас сколько?.. Угу... Ну... О'кей.

Сел к столу и опять принялся то ли исследовать, то ли составлять план наилучшего вскрытия предмета, то ли раздумывать, как его быстрей уничтожить — то есть съесть.

Но мамин пыл, то ли руководящий, то ли педагогический, то ли обобщенно-родительски-дидактически-командный, еще не исчерпал себя.

— Вот так! Уже договорился. Вот видишь и пролил, и насорил скорлупой. Я же говорила, что с острого конца...

— Ну, что ты пристала!? Ты открываешь крышечкой, а я буду разбивать яйцо. Что за дела!

— Ты ж не убираешь за собой. Ты уйдешь, а мне убирай. Обо мне подумай.

— Уважайте труд уборщиц. Могу я поесть нормально?!

— Нормально! Уже договорился. А заниматься когда?

Гаврик вскочил, отодвинул чашку и тарелку, расплескав и рассыпав и чай и скорлупу, выбежал из комнаты. Слышно было, как он натягивал куртку, явно торопясь. Видимо воспользовался случаем удрать без лишних разговоров. С моей точки зрения бывшего мальчишки, всё для него складывалось удачно. Но тем не менее я попытался как бы встать на баррикаду рядом с мамой.

— Гаврик! Сынок!

— Да ладно вам, — донеслось уже от выходных дверей.

— Гавриил Борисыч! — последняя, якобы шутливая попытка.

— Всё! Пока!.. — дверь хлопнула.

— Вот видишь! И так каждый день. Он ничего не хочет делать.

Сил у мамы еще осталось достаточно, и она принялась доставать меня. Я же всё еще старался оставаться белым голубем миролюбия, хотя уже начало обозначаться в моей душе и нечто ястребиное.

— И чего ты завела эту идиотскую дискуссию? Вот уж никогда не думал, что фантазии Свифта могут оказаться так до глупости реалистичны. Война остроконечников и тупоконечников.

Свифт помог — рассмеялись оба. Теперь мы уже недолго завершали воскресный обряд семейной общности. Но заканчивали не только с юмором, но и с печалью, а то и с гневом, перемежая не всегда искренний смех и хихиканье с какими-нибудь едкими замечаниями друг другу. Увы, теперь уже далеко не всегда совпадали и наши настроения, и наше отношение ко многому, что нас окружало, как это было когда-то. Это ведь только по литературе с годами люди притираются и всё больше и больше совпадают. Но это — когда действительно совпадают...

* * *

А Гаврик уже плыл где-то на просторах, так сказать, океана жизни.

* * *

Гаврик был похож на всех своих сверстников. Та же расхристанность в одежде. Сверхстертые — или, как сказали бы лет семьдесят назад, архистертые джинсы (правда, джинсов не было тогда, но всё остальное было — от архианархистов до архибатеньки). На коленях дырки. Кроссовки тоже по швам разорваны. Серая куртка с незастегнутой молнией и миллионом карманов. Длинные волосы, достававшие до воротника и прикрывавшие уши и брови. То ли бомж, то ли доморощенная звезда сегодняшней эстрады, то ли просто архисовременен... Да все они так нынче ходят. Даже в школу так стали пускать. С модой лишь большевики сдуру боролись. Собственно, не только большевики — любая религиозная организация, приверженная догмам, демагогически сражается с любой новизной. А мода вечно сегодня новая, хотя бы это и был рецидив прошлого — «ретруха». Мода агрессивна, как вода, — моментально заполняет свободное пространство. Была бы щелочка... микрощелочка.

Гаврик совершенно не похож на меня, то есть на Бориса Исаковича — ни долговязой фигурой, ни чрезмерной волосатостью. А характером? Об этом говорить еще рано. Посмотрим, во что выльется его дух, когда он дорастет до стабильности. Тогда, когда — по прошествии

положенных годков — уйдут его одноминутные склонности и привязанности, а его сиюминутная стройность, да и вообще нарочито современный облик заменятся ортодоксальной, переходящей из века в век основательностью фигуры с тенденцией к легкой брюхатости, появится лысина, глаза прикроются очками, и слепится он по образу и подобию родившего его... Вот тогда и подумаем о состоявшемся характере, не сжигаемом жаждой быстрых перемен любой ценой. Появится, небось, и понимание цены всему...

По паспорту Гаврик — Гаврила; но нарождающиеся принципы бытия страны еще покажут, Гаврила он или Гавриил, Гава, или Габриэль. А может, и сотрется разница, наконец, так что когда кликнут Гаврика, никто не будет удивляться, что зовут Гаву, Габби или Габриэля. Неизвестно еще, что выстроится в стране и в душе этого неоднозначного пока юнца.

* * *

— Привет, Шур.

— Салют.

— Куда пойдем?

— Куда глаза глядят.

— Неинтересно. В парке выставку авангардистов открыли. Сходим?

— Давай.

— А может, Кириллу позвонить? Может, с нами пойдет?

— Звони.

— Кирка! Ты?.. Что делаешь?.. В парк на выставку пойдешь?.. С Шурой... Мы уже на улице... Выходи тогда... Через десять минут на нашем углу... О'кей!

Люди с обретенной целью мигом меняют походку. Только что шли расслабленно, как бы довольствуясь улицей, погодой, друг другом, разговором, глядя по сторонам, вбирая в себя весь мир. Но вот у них появилась цель. И им вроде бы перестало хватать существующего, им что-то понадобилось еще — мало им мира, воздуха, погоды...

Быстро, не обращая внимания на вселенную вокруг них, видя перед собой лишь для них только и существующее, Гаврик и Шура устремились вперед.

Они шли, не разговаривая, они, словно пьяные, в миг потеряли, как принято сейчас обозначать, коммуникабельность — порвалась связь и между ними. Смешно! Но у них цель — о чем же говорить?! Походка, выражение лица — всё стало иным. Ушла, наверное, на время, какая-то важная сторона существования — есть цель, и более ничего, ничего вокруг. А всего-то — идут на встречу с каждодневным товарищем.

Впрочем, вскоре стремительность их первых шагов к обретенной цели заменилась будничными движениями, и они пошли неспешно,

неторопко, с миром наравне. Целеустремленность сохранилась, но стремительность снизилась. Курс, разумеется, не сменили — вперед, вперед!

Лишь любопытство — великое счастье, кто его имеет — в состоянии оборвать безоглядную стремительность юного движения вперед, к намеченной цели. Ведь они, полуюноши, слава Богу, покуда еще уверены, что знают, зачем и для чего многое; еще не ведают про всегдашнюю неизвестность будущего и всегдашнюю сомнительность ожидаемого (впрочем, это и делает жизнь привлекательной, интересной — то есть опять же любопытной).

Любопытство замедляет бег по жизни, сбрасывает шоры с глаз, освобождая боковое зрение, и заставляет оглянуться. Оживает разброс зрения — мир открывается и с боку. Всегда именно в детстве чаще смотрят по сторонам. И слава Богу, ибо неизвестно, что их ждет у цели. То остановятся поглазеть на уборку снега или поливающую машину, то на ремонт или разрушение дома, то на шагающих солдат — мир познают... если цель не мещает. В юности, в зрелости любопытство постепенно уменьшается и где-то к старости вновь обретается интерес к миру... к уходящему миру. Вернее у уходящего из мира. Запоздалое любопытство. Да поздно...

Но наши герои еще полудети.

* * *

Итак, вперед, вперед — и не разговаривают, не держатся еще друг за друга, может, еще и не ощущают друг друга... Полудети.

Но что-то их останавливает. Любопытство! Услышали музыку, песню. Да не электронный звук магнитофона, а живой человеческий голос, живую струну гитары. Пусть гитара стала стандартом, но живая струна... без электрических наполнителей, дополнительности! Шура остановилась и стала оглядываться.

Слава Богу! Есть еще женская душа, более доступная простым призывам естества, с большей легкостью отбрасывающая эфемерные целеустремленности, — трепетная женская душа, охранительница человечности, которая именно потому, наверное, всё больше и чаще, особенно в ранней юности, ведет за собою мужские души, становится лидером. К сожалению, чаще в юности только.

Остановился следом и Гаврик.

— Ты чего?

— Слышишь? Где это поют?

— Где-то рядом. Пошли.

— Подожди. Хорошо поет. Да подожди.

— Чего ждать-то? Пойдем. Кирка ждет.

— Да постой! Никуда не денется... Обобьется твой Кирилл...

И женщина повела друга на звук песни.

Вот оно! Еще каких-то два года назад была бы немыслима такая сцена, невозможны такие слова. Но сегодня подобные куплеты — общее место, и на крамольный текст наши полудети внимания не обратили. Но голос... манера...

Уставившись в стену дома, почти вплотную к ней, нарочито и решительно отвернувшись от улицы, от людей, от всего мира, упершись всем своим существованием в глухую стену без окон, стоял парень годков эдак около двадцати и категорически, наступательно (как нынче пишут в газетах — по-юношески «бескомпромиссно») отрывал от гитары и голоса звуки и слова и швырял их в препятствие перед собою. И от стены отскакивало в толпу, собравшуюся за его спиной. Он знать толпу не хотел, ему плевать было на реакцию толпы, он был в оппозиции к толпе. На земле, за спиной певца, лежала шапка, и собравшиеся молча, будто извиняясь, будто виноваты за Бог знает какие прегрешения всех нас, подходили и клали деньги. Не кидали — клали, нагибались и клали. Ему, певцу, до этого дела не было. Он пел стене, миру. А вы, если хотите, пользуйтесь подарком стены...

Остановились попользоваться этим подарком и наши герои. На какие-то минуты опять нет цели, и вновь открылись глаза и уши. Восстановлена связь с миром.

Парень допел. Повернулся и, по-прежнему не глядя на слушателей и зрителей, поднял шапку, сгреб, что в ней было, сунул в карман и, продолжая напоказ пренебрегать обществом, крупно, пожалуй даже гневно зашагал прочь, закинув гитару на шнурке за спину, а кепку надвинув на лоб по самые брови.

Шура восхищенно провожала глазами уходящую реальность — то ведь был не мираж каких-то, пусть пока еще и общих с Гавриком целей. Могла бы, наверное, и пойти за ним следом, словно лемминг в толпе таких же очарованных волшебной дудочкой музыканта грызунов. Так ведь порой в молодости и уходят. Но то ли век наш слишком прагматичен, то ли Шура была недостаточно романтична, то ли парень не допел до ее нутряных, способных ответить, струн, — только она быстро отошла от прельстительных чар пристенного Ланселота и медленно двинулась по изначальному маршруту. Однако с Гавриком еще не разговаривала. Молча пошла, а он, почувствовав, видно, опасность момента, тоже двинулся за нею, не открывая рта для пустых звуков. И правильно: то, что нашло, должно пройти само. Время само всё расставит. Главное, не обогнать время.

На этот раз время понадобилось недолгое, хотя, вообще говоря, времени у них впереди было еще очень много. Но ведь в юности его почему-то торопят. Это у зрелых да старых времени остается всё меньше и меньше, и они его пытаются задержать. Но несется время так, что оторопь берет, а дети торопят — время всё равно катится медленно...

* * *

Кирилл их встретил справедливыми упреками:

— Сказали, через десять минут, а сами...

— Нам мужик попался. Недалеко от тебя. Хорошо...

— Да, что там хорошо!.. — ажитированно перебила Шура. — Знаешь! Парень! Так стоит! Ни на кого не глядит! Бьет по гитаре, в стену, в стену... До нас и дела нет... Поет! Смелый такой! Ну!..

— Ладно вам! Мужик поет. Ну пошли? Мне дома наговорили: чтоб не забыли про весну, про занятия и экзамены...

— А я удрал. Мои не успели.

Ребята дружно посмеялись над бедами родителей и тронулись к следующей цели.

Шура шла чуть впереди, а следом оба верных ее рыцаря. Ох, это прекрасное юношеское девичье лидерство! Она ими командует, помыкает, клички дает, да и жизненные их концепции создает порой. Чаще девичье влияние на юношей положительно и действует облагораживающе. Точнее, наверное, девичье влияние — катализатор существования и усиливает, так сказать, требования среды обитания. Дворовая девчонка усиливает влияние двора. В подростках интеллигентной среды присущие этой среде качества тоже стимулируются вначале девочками. Интеллигентные девочки своим стремлением к раздумью, даже порой поверхностным, показным, вычитанным из книжек, а то и неискренним, всё же побуждают своих шлейфоносцев к чтению, музыке и искусству. Наверное, это все-таки накладывается как-то на тот генетический рисунок, что в неизвестных недрах нашей натуры записывается природой или Господом Богом...

Они шли, и вскоре между ними разгорелся спор о преимуществах разных систем «тачек» — так они свысока и по-домашнему называли компьютеры. Тут уж все три участника проявили завидную и равную эрудицию и такой при этом подняли ор, что непосвященный прохожий мог бы заподозрить ссору, предвещающую бой. Да и не понял бы сверстник автора даже и половины тех слов, что разлетались в стороны от буйных спорщиков. То были не только новые термины, но и новый жаргон, и новое отношение к обсуждаемому неживому предмету: для спорящих, похоже, «тачки» были существами вполне как раз одушевленными. Когда они сыпали терминами компьютерных языков или какими-то другими, тоже вполне, впрочем, приличными, не жаргонными словами из их новой рождающейся культуры, пожилой неуч (современного уровня) вполне мог бы принять эти звуки и за эдакий изощренный новоязный мат, придуманный странной молодежью...

Словесная перепалка остановила их продвижение по улице, а сам их спор был, в свою очередь, остановлен толпой, втекавшей в улицу из соседней.

Не знаю, можно ли называть организованное движение толпой? Шли колонной, шли в определенном направлении, несли лозунги — строго говоря, то была не толпа, то была демонстрация. Собственно, многое зависит от лиц, составляющих всякое людское скопление. Иной раз взглянешь на лица, на мимику их, отношение к соседям, жесты... — толпа. Толпа! да и страшная... А иной раз всё не так. И лица, и улыбки, старание не очень помешать соседу, держаться подальше от впереди идущего, чтоб не часто наступать на ноги передних... И нет чувства опасности при взгляде на т а к о е скопище людей. Впрочем, может, всё и не так. Это просто ощущения автора.

Демонстранты шли по середине улицы. Лозунги были привычные: и о шестой статье, и о репрессиях, и о президенте, и о демократии, и о будущем вообще. И всё же общая захваченность какой-то целью, экзальтированное единодушие в лицах, общая возбужденность делали это собрание людей толпой. Толпой, которая подхватывает, вбирает в себя, увлекает за собою, проявляя ту колдовскую мистическую силу, которая истинного Бога оставляет в небрежении и подавляет, стирает личные черты каждого, кто в нее попал, — даже если эта толпа во славу Бога. Всё равно в ней всегда таится опасность бесовства.

Колдовская сила толпы легко завладела открытыми всем ветрам душами наших героев и, коварно возбудив их любопытство, тут же всосала их в общий строй. Они охотно и весело присоединились к демонстрантам и пошли в общем людском потоке.

В колонне было около пятисот человек. По масштабам города — ничтожное количество. Радостно шумя, толпа довольно быстро продвинулась до конца улицы, потом наткнулась на цепь людей в форме с прозрачными щитами и зачехленными палками.

Над демонстрантами пронесся тревожный гул: омон, омон, омоновцы. Голова колонны свернула в улочку, где не было препятствия, а оттуда — на площадь, вернее — площадку, где в стороне от основных магистралей пересекалось несколько небольших улочек и переулков. Люди стали растекаться по пустому пространству, окружая передних, создавая из головной части колонны как бы центр сообщества. Люди не толкались, не давили друг друга, даже извинялись, задев соседа, что было не только не характерно для привычной нашей толпы, но по ситуации в какой-то мере и бессмысленно. Вообще поведение демонстрантов изменилось. Выражение лиц было чем-то средним между посетителями консерваторий и стадионов.

Ребята наши остановились чуть в стороне от основной массы. Всё ж они были как бы пришлые, как бы гости неприглашенные.

Кто-то из центра собравшихся провозгласил — по-видимому в мегафон: «Господа!»... И будто то была команда — из разных переулков въехало несколько автобусов желтого цвета с занавесками на окнах.

Автобусы остановились и выстроились вокруг собравшихся. Двери их одновременно раскрылись и из машинного чрева высыпались мальчики — чуть постарше наших героев, но в форме и с расчехленными палками. Фигурами они были покрепче — за счет ли возраста, образа ли жизни, да и лица их были хоть и такими же возбужденными, но, пожалуй, более озорными. С каким-то странным гулом устремились они по разным направлениям на людей небольшими колонками от своих автобусов. Одни вклинились в гущу людского скопления, другие, размахивая палками, набросились на стоявших по краям и на окружавших толпу зевак, среди которых была и наша троица.

Несколько парней с абсолютно счастливыми лицами, издавая воинственные кличи, оказались вблизи от впереди стоявшей Шуры. Кроме фонового гомона, идущего от них, явно раздавалось: «Жиды пархатые!», «Ублюдки сионистские!». Прокладывая себе дорогу не куда-то, а просто так, вперед, они не глядя наносили такие же безадресные удары.

Шура гордо и воинственно закричала: «Какое право...» — но удар палкой по лицу прервал неуместные декларации, и она пригнулась, обхватив голову руками. Кто-то крикнул: «Это ж митинг!..» В ответ раздалось со счастливым смехом: «Жидам не санкционируем!». Палки резиновые продолжали взлетать над головами. Но веселый смех, равно как и выражение лиц, поначалу отдававших шалой бесшабашностью, постепенно наполнялись незамутненной никаким камуфляжем озверелостью и яростью. И они уже более обстоятельно обрушивали свои дисциплинарные аргументы на тех, кого удалось настигнуть. Гаврик с Кириллом попытались прикрыть Шуру.

Кто теперь знает, чем по ним били? Может, палками, может, кулаками или сапогами, может, и еще чем. Да и важно ли это? Кто знает, с первого ли удара упал Гаврик Шуре под ноги, да и важно ли это — сколько ударов сходу получил мальчик?..

— Габи! — закричала девочка, но, по-видимому, нерусское имя лишь прибавило сил наводившим порядок. Следом свалили Кирилла. Шура вдвинулась в стену. Кто-то, пробегая, наступил Кириллу на руку, и он закричал. Гаврик попытался подняться, в неразберихе уцепившись за край военной куртки. Вскрик «Габи!» и цепляние за куртку случились почти одновременно — в результате Гаврик ударом кулака вновь был сброшен на землю и под крик: «ублюдки!», «сионисты жидовские!», — оказавшиеся рядом сотоварищи омоновца, куртку которого так грубо схватили, обрушили град ударов на правонарушителя. Били ногами и дубинками, удары пришлись по ногам, рукам, голове, спине... Удары пришлись на то, что оказалось на поверхности и открытым. Гаврик опрокинулся на землю лицом вниз, закрыв его руками, но чей-то меткий башмак все-таки угодил в глаз. А затем — еще и по затылку. И еще — удар по темени...

Кирилл откатился к стене под защиту своей Брунгильды, которая прикрыв зачем-то руками собственные щеки, с недоумевающим ужасом смотрела, как бьют Гаврика. Тот совсем зарылся головой в землю. Нет... В землю он действительно мог бы зарыться — под ним был асфальт. Гаврик обхватил голову, прикрыл, как мог, лицо руками, почти воткнув его в асфальт, и застыл. Сделав еще парочку легких, завершающих ударов, воины покинули его и бросились к основной толпе.

Шура наклонилась над лежавшим мальчиком.

— Габи! Гав! Ты как? — Гаврик молчал. — Габи! — истошно закричала она. Он поднял голову.

— Ты чего орешь так?

— Господи! Живой! Пошли быстрей отсюда.

Из носа Гаврика текла кровь, на лбу наливалась и багровела шишка, губа раздулась, из небольшой ранки на ней сочилась кровь. Шура стала помогать ему подняться.

— Ты что? Я сам.

Шура схватила ребят за руки и потащила их за угол. Кирилл закричал — она схватила его за отдавленную руку. Они пробежали чуть в сторону по переулку и сели на какой-то большой камень у забора, огораживающего стройку.

Шура пыталась начать обследование увечий своих спутников. Оба отмахнулись. Супермены!

— Ну вот, теперь я дипломированный еврей, — чуть сумел искривить распухшую губу Гаврик.

— Ты чего? При чем тут?..

— А ты слыхала, что они орали?

— Ну и что? Они и на всех кричали так. Это просто боевой клич. Как у племени команчей, — уже несколько успокоенный сказал Кирилл, пытаясь двигать распухшими пальцами.

— Они ж другого не знают, — добавила Шура.

— Вот именно. Им достаточно этого знания. На том и строят свой мир и свою войну.

— Чего ты в самом деле! Я на это и внимания не обратила.

— А чего тебе обращать внимание? Ты славянка чистых кровей.

— А ты? Да у тебя морда рязанская, не только что славянская.

— Ладно. Чего это вы, теоретики хреновы?.. Кирилл окончательно освоился со своей рукой. Пальцы двигались. Ссадины его не волновали.

Мимо проехало несколько машин скорой помощи.

— Омоновцы, наверное, заранее вызвали. Спланировали.

— И медицина в сговоре с ними.

— Причем тут медицина. Им всё равно кого и почему лечить, — Гаврик заступался за отца. Наконец-то у него на глазах появились слезы. — И жидам пархатым, как папа, всё равно кого лечить.

— Да перестань ты об этом...

Около них остановилась «скорая». Вышли двое в халатах.

— Вы оттуда, ребята? Тебе плохо? — обратился один из них к Гаврику.

Шура вдруг истерически закричала:

— Уйдите от нас! Вам мало!? Езжайте! Исполняйте свой долг! — Шура схватила опять ребят за руки и потащила их.

— Дура! — вдогонку крикнул один из скоропомощников. — Ему ж надо помочь.

* * *

Дома еще никого не было. Я остановился у стола сына и поглядел в открытую книгу. Первая глава «Онегина». Хотел наизусть выучить, а всё еще на первой главе. Суждены нам благие порывы. Я присел, да и сам зачитался. И незаметно для себя начал читать вслух. Чуть ли не петь, наслаждаясь музыкой стиха. И не услышал, как пришел Гаврик, как открылась дверь, как сын встал за моей спиной и, по-видимому, с иронической улыбкой смотрел на декламирующего отца.

— Мой папа самых честных правил, а сын давно уже пришел.

Не оборачиваясь, но прекратив свои интеллигентские забавы, я отреагировал:

— И нескладушка. Куда б лучше, если б ты сходу продолжил мое чтение, не заглядывая в книгу.

— Зануда ты, папаня. Всё об одном. Как хороший футболист — всегда готов послать мяч в дальний от вратаря угол.

— Да просто хочется, чтоб ты был действительно интеллигентным человеком.

— Пошло, поехало! Теперь тебя не остановить. Давай о другом.

Я обернулся...

Вокруг глаза у сына пламенел здоровенный фингал, под носом — размазанная и уже подсохшая кровь, распухшая губа, рубашка и куртка в грязи и крови.

— Что случилось?! Сознание терял?

— Уважаю профессионала. Сразу за сознание схватился.

Охватив взглядом всего сына — фигуру, стать сиюминутную, лицо, глаза — понял, что катастрофы нет и, успокоившись, заговорил опять в своей назидательной отеческой манере, за что и получал в таких случаях «зануду» от своего чада.

— У нас при каких-то разборках, как иначе называют иные драки, почему-то вначале бегут схватить ударившего или стрельнувшего, а потом — к пострадавшему. Желание поймать виновника — прежде стремления помочь. Это и значит, что у нас важнее «кто виноват», чем

«что делать». Потому и спросил прежде всего о сознании. Не сотрясение ли? Надо ли что-то делать? Вот главный вопрос. Да вижу — ничего страшного. Обычные ваши дурацкие детские драки. Или влез куда-то, где и без тебя бы обошлись? Я тоже был в твоем возрасте...

— И все-то ты знаешь, всё тебе ясно, — Гаврик иронически и горько усмехнулся.

— Так терял сознание?

— Да нет, конечно. Получил свое и к стороне.

— Не тошнит? Рвоты не было?

— Ну ладно. Замени медицинские свои заботы родительскими.

— И то. Пойдем я отмою тебе морду твою.

— Я и сам могу. Посмотри в шкафу какую-нибудь другую рубашку и почисть, пожалуйста, штаны, пока я буду отмываться. А то скоро мама придет — то-то визгу будет.

— Верно. Хорошо, что мамы нет. Она бы перепугалась до смерти. Иди... А ну-ка — покажи зубы. Нет. Мне показалось, что и зуб вышибли.

— По зубам били, но они оказались крепче.

На губах, хоть и припухших, всё равно была заметна змеившаяся ироническая ухмылка. К чему или к кому относилась его ирония, было непонятно. Может, к ситуации?

Мытье не очень привело его в удобный для маминого взгляда вид. Фингал оставался, губы распухшие. Только кровь смыта, да рубашка чистая надета и брюки приличные.

Я отчищал щеткой запачканные штаны и старался не смотреть в сторону не больно-то презентабельно выглядевшего сына. Хотелось, конечно, порасспрашивать, да строил из себя супермена. Отца-супермена. Мол, драка — дело житейское и не минует ни одного юнца.

Но всё же взглянул. Остановил свой взгляд и притормозил свои санитарно-гигиенические действия, прикидывая, что бы такое спросить мужское, не сентиментальное и слюнявое. Всего этого будет еще в избытке, когда придет мать.

— Тебе ж надо фотографироваться для паспорта. Давно пора получить его. Скоро семнадцать, а ты всё еще не получил его.

— А на черта он мне нужен?

— Глупости не говори. Ты даже в институт не поступишь.

— Паспорт нужен только полиции.

— Начитался, наслушался. В нашей стране такие законы, значит надо соблюдать правила игры, принятые здесь. А как ты теперь с эдакой мордой запечатлеешься на паспорт?

— А вот я нарочно сейчас пойду запечатлеваться. Пусть и буду такой на всю жизнь.

— Всё игры!.. Ты уже не маленький. Документ будет у тебя на всю жизнь, тут и семейное положение, и место жительства, и... черт его знает, что еще будут тут у нас отмечать.

— Группу крови...

— Вот именно.

— А какое имеет значение, что морда моя будет на паспорте кривая?

— Губы толстые. Еще скажут, что из Африки.

— А я и есть почти из Африки. Из Палестины.

— Ты так же оттуда, как я с Марса.

— А гены! Гены мои откуда?

— Да ладно, гены! Ты посмотри на свое славянское обличье.

— А как мое обличье будет сочетаться с национальностью?

— Что с национальностью? А кто ты по национальности?

— Вестимо, еврей.

— Ты такой же еврей, как я китаец.

— А в паспорте будет написано — ев-рей! И всё тут.

— Ты волен выбирать.

— Я и выбрал. Еврей.

— А зачем тебе это? Во-первых, интеллигентные люди никогда не смотрят, что написано в этих бумажках. Будь там у тебя нарисовано чукча, эфиоп, еврей или русский. Нормальные люди смотрят, что ты стоишь как личность.

— Опять пошел занудствовать. Всё это я знаю, проходил.

— Совсем нет. Ты и не еврей по еврейским законам. Национальность у евреев определяется по матери. Отец не достоверен.

— Это ваши проблемы. А я Борисович.

— Вестимо, не Борис. Такое у евреев быть не может.

— То есть? А ты?

— У евреев невозможно назвать именем живого отца. Только по близкому умершему родственнику. А назвать тебя именем живущего отца — значит накликивать смерть на него.

— Как говорил дедушка: если б я вчера умер, так бы этого никогда не знал.

— Не в этом дело. Это к слову... Ты ж видишь ситуацию в стране. Зачем тебе лишние приключения? Поступи хоть нормально в институт. Потом уж будешь выпендриваться сколько твоей душе угодно. Получи образование сначала.

— Сначала поступи в институт, потом устройся на работу. Это ж вечно.

— Ну и что? Ну, кто смотрит на это, кроме всякого рода фашистов, расистов, ксенофобов, всюду видящих чужих да врагов? Настоящий человек чужд этому. Но сейчас — надеюсь, временно — у нас здесь такие правила игры.

— Опять эти дурацкие правила игры! Да не хочу я играть в ваши игры! Сами играйте! Доигрались! Ты думаешь, чего мне сегодня морду начистили? Митинг разгоняли, а я рядом оказался. Били всех! А кричали про жидов, про сионистов! Внешность славянская! Да их научили: бить надо евреев. Внешность славянская! Пока вы выдумываете ваши правила игры, вас, нас, меня без всяких правил поубивают. Вы все хотите что-то наиграть себе. Вас бьют, давят, не пущают, выгоняют — а вы всё правила игры строите. А потом ты мне говоришь, что играю и я, когда речь идет о каком-то ублюдочном паспорте. Ты понимаешь! Они меня били только за то, что им показалось, что я еврей! Да ничего и не показалось! Научены так! Понимаешь, на-у-че-ны! Я же, тоже дурак, действительно думал, что не похож. Какое это имеет значение! Я не хочу играть с вами! Я хочу, чтоб меня записали так, чтоб били по закону, по вашим правилам!..

Гаврик кричал, бился. Я пытался его обнять, успокаивал. Тот отбивался. Что-то кричал — что, уже и не разобрать...

Но тут мы услышали, как открывается дверь.

— Всё, всё, мой мальчик, всё. Успокойся. Делай, как хочешь. Вон мама пришла. Не волнуй ее. Спрячь поначалу свой фингал. Пусть сначала увидит, что ты здоров и нормален. Иди умойся. Умойся еще раз...

— Здравствуйте. Всё мужское население дома на месте? Прекрасно!

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ (Апрель, май, июнь 1999 г.)

1 АПРЕЛЯ «Коммерсант-daily» сообщил о том, что консульство США в Москве внезапно прекратило выдачу виз российским гражданам. «Всё было сделано в лучших советских традициях — никаких предупреждений и объяснений причин. Вчера визы выдавали лишь генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге? Но они обслуживают только россиян, проживающих за Уралом. Жителям же европейской части страны получить визу на въезд в США было невозможно. Решение временно закрыть консульский отдел принял генконсул США по просьбе службы безопасности».

2 АПРЕЛЯ резко подскочил доллар — с 24 рублей с копейками до 26 рублей. **«Коммерсант-daily»** так объясняет причины: «Неожиданно резкий скачок доллара аналитики связывают в первую очередь с уменьшением активности Центробанка на валютных торгах. Впрочем, никто и не сомневался, что доллар с апреля начнет расти. Первый квартал «закрыли», и потребность в рублях резко снизилась — теперь свободные средства могут спокойно идти на покупку валюты. Тем более, что многие спекулятивно настроенные участники рынка уже нашли лазейки в последних инструкциях ЦБ, существенно ограничивающих возможности приобретения валюты. Так что в ближайшие дни, считают аналитики, доллар поднимется еще выше».

3 АПРЕЛЯ печать сообщила о смещении Бориса Березовского с поста исполнительного секретаря СНГ. «Смене караула в аппарате Содружества предшествовал спектакль, который как истинный мастер дворцовой интриги умело поставил Борис Абрамович. Сначала самолету Березовского не предоставили коридора для полета в Москву и он вынужден был приземлиться в Киеве. В действительности секретарь Содружества рассчитывал заручиться поддержкой Леонида Кучмы, который неоднократно давал положительные отзывы о его деятельности. Но, увы, президент Украины предпочел не ставить на кон дружбу с Ельциным и отбыть в Москву, ничем не обнадежив Березовского», — пишут **«Известия»**.

В ночь на 3 апреля из Карачаево-Черкесии пришли сообщения о покушении на генерала Семенова, одного из кандидатов президентской кампании. **«Известия»**, однако, полагают, что «взрыв 2-х гранат в момент проезда генеральского кортежа по высокогорному серпантину мог быть и своего рода «рекламным трюком», который организовал предвыборный штаб самого претендента».

В этот же день, по информации источников газеты **«Коммерсант-daily»** в Министерстве обороны РФ, в Россию из Югославии были тайно отправлены обломки сбитого югославскими ПВО американского самолета-невидимки F-117A: «российские конструкторы с нетерпением ждут обломков этого самолета. Прежде всего для них представляют интерес материалы, из которых сделан планер самолета — их предстоит изучать специалистам Всероссийского института легких сплавов. Причем эти материалы интересуют не только самолетостроителей, но и разработчиков систем ПВО. А один из неплохо сохранившихся после падения самолета двигателей компании General Electric будут изучать в Центральном институте авиационного машиностроения. Руководство операцией по вывозу обломков «Ночного ястреба» из Югославии поручено начальнику ГРУ генерал-полковнику Валерию Корабельникову».

4 АПРЕЛЯ в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство у приемной ФСБ на Кузнецком мосту. **«Коммерсант-daily»** удалось узнать, что«ответственность за теракт взяла на себя подпольная анархистская лига «Новая революционная альтернатива». В письме, присланном на радиостанцию «Эхо Москвы», анархисты сообщили, что«акция проведена в знак протеста против буржуазного террора со стороны полицейской системы государства в отношении радикальных противников режима».

«Аргументы и факты» выступили со своим прогнозом: «Оставить теракт нераскрытым — означает окончательно уронить престиж, которому падать уже, увы, невысоко. Поэтому не исключено, что на днях виновник найдется. Кто-нибудь, засветившийся на торговле или хранении взрывчатки, возьмет на себя вину за этот взрыв. Кстати, один такой подозреваемый уже был задержан в Подмосковье. Но люди, спланировавшие это мероприятие, позволившие ему случиться, а тем более те, кто рассчитывает получить с него политические дивиденды, надолго, если не навсегда, останутся в тени».

5 АПРЕЛЯ сенсацию преподнес свежий номер **«Новой газеты»**. В редакцию поступила любительская видеокассета, сделанная в Центральном доме кинематографиста сразу после инцидента с Никитой Михалковым, которого некие хулиганы забросали во время выступления тухлыми яйцами. Газета печатает фотографии, сделанные с видеопленки — известный режиссер Никита Михалков в испачканных яйцами брюках бьет ногой по лицу одного из схваченных злоумышленников. Руки у того скручены за спиной. «Интеллигент и дворянин, с ума сойти в каком колене, публично бьет ногой в лицо своего обидчика, которому скрутили за спиной руки. Наверное, впервые Никита Михалков не справился с выбранной ролью. Ролью сильного, а значит великодушного спасителя России. Оттаскал бы за уши, что ли. А тут ногой по лицу скрученного, практически пленного. Или это модная в последнее время демонстрация здоровья?»

В этот же день важные перемены произошли в руководстве внутренними войсками МВД России. Газета **«Сегодня»** сообщает, что «президентским указом был снят с должности замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Павел Маслов, чье место занял Вячеслав Овчинников, которого в силовых структурах называют Ястребом: он слывет сторонником самых жестких мер в борьбе с чеченскими боевиками. Скорее всего это назначение связано с тем, что на днях Госдума фактически дала добро Сергею Степашину на проведение силовых акций в Чечне».

6 АПРЕЛЯ Генпрокуратура РФ выписывает ордера на арест двух российских банкиров — Александра Смоленского и Бориса Березовского. «Теперь фамилии банкиров внесены в стоп-лист Интерпола, и они в любой момент могут быть арестованы и высланы в Россию. Впрочем, не всё так просто. У Смоленского двойное — российское и австрийское — гражданство, и местные власти никогда его не выдадут, несмотря на все увещевания Генпрокуратуры», — пишет **«Коммерсант-daily»**.

«С возбуждением уголовного дела против Скуратова ситуация в Генпрокуратуре изменилась. Наступил звездный час заместителя Генпрокурора Михаила Катышева, который уже не боится навредить своему шефу, считая, видимо, его отставку предрешенной. Дав разрешение на арест Березовского, Катышев не только продемонстрировал свою активную позицию в борьбе с коррупцией, но и подыграл спецслужбам, уже давно видящим Березовского за решеткой», — анализируют ситуацию **«Новые Известия»**.

Эту тему развивают **«Известия»**: «Для остальных обладающих политическим и финансовым весом фигур на российском Олимпе это тоже плохой знак. Может быть, он толкуется совсем просто: раз уж с Березовским покончено, значит все чемоданы с компроматом вскрываются, ждите арестов. Но скорее всего выстраивается новая жизнь «по понятиям». После устранения двух раздражителей могут никого и не тронуть, если все поймут, что нужно тихо сидеть, не высовываться и внимательно прислушиваться к Белому дому и Кремлю».

7 АПРЕЛЯ «**Независимая газета**» сообщила о вооруженном ограблении Русского музея в Санкт-Петербурге, в результате которого были похищены две картины Василия Перова — «Бобыль-гитарист» (1866 г.) и эскиз к «Тройке» (1866 г.).

В этот же день в Адриатическое море из Босфорского пролива вошел российский разведывательный корабль «Лиман». «**Коммерсант-daily**» полагает, что«отправка «Лимана» в район боевых действий совсем не обрадовала руководство НАТО. Несмотря на то, что никакой военной угрозы для сил альянса он не представляет, натовцам теперь надо учитывать, что любые маневры их кораблей и самолетов могут быть зафиксированы российским разведчиком и переданы югославским военным. При этом помешать «Лиману» вести разведку натовцы не могут. Как шутят в Севастополе, «Лиман» будет у натовцев шилом в «известном месте».

8 АПРЕЛЯ российские олигархи почувствовали себя еще более неуютно — первый заместитель министра внутренних дел Владимир Колесников сообщил о возбуждении уголовного дела против красноярского «алюминиевого короля» Анатолия Быкова. «Быкову инкриминируются те же преступления, что и Борису Березовскому, — сообщают «**Известия**», — и как с Березовским, побеседовать с алюминиевым магнатом следователям пока не удается. По данным Колесникова, он отбыл в США».

10 АПРЕЛЯ тихо и незаметно Россия отметила 100 лет со дня рождения Владимира Набокова. «Набоков пережил все потрясения нашего века. Он жил, по его определению, в мире «правеющим и левеющем, что одно и то же». Его брат погиб в немецком концлагере, сам он вынужден был бежать сначала от революции, затем от Гитлера», — пишет «**Труд**».

«Набоков никогда не был идейным борцом вообще, — считает «**Век**». — Тоска по России, прорывающаяся в его романах, вероятно, наиболее пронзительная лирическая струя в его творчестве. Гомеопатические дозы иронии и скепсиса по отношению к новой России, нещедро разбросанные в его сочинениях, не должны никого смущать. Мы себя критиковали основательней и беспощадней».

В отличие от других изданий «**Новая газета**» полагает, что юбилей Набокова правильнее отмечать не 10 апреля, а 22 апреля, так как это необходимо делать в соответствии с новым стилем. За это газета критикует своих коллег: «Респектабельное НТВ, чья профессия, как известно, новости, 10 апреля первым отпраздновало день рождения Владимира Набокова. Ведущий так и сказал: сегодня в Петербурге отмечают день рождения и так далее. Тут же и «**Московский комсомолец**» сообщил читателям, что в Питер приехал и будет петь в усадьбе отца (Рождествено) сын писателя, в прошлом оперный певец, Дмитрий Владимирович. Всё вранье. Дмитрий Набоков лечит в Монтрё ларингит, а день рождения Владимира Владимировича Набокова действительно 10 апреля, но только по старому стилю. Значит, по новому, его юбилей — 22 апреля».

«Набокову удалось то, о чем тщетно мечтали другие своеродные сочинители XX века, пытавшиеся писать по-английски. Он стал одинаково «своим» для русско и англоязычной интеллигентной публики: победил эмигрантский комплекс, превратил ностальгию из наркотического бреда в литературную тему и превратился в гражданина мира, который помнит о родине, подчас грустит о ней, однако внутренне от нее не зависит», — считают «**Известия**».

«**Независимая газета**» пробует объяснить, отчего празднование Набоковского юбилея в России прошло более чем скромно, почти незаметно: «В России Пушкинский двухсотлетний юбилей затмит Набоковский столетний. Оно и понятно — солнце русской поэзии ни в какое сравнение не может идти с эмигрантом, книги которого мы всего 10 лет назад обнаружили. И хоть полюбили, но отнюдь не всенародно. Одно дело — творец родного ямба, знакомый до последней строчки автор таких понятных «Евгения Онегина» и «Повестей Белкина». Другое — высокомерный создатель отто-

ченных, как клинки, фраз, прозы, напоминающей покой Снежной королевы — красивая, но холодная точность форм, автор такой американской «Лолиты» и математически выверенной «Защиты Лужина». Набокова не вывесишь в окнах аптеки и гастронома, не украсишь им Ленинградское шоссе».

«Коммерсант-daily» отметил Набоковскую годовщину 22 апреля, по новому стилю. «100 лет назад родился Владимир Набоков. Родился не вовремя. Мало того, что злые языки говорили, что он перенес празднование своего дня рождения с 22 апреля на 23 из-за неподобающего совпадения с днем рождения Ленина, так еще и каждая круглая дата в его биографии неминуемо совпадала с круглым юбилеем Пушкина. Между тем Набоков останется в России одним из самых читаемых авторов в России!»

В этот же день Венгрия остановила на своей границе с Украиной российский гуманитарный конвой, подготовленный Министерством по чрезвычайным ситуациям для населения Югославии, состоявший из автомобилей КамАЗ и бензозаправщиков.«Формальным поводом для остановки колонны МЧС на украинско-венгерской границе стало наличие в ней броневой защиты и кабин КамАЗов и 57 тонн солярки в бензозаправщиках, в то время как НАТО ввела эмбарго на поставки в Югославию горючего и вооружений», — разъясняет суть инцидента **«Сегодня»**.

«Не вызывает сомнений, что задержка российской автоколонны — частная инициатива свежеиспеченного члена НАТО, проявленная без согласования с новым «старшим братом», для которого, впрочем, подобный фортель пришелся явно некстати. Молчание Брюсселя по поводу разбирательств на границе означало, что он предоставил Венгрии самостоятельно выпутываться из сложившейся ситуации», — писали **«Известия»**.

«В посольстве Венгрии инцидент на украинско-венгерской границе прокомментировали так: «Венгерская сторона остановила на границе лишь те автомашины, которые могут быть использованы в военных целях, а также везущие грузы, подпадающие под эмбарго ООН». То есть под эмбарго подпадали бронированные грузовики и те 57 тысяч литров солярки, которые находились в цистернах конвоя. К счастью, эпизод был урегулирован, однако инцидент с российским гуманитарным конвоем приводит к мысли, что Венгрия была независимой лишь в короткий промежуток времени — после распада ОВД и до вступления в НАТО», — комментирует ситуацию **«Независимая газета»**.

4 АПРЕЛЯ «Коммерсант-daily» сообщает о сенсационной находке в Российском государственном военно-историческом архиве, где был найден доклад Николаю I о результатах судебного дела по дуэли Пушкина. «Сенсационную находку сделали практически случайно — в ходе подготовки к 200-летнему юбилею поэта, когда был просмотрен еще раз толстый том «Высочайшие конфирмованные доклады по военно-судным делам с 4 февраля по 30 апреля 1837 года». Именно там, среди нескольких десятков дел о грабежах и растратах, и обнаружился совершенно неожиданно доклад судебной комиссии царю о расследовании обстоятельств дуэли Пушкина и Дантеса».

13—15 АПРЕЛЯ в Думе должна была начаться процедура импичмента президента Бориса Ельцина. Однако решением большинства депутатов голосование по этому вопросу было отложено на месяц. **«Аргументы и факты»** комментируют ситуацию следующим образом: «Накануне 15 апреля Ельцин был морально готов пойти на «силовой сценарий» в случае, если депутаты всё же затеют его отрешение от власти. Таким образом доводы сторонников жестких действий в окружении президента (к ним причисляют Волошина, Путина и Юмашева) перевесили аргументы более осторожных — Степашина и Лужкова. Предполагалось, что 14 апреля Борис Николаевич выступит с телеобращением, в котором в завуалированной форме пригрозит депутатам«адекватно ответить на импичмент, используя «мандат всенародно избранного президента». Угрозы, как видно, подействовали. По подсчетам аналитиков КПРФ, в четверг левые набрали бы от силы 150—200 голосов в пользу отставки Бориса Ельцина

вместо необходимых 300. Тайное голосование открывало простор для безнаказанного нарушения партийной дисциплины. Тем самым по репутации коммунистов был бы нанесен сокрушительный удар. Предвидя провал, в последний момент оппозиция согласилась отложить на месяц вопрос об импичменте».

«Градус скандальности вокруг затеянной процедуры импичмента повышается. И, видимо, чем ближе Госдума окажется к реальным дебатам и голосованию, тем более процесс отрешения от должности главы государства будет принимать скандальные черты. Дело в том, что стороны, задействованные в этом процессе, рассматривают импичмент не как правовую акцию, а как средство политической борьбы и одну из форм предвыборной пропаганды», — полагает «**Труд**».

«**Известия**» указывают на трудное положение, в которое попали коммунисты, проголосовав за перенос импичмента: «Теперь коммунистам и их союзникам придется объяснить своим избирателям, почему они не пожелали порадовать их импичментом накануне первомайских маевок».

14-го же апреля сенсационные новости пришли из Генпрокуратуры РФ. Заместитель Генерального прокурора Михаил Катышев отменил собственное постановление об аресте Бориса Березовского, вынесенное им неделю назад. «В Генеральной прокуратуре задний ход объясняют следственной целесообразностью и утверждают, что обвинение Березовскому всё же будет предъявлено. Решение об отмене постановления об аресте Березовского выглядит как очередной виток противостояния двух гигантов российской политики (Примаков—Березовский). И судя по всему на этот раз Березовский оказался сильнее Примакова. В Кремле ходят упорные слухи, что заявление об отставке премьера уже лежит на столе президента Ельцина», — делятся подробностями «**Новые Известия**».

«Не счесть тех миллионов россиян, которые с 8 по 14 апреля сего года мечтали стать свидетелями момента, когда на холеных запястьях Бориса Абрамовича Березовского могли защелкнуться наручники производства Тульского оружейного завода. Что объяснимо: даже «всенародный аллерген» Анатолий Чубайс за шесть лет работы в различных должностях в правительстве РФ не аккумулировал по отношению к себе столько отрицательной энергии масс, сколько Борис Березовский одним своим появлением на телеэкране. Многие противники реформ просто обязаны сказать Борису Абрамовичу большое спасибо за то, что он наглядно продемонстрировал «отвратное мурло капитализма», — пишет «**Век**».

15 АПРЕЛЯ «во время выполнения планового полета противолодочный самолет ИЛ-38 с помощью своей поисковой станции «Беркут» засек американскую подводную субмарину в непосредственной близости от наших территориальных вод и сбросил в район ее нахождения гидроакустические буи. По зафиксированным с их помощью шумам экипажу удалось идентифицировать подводную лодку и свыше часа вести слежение за ней, пока американский капитан не понял, что его подлодку засекли, и предпочел ретироваться в океанские глубины», — сообщает «**Коммерсант-daily**».

В этот же день, по информации «**Новых Известий**», президент Ельцин наградил певицу Аллу Пугачеву орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. «Ваш орден — как маршальский жезл», — заявил Борис Николаевич на церемонии.

16 АПРЕЛЯ, по сообщению «**Известий**», вице-премьер Валентина Матвиенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что безработица в России выросла за прошлый год с 8,1 миллиона до 8,9 миллионов человек, что составляет 12,4% трудоспособного населения страны.

18 АПРЕЛЯ в Россию вернулся Борис Березовский. «Первым делом он сказал, что ареста не боится. «Я не просчитывал, как ситуация может развиваться дальше. Я без всяких сомнений прилетел в Москву, потому что я не чувствую за собой абсолютно никакой вины», — цитирует Березовского «**Коммерсант-daily**». По информации газеты

«Аргументы и факты», по возвращении в Россию Борис Березовский два с половиной часа разговаривал с Евгением Примаковым.«По некоторым сведениям, смысл разговора состоял в уточнении позиции сторон. Березовский изложил премьеру свои претензии в его адрес и правительства в целом. Но, как видно, и сам он чувствовал, что преступил некую грань в нападках на Примакова, за которой не замедлили последовать ответные меры, убийственные как для политического будущего Бориса Абрамовича, так и для его бизнеса. Вероятно, результатом встречи станет смягчение критики правительства на канале ОРТ, а также в администрации президента, где Березовский имеет очень сильное влияние. Всё это можно назвать худым миром».

19 АПРЕЛЯ в Москве на Горбатом мосту состоялась демонстрация американских граждан, протестующих против агрессии НАТО в Югославии. «Известия» отметили, что «вместо обещанных двухсот митингующих за полчаса подошло всего пятеро».

«Новые Известия» сообщили, что организаторами митинга стали Марк Эймс и Мэтт Тайби — два американских журналиста, издающие в Москве юмористическую газету «The exile» на английском языке. «Больше всего ребят задели репортажи в российской прессе, где приводятся результаты социологических опросов, согласно которым простые американцы или целиком поддерживают агрессию НАТО или вообще впервые слышат слово «Югославия». — Мы не хотим, чтобы все думали, что американцы такие тупые! — сказали они журналистам».

«Янки собрались возле российского Белого дома в знак протеста против действий своей страны в Югославии. Все они считают акции правительства США аморальными, незаконными или, по меньшей мере, недальновидными», — комментирует митинг на Горбатом мосту газета «Труд».

21 АПРЕЛЯ «Труд» сообщил о катастрофе российского самолета-разведчика Су-24МР, участвовавшего в учениях 10-й смешанной авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказкого военного округа. «Военные летчики подполковник Анатолий Коваленко и майор Алексей Малкеров совершили подвиг, ценой собственной жизни отведя падающую боевую машину в сторону от нефтебазы Новороссийского морского порта».

Совет Федерации не принял отставку Генерального прокурора РФ Юрия Скуратова. «Президент России Борис Ельцин хотел в очередной раз показать, что именно он, а никто другой, управляет страной, — комментируют ситуацию «Новые Известия». — Что если он сказал: «Скуратов должен уйти!» — значит так тому и быть. Но на этот раз президент проиграл. Многочисленная региональная элита позволила себе второй раз ослушаться президента».

«Вторичный отказ Совета Федерации принять отставку Скуратова стал плевком в лицо президенту. Ельцина поставили перед выбором — утереться и окончательно перейти в разряд кремлевских пенсионеров или начать контратаку», — полагает «Коммерсант-daily».

В этот же день в Москве в Доме кинематографиста состоялась премьера фильма Говорухина «Воропиловский стрелок», встретившего настолько же отрицательную реакцию прессы, насколько теплую — со стороны зрителей. «Картина является патетической проповедью самосуда», — считают «Известия».

Владимир Войнович на страницах «Московских новостей» так оценивает новую ленту: «Депутат Говорухин на заседаниях Думы много раз выступал за введение контроля над телевидением. Если бы ему это удалось, контролерам следовало бы прежде всего запретить как безнравственный фильм Говорухина. Там даже язык — сплошь ненормативная лексика. А идейное содержание — призыв к беззаконию и гимн самосуду. Надеюсь, говорухинское отношение к вопросам нравственности и справедливости не окажется слишком заразительным, потому что в фильме есть очевидное в данном контексте достоинство — он не талантлив».

22 АПРЕЛЯ в городе Березовском на Урале был взорван памятник «основателю советского государства». Трехметровый монумент, установленный в 60-е годы, полностью разрушен. Возле постамента нашли записку: «Город, вздрогни! Я вернулся! Зорро». Кто является ее автором и террористом, пока не установлено («Коммерсант-daily»).

24 АПРЕЛЯ в собственном особняке в Москве скончался Борис Федоров, основатель Национального Фонда спорта. «Вместе с ним уходят в могилу многие тайные подробности десятилетия. Федоров держал в руках клубок нитей, мешал многим. Дело не столько в могущественности его холдинга, сколько в широте связей и влияния рискового бизнесмена», — комментируют «Новые Известия». По информации газеты «Труд», «предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность или тромб». «Сегодня» сообщила, что Федоров был найден в собственной постели собственными охранниками без всяких признаков насильственной смерти.

26 АПРЕЛЯ печать сообщила неприятную новость для владельцев персональных компьютеров — в результате мгновенной активизации вируса «Чернобыль» в России сильно пострадало около 100 тысяч персональных компьютеров. «Основные претензии будут предъявлены на местах к сборщикам ПК, которые, видимо, устанавливали на компьютеры нелегальные зараженные программные обеспечения (как сообщалось ранее, уровень компьютерного пиратства в РФ превышает 90%)», — писали «Новые Известия».

В этот же день в 14.30 в московском отеле «Интурист» прогремел сильный взрыв. «Уже установлено, что в лифтовой шахте 20-го этажа рядом с подоконником наружной стены было установлено и сработало безоболочное взрывное устройство. Его мощность соответствует 2 кг тротила», — сообщил подробности «Труд».

«Известия» описывают события так: «Сила взрыва, вывернувшего огромный кусок 20-го этажа гостиницы «Интурист», по предварительной оценке компетентных органов, была эквивалентна 2 кг тротила. Дверь одного из офисов, окна которого выходили на Тверскую, взрывной волной вынесло на другую сторону улицы. Сильно повреждены перекрытия между этажами, однако угрозы обвала, как сообщил дежурный ГУВД, нет».

28 АПРЕЛЯ в Кузьминском суде Москвы завершился суд над бывшим мэром Грозного Бесланом Гантамировым, обвиненным в хищениях государственных средств на сумму в 27 миллиардов неденоминированных рублей. «Независимая газета» сообщает, что «в ходе следствия были выявлены некоторые подробности финансовых махинаций преступной группы. Было доказано, что Гантамиров и его подельники создали в России и за ее пределами сеть подставных фирм, на счетах которых аккумулировались похищенные госсредства. Деньги поступали и на личные счета родственников мэра. В частности, в одном из швейцарских банков следователи обнаружили счет жены Гантамирова».

«Оглашение приговора заняло у судьи два с половиной часа. Из документа следует, что мэр Грозного достаточно часто путал государственный карман со своим собственным. Схема не отличалась оригинальностью — под фиктивные контракты деньги со счетов мэрии переводились на счета подставных фирм и далее обналичивались или уходили за рубеж. Большая часть средств осела в эстонском «Форексбанке» и на счетах гражданина Израиля Аркадия Голода», — сообщают «Известия».

1 и 2 МАЯ были отмечены в Санкт-Петербурге небывалым скачком цен на бензин, когда топливо сорта А-92 подорожало с 2 рублей 70 копеек за литр до 7 рублей. Вот как комментируют развитие ситуации с горючим «Московские новости»: «Независимо от того, будет ли доказан «ценовой сговор», топливный рынок Петербурга, по всей видимости, претерпит значительные изменения. Косвенным подтверждением этому

может служить внезапный визит в Петербург в самый разгар кризиса главы «ЛУКойла» Вагита Алекперова. По его мнению, после бензинового кризиса в Питере розничная цена автомобильного топлива в России стабилизируется на уровне 0,25—0,3 доллара за литр (7—8 рублей) — такой она была до 17 августа, такой, на уровне мировых цен, должна стать нынче».

«Городские власти в канун праздников выглядели растерянными, — отмечали **«Новые Известия»**, — обещали разобраться в ситуации и даже, в случае чего, как сказал губернатор В. Яковлев, «поддать кое-кому как следует». Впрочем, отметил он тут же, что же вы хотите, рынок, мы не можем влиять на цены... Это был хороший намек накануне бывшего праздника трудящихся: за что, мол, боролись, на то и напоролись. Вот вам плоды реформ, за которые вы когда-то голосовали».

1 мая исполнилось 75 лет Виктору Астафьеву. «Он сильно изменился в последнее время: постарел, прибавилось морщин на лице, стал больше ворчать. Чем ближе его юбилей, тем больше его терзали встречи, гости, презентации, те же интервью. Все это утомляет, отрывает от работы, от жены, от внуков. Иногда он сбегает из городской квартиры в деревню свою, в Овсянку. Но и там долго не продержишься, весна ныне холодная, печь замучаешься топить», — описывают предъюбилейные страдания писателя **«Новые Известия»** .

Виктор Астафьев «за пять лет между этим и прошлым юбилеем завершил «главное дело» своей жизни — книгу «Прокляты и убиты», страшную правду о войне, читая которую будто прикасаешься к оголенным проводам», — пишет газета **«Сегодня»**.

В этот же день произошли взрывы в двух московских синагогах. «К счастью, и на этот раз обошлось без жертв», — информирует **«Сегодня»**.

Газета **«Коммерсант-daily»** приводит мнение главного раввина России Адольфа Шаевича. «Он убежден, что за всеми взрывами у московских синагог стоит некая антисемитская террористическая организация, которая решила пощекотать нервы мэру Москвы Юрию Лужкову и сделать очередное предупреждение российским евреям».

«Известия» сообщают, что в ночь на *2 мая* в столице Карачаево-Черкесии Черкесске «неизвестные забросали гранатами и бутылками с зажигательной смесью дома начальников избирательных штабов одного из кандидатов на пост президента КЧР — мэра Черкесска Станислава Дерева».

«Как отметила прокуратура Карачаево-Черкесии, — замечает в связи с терактом **«Советская Россия»**, это уже девятое с начала избирательной кампании уголовное дело по фактам террористических акций, осуществленных с использованием взрывных устройств, гранат и бутылок с зажигательной смесью».

«Похоже, предвыборная борьба стремительно приобретает черты межнациональной усобицы», — отмечает по этому поводу **«Труд»**.

«Сегодня» указывает, что большинство наблюдателей «напрямую связывают серию прокатившихся по республике терактов с накалом предвыборных страстей».

Днем **6 МАЯ** «бронированный «Мерседес-600» Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, двигаясь в сторону Садового кольца по улице Пречистенка неподалеку от Храма Христа Спасителя, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой «Тойотой», за рулем которой находилась молодая москвичка. Патриарх не пострадал. Водитель «Тойоты» получила сильный ушиб спины. Сразу после происшествия Алексей II и его водитель пересели в джип охраны и уехали», — сообщил **«Коммерсант-daily»**.

Дополнительные подробности инцидента приводит «Независимая газета»: «Мерседес-600» главы Русской Православной церкви как водится, на огромной скорости направлялся из Храма Христа Спасителя в сторону Гоголевского бульвара и повстречался с «Тойотой». За рулем последней находилась 22-летняя гражданка Павлюк. По

словам девушки, владыка не успел обратиться к ней с утешающим словом. Сопровождающие Патриарха люди чересчур усердно оградили его от ненужного общения. Как свидетельствуют очевидцы столкновения, виноват в аварии был водитель «Мерседеса», который мчался по встречной полосе, однако в официальной версии ГИБДД виновником ДТП является госпожа Павлюк».

9 МАЯ Россия отмечала День Победы, который на этот раз настолько не привлек внимания журналистов, что **«Советская Россия»** с полным правом могла заметить, что этот праздник «замалчивают «демократические» СМИ», потому что «вот уже несколько лет 9 Мая — это не просто День Победы. Праздник освобождения от фашистской чумы в условиях нынешнего оккупационного режима приобретает черты политического протеста».

«Новые Известия» обращают внимание на предпраздничную акцию московского мэра Юрия Лужкова: «В эти майские дни мэр Москвы заложил первый камень в основание Дома ветеранов, который будет построен к 2005 году — к 60-летию Победы. То есть ко дню, когда младшему из одариваемых ветеранов Великой Отечественной войны — из тех, кто доживет, — уже точно будет за 80. Если мэр столицы нашей родины, которого столь многие прочат в президенты, отмечает 9 мая этак камерно-торжественно, вместо того, чтобы лишний раз помочь материально тем, кто прошел войну, значит, процесс разделения Дня Победы на два отдельных праздника — государственный и народный — успешно завершился. Официальный День Победы больше не имеет отношения к тем из ее солдат, кто еще ходит по земле».

9 мая исполнилось бы 75 лет Булату Окуджаве. «Безусловно Окуджава — огромный поэт и не просто песенник, — писал в **«Известиях»** Владимир Войнович. — Мы жили в эпоху казенных слов и казенных понятий, очень трудно было освободиться от этой языковой неволи и — неотделимой от нее мертвенной идеологии. А Булат впервые заговорил с нами на нормальном человеческом языке. В этих песнях не было ничего против Советской власти, но они взрывали ее изнутри, напоминая человеку о том, что у него есть обыкновенные человеческие чувства».

«Тихо, сердечно, без пафоса, с юмором и талантом он нам пропел свою и наши жизни. Он нам предлагал решения, которые были слишком хороши для ожесточенного людьми времени», — отмечает **«Общая газета»** .

«Вообще языком российской интеллигенции второй половины XX века стали песни Окуджавы. — утверждает **«Новая газета»**. — Строчки из них разошлись на цитаты, озаглавили тысячи статей, объединили миллионы московских, питерских, иркутских (далее смотри карту России) кухонь. Думаю, они прежде всего и противостояли официальной идеологии».

10 МАЯ **«Коммерсант-daily»** сообщил о новостях из Чечни. «Два вертолета Ми-8 внутренних войск МВД России были обстреляны на территории Ингушетии со стороны Чечни. Один из них получил множественные пробоины, но сумел совершить посадку в Моздоке. Ранен летчик-штурман, капитан Олег Солдатов. Обстрелянный вертолет получил более 20 пробоин, в том числе в бензобак».

12 МАЯ президент Борис Ельцин отправил в отставку премьер-министра Евгения Примакова, назначил на премьерскую должность Сергея Степашина.

В этот же день подал в отставку и первый зам. Главы президентской администрации Олег Сысуев. «Источники в администрации утверждают, что Сысуев принял решение уйти из-за несогласия с действиями президента, уволившего Евгения Примакова», — сообщают **«Новые Известия»** .

Главной целью отставки премьер-министра **«Независимая газета»** считает стремление «семьи» «хотя бы на время отвлечь страну от обсуждения недостаточной работоспособности президента. Последнее является, пожалуй, единственным вразумительным объяснением всех президентских демаршей и форс-мажоров. Борис Ельцин

упорно пытается сохранить лицо власти как в прямом, так и в переносном смысле. А это становится все труднее. Болезнь берет свое и скрывать ее проявления достаточно сложно. В такой ситуации лучшим средством становится твердый президентский кулак, опускающийся на голову правительства, либо Госдумы».

«В нынешней отставке кабинета многие склонны в очередной раз видеть руку Бориса Березовского, которого Примаков так и не смог «дожать», — сообщают дополнительные подробности «Известия». — По расхожей версии, непобежденный Березовский, как феникс, восстал из пепла и при поддержке ближайшего окружения президента довел-таки Примакова до отставки».

Газета приводит и слова американского аналитика Дмитрия Саймса, по мнению которого, «в решении убрать Примакова было много личного, включая элементарную зависть. Примаков имел самый высокий рейтинг доверия, его власть исходила от парламента. А не от Кремля. Своими действиями Примаков показывал, что для России необходимость в Ельцине уже отпала».

Ссылаясь на собственные источники, «Советская Россия» приводит свою версию отставки премьера: «Вопреки некоторым сообщениям СМИ, Е.М. Примаков не подавал президенту прошения об отставке и со здоровьем у него все в порядке (во всяком случае оно заметно лучше, чем у самого Бориса Николаевича). Что же касается результатов работы последнего правительства за короткий срок — восемь месяцев, — то они говорят сами за себя: стране удалось избежать гиперинфляции. Стал расти курс рубля по отношению к доллару, начался медленный рост промышленного производства».

«К сожалению, в последнее время Ельцину все хуже удается скрывать недостатки своего характера. Даже по телекартинкам заметно: президент стал необычайно гневлив, капризен, агрессивен. Он ведет себя, как человек, вокруг которого одни враги, подлость, измена. Президент, у которого слишком много врагов, — сущее несчастье для общества. Ни на что, кроме борьбы и мести, его уже не хватает», — комментирует решение президента отправить в отставку премьера «Общая газета».

«Почему отставка Примакова вызвала такое живое сочувствие у людей с улицы? Ведь все знали, что экономическое положение не улучшится?— задается вопросами «Новая газета» и предлагает собственный ответ: просто в первый раз мы увидели, как высший государственный чиновник обстоятельно, неторопливо и целеустремленно, как асфальтовый каток, начинает движение не совсем в заданном ему верховным жрецом направлении. Многие, очень многие поверили в серьезность намерений премьера».

«Основная причина той легкости, с которой Борис Николаевич отправил в отставку премьера, кроется в разнице их мировоззрений. Ельцин — непримиримый антикоммунист. Примаков — либерал советского толка. Сказалось и то, что экс-премьер был близок к Михаилу Горбачеву, столь нелюбимому Борисом Николаевичем. Расхожая версия увольнения Примакова — мол, слишком вяло выступил против импичмента — была лишь поводом. За отставкой стоят и личные интересы людей, которые за 8 месяцев премьерства Евгения Максимовича стали его непримиримыми врагами», — комментировали президентское решение «Аргументы и факты» .

«Московские новости» так оценивают итоги восьмимесячного премьерства Евгения Примакова: «В российской политике Примаков добился двух феноменальных успехов — почти чудес. Став министром иностранных дел, имея за спиной разваливающееся государство, он сумел спокойными, иногда жесткими маневрами восстановить уважение к России и ее дипломатии. Мастерством и волей Примаков сделал позицию России на мировой арене сильнее, чем Россия с ее разложившимся режимом заслуживала. Второе почти чудо он сотворил, когда стал премьером. Здесь список его достижений, может быть, даже назовут историческим. Он временно, но спас страну от смуты и дестабилизации».

«Итоги» главное внимание обращают уже на перспективах нового правительства Сергея Степашина, которому, по мнению еженедельника, «Кремль отводит роль зиц-председателя Фунта». «Назначив 12 мая одновременно Аксененко на должность и.о. первого вице-премьера, а Степашина на место Евгения Примакова, Борис Ельцин заложил под новое правительство бомбу замедленного действия. Противостояние Сергея Вадимовича, который-таки стал вторым человеком в государстве, и Николая Емельяновича, которому уже второй раз позволяют взяться за дверную ручку премьерского кабинета, но останавливают на пороге, — неизбежно».

«Очередной кабинет министров заступает на вахту, — пишет «Век». — Как и Примаков, Степашин — не хозяйственник. Но Примаков упрямо отстаивал за собой непосредственное руководство экономическими вопросами, делая это через Маслюкова, Геращенко и Задорнова, в чем его, как умели, поддерживали левые думцы. Пока кризис был в разгаре, это считалось неизбежным злом. Во всяком случае в Кремле, а не в Париже, откуда непрерывно давал о себе знать Борис Абрамович, ни на день ни смирившийся с присутствием Примакова в Белом доме. Когда же угроза новой волны всеобщего банкротства миновала, мнения парижского и кремлевского центров «срезонировали»: по их обоюдному мнению, у главы правительства сконцентрировано слишком много власти и потому надо ее умерить. В итоге убрали не Примакова — сломали сложившуюся уже при нем форму власти, когда глава правительства играл относительно автономную роль по отношению к Думе и к президенту, воплощая разумную и реалистичную модель преобразования «сверхпрезидентской» республики в «полупрезидентскую». Эта схема и есть цель залпа по Примакову. Ее-то и не дадут восстановить Степашину».

«Основной причиной, побудившей Ельцина радикально расстаться с пожилым академиком и возглавляемым им правительством, называется затеянный коммунистами процесс импичмента, который якобы и спровоцировал контратаку президента, начавшего «боевые действия» с разгона «розового правительства» и имевшего следующей целью разгон самой Думы», — отмечали «Новые Известия» .

«Коммерсант-daily» полагает, что премьер специально был отправлен в отставку накануне начала процедуры импичмента в Думе, чтобы сразу — «резко и решительно разрубить гордиев узел». По данным газеты, «расчеты, регулярно производимые кремлевскими эмиссарами, показали, что если во вторник, к примеру, в довольно лояльной группе «Российские регионы» импичмент поддерживали всего 11—12 депутатов, то в среду, после известия о смене премьера, их число подпрыгнуло до 33—35. Даже во фракции НДР, по кремлевским наблюдениям, катастрофически выросло число депутатов, охваченных вирусом импичмента».

Пока Кремль и Белый дом сотрясали «страсти по импичменту» (газета «Сегодня»), страна жила своей обычной каждодневной жизнью. 15 МАЯ «Красная звезда» сообщила о создании в России уникальной «подводной ракеты-торпеды», аналогов у которой нет в мире. Новое оружие оснащается обычным зарядом с системой автономного самонаведения и атакует цель с огромной скоростью — порядка 100 метров в секунду. «Особенно эффективные удары могут наноситься по авианесущим морским группировкам и при действиях на коммуникациях противника. Когда ракеты могут применяться по нескольку штук одновременно», — пишет газета.

16 МАЯ неизвестные террористы одновременно произвели три мощных взрыва в жилых домах бывшего военного городка «Спутник» во Владикавказе. Четвертую адскую машинку удалось найти и обезвредить. От взрывов погибло 4 человека. «Российские спецслужбы не исключают причастности к взрыву трех жилых домов в городке 58-й армии чеченского террориста иорданского происхождения Хаттаба и выпускников его диверсионной школы», — пишет «Независимая газета» .

«Труд» считает, что «в данном случае Северная Осетия выбрана террористами не случайно. Подавляющее большинство населения республики христиане. И в их терри-

ториальный межэтнический спор с ингушами-мусульманами сторонники «чистого ислама» путем дальнейшего разжигания взаимной вражды пытаются привнести еще и религиозный аспект».

На вопрос о том, как смогли террористы пронести взрывчатку в военный городок, ответила газета «**Коммерсант-daily**»: «До последнего времени район «Спутника» в восточной части Владикавказа фактически был военным городком 58-й армии. Охранялся он круглосуточно. Но сейчас здесь осталось жить довольно мало действующих офицеров. Одних перевели в другие регионы, другие ушли в отставку. В освобожденные квартиры стали вселять гражданских лиц. Поэтому охрану сняли».

«Что касается мотивации, то все сходятся во мнении: серия терактов может взорвать ситуацию в регионе. «Армейская» версия, если таковая подтвердится, способна вызвать у российских военных античеченские настроения. К настоящему расколу может привести и другое. В пострадавших домах в основном проживали беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии — в отличие от других жилых зданий городка, населенных преимущественно российскими офицерами. А между ними и коренным населением Северной Осетии давно существуют трения», — отмечает «**Общая газета**».

«Как пойдет расследование взрыва домов, покажет время. Но жители военного городка настроены пессимистично и на то, что террористов обезвредят, практически не надеются», — пишут «**Новые Известия**».

Окончательное голосование в Думе по вопросу об импичменте прошло **17 МАЯ**. «93-й год не повторился. Левые не бросились на баррикады, правые не вывели на улицы танки. И то, и другое — для современной России большое достижение, это без всякой иронии. Страсти хоть и кипели, но ровно настолько, чтобы не перегреть атмосферу», — комментировали провал импичмента в Думе «**Московские новости**». «Тот факт, что ни одно обвинение против Бориса Ельцина не получило необходимого количества голосов, кажется, устроил и всех инициаторов импичмента, и его думских противников, и попутчиков в лице фракции «Яблоко», и сотрудников администрации президента. Поэтому вечером субботнего дня и в воскресенье все участники мероприятия праздновали свои маленькие победы».

«**Советская Россия**» так объясняет неудачу противников президента в Думе: «Никто не сомневался, как проголосуют коммунисты, аграрии, группа «Народовластие», честные депутаты других фракций. Но в то же время все знали, что идет титаническая подковерная работа с теми, кто может дрогнуть... Они и решили исход дела. И все-таки те 16 голосов, которых не хватило, уже ничего не решают по существу. Россия не та страна, где может не хватить 16 голосов. Независимо от результатов голосования, это — поворотный момент в жизни России».

«Теперь, когда все волнения и опасения позади, можно философски заметить: импичмент как акт действующей, едва становящейся у нас на ноги демократии состоялся — создан прецедент. Импичмент пойдет нам на пользу еще и потому, что заставил Ельцина и его окружение изрядно поволноваться и ощутить хотя бы призрак реальной ответственности за содеянное», — резюмировал «**Труд**».

На фоне страстей, вызванных событиями в Думе, **17 МАЯ** почти незамеченным прессой прошло 53-летие депутата Галины Старовойтовой, убитой неизвестными преступниками в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Фамилия Старовойтовой «венчает теперь траурный список (Мень, Листьев, Холодов) нераскрытых убийств, который мелькает и там и тут, как марка, символ работы вхолостую милиции и ФСБ. Они еще не закрыли дело, но задвинули точно». Газета приводит рассказ одной из журналисток, лично знавшей Галину Старовойтову и некоторых людей из ее окружения: «О милиции могу привести лишь один курьезный факт: еще в те черные дни ноября друг и помощница Гали Людмила Иодковская жаловалась знакомым, что

следователи ФСБ держат ее на допросах по 8—9 часов, расписывая по минутам последний маршрут Гали, листая ее деловые бумаги и прочее. А спустя месяц (или два) мне позвонили с Петровки-38 и спросили, не знаю ли я, кто такая Иодковская и где ее найти. Помню, я потеряла дар речи».

18 МАЯ торжественно провалились 16-е по счету выборы во Владивостоке, на которые явилось, по разным данным, от 7 до 8% избирателей при минимальном пороге в 25%. «Главной причиной срыва выборов, по мнению председателя горизбиркома Ильи Гринченко, стало беспрецедентное нарушение закона со стороны городской администрации во главе с Юрием Копыловым, — писал **«Труд»**. — Он фактически отказался финансировать законно созданный горизбирком, в то время как щедро оплачивал деятельность организованных по его указанию параллельных окружных и территориальных комиссий. И.о. главы городской администрации явно не желал появления на свет городской Думы».

Людей, все-таки пришедших в этот день на избирательные участки, **«Новые Известия»** назвали «политическими оптимистами», а Владивосток — «единственным городом России, почти 6 лет обходящемся без представительного органа власти, с тех пор как Советы были распущены».

В этот же день на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились испытания новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». «Принципиальной особенностью С-400 является его способность эффективно уничтожать ранее недосягаемые самолеты системы «АВАКС», — пишут **«Новые Известия»**. — Предполагаемая эффективность С-400 в два с половиной раза выше, чем у С-300. Ожидается, что ракеты из состава комплексов С-400 станут основным оружием дальнего действия боевых самолетов ВВС России».

20 МАЯ Сергей Степашин провел свое первое заседание правительства в качестве премьер-министра. «Обсуждали текущую ситуацию в сфере экономики и госфинансов. Выяснилось, что наследство Примакова не так уж бедно, как говорил с телеэкрана президент», — прокомментировал заседание **«Коммерсант-daily»**.

21 МАЯ «утром президента совершенно неожиданно отправили на отдых в Сочи, — сообщил новость **«Коммерсант-daily»**. — Причину такой поспешной эвакуации кремлевские источники объяснили просто: «Ельцин устал». Однако, учитывая, что именно в эти дни разворачивается острейшая борьба за контроль над экономическим блоком правительства, есть все основания предполагать: таким способом президентское окружение может вновь отрезать главу государства от альтернативных каналов информации».

«Президент России не побоялся оставить Москву в столь ответственный для страны момент, когда новое правительство еще до конца не сформировано, а Госдума окончательно не пришла в себя после провала импичмента. Спокойствие Ельцина в данном случае может говорить лишь об одном: он уверен, что ничего экстраординарного не случится. Тем более, что за порядком в стране оставлен «присматривать» новый силовой премьер правительства Сергей Степашин», — писала **«Независимая газета»**.

«Труд» пришел к выводу, что «Борис Ельцин, видимо, очень устал в схватках с Примаковым и Думой. И вчера в 11 часов 17 минут отбыл в Сочи — в отпуск, на две недели. Остается не проясненной структура нового правительства, не сделаны важнейшие кадровые назначения, нет единого мнения по ряду принципиальных экономических документов, но это все неважно, — главное, надо понимать, сделано».

В этот же день ранним утром трагически погиб сын и.о. первого вице-премьера Юрия Маслюкова — Дмитрий Маслюков. По сведениям газеты **«Коммерсант-daily»**, трагедия произошла неподалеку от Санкт-Петербурга, где Дмитрий Маслюков готовился к участию в четвертом этапе чемпионата России по кросс-ралли «Сестрорецк-99». Его «Subaru Impreza» на смогла вписаться в поворот, на большой скорости врезалась в столб и загорелась.

24 МАЯ Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II сделал заявление о необходимости убрать с Красной площади, находящиеся на ней захоронения. «Патриарх назвал «аморальным» то, что на Красной площади рядом с прахом усопших зачастую проходят концерты и прочие увеселительные мероприятия. Глава РПЦ напомнил, что уже само название «Красная» переводится, как «красивая». Это, а также то, что Красная площадь является центральной площадью страны, по мнению Патриарха, противоречит превращению такого места в погост», — писали «**Новые Известия**».

«**Советская Россия**» устами Александра Проханова так комментирует высказывание Алексия II: «Негоже уносить с Красной площади прах Жукова, Гагарина, победителей и мучеников войны. Негоже впадать в иконоборчество, повторяя безумия радикальных большевиков в двадцатые годы».

«**Коммерсант-daily**» считает, что «слова Патриарха явно не были экспромтом. НТВ проанонсировало это заявление еще до начала крестного хода в честь святых Кирилла и Мефодия, во время которого оно было сделано. Что может означать только одно: инициатива Алексия II носила именно «программный» политический характер и была заранее согласована с политическим руководством страны».

В этот же день пришло сообщение из Канн о том, что фильм российского режиссера Александра Сокурова «Молох» получил там почетную награду за лучший сценарий. «Распределение призов в основном конкурсе в этом году вызвало если не шок, то крайнее недоумение у очень многих, — отмечает «Независимая газета». — То, что «Молох» получил одну из важнейших наград Каннского фестиваля за лучший сценарий, пожалуй, не ожидал никто. Неожиданный успех еще приятнее. К «Молоху» можно предъявить массу претензий, но основа картины — сценарий — бесспорно талантлив и занятен».

«Этот фильм, который далеко не всем понравился, тем не менее представлял в Каннах перспективу и альтернативу кинематографического процесса. А не рабскую адаптацию Голливуда», — полагает «**Новая газета**».

У «**Коммерсант-daily**» — собственная точка зрения на фильм и решение каннского жюри. «У режиссера Александра Сокурова столько же оснований считать себя польщенным, сколько и обиженным. Разумеется, награду следует рассматривать прежде всего как признание личного вклада Сокурова, впервые участвовавшего в Каннском конкурсе, в мировой кинематограф. Но трудно представить себе что-нибудь менее соответствующее традиционным представлениям о хорошей, внятной драматургии, чем «Молох» с его конспективно намеченным сюжетом, аморфными характерами, обрывочными диалогами. Если бы премию дали за «идею сценария», это можно было бы понять».

26 МАЯ Борис Ельцин вернулся из отпуска в Сочи в Москву так же неожиданно, как и отбыл в отпуск из Москвы в Сочи. «Результаты короткого отдыха в Черноморской резиденции оказались сокрушительными для его репутации, — писал «**Коммерсант-daily**». — Президентское окружение открыто продемонстрировало, что использует Ельцина как марионетку для лоббирования интересов околосемейных олигархов».

В это время пресса начинает активно обсуждать подробности пребывания Бориса Ельцина в сочинской резиденции Бочаров Ручей, где президента внезапно навестил Николай Аксененко. Вот что удалось узнать об этом еженедельнику «**Итоги**»: «Появлению Аксененко на президентской даче предшествовала прямо-таки детективная история. Сотрудники первого вице-премьера в Москве утверждали, что их патрон никуда не уезжал, что он в Белом доме, только что вышел и сейчас вернется. Тем временем появились люди, которые видели Аксененко в аэропорту. А затем на стройплощадке какого-то пансионата МПС в Сочи. Степашин узнал о поездке своего зама в Сочи, лишь садясь в самолет».

Именно в это время пресса стала подробно писать о Николае Емельяновиче Аксененко, бывшем министре путей сообщения РФ. Вот, например, что удалось узнать

журналистам «Московских новостей»: «Кое-что про Аксененко мы и раньше знали. Из газет в основном. Как он продавал в Чечню бензин из запасов Октябрьской железной дороги, как организовывал при МПС многочисленные коммерческие структуры, процветающие в отличие от самого МПС. Впрочем, нравственной основой для коммерческой детельности Николая Емельяновича всегда является патриотизм. Как было им сказано: «Аксененко — человек государства».

«Известия» так комментируют серьезные перестановки в правительстве, сделанные президентом в эти дни: «Кадровые битвы продолжаются, и в них всё меньше прежней логики, объясняющей все события противостоянием Чубайса и Березовского. Всё гораздо сложнее». Важно одно: «Станет ли Степашин действительно самостоятельным премьером или так и останется заложником битвы по-разному ориентированных политико-экономических группировок».

27 МАЯ из чеченского плена были освобождены два похищенных ранее православных священника — отец Петр Макаров и отец Сергей Потапов. «Встречавший их в аэропорту глава МВД Владимир Рушайло заявил, что пленники были освобождены в результате спецоперации и выкуп за них не платили. Однако помощники Надиршаха Хачилаева утверждают, что депутат отдал за них несколько мешков картошки и муки. Боевикам есть нечего, они радовались даже этому, пояснил помощник» («Коммерсант-daily»).

28 МАЯ Борис Ельцин подписал указ об отставке Михаила Задорнова с поста первого вице-премьера. «Сегодня» полагает, что «быстрое принятие отставки Задорнова свидетельствует об одном: силы, стоящие за другим вице-премьером, Николаем Аксененко, стремятся к монопольному контролю над правительством».

«События последних дней наглядно показали, что правительство России формирует не президент и не председатель правительства Сергей Степашин. Его формирует клика лиц, входящих в ближайшее окружение Ельцина, так называемая «семья»: Березовский, Чубайс, Роман Абрамович, Татьяна Дьяченко, Волошин и Юмашев», — комментирует отставку Задорнова «Советская Россия».

«Поспешность и нахальство, с которой «семья» формирует правительство, игнорируя премьер-министра Сергея Степашина, наводит на мысль, что Борис Николаевич совсем плох. Так что надо успеть урвать, — пишут «Аргументы и факты» . — По слухам, дошло до того, что администрация Кремля не дала хода подписанному указу Ельцина о назначении М. Задорнова первым вице-премьером и министром финансов. В то же время, вопреки воле С. Степашина, Волошин подписал у президента указ о назначении главой Минфина кандидатуры «семьи» — Михаила Касьянова. Все заговорили о задетой чести офицера и скорой отставке Сергея Вадимовича. Но он удержался».

1 ИЮНЯ в Колонном зале Дома Союзов прошел съезд коалиции «Правое дело», на котором, по сообщению газеты «Известия», присутствовало около 1100 гостей и 400 делегатов. «Речь Немцова была очень эмоциональной и оптимистичной, — отметили по этому поводу «Новые Известия». — «Мы должны сделать всё, чтобы в Государственной Думе было не меньше 150 наших сторонников, не обязательно членов коалиции, — заявил Немцов. — Надо, чтобы Дума не была вороватой, а была дееспособной и вменяемой».

Газета «Коммерсант-daily» приводит другие цифры участников — 473 делегата из 68 регионов «и примерно столько же гостей». «Ораторы говорили каждый о своем: Юрий Черниченко об урожае, Хакамада — о политическом стиле, Гайдар — о Ельцине. Кто-то из выступающих заметил, что пока коалицию правильней было бы назвать «Правильным словом» — до дел еще не дошло. Руководителем предвыборного штаба

ко всеобщему облегчению официально назначен Анатолий Чубайс — раз Чубайс взялся за выборы, то деньги будут», — комментирует «**Коммерсант-daily**» .

В этот же день в Москве состоялся Совет главных конструкторов ракетно-космической техники по поводу дальнейшей судьбы космической станции «Мир», на котором, по информации газеты «**Красная звезда**», было констатировано, что «при нынешнем финансировании гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию орбитального комплекса не представляется возможным. Если же в дальнейшем правительство или президент предложат другой вариант, то Российское авиационно-космическое агентство и хозяин «Мира» РКК «Энергия» будут действовать исходя из этого».

«**Коммерсант-daily**» сообщает о двух возможных вариантах развития событий: «Если деньги будут найдены, то на станцию отправится следующий экипаж, если нет, то в феврале-марте 2000 года комплекс «Мир» будет сведен с орбиты и затоплен в южной части Тихого океана».

«Некоторые полагают, — пишут «**Итоги**», — что «Мир», хотя и помог усовершенствовать космическую технику, науке много пользы не принес. Космонавт-исследователь, а ныне профессор МВТУ имени Баумана Константин Феоктистов считает, что от «Мира» пользы — как от козла молока. Но дело даже не в научной ценности этого летательного аппарата — совершенно очевидно, что содержать «Мир» и участвовать в новом международном проекте российскому бюджету не под силу. Выбор был сделан в пользу МКС, поскольку ясно, что будущее — за этой станцией».

2 ИЮНЯ в Москве произошло вручение премии российской Академии Наук имени М.В.Ломоносова — Большой золотой медали за 1998 год — Александру Солженицыну за составленный им «Русский словарь языкового расширения». «Этой награды, ежегодно присуждаемой РАН, писатель удостоен за «выдающийся вклад в развитие русского языка, русской литературы и русской истории», — писали по поводу награждения «**Новые Известия**».

По этому поводу газета «**Сегодня**» взяла интервью у заместителя директора Института русского языка Леонида Крысина, который заявил, что «словарь составлен не по научным канонам, не выстроен, не дифференцирован, всё без разбору. Но это — Солженицын, и мы должны подходить к нему не с такими мерками, как к обыкновенному человеку. Он великий писатель и имеет право выдвигать теоретические положения о написании слов. Это право фигуры такого калибра».

Осветил награждение и еженедельник «**Итоги**», который так прокомментировал церемонию: «В ответном слове новоиспеченного лауреата «Словарю» был посвящен лишь небольшой раздел, да и там больше говорилось о причинах, побудивших его автора взяться за этот труд, нежели о нем самом. Основная часть выступления была посвящена бичеванию несправедливой власти, плачу по России и отдельно — по ее науке и образованию. В речи и последующих ответах на вопросы журналистов звучали и пассажи о том, что человечество в нравственном отношении идет не вверх, а вниз, и об упадке всей мировой культуры, хорошо знакомые по сочинениям любого «патриотического» теоретика».

Награждение А. И. Солженицына медалью РАН совпало по времени с 275-летним юбилеем российской «колыбели науки». Еженедельник «**Век**» пишет, что на торжественном собрании, посвященном юбилею, «ученый секретарь РАН, академик Николай Платэ сообщил, что «финансовое положение РАН в прошлом году было наихудшим за последнее десятилетие», а президент РАН академик Юрий Осипов назвал зарплату ученых «нищенской». Но даже такую в этом мае выплатили впервые за семь месяцев».

«Необходимо сказать, что рутинная протокольная часть общего собрания прошла стремительно и на одном дыхании. Главная тема всех выступлений — жесточайшая критика социально-экономических концепций, реализующихся в России с 1992 года

и на этом фоне безоговорочная поддержка курса, который проводило правительство Евгения Примакова», — отмечает **«Независимая газета»**.

3 ИЮНЯ «Коммерсант-daily» сообщил, что на Каспии около пятидесяти моторных лодок и катеров браконьеров напали на пограничный корабль, когда его экипаж пытался конфисковать незаконно поставленные сети и тралы. Дело дошло до того, что пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. Чуть-чуть поостыв, обе стороны организовали встречу, на которую пригласили еще и представителей местной администрации. Оказалось, что «сами местные жители не считают себя браконьерами, объясняя свои действия тем, что рыбная ловля для них — единственный способ добыть средства к существованию». Объяснения и убеждения, однако, мало помогли. Потому что после встреч «для усиления борьбы с браконьерами на Каспии на заставу «Избербаш» прибыло подкрепление из 60 омоновцев».

5 ИЮНЯ вся воскресная периодика России отмечала двухсотлетний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ни одна из центральных газет не осталась в стороне от анализа и комментариев по поводу праздника. «С днем рождения Пушкина творится какой-то бред, — заявил на страницах **«Коммерсант-daily»** Владимир Войнович. — Права русская пословица: «заставь мужика Богу молиться, он и лоб расшибет». И это проявляется во всем. Пушкин всегда нужен был власти для оправдания ее поступков. В 1937 году отмечали сотую годовщину смерти поэта, и люди «ушли» в отмечание, чтобы не слышать про лагеря, про то, что соседа арестовали. Чтобы забыть обо всем, что творилось вокруг. А сейчас, когда народ не знает, кому верить, опять можно использовать Пушкина. Надеюсь, что у власти не хватит силы, чтобы вызвать отвращение к Пушкину».

В **«Новой газете»** о Пушкинском юбилее написала Алла Боссарт: «Празднование 200-летия, отраженное пятью каналами телевидения с интенсивностью чемпионата мира по футболу, само собой немного добавило к пониманию Пушкина российским электоратом. Да и задачи такой не было. Другая была задача. Мой знакомый историк архитектуры связывал идейный успех новостройки Христа Спасителя с тем, что все «опупеют от святости замысла». Такая вот примерно цель маячила, судя по всему, перед эпиками юбилейных торжеств. Даже академик Панченко договорился до того, что Пушкин «возглавляет нашу мирскую святость».

«От предвкушения предстоящих пушкинских банкетов сладострастно влажнеют глаза всех нынешних Арчибальд Арчибальдовичей, для которых вся Россия — это горящий ресторан, из которого они под шумок уволакивают под мышкой не только осетровые балыки, но и ракеты, алмазы, и цветные металлы. Они и памятник Пушкину умыкнули бы с площади его имени, да зачем, когда на Пушкине и без того можно хорошо заработать?» — пишет в **«Общей газете»** Евгений Евтушенко.

Как ни странно, с мнениями о пушкинском юбилее известных демократов оказалась солидарна газета **«Советская Россия»**. Вот как оценивала юбилей поэта она: «Среди всего этого великолепия едва заметен памятник поэту, зажатый между англоязычными рекламами американской забегаловки и какой-то узкопленочной аппаратуры. И хотя к юбилею Москву обклеили подобающими портретами и цитатами, лицемерие этой казенной акции очевидно. Призраки, душившие Пушкина при жизни, возвращаются к его 200-летию».

«Московские новости» считают, что «лучший подарок к 200-летию русского поэта сделали не его соотечественники, а англичане. На фоне розочек с надписью «страсть», пистолетов с надписью «честь» и портрета Натальи Николаевны с надписью, естественно, «муза», оцепивших столицу удушливым юбилейным кольцом, фильм «Онегин» поражает истинным накалом чувства».

У газеты **«Труд»** совершенно другой взгляд на юбилей поэта: «День рождения Пушкина — это именно чистая радость. В ней нет ничего партийного, ничего

сомнительного, ничего того, что смущало бы нас или разделяю. И как хорошо, что этот день навсегда в нашем переменчивом календаре».

В этот же день в Сочи открылся X международный фестиваль «Кинотавр», про который газета «Сегодня» написала, что он «возник в порядке шутки. Никто не верил в то, что он протянет еще год и потому каждый год считали последним. Никто не воспринимал всерьез усилий устроителей. Эта несерьезность оказалась принципиальной. Диковатое детище Рудинштейна оказало воздействие на умы. «Кинотавр» исподволь вселял в сознание масс новое представление о кино. Стало понятно, что фильмы снимаются отдельными людьми на деньги других отдельных людей. А «тусовка» позволяет этим людям найти друг друга».

Пресса сообщила, что юбилейный «Кинотавр» начался и кончился скандалами. О первом из них пишет газета «Труд». «Накануне открытия юбилейного «Кинотавра» Никита Михалков заявил, что вопреки информации, распространенной генеральным продюсером фестиваля Марком Рудинштейном, он не давал согласия на участие «Сибирского цирюльника» в конкурсе. Марк Григорьевич послал Михалкову свое извинение».

Второй, гораздо более значительный эксцесс произошел в день вручения наград «Кинотавра». Вот как описывают этот эпизод «Известия»: «Случилось нечто беспрецедентное: скандал выплеснулся на главную сцену фестиваля, где торжественно вручались награды победителям. Сокуровская команда демонстративно отказалась получать причитающийся ей Гран-при — вторую по значению премию фестиваля. Группа фильма «Молох» отказалась принять награду, мотивируя это тем, что решение жюри было продиктовано политическими , а не художественными соображениями. Глава фестиваля Марк Рудинштейн, оставляя свой пост, заявил журналистам, что зависеть от амбиций «творцов» у него нет больше никаких сил. И что пойдет он теперь в домоуправы, то есть в кинопродюсеры».

6 ИЮНЯ в Реутовском суде состоялось оглашение приговора по процессу, за ходом которого, без преувеличения, следила вся Россия. На скамье подсудимых, а точнее — в железной клетке сидела основательница печально известной финансовой пирамиды «Властилина» Валентина Соловьева, едко названная «Новыми Известиями» «Мавроди в юбке». «Всё то время, что шел процесс, особое внимание прессы вызывали фамилии высокопоставленных правительственных чиновников, которых Соловьева упоминала чуть ли не на каждом допросе. Она говорила об Олеге Сосковце, Владимире Шумейко и даже нынешнем министре внутренних дел Рушайло. Эти люди, по словам хозяйки «Властилины», отмывали с ее помощью незаконно нажитые деньги, однако суд признал, что Соловьева называла громкие фамилии лишь для того, чтобы уйти от наказания».

«В речи в свою защиту она давила на то, что все ее «кинули», — пишет газета «Труд», — «Великая махинаторша» винила во всем директора «Мапо-банка», куда якобы по рекомендации певицы Надежды Бабкиной перевела огромные суммы. Она клятвенно обещала вернуть деньги всем своим вкладчикам при условии ее освобождения. Выполнит ли она свое обещание после возвращения из мест не столь отдаленных — покажет время».

«Независимая газета» сообщает, что «по уточненным данным, по вине «Властилины» обманутые вкладчики потеряли по рублевым вкладам свыше 543 миллиардов неденоминированных рублей, а по валютным — 2 миллиона 670 тысяч долларов».

«Коммерсант-daily» комментирует ход процесса так: «Соловьева заявила, что считает себя «честным человеком, чиста перед Богом и людьми» и ни в чем не виновата. Кто виноват, Соловьева объяснить не смогла, хотя и называла разные фамилии, например, Кобзона, Бабкину, Шумейко. Но понять, какое они имеют отношение к ее проблемам, было сложно».

По сообщениям газеты «Сегодня», «приговор оказался мягче, чем требовал прокурор Михаил Декань — семь лет вместо девяти». Газета называет примерное количество обманутых «Властилиной» вкладчиков — 16 500 человек.

«Валентина Соловьева при чтении приговора так и не сняла темных очков. Впрочем, во время перерывов хозяйка «Властилины» улыбалась и шутила, а перед оглашением приговора заявила: «Падать в обморок не буду, не дождетесь!».

По мнению газеты «Известия», «следователи, раскрутившие это дело, могут радостно потирать руки. Впервые в России им удалось доказать вину создателя финансовой пирамиды. Что же до вкладчиков, то приговор суда скорее всего принесет им лишь моральное удовлетворение. Своих денег они так и не увидят».

В этот же день на Дальнем Востоке в одной из частей министерства внутренних дел, расположенной в поселке Чугуевка, произошло ЧП. «45 военнослужащих в знак протеста против издевательства со стороны младших командиров убежали без оружия в самоволку. Поднятые по тревоге сотрудники милиции обнаружили беглецов в соседнем лесу. Выслушав объяснения солдат, которые жаловались на издевательства и отсутствие условий для нормальной жизни, милиционеры отвезли их в соседний детский лагерь отдыха и вызвали туда представителей районной администрации и медиков», — описала происшествие «Независимая газета».

«Коммерсант-daily» добавляет, что среди беглецов было 9 сержантов и что вся группа покинула воинскую часть без оружия, а также что «на телах многих беглецов были следы рукоприкладства и им требовалась помощь врачей». «Служить в такой армии опасно для жизни, — заключает газета «Известия», — осознанием этой опасности вызваны к жизни комитеты солдатских матерей и целая система поставленных на поток способов уклониться от службы».

8 ИЮНЯ исполнился ровно год со дня зверского убийства в Элисте главного редактора газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларисы Юдиной. Эту печальную годовщину «Труд» прокомментировал таким образом: «Убийцы найдены, о заказчике не вспоминают».

Подробнее других газет анализирует работу, проделанную следствием за год, «Независимая газета»: «Горе родных и друзей, возмущение знакомых — всё было оттеснено на второй план мощной кампанией против сразу же обвиненного в убийстве журналистки президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Хотя и нелепо составлять рейтинг погибших коллег, но по общему резонансу убийство Ларисы Юдиной стало третьим после гибели Владислава Листьева и Дмитрия Холодова. Как и в случае со столичными журналистами, убийство Юдиной было заказным. Но в отличие от московских убийств в Элисте удалось буквально в первые дни задержать подозреваемых, которые вскоре сознались в содеянном. Но несмотря на то, что дело об убийстве Юдиной продвинулось значительно дальше всех расследований, следствию не удалось установить политического характера преступления. Убийцы были в разное время связаны с Илюмжиновым и его окружением, но доказать, что заказчиками были два близких к калмыкскому президенту человека — в том числе и его брат Вячеслав, ныне первый вице-премьер правительства Калмыкии, — следствие не смогло».

В годовщину убийства «Новые Известия» опубликовали интервью с пресс-секретарем Главного управления Генпрокуратуры РФ на Северном Кавказе Сергеем Прокоповым, который «отметил, что если исполнители убийства были арестованы по горячему следу, то вычислить заказчиков оказалось очень трудно. На скамью подсудимых сядут Сергей Васькин и Владимир Шакунов, обвиняемые в совершении преступления — убийстве с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах, и также Анатолий Липин — за укрывательство происшедшего».

Газета «Сегодня» добавляет, что «в отношении бывшего полномочного представителя президента республика Калмыкия в Волгоградской области Тюрьби Басхомджие-

ва, также проходящего по делу об убийстве, уголовное дело прекращено в связи с сердечным раскаянием и активным содействием следствию».

9 ИЮНЯ внимание газет было привлечено к Москве, точнее к ее мэру Юрию Лужкову. Во-первых, в этот день Лужков подписал распоряжение о строительстве на Манежной площади столицы хрустальной часовни по проекту известного зодчего Зураба Церетели. «Хрустальная часовня — идея XIX века. Каждый, кто читал «Что делать?», помнит хрустальные дворцы Чернышевского. Эпоха была поражена эффектом торговой витрины, и всё, что открывалось за этой витриной, казалось таинственно-праздничным. В том числе и православный культ, — комментирует новость **«Коммерсант-daily»**. — Представляете, в храме идет служба, а стены — стеклянные. Это же красиво. Всё как на витрине. Эта программа идеальна для торгового комплекса «Охотный ряд», ибо объединяет торговлю и культ в единый визуальный образ достижений Юрия Лужкова».

С трудом удерживались от иронии и **«Аргументы и факты»**, раскрывая подоплеку истории с проектом часовни. «Москомархитектура, наученная опытом не утихающих споров по поводу памятников в исполнении Церетели, выбирала, чему быть на Манежной: часовне из хрусталя в исполнении Церетели, часовне в историческом виде из кирпича или просто памятному знаку в честь Александра Невского. Победил, как нетрудно догадаться, З. Церетели. Его проект самый дорогой из трех — один миллион долларов. Но дело тут не только в фигуре самого любимого городской властью художника, а еще и в том, что его хрусталь — авиационное стекло. Заказ на изготовление конструкций из него получил уже подмосковный авиастроительный завод фирмы Туполева».

Второе событие, связанное с московским мэром, касалось грядущих выборов. В Московской мэрии в этот день состоялось голосование по вопросу о переносе сроков выбора мэра Москвы. Постановление, по данным газеты **«Сегодня»**, называлось «О сокращении срока полномочий мэра Москвы», и за него проголосовало 28 членов московской думы, а против — один. «Предшествовала же этому событию почти трогательная пропагандистская суета в окружении мэра, — писала газета. — Окружение изо всех сил пыталось подвести идеологическую базу под простое человеческое желание мэра подстраховаться на выборах в президенты, будучи уже избранным на четыре года главой города и сенатором».

Газета **«Труд»** считает, что «совмещение двух избирательных кампаний, по мнению московских депутатов, дает возможность более эффективно использовать отпущенные на них деньги и сэкономить средства из городского бюджета».

10 ИЮНЯ страшная катастрофа потрясла Санкт-Петербург. В результате падения на прохожих многотонного бетонного козырька вестибюля станции метро «Сенная площадь» погибли на месте пять человек, еще двое умерли от ран в больницах, многие десятки питерцев получили ранения.

В отношении причин катастрофы мнения прессы разделились на диаметрально противоположные — в зависимости от политической ориентации газет. Мнение демократической печати наиболее полно выразили **«Новые Известия»**: «Во время когда строился павильон станции метро (начало шестидесятых), строителей заставляли экономить стройматериалы на стадии проектирования. Есть основания полагать, что в данном случае и был сэкономлен металл — то ли в виде арматуры, то ли в виде балок. Что ж, за это получили премии».

«Советская Россия» полагает, что причиной катастрофы явилось не нарушение правил строительства во времена советской власти, а грубые ошибки современных властей города. «Многие специалисты склоняются к тому, что причиной трагедии могли стать резонансные колебания, — пишет газета. — Дело в том, что облик Сенной площади в последние годы резко изменился. И не в лучшую сторону. Сейчас большую

ее часть занимает оптово-розничный продуктовый рынок. В самом центре площади забором огорожена стройка, при этом трамвайную линию вынуждены были перенести, передвинуть ее ближе к станции метро. И вот оказалось, что прямо под трамвайными путями на глубине всего нескольких метров располагаются переходы и общий вестибюль. Еще ниже — платформы метро. Такая двухуровневая система подземных пустот таит в себе опасность. Когда сверху проходит трамвай, он вызывает колебания почвы, а внизу поезда подземки также вызывают волны микровибрации. Когда амплитуда наземных и подземных колебаний совпадает, возникает резонанс, который за ряд лет мог привести к появлению в бетоне внешне незаметных волосяных трещин».

Похороны жертв трагедии на Сенной площади прошли в Санкт-Петербурге **14 ИЮНЯ**. И были, как пишет **«Труд»** , «окутаны тайной. Известно лишь, что заплатит за них метрополитен. Это правильно, но встает вопрос: какую ответственность власти несут за гибель людей? С моральной — все ясно, а вот с правовой ответственностью-то как? В любой цивилизованной стране родственники погибших и пострадавших в такой аварии могли бы по суду буквально разорить городскую администрацию. А у нас?»

«Прошедшие похороны оказались более чем скромными. Ни на одной из процессий не присутствовали представители администрации города, более того, в те дни в городе шла череда развлекательных мероприятий в рамках праздника Дня независимости. В субботу она достигла своего апогея, когда на Дворцовой площади проходила помпезная феерия — пивной фестиваль, на котором звучала разудалая музыка и в небо взмывали тысячи разноцветных шаров», — описывала происходящее в Санкт-Петербурге **«Независимая газета»**.

Еще критичнее выступила газета **«Сегодня»**, которая писала: «Как считают многие жители Санкт-Петербурга, городские власти сделали все, чтобы показать свое равнодушие к людям. Убеждение это родилось не на пустом месте. Сегодня питерцев терзают два вопроса: почему не объявили траур и почему мэрия не перенесла хотя бы на неделю ежегодный пивной фестиваль, пришедшийся на 12—13 июня».

Прошедший на фоне трагедии в Санкт-Петербурге **12 ИЮНЯ** День независимости был встречен прессой достаточно однозначно. Типичной можно считать его оценку на страницах **«Независимой газеты»**: «Вряд ли в этом году этот день станет сколько-нибудь заметным событием. Скорее всего для большинства наших соотечественников это будет прибавкой к традиционным выходным дням — еще один день на приусадебном участке, на пляже».

Однако в канун национального праздника в российском Генштабе принимались ответственные решения по вводу российских десантников-миротворцев в Косово, потому что, по сообщению еженедельника **«Аргументы и факты»**, «на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня независимости президент появился в заметно приподнятом настроении. Гости тут же сообразили, что ночной марш-бросок российских десантников в Косово не стал для него неожиданностью. По некоторым сведениям, идею хоть в чем-то переиграть натовцев, подали Борису Ельцину сами военные — в качестве своеобразного подарка к празднику. Подарок пришелся по душе, и командующий операцией генерал-лейтенант В. Заварзин стал генерал-полковником. Зато министр иностранных дел И. Иванов и спецпредставитель по Югославии В. Черномырдин оказались в довольно глупом положении. Как говорят, ночную вылазку, едва не стоившую нам серьезной ссоры с Америкой, они прямо на приеме критиковали в довольно крепких русских выражениях».

На сложное положение, в которое попали Игорь Иванов и Виктор Черномырдин, судя по всему не информированные президентом заранее о предстоящей операции, обратила внимание и **«Новая газета»**: «Из высшего руководства страны не знали о вводе российских десантников в Косово все должностные лица, которые обязаны квалифицированно поддерживать или сдерживать решения главнокомандующего. Чер-

номырдин и Иванов вынужденно демонстрируют «единство взглядов» с Ельциным и Генштабом по поводу марша десантников в Косово. Уже никто не говорит, что президент их просто обманул, не поставив в известность: в МИД всю ночь шли переговоры, а БТРы в это время катили в Приштину. Кося глазами от вранья, участники истории лепечут об «исторической победе России».

«По нашим сведениям, об операции знал в военном ведомстве очень узкий круг лиц, — продолжает тему **«Общая газета»**. — Среди них, кроме Сергеева и Квашнина, начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Юрий Балуевский, начальник ГРУ ГШ генерал-полковник Валерий Корабельников и начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО генерал-полковник Леонид Ивашов и его заместитель генерал-лейтенант Николай Зленко. А после ее проведения руководство натовских государств оказалось перед свершившимся фактом: русские стояли в Косове. Не считаться с этим они уже не могли. Тем более, что юридически позиция российской группировки оказалась безукоризненной. Ни один международный документ она не нарушала».

Итак, марш-бросок российских десантников из Боснии в Косово, а точнее в приштинский аэропорт Слатина, состоялся **11—13 ИЮНЯ** . «Передовой отряд российских десантников в результате многочасового марш-броска из Боснии в Косово совершил то, что большинству аналитиков представлялось уже совершенно невозможным: Россия, казалось бы, полностью вытесненная на Балканах на геополитические задворки, совершенно неожиданно получила возможность изменить ситуацию в свою пользу и в пользу своих союзников сербов», — писала **«Советская Россия»**.

«Трюк с захватом российскими десантниками Приштинского аэродрома сам по себе, конечно, остроумен: такую «кузькину мать» НАТО еще никто не демонстрировал. Билл Клинтон узнал о входе русских в Косово из телерепортажа CNN», — отметила газета **«Сегодня»**.

«На рассвете в воскресенье (*13 июня — А.К.*) наши десантники блокировали подъездные дороги к аэродрому и отказались пропустить британскую военную колонну, попытавшуюся совместно с французами разместиться там, — сообщает дополнительные подробности **«Труд»**. — После напряженной перепалки и безуспешных переговоров британцы в конце концов были вынуждены уйти из Слатины. Восторгу и ликованию сербов в Приштине не было предела». **«Труд»** цитирует белградскую газету **«Вечерние новости»**: «Даже внезапная высадка русских на Марсе не вызвала бы у американцев и их союзников такого шока, как появление русских БТР в Слатине».

«Принимая решение о переброске части сил отдельной бригады ВДВ РФ из состава боснийского миротворческого контингента на территорию Косово, Генеральный штаб рассчитывал на определенный политический эффект. Теперь становится очевидным, что этот эффект полностью оправдал себя. Внезапное появление российских десантников в Приштине, с ходу взявших под контроль аэродром Слатина — главный стратегический объект в мятежной югославской провинции, — в корне изменило позиции Москвы на вялотекущих переговорах», — комментирует **«Независимая газета »**.

«Чего добилась Москва своим отчаянным жестом? — вопрошают **«Известия»**. — Многого. Западные политики, привыкшие в последнее время ставить россиян перед свершившимся фактом, убедились: Кремль тоже способен играть на опережение. Теперь, когда русские десантники не только обозначили свое присутствие, но и установили контроль над аэродромом Слатина, от них так просто не отмахнуться»

На вопрос, поставленный **«Известиями»**, **«Московские новости»** дают принципиально другой ответ: «При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется, что «утерли нос» мы не американцам, а самим себе. Ну как можно относиться к стране, где министр иностранных дел божится, что солдаты его страны в Косово ни в коем случае не пойдут, а через несколько часов эти самые солдаты на танках входят в Приштину? Командую-

щий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк нашел для «ответного хода» российских воинов только одно определение: «нелепая акция».

«Итоги» сообщают неизвестные детали марш-броска: «Хотя военные активно распространяют среди журналистов версию о том, что план марш-броска, завершившегося захватом аэродрома Слатина в Приштине, был продуман от начала до конца, многое указывает на то, что мы имеем дело с военно-политической импровизацией. Судя по всему, сначала предполагалось двинуть роту только до границ Косово, дабы продемонстрировать решимость России войти в край одновременно с натовцами. Однако, увидев, какой ажиотаж в мировых СМИ вызвало движение конвоя, генералы отважились рвануть и дальше».

События в Слатине отодвинули на второй план начавшуюся в Ле-Бурже во Франции 43-ю авиакосмическую выставку. «Настоящим хитом салона в Ле-Бурже стала впервые представленная широкой публике новейшая российская легкая ракетоноситель «Ангара-1.1» Местные журналисты, которых трудно упрекнуть в отсутствии патриотизма, признали, что российская «Ангара» полностью затмила выставляемые здесь европейские Ariane», — сообщал «Коммерсант-daily» .

Описывая российские экспонаты на выставке, «Независимая газета» обращает внимание на новейшие системы ночного видения отечественного производства. «То, что США обошлось в 1,2 миллиарда долларов и на что ушло 10 лет, в России было сделано за счет «частника» (без госфинансирования) в рекордно короткие сроки. Министерство обороны РФ получило очки ночного видения, прицельные и наблюдательные системы для авиации третьего поколения, которыми располагают только США. Работали по заказу «Росвооружения», поскольку ни одного ночного самолета или вертолета в России не было. За восемь месяцев сделали «ночные» Ми-24 и Ми-17».

Во время демонстрационного полета на салоне в Ле-Бурже чуть было не произошла катастрофа,— прямо на летном поле разбился российсий истребитель Су-30МК. К счастью, и пилот и штурман остались живы. «Как подчеркивают специалисты, это была не катастрофа, а авария, — объясняет газета «Известия». — Разница между ними проста — нет погибших. Экипаж Су-30МК — летчик-испытатель Вячеслав Аверьянов и штурман Владимир Шендрик — в течение суток после аварии проходили всестороннее обследование во французском госпитале. Врачи пришли к заключению, что при катапультировании они не пострадали».

«Если бы в подобную ситуацию попал любой другой самолет, исход полета был бы куда печальнее, — описывала инцидент «Красная звезда», — Но даже когда стало ясно, что запас высоты исчерпан, экипаж делал все, чтобы увести самолет от столкновения с землей. За счет того, что Су-30МК имеет двигатели с изменяемым вектором тяги, летчикам удалось буквально преломить траекторию полета, но 23-тонная машина всё же зацепила землю и загорелась».

Газета «Сегодня» прокомментировала аварию так: «Нам по-прежнему всё еще хочется хоть чем-нибудь гордиться. Но для национального здоровья все-таки полезнее своевременно расставаться с легендами. Россия уже далеко не первая в мире авиадержава, пилоты других стран летают, может, и похуже наших, но у них нет острой необходимости рисковать. А чтобы продвинуть отечественные крылья на плотно занятый мировой рынок, приходится вытворять в небесах невообразимое».

Как бы подводя итоги, «Коммерсант-daily» пишет, что «после крушения многоцелевого истребителя Су-30МК внимание к российской экспозиции не только не пропало, но даже несколько усилилось».

Большое внимание прессы привлек к себе так называемый «Русский Давос» (официально именовавшийся III экономическим форумом), открывшийся в Санкт-Петербурге 16 ИЮНЯ , на котором с докладом «Экономическое положение в стране и видение России в XXI веке» выступил премьер-министр Сергей Степашин. «Россий-

ская чиновничья элита по традиции использовала форум как площадку для программных заявлений. В частности, глава Центробанка Владимир Геращенко заявил, что если депутаты не примут согласованные с МВФ законопроекты, правительство применит жесткие меры для увеличения сбора налогов. Сергей Степашин обещал поддерживать отечественных товаропроизводителей и «отзывать лицензии у тех банков, которые растаскивали народное благосостояние». Что касается начальной цели Петербургского форума — обсуждения экономики России в контексте отношений с партнерами по СНГ, — она, как и на прошлых форумах, отошла на второй план», — анализировали результаты съезда **«Известия»** .

По сообщению **«Независимой газеты»** , заканчивая свой доклад, премьер-министр Степашин все же вышел за рамки чисто экономических прогнозов и не удержался от предупреждения своим политическим оппонентам: «В России сильны традиции, граничащие с экономической безответственностью, — сказал премьер. — Опасно, прикрываясь заботой о людях и уровне их жизни, вести этих людей на грань экономической катастрофы».

В день открытия в Питере столь важного форума, газета **«Труд»** сообщила о демонстрации в Петропавловске-Камчатском. «Доведенные до отчаяния люди требовали не политических свобод и даже не погашения долгов по зарплате. Они требовали включить электричество. Энергетический кризис на отрезанном от внешнего мира полуострове перерастает в катастрофу».

Тревожные сообщения пришли *в этот же день* из Ставропольского края, где в Нефтекумском и Курском районах было убито восемь местных милиционеров, которых газета **«Известия»** называет «казаками в милицейской форме». Вот что пишет газета **«Коммерсант-daily »**: «Рассматриваются несколько версий преступления. По одной из них, нападение было совершено с целью захвата оружия. По другой, милиционеры неся службу на КПП, поссорились с какими-то кавказцами, отказались пропустить их груз, и те отомстили им. Не исключен также и чеченский след».

Через несколько дней **«Известия»** опубликовали предварительные результаты расследования трагедии. «Выяснилось, что милиционеры на боевом дежурстве в двух шагах от чеченской границы явно расслабились и утратили бдительность. Один из них, оставив оружие, принялся косить сено. Словом, охранники рубежей стали довольно легкой добычей бандитов».

На следующий день после трагедии газета **«Сегодня»** описывает меры, предпринятые властями в Москве и в Ставрополе: «Вчера Москва приняла решение о фактической блокаде Чечни. Закрыты практически все КПП на административной границе с Ичкерией. Кроме того, выделены 2 миллиона рублей на обустройство технических средств и защиты границы: валов, рвов, контрольно-следовых полос».

Напряженность *в этот же день* на границе продолжала расти. «Поздней ночью военная разведка засекла колонну из 15 грузовиков с боевиками, которая двигалась в сторону дагестанской границы, — описывал следующий эпизод **«Коммерсант-daily»**. — В воздух немедленно подняли четыре боевых вертолета Ми-24 и Ми-8, которые нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по грузовикам. Как потом говорил заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенант Станислав Кавун, было уничтожено около 200 боевиков, но трупов и разворошенных машин так никто и не увидел».

18 ИЮНЯ пресса сообщает о выходе Конгресса русских общин, возглавляемого Дмитрием Рогозиным, из лужковского блока «Отечество». «Поводом для развода стали не только идеологические разногласия, — комментирует **«Сегодня»**, — но и чисто аппаратные интриги. Оказывается, если верить лидеру КРО Дмитрию Рогозину, «Отечество» стремительно «обюрокрачивается», приобретая все полагающиеся по такому случаю «кремлевские болезни», включая главную — борьбу за «доступ к телу».

Так, по словам Рогозина, он на протяжении последних дней предпринимал неоднократные попытки лично поговорить с Лужковым, но безуспешно».

«КРО недоволен тем, что «Отечество» собирается вступать в «сомнительные альянсы», — пишет по этому поводу **«Коммерсант-daily»**. — Таким альянсом Рогозин называет сближение «Отечества» с губернаторским блоком «Вся Россия». Во-первых, Рогозин возмущен совмещением выборов московского мэра и Госдумы. Эти решения для Рогозина и его организации действительно никаких радужных перспектив не сулят. Они отодвигают КРО на обочину политической жизни».

«КРО, по заверению Рогозина, — продолжает тему **«Независимая газета»**, — готов выдержать самостоятельный поход на Охотный ряд. Правда имена возможных союзников, с которыми КРО «обязательно» будет блокироваться, здесь упорно замалчивают. Между тем Рогозину «не хочется разрывать человеческих отношений» с Лужковым и покидать работу в политсовете «Отечества». Видимо, КРО не до конца уверен в том, что даже вкупе с друзьями, но отдельно от Лужкова сможет преодолеть барьер».

19 ИЮНЯ в Москве снова произошел инцидент, связанный с именем Юрия Лужкова. Совершенно неожиданно вертолет московского мэра, на котором он и губернатор Московской области Анатолий Тяжлов собирались совершить облет Подмосковья, не получил разрешения авиационного начальства на взлет. «Юрий Лужков назвал помехи его деловому полету просто «абсолютно дурацкими и абсурдными действиями», которыми «хотят осложнить работу». Московский мэр отправился на поля Подмосковья на автобусе, а «вертолетная ситуация» в итоге стала лишь новым анекдотом», — описывает инцидент газета **«Труд»**.

Разобрались в причинах запрета лишь через несколько дней. По информации газеты **«Известия»**, «главком ВВС Анатолий Корнуков лично принял решение о запрете полета вертолета, на котором мэр Москвы Юрий Лужков планировал совершить облет Московской области. По его словам, такое решение было принято ввиду того, что «не были проделаны необходимые процедуры по обеспечению безопасности полета». Все виновные в инциденте «будут строго наказаны, а Юрию Лужкову я принесу личные извинения», — отметил главком».

«В свою очередь Юрий Лужков предложил прекратить обсуждение этого инцидента. «Я с юмором отношусь к ударам судьбы, — сказал московский мэр, пошутив, что «они дорожили безопасностью московского мэра и губернатора Подмосковья Анатолия Тяжлова,и поэтому мы не полетели на вертолете», — писала газета **«Сегодня»**.

«Язык мимики и жестов становится основным методом общения российского президента с внешним миром», — так откомментировала **21 ИЮНЯ «Независимая газета»** общение на саммите ОБСЕ в Кёльне Бориса Ельцина со своими западными коллегами.

«Москва предложила необычный формат собственного участия в саммите: два дня Россию будет представлять премьер-министр Сергей Степашин, а в день закрытия 20 июня свое место за столом переговоров займет Борис Ельцин. Официальное объяснение Кремля таково: первые два дня запланированы для обсуждения в основном экономических проблем, в то время как более сложные политические вопросы будут дискутироваться в последний день. Политкорректность, исповедуемая на Западе, заставила организаторов и участников встречи согласиться с аргументами Кремля, но никак не разрешила мучающих их сомнений: семь лет Россия рвалась к полноценному участию в «восьмерке», а на восьмом вдруг решила, что проблемы глобализации экономики и мировой финансовой системы не заслуживают внимания главы государства», — отметил еженедельник **«Век»**.

«Независимая газета» положительно оценила результаты саммита для России: «Цель, которая была поставлена главой российского государства, была им достигнута. Президент презентовал себя на международной арене как бы заново, выступил с рядом

конструктивных внешнеполитических инициатив, встретился с рядом мировых лидеров. И, наконец, в очередной раз, пусть внешне, продемонстрировал силу».

«Московские новости» взглянули на саммит под другим углом зрения: «При всем облегчении, испытанном Западом после смягчения позиции Москвы в отношении Косово, для него Россия еще долгое время будет оставаться политическим и экономическим пациентом. И хотя Россия добилась для себя статуса «значительного участника» миротворческих сил в Косово, в клубе «восьмерки» наша страна еще долго будет считаться хоть и почетным, но все же крайне непредсказуемым членом. Из тех, кто уходят из Боснии, не прощаясь, а в Косово приходят, не здороваясь».

23 ИЮНЯ газета «Сегодня» сообщила о назначении Георгия Бооса, бывшего налогового министра, руководителем избирательной кампании блока «Отечество». «В «Отечестве» Юрия Лужкова — кадровая революция, — писала газета, — сформирована руководящая «тройка», которая должна вести движение к успеху на парламентских выборах. Начальником избирательного штаба стал Георгий Боос, куратором информационной работы и главным имиджмейкером Сергей Ястржембский. По некоторым данным, в руководстве движения возрастает роль его главного «регионалыцика» Вячеслава Володина, 35-летнего доктора юридических наук, близкого к саратовскому губернатору Дмитрию Аяцкову. Инициатором перемен стал сам Юрий Лужков, который тем самым фактически выразил недоверие большей части аппарата движения».

В этот же день из международного аэропорта Шереметьево-2 вылетел на Белград первый самолет «Аэрофлота». «Как и раньше, полеты по маршруту Москва—Белград—Москва будут производиться четыре раза в неделю на самолетах ТУ-154 и ИЛ-86. После 85-суточного перерыва в связи с военными действиями международный аэропорт в Белграде возобновил свою работу», — писали «Известия».

21 ИЮНЯ в России начались стратегические командно-штабные учения «Запад-99». «Учебная цель — применение группировки вооруженных сил РФ, союзных государств, других войск при отражении агрессии с западного направления. Следует отметить, что в нынешнем году боевая учеба нашей армии и флота резко активизировалась», — сообщает «Труд» .

В связи с учениями «Красная звезда» отметила, что «показатели учений говорят о многом. Наша армия и флот не снизили боеготовности. А в целом «Запад-99» — это заметный шаг на пути к возрождению в стране авторитета человека в погонах».

«Особое внимание уделяется Калининградскому анклаву. Дислоцирующаяся здесь единая военная группировка должна доказать свою жизнеспособность в условиях морской и сухопутной блокады. Впрочем, на выручку российской армии в Калининград, по планам, должны подоспеть части братской белорусской армии. В ходе учений «Запад-99» впервые предполагается развернуть региональную группировку войск двух союзных стран для совместного отражения агрессии», — писали «Известия» .

22 ИЮНЯ в Москве был обстрелян из автомата «Калашникова» офис компании «Русское золото». Обстрел велся из красных «Жигулей», припаркованных напротив офиса. Столь заурядное для столичной жизни событие стало сенсацией благодаря качественному скачку в техническом арсенале бандитов — «оказалось, что прикрепленный с помощью специальной подвижной конструкции к пассажирскому сидению «Калашников» приводится в действие дистанционно. Управлял им преступник, сидевший в кустах неподалеку, там оперативники нашли пульт управления. С таким устройством российская милиция сталкивается впервые, да и в мировой практике таких случаев не было», — описывает происшествие «Коммерсант-daily».

В ночь с 24 на 25 ИЮНЯ в рамках учений «Запад-99» в воздух были подняты две пары стратегических бомбардировщиков 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской Краснознаменной дивизии — Ту-160 и Ту-95МС. Бомбардировщики взяли курс на Исландию и, не заходя в ее воздушное пространство, имитировали пуски ракет.

«Новые Известия» отметили, что натовские перехватчики, расквартированные в Норвегии, на этот раз опоздали с воздушным перехватом российских стратегических ракетоносцев.

Зато по информации «Известий», «в ходе маневров российские военные не раз жаловались на то, что «Запад-99» вызвал повышенный интерес со стороны зарубежных военных разведок. Активнее всего вели себя натовцы на севере: там в ходе учений кораблям российского Северного флота даже пришлось «вытеснять» из района маневров норвежское разведывательное судно «Марьята» и 13 раз приводить истребители ПВО в готовность к перехвату барражировавшего вдоль границы воздушного разведчика «Орион».

28 ИЮНЯ «Независимая газета» пишет об окончании суда над двумя членами Национал-большевистской партии, забросавших весной в Центральном доме кино яйцами Никиту Михалкова. «Суду также были представлены как вещественные доказательства белые брюки Никиты Михалкова от костюма (стоимостью 2700 долларов), бывшего на нем в тот злополучный день. К брюкам прилагалось заключение, что на них действительно имеются следы разбитых яиц, а не что-нибудь иное». Газета сообщила, что по статье 213 (злостное хулиганство) «яйцеметатели» Бахура и Горшков приговорены условно к 2 годам и шести месяцам заключения.

«По мнению большинства присутствующих, испачканный костюм режиссера и сидящий четыре месяца в тюрьме Бахура — абсолютно несопоставимые величины», — резюмировали «Известия».

29 ИЮНЯ, по сообщению газеты «Сегодня», в Москву из Швейцарии вернулся Евгений Примаков. В Швейцарии ему была сделана операция «по поводу обострения радикулита». «Операция не относилась к разряду очень сложных и прошла успешно. Единственное, что рекомендовали Примакову врачи, это временно уменьшить физические нагрузки», — сообщила «Независимая газета».

В этот же день в Никольском соборе в центре Казани была украдена «уникальная икона Казанской Божьей Матери». В краже иконы, серебряный оклад которой украшен бриллиантами, а стоимость превышает 500 тысяч долларов, подозревают одного из служителей собора», — информировал «Коммерсант-daily».

История с драгоценной иконой завершилась уже **30 ИЮНЯ** в Москве, где милиции удалось найти не только похищенную святыню, но и арестовать преступника. «Известия» сообщают, что «он состоял на службе в одном из пригородных сельских храмов, принимал участие в его восстановлении. В Никольском соборе О.К. был своим человеком, часто приезжал сюда по делам и входил в круг лиц, имевших доступ к алтарю». Арестован О.К. был после того, как продал икону в один из столичных антикварных магазинов за 9 тысяч долларов.

Обзор подготовил Аркадий Тагунов

Юрий КАГРАМАНОВ

РОССИЯ И МУСУЛЬМАНСКИЙ ЮГ

Наш мир подобен скалам и горам,
Что сказано — вернется эхом к нам!

Джалаладдин Руми.
«Поэма о скрытом смысле».

Ломоносов писал: Каспийские степи — пятки России. Сказать, что они превратились в ее ахиллесову пяту, было бы, наверное, сильным преувеличением. Несомненно, однако, что именно Каспийские степи (с простирающейся к востоку от них равниной) становятся для России в некоторых отношениях самой уязвимой стороной, ибо здесь проходит ее граница с внешним мусульманским миром, отношения с которым делаются всё более напряженными и даже драматичными.

Эта географическая зона уже привлекла к себе пристальное внимание геополитиков, измеривших и исчисливших многое, что можно в данных пределах измерить и исчислить. Работа сама по себе полезная, но явно недостаточная. Геополитик напоминает мне разведчика-пластуна, изъездившего брюхом поле боя, но не удосужившегося встать и взглянуть в лицо противнику. Слова «противник» и «поле боя» я употребляю главным образом фигурально, хотя и буквальный их смысл, увы, остается актуальным: войны и, тем более, «войнишки» уже имели место к югу от указанного рубежа и как бы не перекинуться им дальше к северу.

Настоящая статья есть попытка увидеть «противника» лицом к лицу. А также увидеть собственное лицо в глазах «противника».

1. «Юный пластицизм»: утраченный секрет

Отношения России с мусульманским миром проедставляют, собственно, главу в общей истории Европы. Подобно остальной Европе, Россия прошла через фазу обороны от мусульман, которую со временем сменила наступательная фаза.

Юрий КАГРАМАНОВ — родился в 1934 году в Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Эта общность судеб всегда осознавалась русскими, а иногда особо, быть может, даже чересчур жирно подчеркивалась. Так, Державин в оде «На взятие Измаила» высшую цель русского наступления видел в том, чтобы «отмстить крестовые походы», то есть отмстить за поражение, понесенное в крестовых походах, в которых Россия, как известно, не участвовала.

Замечательно, что воспетые Державиным походы Суворова и Румянцева совершались по воле царицы, водившей эпистолярную дружбу с Вольтером. Секуляризация набирала силу в Европе, и Россия с некоторым запозданием следовала за нею и в этом отношении; соответственно менялся смысл ее внешней экспансии. Но происходило это не вдруг, а врастяжку — на долгие десятилетия. Еще Пушкин, отражая общее мнение, видел главную задачу русских на Кавказе в проповедовании Евангелия. Но уже в середине XX века акценты сместились: главной задачей, на Кавказе и в Средней Азии, стали считать приобщение к европейской цивилизации.

Генерал М. Скобелев, принимавший участие в завоевании Средней Азии и одно время бывший ферганским губернатором, говаривал, что Азию надо бить не только по загривку, но и по воображению. Били, главным образом, тем, что называется достижениями цивилизации. В этом смысле русский «арсенал» непрерывно пополнялся новинками науки и техники: к скорострельным пушкам добавились самодвижущиеся машины, а потом еще летательные аппараты, музыкальные ящики и многое другое — «чудеса», действительно поражавшие воображение и медленно, но неуклонно разрушавшие в сознании мусульман их традиционную космологию.

Но и в характере народа-завоевателя было нечто, что заставляло покоренных по меньшей мере мириться с его господством, а по большей — стараться ему подражать. Это свойство русских Герцен назвал «юным пластицизмом». «Россия, — писал он, — как вода обходит племена со всех сторон, потом накрывает их однообразным льдом самодержавия и под ним делает из калмыков солдат, из поклонников Далай-Ламы защитников православия, из немцев **отчаянных** русских патриотов». Добавим сюда мусульман, которые, хотя стойко держались своей прежней веры, белому царю служили не за страх, а за совесть. Так, воинские подразделения, состоявшие из мусульман Кавказа, принимали участие в завоевании мусульманской же Средней Азии, а генерал С. Алиханов (мусульманин, лезгин по национальности) завершил этот процесс, присоединив к России обширные территории к югу от Аму-Дарьи.

Стоит вспомнить, что в 1917 году мусульманские воинские части, в отличие от русских частей, сохраняли преданность низверженному царю, покуда это было возможно.

Конечно, была в русском завоевании и другая сторона, о которой тоже не следует забывать (точнее, которую русским еще предстоит для себя открывать). Были жестокости, без чего, впрочем, редкое завоевание обходится. Были попытки насильственного обращения мусульман в христианство — казанских татар при Иване IV, казахов при Елизавете. Как правило, однако, обе религии относительно мирно уживались под эгидой русских властей. А после 1905 года практически все ограничения для мусульман были сняты и даже движения националистического

толка, враждебные империи (но не русским[1]), получили возможность более или менее свободного развития.

2. Разбитые горшки

Большевикам часто ставят в заслугу то, что они восстановили империю, хотя бы и под красным флагом. Фактически так оно и вышло, но надо помнить, что изначально они ставили перед собой совсем иную цель; создание мировой советской республики. Одержав победу в гражданской войне, они двинули свои войска на запад и на юг. И остановились там, где их остановили. На юге остановка почти полностью совпала с границами прежней империи. Попытки захватить Персию (где одно время существовала «Персидская советская республика»), «китайский Туркестан» (Синьцзян) и разжечь революцию в Афганистане не удались — «сопротивление материала» не позволило.

Сейчас уже трудно представить романтическо-коммунистическую экзальтацию, сопровождавшую начальный период существования советской власти. «Мировая мечта, что кружила нам головы» (Б. Слуцкий), выношенная поколениями утопистов, «граждан спекулятивной области», обнимала собою всех «голодных и рабов» земного шара, независимо от национальности. В такой атмосфере в ноябре 1917 года Совнарком принял «Декларацию прав народов России», провозгласившую равенство народов бывшей империи и право каждого из них распоряжаться собой; вплоть до отделения от России. Декларация произвела сильное впечатление во всем мире, особенно в колониальных и зависимых странах. Правда, власти быстро окоротили энтузиастов отделения; было разъяснено, что распоряжаться собой можно только в н у т р и мировой республики советов. Все несогласные с такой точкой зрения были заклеймены, как «буржуазные националисты».

Тем не менее равенство по принципу национальности было действительно проведено в жизнь; хотя бы и на уровне бедности. «Нацмены» получили даже некоторые преимущества, сравнительно с русскими; в частности, мусульмане поначалу не были стеснены в религиозных отправлениях, как это происходило с православными. Но только поначалу. В стратегическом плане любая религия подлежала искоренению. «Это змеиное жало /Ислама/ В тысячелетней/ Пыли» (В. Луговской) следовало вырвать, как и «жало» православия. Обе религии были нетерпимы в качестве соперниц коммунистической идеологии и коммунистического универсализма в частности.

Дальше произошло то, что должно было произойти: идеалистического карася в коммунистическом движении слопала реалистическая щука. К власти пришло возродившееся племя сквозник-дмухановских и угрюм-бурчеевых; отличие их от прежних было в том, что они проглотили коммунистический аршин, который не

[1] Глава башкирских националистов Заки Валиди, иначе Валидов (после революции одно время сотрудничавший с советской властью, но затем удалившийся в эмиграцию), пишет в своих «Воспоминаниях», что он и его товарищи видели в России притеснителя, но к русским относились, как к друзьям.

могли отрыгнуть до самой «перестройки». В мусульманских республиках они создали номенклатурные кадры по своему образу и подобию с некоторой поправкой на «местные условия»; место старых баев, таким образом, заняли новые. Похоже, что это единственное крупное «достижение» советской власти, которое пока остается более или менее незатронутым.

Конечно, в советский период продолжались усилия по насаждению цивилизации, начатые в предреволюционные годы. Создавалась транспортная сеть, строились города, наладилось медицинское обслуживание, множились образовательные учреждения, при всех их недостатках дававшие определенные знания; большое позитивное значение имело, например, изучение русского языка. Но значительная часть сделанного оказалась гораздо менее прочной, чем это еще недавно, в годы, непосредственно предшествовавшие «перестройке», можно было подумать. Уж больно легко возродились во многих местах бывшего «красного Востока» диковатые нравы, не столько даже исламские, сколько доисламских времен.

Отступление России из бывших своих южных владений — это тоже часть общего отступления европейцев (за которыми последовали североамериканцы) из стран Третьего мира, во многих случаях, возможно, преждевременного, вызванного частичной неудачей колониального «проекта». Но европейцы уходили, как правило, с барабанным боем, загодя позаботившись о том, чтобы оставить за собою некоторые права и позиции, а с нашей стороны была поспешная ретирада, когда всё было брошено на произвол судьбы. И прежде всего русские люди, проживавшие в бывших «союзных республиках».

Если частичный неуспех европейского колониального «проекта» объясняется, как я полагаю, его недостаточной духовной «обеспеченностью», то с советским «проектом» дело обстоит значительно хуже: тут уже речь идет о полной его онтологической безосновности. Попытка вырастить «нового человека», естественно, окончилась глубокой деморализацией всех слоев общества. Русского общества в первую очередь. Что сейчас говорят о русских в Средней Азии и на Кавказе? Они-де «неумехи», «жалкие пьяницы» и даже, паче того, «рабы» (каково это слушать в бывших колониях!). В той мере, в какой мусульманские части бывшего СССР еще сохраняют европейские ориентации, они обращаются, через голову России, к Западу, где есть, по крайней мере, экономическое процветание, высокие технологии и многое другое.

Что осталось после русских? Преимущественно разбитые горшки. Идет стремительная дерусификация вчера еще «братских» окраин. Изучение русского языка в школах резко сокращается или отменяется вообще (да и посещают школы всё меньшее число детей); его вытесняет где английский, а где арабский. Подрастающее поколение почти уже не владеет русским языком, а историю изучает (если изучает) по учебникам, малюющим Россию одной только черной краской. Что касается русских меньшинств, проживающих в мусульманских республиках, то можно не сомневаться в том, что в недалеком будущем их там практически не останется (за исключением, будем надеяться, Казахстана). Останутся лишь русские кладбища, да и те с течением времени занесет песком.

Пока что менталитет туземных элит в значительной мере является советским, а из советского наследия наиболее прочной частью остается национализм. Его исподволь выхаживали на протяжении десятилетий, когда национальное было разрешено и даже поощрялось (а кое-где искусственно возбуждалось), как часть интернационального, как форма, облекающая общую идею. Акыны слагали величальные в честь советских вождей языком, которым прежде славили батыров. По мере того, как общая идея выветривалась, форма становилась содержанием: эпические, фольклорные традиции, в значительной мере языческие по характеру, а за советские годы еще и «очищенные» по возможности от ислама, превращались в несущую опору национальной психологии. По многим признакам сходный процесс шел и в самой России.

С распадом исторического недоразумения, именуемого «СССР», вновь «заиграл» фактор ислама. Ему поспешили вернуть его «исторические права» в тех краях, где они у него были. Конечно, советские годы не прошли даром: по большей части в исламе видят одну из составляющих культуры, некое ее символическое завершение: особенно в тех странах, которые и в прошлом были поверхностно исламизированы — таких, как Киргизия и Казахстан. Но чем дальше к югу, тем больше слова об «исламском возрождении» наполняются их реальным смыслом. А еще дальше, за границами бывшего СССР, бушует мусульманское море, которое явно выходит из своих берегов, устремляясь к северу.

Пожалуй, впервые за всю свою историю Россия сталкивается с исламом наступательным. Есть над чем призадуматься всерьез. Тем более, что для нас это не только внешний, но в определенной мере также и внутренний вопрос.

3. Умма

Первое, что трудно понять бывшим советским людям в мире ислама, это низкий статус нации и национального. **Умма**, всемирная община верующих, не признает национальных и языковых границ или, во всяком случае, придает им третьестепенное значение. После Мухаммеда все мусульманские земли длительное время входили в состав одного государства — халифата. Потом единство сохранить не удалось, но халифат всегда оставался для мусульман идеалом, к которому надо стремиться. В этом смысле им близка Европа первых Средних веков, когда принадлежность к христианскому миру была много важнее политических перегородок внутри него; да и в политическом плане тогдашние европейцы психологически тяготели быть единым государством, империей.

И подобно тому как в Европе царила латынь, так в мусульманском мире царил арабский. Последний остался богослужебным языком и тогда, когда в миру рядом с ним встал фарси, а затем еще и турецкий. Примечательно, однако, что оба этих языка переняли арабский шрифт: начертания арабских букв имеют для мусульман священное значение. Так что можно представить, как оскорблены были подсоветские мусульмане, когда власти навязали им сначала латиницу, а потом кириллицу.

Идея национального государства проникла на Восток из Европы. Первою ее переняла Турция: Кемаль Ататюрк положил ее в основание новой турецкой

государственности. Равным образом была перенята идея макроэтнической общности: пантюркизм явился ответом на пангерманизм и панславизм. Как всё чужеродное, идеи эти прививались не без труда. Известный деятель пантюркизма азербайджанец Э. Расул-заде вспоминал в 20-х годах, сколь нелегко было убедить тюрка в том, что он именно тюрок и что это для него должно быть важнее всего остального. Традиционно мусульманин, какого бы этнического корня он ни был, идентифицировал себя как мусульманин — конкретно из Гянджи, Багдада, Герата и т.д.

Отсюда ясно, что границы, проведенные внутри мусульманских регионов СССР по европейскому образцу, были в значительной мере искусственными. Конечно, за минувшие десятилетия они обрели некоторую устойчивость; тут сыграл роль фактор времени. Но если волны «исламского возрождения» по-прежнему будут катиться к северу, а почти наверное так оно и произойдет, границы эти будут становиться всё более прозрачными. И «наши» мусульманские регионы — бывшие советские, ставшие заграницей, но, возможно, также и северокавказские, поныне входящие в состав России, — постепенно сольются с дальним мусульманским зарубежьем, где национальные (равно как и макроэтнические) разграничения слабеют, хотя и не стираются совсем. Зато набирают силу разграничения между суннитами и шиитами.

В той внутриполитической борьбе, которая развертывается на мусульманских территориях бывшего СССР, российская правящая элита делает ставку на бывшие номенклатурные круги — «социально близкие», секулярно мыслящие, коррумпированные и вместе с тем в известной степени русифицированные, усвоившие элементы русской культуры, хотя бы и в советском ее преломлении. В частности, подобным образом обстоит дело на Северном Кавказе, где «нашими» считаются местные «феодалы», поддерживающие традиции племенного партикуляризма, благополучно пережившие советское время. Такой выбор можно назвать естественным, но вряд ли он что-то обещает в будущем. У нас вырисовывается примерно тот же расклад сил, что и в дальнем зарубежье, где вестернизированные и коррумпированные элиты отступают (там, где они еще не сметены) под натиском исламских фундаменталистов из числа образованных[1], заключивших союз с народными массами.

---

[1] Молодые поколения, получившие образование западного типа (с некоторыми оговорками это относится и к советским учебным заведениям), «на ходу» меняют ориентацию, обращаясь к исламу и связанной с ним культуре. Это ведет, в частности, к тому, что арабский язык возвращает себе положение «базового». Старшие поколения, открыв для себя мир русской культуры, пожизненно в нем остались; Расул Гамзатов (отец которого хорошо знал арабский и совсем плохо русский) сказал о них (и, естественно, о себе), что они не смирились перед Ермоловым, но смирились перед Пушкиным и Лермонтовым. Молодые поколения, подобно шекспировскому Калибану, пользуются языком, которому их обучили, главным образом, для того, «чтобы проклинать»; и заботятся о том, чтобы идущие за ними русского вообще не знали.

4. Мир дан «не для поглядения, но для делания»

Обратимся теперь к сути вопроса об «исламском возрождении».

Ни крестоносцам, ни христианским миссионерам не удалось надорвать авторитет ислама в его исторических пределах — это сделала европейская цивилизация. «Сонный», медлительный в своих от века повторяющихся движениях Восток обнаружил по соседству с собою непонятную быстро растущую силу, к которой ему приходилось приноравливаться, как бы это ему ни претило. Началось с приглашения европейских военных инженеров и советников, а кончилось тем, что элита стала перенимать у **кафиров** их образ жизни, одежду и т.д., а вместе с ними и, отчасти, их образ мыслей, что, естественно, шло в ущерб исламу. Даже в такой глухой стороне, как Афганистан, Лариса Рейснер, жившая там в 20-е годы, подметила в верхнем слое распространившийся яд неверия, «вольтерьянство», прикрытое маской внешнего соблюдения обрядов.

Чем больше научно-технических «чудес» демонстрировала Европа, тем скорее меркли чудеса, в кои спокон веку верили чтущие пророка.

Советский плакат времен строительства Турксиба (1930) изобразил некоего муллу, который, сверкая пятками, удирает от надвигающегося на него локомотива. Подобные жемчужины антирелигиозной пропаганды оставались, разумеется, достоянием «красного Востока»; но само явление, символически таким образом отраженное, знакомо было и зарубежному Востоку (Югу).

Крепкий в своей вере мусульманин ушел в глухую оборону: как бы сквозь все те «нестроения», что несли с собою кафиры, он устремлял взоры в иные пространства, к тому, что мусульманская традиция называет «Домом сути своей». Перебирая четки смуглыми пальцами, ждал, что сам Аллах прекратит «круженье дэвов».

Из этой квиетистской позиции мусульманский Юг вывели, по-видимому, два обстоятельства. Во-первых, резко ускорившийся процесс модернизации, как его принято называть; в результате чего ломка традиций с уровня элит распространилась на уровень широких масс, переживающих ее особенно болезненно. Унаследованная консервативность духа вступала в кричащее противоречие с новыми веяниями. Заново вставал вопрос «как жить?», требовавший простых и ясных ответов. Во-вторых, сама европейская цивилизация перестала выглядеть такой победительною, как прежде. Где-то в конце 60-х годов стало очевидно, что ее будущее является весьма проблематичным с технико-экономической стороны. И, что еще важнее, примерно тогда же на Западе четко обозначился кризис духа, о чем свидетельствовали многочисленные упадочные явления, особенно в молодежной среде.

Число усомнившихся в «вере отцов» стало быстро редеть: Коран отвоевывал свое прежнее место в жизни мусульманина. Фундаменталистские движения охватывали одну страну за другой. Националистические режимы, там, где они еще сохранились, вряд ли смогут долго сопротивляться их напору. Даже в географически близкой к Европе Турции, где секуляризация на уровне элит началась еще в первой половине XIX века (вспомним Пушкина: «Стамбул отрекся от пророка; / В нем правду древнего Востока/ Лукавый Запад омрачил...»),

а кемалистская революция, как одно время казалось, подрубила самые корни религии. Нынче Турция стала одним из центров радикального умственного движения исламистского толка, и поддерживаемое им течение так называемого «народного ислама» имеет шансы одержать верх уже в самом недалеком будущем.

В нашей печати исламистов часто называют фанатиками. Но фанатики — это те, кто придает абсолютное значение чему-то, что в действительности является относительным. Те же, для кого вопросы потустороннего спасения важнее всего остального и кто начертанное **Предвечным калямом** (Божественным пером) понимает буквально, — не фанатики, а верующие люди. И когда ради высшей цели они отвергают кое-что из того, что принято считать достижениями цивилизации, совсем не обязательно честить их «варварами» и «людьми каменного века».

Тем более, что с некоторыми проявлениями подобного «варварства» можно встретиться и на Западе. Вот недавно талибов гвоздили за то, что они уничтожают телевизоры. Но даже в просвещенной и насквозь телевизионной Америке не самые глупые люди добиваются того же самого. Для примера назову прошумевшую несколько лет назад книгу Джерри Мандера «Четыре способа, как покончить с телевидением». Я не считаю, что с телевидением надо кончать, но думаю, что такого рода крайние точки зрения имеют право на существование.

Даже христианскому (по своим истокам) миру нелегко разобраться с собственной цивилизацией; что уж тут говорить о мусульманах, для которых она остается во многом чуждой, хотя с плодами ее им постоянно приходится иметь дело у себя дома.

Не следует преувеличивать различия в ментальностях Запада и мусульманского Юга (Востока). «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись» — эта стершаяся от употребления максима игнорирует глубокие различия внутри самого Востока. Его объединяет или, точнее, объединял до поры до времени замедленный темп исторического развития; в этом он действительно противостоял Западу. Но если взять самое важное, отношение к вечному, то здесь придется признать, что мусульманин непостижимо ближе к христианам, чем, скажем, к индуистам или конфуцианцам. Эту близость непосредственно ощущаешь, когда читаешь их великих поэтов, таких, как Фирдоуси или Низами (чью «Сокровищницу тайн», мне кажется, можно поставить рядом с «Божественной комедией» Данте): в строе души очень много общего[1].

Тем не менее, и различия между христианством и исламом, конечно, тоже очень существенны. В частности, в исламе нет той особой интимности в отношениях человека с Богом, какая есть в христианстве. Значительно слабее выражена столь важная в христианстве тема свободы. И наоборот, громче звучит мотив формального послушания Богу. Возможно, этим следует объяснить то обстоя-

[1] Скажем спасибо культурной политике «дружбы народов», сделавшей доступными русскому читателю, кажется, все выдающиеся произведения мусульманских поэтов. Остается прокомментировать собственно религиозное их содержание, в советское время в меру возможности проигнорированное.

тельство, что творческий дух, поначалу столь сильный в мусульманском мире (напомню, что в продолжение нескольких столетий он далеко опережал в культурном отношении Европу), с течением времени стал угасать. Ослабла, если не сошла на нет, воля к знанию, между прочим, имевшая точкой опоры, как и в Европе, античную Грецию. Еще в XV веке Алишер Навои звал интеллектуально «Восток в себе и Запад совместить» (имея в виду «мудростью венчанную страну» Грецию, в культурном отношении единственную часть Запада, знакомую тогда мусульманам). Обращение к греческому наследию было, так сказать, симметрично тому, что происходило в тот момент в ренессансной Европе. Но уже в следующем столетии мусульманский мир фактически остановился в духовном росте и замкнулся в себе, не желая знать, что происходит за его пределами. Пока Европа практически не убедила его в том, что мир дан человечеству «не для поглядения, но для делания».

Если верить парадоксальному, но не лишенному смысла суждению современного исследователя (T. Fand), причиной того, что мусульманский мир впал в дремотное состояние, стало чрезмерно опасливое отношение к ... джиннам. Занимая положение между ангелами и дэвами (злыми духами), джинны олицетворяют собою творческую силу: они приносят некие секреты из поднебесной сферы, нашептывая их правоверным в левое ухо — тогда как жемчуг слов пророка попадает в раковины слуха только через правое ухо[1]. Позволительно увидеть здесь некоторую аналогию с демонами, о которых Гёте (создатель Фауста, знаковой фигуры европейской цивилизации) говорил, что они не являются ни добрыми, ни злыми, и которых он считал призванными «томить и беспокоить» европейское человечество, побуждая его к постоянному творчеству.

Позволив христианской Европе уйти далеко вперед в культурном и цивилизационном отношении, мусульманский Юг поставил себя перед труднейшей задачей: осмысление цивилизации, выросшей на иных, христианских дрожжах, равно как и отдельных ее продуктов (грубо вторгшихся в его собственную жизнь, нарушив прежнее ее течение), с точки зрения ислама. Между прочим, процесс этот послужит также проверкой универсальности тех европейских форм, норм и т.д., которые сами себя полагают универсальными.

Например, институтов демократии. Умеренные исламисты, принадлежащие к образованным кругам, их не отвергают, они лишь хотят вводить их градуально, подготавливая для них соответствующую почву. Они пытаются в самом исламе отыскать основания для демократии, что, видимо, не является бесполезным занятием. В исламской традиции есть решительное неприятие деспотизма и любых злоупотреблений властью, эффективную борьбу с которыми может вести только юридически укрепленная демократия. Есть забота о достоинстве человека, каковое, опять-таки, нуждается в юридических гарантиях. Есть даже некоторый

[1] По мусульманским представлениям, джинны имеют воздушные или огненные тела, способные принимать любые обличья и служить людям «советчиками» (другой вопрос, дурными или добрыми) и даже «помощниками» (они, например, «помогали» сооружать дворцы и храмы). Прорицателям и поэтам они приносили вдохновение, похищенное в иных мирах.

плюрализм: существуют различные школы в вопросах истолкования Корана, различные версии шариата и т.д., из чего может быть выведена допустимость большего разнообразия мнений по тем или иным вопросам. Конечно, в исламе делается упор на единство и целостность бытия. В христианстве значительно полнее отражена его сложность и многогранность — отсюда поощрение множественности и столкновения мнений. Но и в христианстве единство представляет безусловную ценность. «Беспозвоночные», секулярно мыслящие либералы ценят только свободу индивидуального высказывания, а в обществе видят механическое скопление индивидов, каждый из которых остается «себе на уме». И когда исламисты отвергают т а к о й плюрализм, то тут они как раз правы.

Подлежит проверке и такой институт, как европейская наука, в универсальности которой с некоторых пор усомнились сами европейцы. Я имею в виду критические теории Т. Адорно, Т. Куна, П. Фейерабенда и других, с которыми хорошо знакомы просвещенные исламисты. Еще в недавние времена приверженцы ислама считали возможным ввозить из Европы плоды наук, отнекиваясь от почвы, которая их воспитала. Сейчас набирает силу иная точка зрения: европейская наука органично связана с эпистемой, из которой она выросла, и значит, исламскому миру нужна своя наука — сообразная с исламским Откровением.

Что ж, будет, по меньшей мере, интересно следить за тем, насколько исполнятся обещания, данные исламистами самим себе. Мы так привыкли смотреть в сторону Запада, что нам кажется невероятным, чтобы в иных краях могла существовать культурная сила, способная всерьез с ним соперничать. А ведь такое в принципе возможно — в частности, в мусульманском мире (другое дело, что не в самом близком будущем). Известный русский востоковед А. Крымский еще в конце прошлого века, когда на мусульман было принято смотреть свысока, считал весьма вероятным, что их культура способна пережить новый расцвет — и не вопреки исламу, а благодаря ему. «...Блестящий период умственной жизни персов и арабов, нарушенный монголами и турками, — писал Крымский, — может возобновиться не в очень отдаленном будущем»[1]. (При участии, добавим сегодня, тюрков и других этнокультурных групп.) Бог в помощь.

Пока что сторонникам обновления в исламском мире приходится воевать сразу на два фронта — против секулярно мыслящих кругов, с одной стороны, но с другой — против косных сил, действующих в рамках ислама. Понятие «исламское возрождение» охватывает, между прочим, и сильное популистское течение, отвергающее новшества и самый **иджтихад**, право творческой интерпретации Корана, отнесенное к области лукавых мудрствований. Его поддерживает значительная часть **улемов**, предающая анафеме всё, что появилось «после Мухаммеда». При этом, кажется, смешивают разные вещи. Одно дело борьба с позднейшими наслоениями в религиозной практике и явлениями быта, противоречащими духу и букве Корана (в этом, если я не ошибаюсь, изначальный смысл ваххабизма). И совсем другое — попытка законсервировать некоторые архаические практики, исторически «налипшие» на ислам и принципиально с ним не связанные. Вроде обычая (беру самое дикое) дарить своих жен или менять их на рис или халву.

---

[1] *Крымский А.* Мусульманство и его будущность. М., 1899. С. 115.

В плане отношений к внешнему миру умеренным исламистам противостоят радикалы, вся энергия которых уходит на борьбу с Западом, а в последнее время и с Россией.

5. Джихад

Джихадом называют священную войну против врагов ислама, кто бы они ни были, — включая сюда тех, кто не забывает совершать намаз под милосердным небом, но в остальном ведет себя не так, как подобает вести себя мусульманину. За пределами исламского мира это понятие обычно употребляется в более узком значении войны против «неверных», людей, придерживающихся иной веры.

Традиционное исламское видение мира делит его на две части: «Дом ислама», обнимающий страны, в которых принят, реально или номинально, ислам, и «Дом войны» (**Дар-аль-харб**), включающий все остальные земли, на которых мусульмане д о л ж н ы вести священную войну, покуда там не восторжествует «истинная вера». Эта ювенильная, хочется так ее назвать, агрессивность ислама, которая, возможно, связана также с южным темпераментом, проявилась уже в самом начале его существования, когда за считанные годы войско **моджахедов** поставило под знак полумесяца гигантскую территорию от Атлантического океана до Гиндукуша. Напомню, что христианство распространялось совсем иначе, отнюдь не военными средствами. А идея крестовых походов возникла уже в о т в е т на мусульманские завоевания.

Идея джихада, таким образом, теплится всегда, но вспыхивает ярким пламенем на некоторых поворотах истории. Нынешняя вспышка имеет, однако, свою специфику: та воинственность, какую мы сегодня наблюдаем у мусульман, психологически осложнена европейскими влияниями. «Воины ислама» говорят языком, в котором нередко улавливаются якобинско-большевистские интонации. Среди них задают тон молодые люди, что также ново для мусульманского Юга с его традиционным уважением к старикам, **аксакалам** (талибы, к примеру, изначально — движение учащейся молодежи). Терроризм, ставший одной из форм джихада, — европейское по своему происхождению явление, российское в частности; психологически исламские террористы гораздо ближе к западным «коллегам» из подпольных организаций типа «Красных бригад», чем, скажем, воинам Саладдина, следовавшим или, по крайней мере, старавшимся следовать рыцарскому кодексу ведения войны (предписывавшему, например, не употреблять отравленных стрел, не трогать мирное население и т.д.).

К этому следует добавить, что в религиозные формы нередко облекаются вполне мирские и даже низменные устремления: всякого рода **абреки**, то есть по сути бандиты, «отвязанные», становятся под знамя ислама, позволяющее им реализовать свою злодейскую натуру и одновременно возвышающее их в собственных глазах. Популяцией такого типа за последнее время особенно прославилась Чечня.

Так или иначе, за каких-нибудь два десятка лет идея джихада, налившись новыми энергиями, получила вполне актуальный и грозный смысл. В материальном плане ее подпирает бурный демографический рост, а кое-где и немереные финансовые возможности. На службу ей поставлено самое современное оружие,

а в некоторых случаях, таких, как Иран и Пакистан, и самое страшное. Возможно, что потенциально особенно опасен Иран, намеревающийся стать мировой державой в военном отношении. И пусть не тешат себя в московских коридорах власти мыслью, что иранское оружие будет направлено против «большого шайтана», Соединенных Штатов. Если Россия квалифицируется в Тегеране как «малый шайтан», а можно не сомневаться, что так оно и есть, радости в этом мало. Особенно если вспомнить, что Иран неизмеримо ближе к нам, чем к Соединенным Штатам.

А те, кто еще ближе к нам, уже прямо грозят России «большой войной» — экстремисты в Чечне, а теперь и в Дагестане и кое-где в Средней Азии. Задору им придает ощущение мусульманского мира за своей спиной (правда, единого мусульманского фронта пока, слава Богу, не существует — мешает рознь шиитов с суннитами и некоторые другие привходящие обстоятельства). На подмогу им уже спешат талибы, из рядов которых раздаются призывы дойти до самой Казани или даже «омыть сапоги в Ледовитом океане».

6. Чем ответим?

Военные и политические угрозы требуют, разумеется, военного же и политического реагирования, а терроризм — самого жесткого отпора (наподобие того, какой сумел выработать с течением времени Израиль). Но корни наметившегося противостояния России и мусульманского Юга — духовного порядка, а значит и ответ на брошенный вызов должен быть прежде всего духовным.

Нынешнее российское государство — безглазое; по крайней мере на южных рубежах оно руководствуется «ощупалками», доставшимися в наследство от советской эпохи. Про экономические интересы, например, мы помним твердо; хотя начинаем путать интересы страны с интересами олигархов и мафиозных групп. Так выпало, что берега Каспийского моря, о которых в старых казачьих песнях пелось, что они лишь травку горькую да тварь неприглядную рожают, оказались богаты нефтью и газом — и потянулись от них в разные стороны нефте- и газопроводы. И уже некая собирательная Труба (со многими патрубками) определяет российскую политику в регионе. Это мне напоминает парижский Бобур (центр культуры имени Помпиду): «кишки» вынесены наружу.

А вот в Афганистане, где тоже намечается Труба (долженствующая протянуться из Туркмении в Пакистан), танцуют не от нее, а совсем от других вещей. Когда американцы потребовали от талибов выдать террориста Бен Ладена, те отказали, не боясь поставить под вопрос строительство Трубы (ее строит американская фирма). Хотя у них она одна-единственная (у нас много нефти и газа в глубине страны). Разумеется, то, что они отказались выдать террориста, — плохо; но что идейные соображения, каковы бы они ни были, поставили выше материальных, — это, скажем так, нормально.

Продуктивность вызова состоит вообще в том, что он «помогает» другой стороне выявить собственные недуги; хотя за это и приходится иногда платить высокую цену. Так, нам дорого обошлась чеченская война, которая, однако, способствовала — как еще прежде, хотя и не в такой степени, война в Афгани-

стане — установлению некоторых истин относительно себя: а именно, что «богатырь гнилой», что армия, доставшаяся в наследство от советских времен, предельно слаба, ибо дух ее, отразивший состояние общества в целом, далеко уступил духу «воинов ислама»; и что не только время экспансии в южном направлении миновало, но, паче того, нависает вероятность ответной экспансии. Под таким углом зрения позволительно было «радоваться» поражению в Чечне; подобным же образом в свое время московский кружок славянофилов, которых никто не посмеет упрекнуть в недостатке патриотизма, «радовался» поражению в Севастополе — ибо оно открывало путь к обновлению России[1].

Напомню, однако, что вызов брошен не только прогнившей советской системе, многие элементы которой застряли в теле современной России; вызов брошен всей «христианской цивилизации» и, значит, ретроспективно, — дореволюционной России, некогда победно продвинувшейся далеко в южном направлении.

Это ощущение вызова возникло еще у о. Сергия Булгакова (запись в «Дневнике» от 9(22).01.1923), и где! — в константинопольском храме св. Софии. Для христианина естественно испытывать горечь в ее стенах: некогда здесь был главный храм христианского мира. Но, кроме горечи, вот какие неожиданные мысли рождаются у Булгакова: мусульмане, превратившие св. Софию в мечеть, являются ее благоговейными «местоблюстителями». «...Их молитва, их благочестие производят чарующее, успокаивающее душу впечатление: «из уст и ссущих совершил еси хвалу» (цитируется Псалом 8:3, который по-русски звучит так: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу...». — *Ю.К.*). Они младенцы и ссущие. Храм отнят у недостойных и до времени вверен местоблюстителям. И невольно подумалось: они достойнее нас, тех, которые недавно еще собирались «водрузить крест на св. Софии, чтобы безобразничать там безвкусием и рабством своим...». Положим, есть в этих словах «настроенческое», вызванное катастрофическим обвалом, совершившимся на родине. И всё же...

Булгаков нашел, на мой взгляд, богатый образ: «младенцы и грудные дети». Менее развитая, сравнительно с христианством, религия (с чем мусульмане, разумеется, не согласятся), но — изначально ровный огонь веры, не тронутые скверной уста.

И хотя картина того, чем живет духовно мусульманский мир, ныне, как мы видели, сильно замутнена, вера остается самым существенным, самым стойким ее «элементом», требующим равнодостойного ответа. Пока что мы к нему явно не готовы. У нас набирает силу национализм, для которого «православничанье» оказывается формой самоутверждения. Уже в этом отношении мы проигрываем исламу с его подчеркнутым универсализмом важное «очко».

Возродить русскую силу — в частности и не в последнюю очередь перед лицом ислама — способно православие как м и р о в а я р е л и г и я. Понятие «мировая» в данном контексте должно быть свободно от любых физических измерений.

---

[1] Эта статья писалась еще до того, как началась вторая чеченская война, показавшая, что некоторые (хотя далеко не все) уроки предыдущей войны нами были усвоены. К сожалению, я не имею возможности говорить здесь об этом подробнее.

«Кафоличность Церкви не означает еще ее внешней всемирности, — вообще это не количественный, а качественный признак» (прот. Георгий Флоровский. Богословские отрывки. — «Путь», 1931, XXXI). В «старой» России чувство принадлежности к мировой Церкви порою излишне жестко связывалось с внешней экспансией (которая в советский период приняла утрированные формы: советский «двойник» «народа-богоносца» понимал универсализм в единственно доступном ему внешнем смысле и пытался весь мир присоединить к себе физически). Но в ее («старой» России) недрах возрастали такие качества, составившие славу русского человека, как **всемерность** и **всемирность**. Русский учился говорить и мыслить из кафолической полноты, что нашло отражение в культуре. В частности в том, как трактовалась мусульманская тема. Русская поэзия отдала дань романтическому Востоку с его соловьями и луноликими пери; но замечательно в ней не это, а та глубина проникновения в мусульманское мирочувствие, какую мы находим в «Подражаниях Корану» Пушкина (по мнению знающих дело мусульман истолковавшего некоторые аяты Корана глубже многих записных толкователей) и в ряде «ближневосточных» стихотворений Бунина.

Эта русская отзывчивость наверное сыграла определенную роль в том, что мусульманские народы внутри России и прежде всего татары, самый многочисленный из них, до сих пор успешно сожительствовали с русскими, несмотря на различие вер. Еще до революции в Татарии сложилась интеллигенция, в значительной степени русифицированная и европеизированная, ищущая, как сочетать ислам с опережающей цивилизацией. И сегодня там наблюдается интересный феномен «евроислама», который может стать своего рода лабораторией по «приживлению» идеалов либерализма и европейской культуры к догматам Корана.

Будущее наших отношений с мусульманским миром зависит главным образом от нас самих, от того, сумеем ли мы достичь той высоты духа и той широты взглядов на мир, которые в прошлом отличали лучших русских людей.

Могут возразить: о духе ли толковать, когда нам грозят джихадом? Но лучшее средство пригасить настроения джихада — это явить противной стороне другой образ самих себя. Мусульмане (подлинные мусульмане, а не те, кто пользуется религией как прикрытием) ополчаются сегодня не столько против христиан, сколько против неверов, грубо нарушающих законы нравственности (общие у ислама с христианством, а также с иудаизмом) и разносящих свое неверие и свой цинизм по всему миру.

Ну, а в той мере, в какой идея джихада сохраняет антихристианскую направленность, самим мусульманам предстоит так или иначе ее изживать. «Дыхание ветерка из сада мудрости» должно остудить горячие головы. В рамках ислама всегда было понимание того, что вопросы веры не решаются саблей, а территориальные захваты могут быть не угодны Аллаху. И что совсем иные свершения позволяют снискать Его расположение.

> Кто подобно Исе бросит душу в надзвездный полет,
> Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет,

— писал в XII веке великий Низами. Напомню, что Иса — это Иисус, глубоко почитаемый в исламе, хотя и низведенный на положение пророка. Определенная

«открытость» в направлении христианства всегда давала о себе знать на интеллектуальных высотах исламского мира. Руми (XIII век), оставаясь правоверным мусульманином, не поколебался даже собственные мысли вложить в уста христиан («Притча о христианском монахе» и другие вещи)[1].

Мусульманам предстоит проделать путь (на котором христианство далеко его опередило) в направлении большей терпимости. Не той, что получила развитие в толчее больших городов и является по сути проявлением глубинной индифферентности. Но той, что диктуется смирением перед тайной Бога, разные сосуды наполнившего различным содержанием.

Но, повторю, другая сторона — в частности, и даже, может быть, в первую очередь Россия — терпимое отношение к себе должна еще заслужить.

---

[1] Подобная же «открытость» существовала и в христианстве. По крайней мере, некоторые авторы VII и последующих веков высказывали примерно такую точку зрения, что если вопросить, верой и правдой, сарацина (в его качестве мусульманина), то и он может сообщить нечто полезное.

Александр ЖОВТИС

Когда печатаемая ниже статья была уже набрана и сверстана, в редакцию пришла весть, что 9 ноября, на 77-м году жизни, ее автор, Александр Лазаревич Жовтис, верный и давний, еще с сороковых годов, друг Юрия Домбровского, и сам побывавший под катком советской репрессивной машины в лихолетье 1949 года, доктор филологических наук, профессор Казахского государственного университета и Казахского пединститута, скончался. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким замечательного литератора и ученого и надеемся, что его последняя работа, предлагаемая вниманию наших читателей, будет по достоинству и с благодарностью ими принята и оценена.

Редакция «Континента»

ДЕЛО № 417

(Ю.О. Домбровский в следственном изоляторе на улице Дзержинского)

...серый дом
Своим известный праведным судом.
Н. Некрасов

Замечательный русский писатель Юрий Осипович Домбровский (1909—1978) не вписывался в идеологические стандарты минувшей эпохи и поэтому значительную часть своей жизни провел в ссылке, в тюрьмах и лагерях.

Я познакомился с Домбровским, еще будучи студентом филологического факультета, в 1944 году, вскоре вслед за тем, как он вернулся в Алма-Ату после второй отсидки. Наше знакомство перешло в дружбу, которая продолжалась до самой его кончины и запечатлена в надписях на подаренных мне его книгах и журнальных публикациях, в фотографиях и письмах.

Мне уже доводилось публиковать воспоминания о нем и о событиях конца 40-х годов, в эпицентре которых, к несчастью, ему суждено было оказаться, — в том числе и об его аресте (журнал «Нева», №1, 1990). Однако материалов «дела» Домбровского я в то время не смог получить. Лишь спустя несколько лет — по доверенности вдовы писателя К.Ф. Турумовой-Домбровской и благодаря содействию КНБ Казахстана — я смог прочитать это уникальное «дело №417» и скопировать отдельные документы.

Рассказать подробно о том, как всё это было, необходимо еще и потому, что бывший алмаатинец Н. Кузьмин напечатал в «Молодой гвардии» (№12, 1993) «Алмаатинскую повесть» о Домбровском, фантастически лживую от начала до конца. Клара Файзуллаевна характеризует ее как набор сплетен и подтасованных фактов, как сочинение, в котором фигура Ю.О. Домбровского представлена в

совершенно искаженном виде. Друзья покойного писателя выражали ей свое сочувствие.

Времени с тех пор прошло много, но всё, что происходило тогда, имело огромное значение не только для наших судеб, и немаловажные подробности той поры всё же сохранились в памяти.

Сталина как литературоведа недооценил

Общее представление о тех обвинениях, которые послужили основой уголовного дела, возбужденного в 1949 году против писателя, дают его показания, написанные по завершении предварительного следствия. С этого документа, видимо, и стоит начать.

Мои собственноручные показания

В дополнение к делу хочу показать следующее: почти все факты или разговоры имели место с теми свидетелями, которые были привлечены по настоящему делу, — но все они носили совершенно иной, некриминальный характер. Уже много позже свидетель начинал осознавать свои показания в ином, нужном для привлечения меня в уголовном порядке к суду смысле. Отсюда ряд расхождений в очных ставках с листами показаний, они были бы еще разительнее, если бы свидетелю не напоминали его прежние показания. Каждого свидетеля приходилось направлять, что-то ему напоминать, о чем-то допрашивать дополнительно. Конечно, всё это пропало в протоколах допроса, но всё это было очень ясно в самом процессе очной ставки — наиболее ясно это в показаниях Лихачева, Шухова, Титова. Приведу отдельные факты, ибо надеюсь яснее это выявить на суде. Лихачев показывал сначала (протокол допроса), что мои слова о чиновниках ЦК относятся только к работникам местного отдела печати, которые не имеют смелости пропустить мой роман в печать <u>*здесь*</u> (подчеркнуто Ю. Домбровским. — *А.Ж.*), *поэтому его приходится везти и посылать в Москву. На очной ставке Лихачев, забыв его конкретное и ясное показание, обобщил его как мое высказывание об аппарате ЦК вообще (даже неизвестно, какого ЦК — ВКП(б), КПК(б)) и зажим литературы тоже вообще, тогда как дело шло опять-таки индивидуально обо мне и только обо мне. То же с Шуховым — во-первых, он совершенно отказался от показания о том, что я хвалил Зощенко, что указано в моем деле; во-вторых, также снял очень важные и криминальные показания о моей клевете по адресу, которые* (так в подлиннике. — *А.Ж.*) *я якобы произносил в связи с разговором об его оценке поэмы «Девушка и Смерть». В протоколах очной ставки просто сказано, что я отрицал значение этих отзывов, тогда как в протоколе всё это место носит совершенно иной и явно преступный характер.*

Мной был задан один прямой вопрос Шухову на этот счет, на который он ответил отрицательно и т.д. и т.п. Все эти факты я надеюсь отметить более широко и ярко на суде (кстати, даже то, что Шухов говорит о моем восклицании «Лучше Шекспира не напишешь!», основано на явном недоразумении и относится к кому-то другому, ибо у Сталина говорится о «Фаусте» Гёте и никак не о Шекспире). Много говорится о моем пристрастии к Достоевскому. Очень жалко, что люди, с

которыми я вел разговоры об этом писателе полно и развернуто, не привлечены к следствию. Так, преподаватель Каз. ГУ Жовтис мог бы показать, что я любил и отстаивал Достоевского именно как писателя, борющегося с элементами фашизма и ницшеанства, т.е. я заступался за писателя, разоблачавшего враждебную нам идеологию. Этот момент я считаю достаточно важным и стоящим выяснения. Личные счеты с Брянцевой были большие и обширные. В сущность их на очной ставке я не счел возможным входить, в существо дела. Однако ясно, что беспристрастным свидетелем ее признать никак нельзя. Я полностью отрицаю свои а/с (т.е. антисоветские. — *А.Ж.*) *настроения и считаю себя жертвой борьбы внутри Союза писателей. Клеветнические сведения обо мне проникли благодаря этому в центральную печать. Потом они были разоблачены, и Кузнецов, автор статьи, как мне доподлинно было известно, подвергся взысканию, а мой обруганный роман был принят сразу в два издательства. Что он все-таки не понял, не моя вина, а следствие изменившейся ситуации. Работать в такой атмосфере было трудно, сказывалось во многом, и в том, что я оказался оторванным от работы Союза, и в том, что всякое мое высказывание осознавалось как направленное против политики партии в литературе. Но как бы то ни было, ни один из привлеченных к следствию партийцев ни в момент разговора, ни много позже не осознавал мои высказывания как антисоветские. Такими они стали в их умах много позже, к моменту следствия.*

Я б очень просил суд также для выявления моего лица как писателя приобщить к делу телеграммы и отзывы о моем романе, о вещи политической и советской. Они все находятся в моих бумагах, забранных у меня при аресте. Это телеграммы Фадеева, Шагинян, Лавренева, Капицы, отзывы Берковского и Левина. Мне кажется, что судить писателя важно и с этой стороны.

Шухов показывает, что мой очерк был забракован, не написан даже. Он был передан по радио и имел много хороших отзывов, о чем знает радиокомитет. Это очерк о будущей пятилетке. Здесь свидетель показал явную неправду.

Я очень прошу суд учесть эти мои показания.

Домбровский

Это написано тогда, когда предварительное следствие было завершено, и измученный многочасовыми ночными допросами больной писатель с трудом собирал свои мысли и пытался хоть как-то опровергнуть нелепые обвинения, которые даже по тем временам непросто было подвести под знаменитую 58-ю статью Уголовного кодекса РСФСР.

Упоминаемая здесь Брянцева — машинистка, перепечатывавшая рукопись романа «Обезьяна приходит за своим черепом», который Домбровский намерен был опубликовать и который мы все тогда читали. Все остальные названные лица — литераторы, общавшиеся с писателем в ту пору. Считаю своим нравственным долгом особо остановиться на одном из упоминающихся здесь имен — Ивана Петровича Шухова.

В последние дни жизни Домбровский писал воспоминания о Шухове, которые вошли в сборник мемуаров, посвященных этому талантливому писателю, редактору приобретшего впоследствии под его руководством широкую извест-

ность журнала «Простор» (в 60—70-е годы). В течение ряда лет после освобождения из лагеря Домбровский продолжал дружить с Шуховым, ценил его как честного и порядочного человека.

Вероятно, я остаюсь единственным свидетелем, который может внести ясность в этот трагический эпизод пережитого нами гнусного и подлого времени, времени доносов и провокаций, ловко и умело организовывавшихся мастерами заплечных дел с улицы Дзержинского.

Поздней осенью 1949 года, уже после того, как Домбровского приговорили к десяти годам тюрьмы и услали из Алма-Аты куда-то на восток, меня остановил на улице Иван Петрович и сказал буквально следующее: «Саша... Я хотел бы, чтобы вы знали вот что. Я давал показания, которые помогли следствию. И вот как это получилось. При двух или трех разговорах, которые вел Юра и которые там фигурировали, нас было трое: я, Яков Соломонович (речь шла о режиссере театра имени Лермонтова Я.С. Штейне. — *А.Ж.*) и... (Шухов назвал имя третьего), Весь разговор с абсолютной точностью, по-видимому, тогда же был изложен письменно и передан в органы. Нас с Юрой запутали... Вот так».

Напомню читателю, что когда-то, во время визита Сталина на квартиру Горького, писатель прочитал ему и его соратникам свою юношескую стихотворную сказку «Девушка и Смерть». Вождь удостоил гостеприимного хозяина резолюции. Он написал на тексте сказки: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте. Любовь побеждает смерть». (В оригинале слово «любовь» было без «ь», но позднее кто-то этот знак подставил). Факт скептического отношения Домбровского к сталинской оценке сказки Шухов на следствии подтвердил.

Я не знаю, почему Иван Петрович счел нужным рассказать об этом мне, который был на много лет моложе его и не находился с ним в особо близких отношениях, и почему он был убежден, что доносчиком был третий человек. Не знаю, как они с Домбровским и Штейном уже после 1956 года распутывали этот эпизод. Не назову я и никогда не называл этого третьего, ибо не имею морального права ставить клеймо на имени человека только на основании одного этого давнего разговора. Я пишу об этом лишь для того, чтобы объяснить противоречие: факт существования этих показаний Ю.О. Домбровского и его теплых воспоминаний об И.П. Шухове...

«Недооценка» сталинского отзыва о сказке Горького была для того времени страшным преступлением, почти равным покушению на жизнь вождя. Имя «отца родного» работники правоохранительных органов старались не употреблять в контексте с именами злоумышленников и просто рядовых граждан. Поэтому и в судебном приговоре фамилия не названа — речь идет просто о вожде, которого осужденный «оклеветал» (факт, несомненно, представляющий интерес для психолога).

И еще об одном из названных здесь коллег-литераторов, подготовившем арест Юрия Осиповича.

П.Н. Кузнецов был типичным приспособленцем. Он «разоблачал» Домбровского еще в 1946 году в «Правде» (от 29 сентября), обозвав его «юродствующим богемщиком». Это было началом артиллерийской подготовки к наступлению: ведь характеристика Центрального Органа партии должна была восприниматься

как указание к принятию мер. Это сейчас можно подать в суд за то, что тебя оскорбили в печати, а тогда...

Как же шло предварительное следствие, собирались доказательства и готовилось обвинение в контрреволюционной, антисоветской деятельности?

Алма-Ата утеряла бдительность

«Дело» Домбровского приходится на период усиления политических репрессий и проведения разного рода идеологических кампаний. Эти «кампании» были средством удержания в узде творчески мыслящей интеллигенции и превентивной мерой против возможного инакомыслия (против историков, филологов, биологов, даже физиков). В национальных республиках они проводились периодически против так называемых «носителей буржуазного национализма» и, как правило, заканчивались политическим, а иногда и физическим их уничтожением (например, «дела» Е. Бекмаханова, Е. Исмаилова и др.). Поддерживались на местах и общесоюзные кампании (борьба с «морганистами-менделистами», «марристами» и проч.). Так называемая «антикосмополитическая» кампания и борьба против «иностранщины» началась с опубликованной в «Правде» редакционной статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Естественно, согласно указаниям «сверху», и в республиках надо было искать своих врагов. В Алма-Ате их нашли на кафедрах русской и зарубежной литературы. 16 марта 1949 года «Казахстанская правда» опубликовала статью В. Котельникова, А. Брагина и Л. Разумовского «Буржуазные космополиты на университетской кафедре», после чего кампания прошла по всем вузам Казахстана с соответствующими репрессиями и «ударными» выступлениями местных газет. О характере и профессиональном уровне этих публикаций говорит хотя бы разоблачительная заметка в «Правде Южного Казахстана», где указывалось, что в одном из техникумов «до сих пор работает Е. Сахарова-Данзас, правнучка человека, убившего нашего Пушкина». Местный эрудит спутал Дантеса с Данзасом, лицейским товарищем поэта. Но каково было бедной правнучке Данзаса, может представить себе только современник этих событий.

На роль врагов часто годились не только евреи или граждане с нерусскими фамилиями, но и вообще нестандартные интеллектуалы, люди мыслящие и по тем или иным причинам находившиеся под подозрением у охранки. Следует вспомнить также, что лиц, репрессированных в 30-е годы и отбывших наказание старались под тем или иным предлогом снова изъять из общества.

Домбровского не могли не арестовать. Его уже судили дважды (в 1932-м и в 1940 годах) «за политику». Когда я его знал, никакой антисоветской «деятельности» он не вел, ничего противозаконного не писал. Да и инакомыслия в понимании людей, переживших 60—70-е годы, в те времена не было.

«Дело» надо было организовать. И его организовали.

Материала у МГБ, как говорится, было «кот наплакал». Можно было использовать только какие-то частные разговоры, прибегнув к помощи доносчиков. Ведь в разговорах, спорах, рассуждениях о жизни, о политике, о литературе не могли не проявляться собственные взгляды людей, в чем-то не совпадавшие с

тем, как велено было думать. Тут могло сгодиться всё: и «хаял советскую литературу», «любил певца американского империализма Хемингуэя», испытывал «пристрастие к Достоевскому» и «не терпел Белинского» (а следовало наоборот!) и многое другое из того же ряда. По логике же тоталитарного мышления человек, не усвоивший последних указаний партии, касавшихся, к примеру, Зощенко и Ахматовой, оценивался как контрреволюционер. Сейчас-то я, возможный свидетель защиты, названный Домбровским, могу сказать, что, конечно же, покойный писатель по-настоящему любил Достоевского, его гениальные прозрения возможного будущего, а вовсе не то, что дозволялось тогда с тысячами оговорок ценить в Достоевском. Я вспоминаю, как и до ареста, и во второй половине 50-х годов Домбровский с негодованием и сарказмом говорил о пируэтах одного советского литературоведа, интерпретировавшего великого писателя согласно колебаниям «линии партии».

20 марта 1949 года «Казахстанская правда» опубликовала статью тогдашнего секретаря Союза писателей Казахстана «Выше бдительность на идеологическом фронте!», в которой Ю.О. Домбровский был назван «самой зловещей фигурой среди антипатриотов и безродных космополитов, окопавшихся в Алма-Ате»; он якобы возглавлял антисоветское литературное подполье (мне в этой статье было посвящено два абзаца, где упоминалось, в частности, о том, что я тоже член этого подполья). Заодно автор статьи «разоблачал» Н. Анова за роман «Ак-Мечеть», в котором писатель посмел сказать, что колонизация Казахстана была не только «благом» для его народа. Походя разоблачался «казахский национализм», а С. Муканов был удостоен упрека за творческую дружбу с Домбровским, который переводил его роман «Сырдарья».

Статья эта имела роковые последствия для Домбровского.

Спустя годы мне не раз приходилось слышать, что времена, мол, были такие, так что и спрашивать можно разве что с самых высоких руководителей и инициаторов периодически развертывавшегося в стране идеологического террора. Согласиться с этим никак нельзя. Как человек, переживший эту эпоху и вышедший из нее изрядно потрепанным, осмелюсь утверждать, что уклониться от участия в погромах было можно, хотя, разумеется, карьеры такой «уклонист» не сделал бы. Время могло остановить свой выбор на человеке, чтобы сделать его орудием расправы над ни в чем не повинными людьми, но человек всё же сам определял свое место в жизни общества.

Лев Толстой писал когда-то о русских революционерах, что среди них были очень разные люди и руководствовались они в своей деятельности различными мотивами. То же самое можно сказать о «разоблачителях» конца 40-х. По-разному вели они себя и во все последующие времена. И если я не называю имени писателя, призывавшего к «бдительности на идеологическом фронте», то потому, что имею основания полагать, что он сожалел и сожалеет сейчас о содеянном. Когда в 1971 году КГБ лишил меня средств к существованию, он сделал всё, чтобы помочь мне. А Юрий Осипович, встретившись с ним впервые после описанных событий лет через пятнадцать, по словам Клары Файзуллаевны, «поздоровался, как ни в чем не бывало». В качестве свидетеля обвинения на процессе он не фигурировал.

Руководящие указания главной партийной газеты республики были перепечатаны в областях. Повсюду шли партийные и комсомольские собрания, на которых граждане, преподаватели и студенты вузов поддерживали идеологическую кампанию и подверстывали к именам уже разоблаченных недругов новые имена.

В этой общественно-политической обстановке в кабинетах тогдашнего МГБ спешно готовился материал уголовного дела. Желающие помочь чекистам нашлись.

Бдительность проявила «Пионерка»

В те дни я встретился с Домбровским на крылечке здания публичной библиотеки. В названной выше статье было, между прочим, сказано, что я читал некие зловредные «стишки» своим друзьям. Стихи были безобидные. Но по тем временам за них могли «посадить». Я спросил Домбровского: «Что, Юрий Осипович, плохо?» — «Плохо...» — «Я ведь ничего вам непозволительного не читал...» — «Ну, что вы, Саша, — грустно улыбнувшись, сказал Домбровский. — Конечно нет...»

Должен сказать, что «Дело №417», которое я сейчас прочитал полностью, содержит массу нелепостей, идиотских формулировок, странных рассуждений, приписываемых Домбровскому и во многих случаях им не подписанных. Но нигде, ни в одном месте своих показаний Юрий Осипович не произнес ни одного слова, которое могло бы как-то дискредитировать его друзей или знакомых. Позднее, уже после освобождения, он рассказал мне, что следователям очень хотелось создать групповое дело, что-то вроде объединенной организации казахских буржуазных националистов и безродных космополитов. На роль главы националистов предполагался профессор Бекмаханов, а в качестве «связного» между этими группами назывался я. Но, по словам Юрия Осиповича, эта идея была почему-то отброшена. И следов такого блестящего замысла в деле я не нашел. Е.Б. Бекмаханова арестовали позднее, и он получил свои 25 лет независимо от Домбровского.

...23 марта корреспондент «Пионерской правды», моя однокурсница и наша добрая приятельница Ирина Стрелкова дала показания, послужившие основанием для возбуждения этого дела. (Дату привожу по протоколу.) Тогда же давали свои показания и другие «свидетели обвинения».

Ирину Ивановну Стрелкову без всяких оговорок и каких бы то ни было сомнений писатель называл человеком, который его «посадил». Он утверждал: ***«Она сама напросилась в свидетели. Она подала заявку на мою голову»***. Кое-что, согласно известным мне фактам и документам, я рассказал в уже опубликованных мной воспоминаниях (журнал «Нева», 1990, №5), фамилию Стрелковой, однако не назвал.

Пока мы, подавленные и буквально убитые казправдинской статьей, ожидали самого худшего, Стрелкова аккуратно диктовала следователю то, что должно было послужить и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. За неделю до ареста писателя следователь Белоусов записал в протокол под ее диктовку:

Вопрос: *Охарактеризуйте Ю. Домбровского с политической стороны.*

Ответ: *Домбровский в прошлом судим за антисоветские преступления, отбывал наказание на Колыме, о чем он говорил в среде своего окружения и мне лично. С политической стороны в настоящее время Домбровского можно охарактеризовать по его поведению в быту и некоторым его высказываниям несоветским человеком. Во-первых, этот человек морально разложился. Для него абсолютно не существует, я бы сказала, облика настоящего советского человека по его поведению и жизни, причем ко всему настоящему он относится с большим пренебрежением. Я припоминаю случаи, когда Д. высказывал свои несоветские настроения.*

Весной 1946 г. Д. вспоминал о своем пребывании в лагерях, говорил о том, что лучшие писатели арестованы и находятся в лагерях, где они должны работать. Тут же охаивал советских писателей. Говорил, что они художественно писать не умеют, что все произведения являются образцом журналистики. В этих случаях он сильно охаивал произведение К. Симонова «Русские люди» и его стихи военного времени, говоря, что все эти вещи нестоящие и можно свободно отнести их за пределы литературы.

В разговорах о драматических произведениях Горького весной же 1946 г. Д. заявлял, что все произведения Горького не отвечают их сегодняшней актуальности, они слишком серы, бессодержательны и неинтересны, вдобавок скучны.

В частных беседах о русской классической литературе и русских классиках относился к ним с пренебрежением и злословил о них, заявлял, что все эти произведения ничего не стоящие и их давно пора сдать в архив.

Весной 1946 г. о Московском Художественном театре отзывался также с пренебрежением, что этот театр со своим реализмом затхлый, там запустение, нет остроты и драматизма. Тут же восхищался драм. театрами Запада, западной литературой, одновременно с этим охаивая всё новое, что появлялось в советской литературе и говорил о советской литературе с большим сарказмом.

Допросил майор Белоусов (23 марта 1949 г., лист дела 115)

29 марта был подписан ордер на арест, и в ночь на 30 марта Домбровского арестовали. Ордер подписан заместителем начальника 4-го отделения 5-го отдела МГБ Каз. ССР майором Белоусовым. Документ согласован с начальником отделения Куштиным и начальником 5-го отдела подполковником Цицуриным. Знаменитый 5-й отдел занимался идеологическими проблемами, интеллигенцией («гнилой интеллигенцией», по выражению Ильича). Чекистам не пришлось особенно беспокоиться о транспортировке арестованного — он жил на расстоянии одного квартала от серого дома на улице Дзержинского (который он описал потом в романе «Факультет ненужных вещей»), и арестованного просто перевели через улицу.

Стрелкова продолжала разворачивать свою аргументацию и приводить факты и позднее, на очной ставке с Домбровским, которая состоялась 1 июня. О ней Ю.О. Домбровский подробно рассказал в письме к писателю С.Ф. Антонову весной 1973 года. Копию письма он тогда же прислал мне. Оно распространялось в «Самиздате» и было опубликовано на Западе. В эмигрантской публикации есть приписка, сделанная тогда еще здравствовавшим автором: *«Всем честным людям»*.

Домбровский хорошо понимал, что текст этот в условиях преследования инакомыслия может быть использован против него, поэтому в ряде случаев он уклоняется от признания факта своих «неортодоксальных высказываний», которые всячески утрировались и выстраивались в систему следователями и их помощниками, свидетелями обвинения. Так об американцах, которые, оказавшись в роли оккупантов в России вели бы себя совсем не так, как фашисты, он действительно говорил нам (в письме он ссылается только на героя своего романа). Но главное место в этом документе всё же занимает Стрелкова.

О ней упоминается и в сопроводительной записке ко мне: *«Думаю, Вам будет небезынтересно прочесть письмо мое, адресованное С.Ф. Антонову, написавшему предисловие к книге И. Стрелковой. Мы как-то говорили с Вами об ней и то, что грех не отметить такую светлую личность. Вот отмечаю...».*

К.Ф. Турумова, хорошо знающая обстоятельства «Дела №417», опубликовала письмо С. Антонову в журнале «Столица» (№6, 1991) под заглавием «Да будет известно... и да будет неповадно». Приведу из него выдержку, характеризующую весь стиль поведения свидетельницы и его оценку бывшим подследственным.

Домбровский так описывает эти минуты в кабинете следователя: *«Она не краснела, не потела, не ерзала по креслу. С великолепной дикцией, холодным, стальным, отработанным голосом диктора она сказала:*

— Я знаю Юрия Осиповича как антисоветского человека. Он ненавидит всё наше, советское, русское и восхищается всем западным, особенно американским.

Нет, никак не могу передать тебе, что я почувствовал в ту минуту. Наверное, то же, что почувствовал бы ты, если бы я, идя вчера с тобой по улице, вдруг схватил бы тебя за руку и заорал: «Держите его, он вытащил у меня кошелек и сейчас выбросил его за забор! А вчера на моих глазах изнасиловал девочку». Вот что-то подобное я пережил тогда.

— А подробнее, Ирина Ивановна, вы мне сказать не можете? — спросил тихо улыбающийся следователь. Он любил и уважал чистую работу. Стиль Стрелковой ему импонировал.

— Ну вот он восхвалял, например, певца американского империализма Хемингуэя (тогда всё запретное, как ты помнишь, не хвалили, а восхваляли). Он говорил, что все советские писатели ему в подметки не годятся.

— А что он еще говорил про советских писателей? — прищурился следователь и лукаво посмотрел на меня.

— Домбровский говорил, настоящие писатели либо перебиты, либо сидят в лагерях. На воле никого из них не осталось».

Домбровский описывает всё это спустя почти четверть века.

Приведу часть показаний И.И. Стрелковой в этот день по протоколу:

Вопрос: *Что Вам известно о политических убеждениях Домбровского?*

Ответ: *Мне известно, что Домбровский по своим убеждениям человек несоветский. Об этом я знаю из его разговоров со мной о сов. лит-ре, об искусстве, о советских писателях и о русском литературном наследстве.*

Вопрос (Домбровскому): *Признаете ли вы показания свидетельницы Стрелковой?*

Ответ: *Нет, не признаю.*

Вопрос (Стрелковой): *Расскажите подробно об антисоветских разговорах Домбровского.*

Ответ: *Домбровский неоднократно вел в присутствии меня антисоветские разговоры. Не помню уже, при каких обстоятельствах, знаю, что весной 46-го года Домбровский, рассказывая о своем пребывании в лагерях, говорил, что лучшие писатели арестованы и содержатся в лагерях, они там пишут произведения, но их не печатают. Домбровский всегда относился пренебрежительно к советской литературе. Те книги советских писателей, которые высоко оценены советской общественностью, с его стороны получали отрицательную оценку. Он охаивал советских писателей, в частности, Симонова и его произведения, пьесу «Русские люди» и др. Он также охаивал и великий реалистический роман Фадеева «Молодая гвардия». ... Не было случая, чтобы он положительно отзывался о каком-нибудь русском классике, кроме Достоевского».*

(Очная ставка 1 июня 1949 г., лист дела 212)

На суде Стрелковой уже не было, прислала справку о том, что она в «декрете». Но ее показания на предварительном следствии использовались и в суде, и по- том в Верховном Суде как самые достоверные и точные. Если другие свидетели путались, меняли свои оценки и зачастую смягчали их, то эта свидетельница была тверда и очень старалась. Недаром Домбровский не раз со злым юмором рассказывал впоследствии своим друзьям, что «Ирка от усердия выпрыгивала из юбки». А в письме к С. Антонову говорит о чувстве «омерзения», испытываемом им, когда он слышит, что теперь Ирина Ивановна пишет о проблемах морали.

Уже в 1956 году, когда следственные органы оформляли документы о реабилитации Юрия Осиповича и вызванный для дачи показаний поэт Титов брал свои слова обратно, что-то уточняя, а И.П. Шухов снимал «грех с души», И. Стрелкова решительно настаивала на истинности всего того, что она прежде говорила. А ведь советская власть еще существовала — и характеристика Домбровского как антисоветчика продолжала соответствовать 58-й статье.

В одном из писем ко мне уже после завершения «Факультета ненужных вещей» Юрий Осипович сообщал о замысле третьего алма-атинского романа, в котором свое место должна была занять Стрелкова и все связанные с ней обстоятельства. Роман он не успел написать, но достаточно полно изложил свое видение событий в цитируемом письме.

Упомянутый выше Н. Кузьмин, автор повести о Домбровском, ухитрился получить доступ к «Делу №417», вытребованному из Москвы, задолго до того, как такое разрешение получила вдова писателя. Он читал всё, что здесь приводится, в том числе и публикацию письма С. Антонову в журнале «Столица», но сделал вид, что ничего этого вообще не существует, как не существует и дома Домбровского, и хранящихся у Клары Файзуллаевны документов, и самой Клары Файзуллаевны, и здравствующих друзей писателя. Вина И.И. Стрелковой, по его словам, только в том, что она рассказала о негативном отношении писателя к Симонову, а за это ведь в тюрьму не посадят! Такова цена этому «сочинению», в котором переврано всё, и на основании одной передержки с ссылкой на самого Домбровского делается попытка доказать мои предосудительные связи с МГБ.

Здесь не место рассматривать инсинуации Н. Кузьмина по моему адресу. Цена их высвечивается хотя бы в такой детали. Он уверяет, что я написал и защитил в Казахстане подхалимскую докторскую диссертацию о Джамбуле. Моя же диссертация «Проблема свободного стиха и эволюция стиховых форм» защищалась в Киевском университете им. Шевченко, и имя Джамбула в ней даже не упоминается. А контакты мои с советской охранкой определялись многолетними политическими преследованиями; по инициативе этого ведомства я был на семь лет отстранен от преподавания в вузе. (Об этом я подробно рассказал в очерке «Под колпаком у КГБ. Как я угрожал государственной безопасности», опубликованном в газете «Огни Алатау», но это уже другая тема.)

В своих сочинениях Н. Кузьмин обливает грязью академика А.Д. Сахарова, В.С. Высоцкого, классика казахской литературы Габита Мусрепова и многих других достойных людей. Что ж, я могу только гордиться тем, что попал в этот элитарный ряд.

В 60-е годы в бытность свою в Алма-Ате Н.П. Кузьмин прославился пьяными дебошами и избиением женщины. Тогдашний Председатель Союза писателей Г.М. Мусрепов настаивал на его исключении из Союза писателей. Писатель В.Ф. Ванюшин и я с трудом уговорили Габита Махмудовича и его коллег не делать этого. Пожалели человека...

...Только бы скорее всё кончилось

Первый допрос Домбровского начался через несколько часов после ночного ареста. Допросы шли без перерыва по 6, 8, 12, 16 и даже один раз 18 часов подряд. Это было бесконечное «толчение воды в ступе», но оно имело целью непременно доказать, что, являясь убежденным противником советской власти, Домбровский после освобождения в 1943 году вновь стал вести антисоветскую работу (листы дела 90—92, 93—97, 101—102, 102—106, 115—116, 120—121, 125 и др.).

Естественно, что подследственный готов был нести любую чушь, только бы не возвращаться к этой теме. Иногда результаты долгих «бесед» со следователем завершались лишь кратким резюме, в других случаях — какие-то рассказанные Домбровским басни «про запас» фиксировались в протоколе.

В жалобе Генеральному прокурору СССР от 17 мая 1954 года Ю.О. Домбровский писал: *«Мне не давали спать — и под конец следствия водили меня на допрос, поддерживая под руки: настолько я был обессилен... (Сидел в карцере за отказ дать ложные показания.) Допросы свидетелей, которые оказались не в пользу обвинений, из дела исчезли...»*.

В число таких возможных свидетелей или свидетелей, чьи показания были изъяты из дела, Домбровский указывает на Сабита Муканова и Габидена Мустафина, в других местах на преподавателя Алмаатинской Театральной студии А.Х. Мищенко и меня.

В заявлении в Комитет партконтроля при ЦК КПСС уже при Хрущеве он писал: *«Дело велось истинно сталинскими методиками и с сталинским размахом»* (л. д. 274). Там же рассказано о том, как согласно политической конъюнктуре следователи «меняли» его национальность. В процессе середины 30-х годов его

выгодно было считать «русским шовинистом», в конце 30-х — поляком (Сталин в это время громил польскую секцию Коминтерна), в конце 40-х — евреем.

Своего следователя Харкина Домбровский называл впоследствии «малограмотной скотиной», который, однако, свое дело делал достаточно умело. Многие из допросных листов обвиняемым не подписаны. Судить о том, что в действительности было и что насочинял следователь, трудно. Следователю, например, важно было зафиксировать, что отец Домбровского был евреем. Ведь если писатель обвинялся в антипатриотизме, космополитизме и ненависти к русской литературе, то указанный факт должен был поставить всё на свое место. Антикосмополитическая кампания носила очевидный для всего мира антисемитский характер. Недаром в те времена существовала шуточка: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом».

Один из доносчиков, видимо, не понимавший задач, которые ставила перед страной партия, обвинял Домбровского в антисемитизме, и Домбровский (опять-таки, если верить протоколу)... эту версию активно поддерживал! Читая эти показания, я вспомнил, как крепко выпивший Домбровский поругался с этим человеком, и не могу гарантировать, что в ходе перебранки Юрий Осипович не оскорбил национальную честь будущего доносителя.

Значительное место в материалах предварительного следствия занимает какая-то лагерная история начала 40-х годов, история взаимоотношений Домбровского с одним заключенным, гибель которого следователь приписывал писателю. Всё это следствию не понадобилось и использовано не было.

Между тем свидетели Медведев, Брянцева, Титов продолжали еще что-то уточнять и добавлять. Так, поэт Титов припоминал, что Домбровский, «кажется, верил в бога» и советовал ему читать стихи Есенина и Гумилева. Так что «сгодились» и прокулацкий поэт Есенин, и расстрелянный советской властью Николай Гумилев — для того, чтобы пополнить набор дискредитирующей Домбровского крамолы. А положено было учиться у Лебедева-Кумача, который, в свое время, вводил в литературу Николая Титова.

Я уже рассказывал о том, как спустя много лет Н.И. Титов встал перед Домбровским на колени и сказал: «Юра, прости меня, у меня дети!». (Их у него было трое.) Эпизод этот был хорошо известен алмаатинцам, и он позволяет всё же не ставить знак равенства между Стрелковой и впоследствии застрелившимся Титовым. «Лгун и клеветник», — пишет о нем Домбровский в жалобе к прокурору, а в письме Антонову через 18 лет о нем же вздыхает: *«Бедный мой приятель»*.

Существует протокол допроса от 23 апреля, продолжавшегося всего два часа, где суммированы все обвинения. Домбровский его подписал, признав себя виновным во всем, чего от него требовали. А позднее, на допросе 23 мая, он говорит, что подписал эти показания, будучи совершенно обессиленным, только для того, *«чтобы всё это скорее закончилось»*. В дальнейшем Юрий Осипович решительно не признавал себя виновным.

«Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных нет
В одну и ту же заспанную морду.

(*Стихотворение Домбровского «Утильсырье»*)

«Дело» в одном томе было завершено 9 июня. Однако суд состоялся только 13 августа.

Еще более двух месяцев Домбровский содержался в следственном изоляторе в подвале МГБ, где ему уже довелось побывать в конце 39-го — начале 40-го, как и его герою Зыбину.

Сидя в камере, Зыбин летними вечерами слышит, как скрипят карусели в детском парке напротив. А на другом углу улицы, в театре имени Лермонтова казахская и русская труппы играли спектакли. Шли спектакли «Кобланды» Мухтара Ауэзова и горьковские «Мещане». Здесь, в театральной студии, до своего ареста Юрий Осипович читал курс западной литературы, а я — историю русской драматургии. Между этими двумя зданиями — «серым домом» и театром — стоял в те времена задумчивый Феликс Эдмундович.

Памятник этот 9 мая 1992 года снесли студенты. Мне довелось присутствовать при этой процедуре, которую срочно узаконили городские власти. Высокопоставленный чиновник принес только что отпечатанное на машинке соответствующее постановление и довел до сведения толпы. Потом (уже вполголоса) обратился ко мне, видимо, надеясь вызвать сочувствие: «Какое варварство! Ведь никто не сносил во Франции памятники королям...» — «Королям, пожалуй, — ответил я ему. — Но ведь в Германии нет ни одного памятника Гиммлеру...»

И еще я подумал тогда, что если бы рядом с этими казахскими ребятами стоял сын Домбровского, он присоединился бы к ним, внукам расстрелянных рядом в подвале дехкан и интеллигентов, рабочих и священнослужителей. И Домбровский одобрил бы их, накидывавших веревку на шею гипсового Феликса, основоположника ЧК, НКВД, КГБ и как там они еще называли свое учреждение.

В описи материалов, изъятых у писателя при аресте, значится 13 его стихотворений, среди них было одно, мне хорошо известное и озаглавленное «Нацист». Подлинное название его — «Чекист». И сейчас в печатных изданиях оно восстановлено. Вот его текст:

Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.

Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с иезуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.

Была в меня когда-то влюблена
Красавица — лишь на обертке мыла
Живут такие девушки — она
Любовника в кровати задушила.

Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать: — он был чекистом.

Последние строчки в тексте, отобранном у автора в ту мартовскую ночь, звучали так:

Я повстречал нациста. Про него
Мне нечего сказать: — он был нацистом.

Следователь, допрашивавший Домбровского, конечно, не мог понять, что сопоставление берлинского палача (т.е. нациста) с нацистом обессмысливает стихотворение. Был он бесконечно далек от поэзии, да и культуры вообще. Уже в хрущевские времена, освобожденного от службы в «органах» по служебному несоответствию, его устроили на неплохую начальственную должность, сделали управляющим конторы «Утильсырье». В 1959 году Домбровский встретил его на алмаатинском Зеленом базаре и тогда же «воспел» в стихотворении «Утильсырье»...

Советская Фемида подытоживает

Закрытое заседание областного суда, состоявшееся 13 августа, заняло совсем немного времени. Это была пустая формальность, ни о каком соблюдении процессуальных норм, принятых во всем цивилизованном мире, и речи не могло быть. Требования, чтобы все материалы предварительного следствия тщательно проверялись в ходе судебного заседания, и не думали соблюдать. Попытки адвоката В.Е. Васильченко если не доказать невиновность подзащитного, то хотя бы добиться того, чтобы наказание не было связано с лишением свободы или срок наказания был минимальным, ни к чему не привели.

Приговор, который вынес судья и подписавшие документ о неразглашении народные заседатели, является превосходной иллюстрацией бесправия «советского гражданина» и того беспредельного цинизма, с которым отправляли в ГУЛАГ десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Привожу полностью текст приговор:

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от августа **«13» дня, города Алма-Аты**

Алмаатинский облсуд
В составе: Председательствующего члена Облсуда **Нурбаева**
Народных заседателей **Лысова**
Чернышева
С участием прокурора **Курятова**
и адвоката **Васильченко**
при секретаре **Степановой**

Рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело №417 Домбровского Юрия Осиповича, 1909 года рождения, уроженца г. Москвы, русского, беспар-

тийного, высшего образования, по профессии литератора, дважды судимого за деятельность в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. 1 УК.

Выслушав объяснения подсудимого, показания свидетелей и материалами судебного следствия Суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Домбровский является настроенным против Советской власти. Систематически среди своих знакомых высказывал антисоветские измышления о возникновении войны между Америкой и Советским Союзом и что в этой войне Америка одержит победу. Клеветал по адресу вождя партии, охаивал советскую и русскую классическую литературу. Кроме того, читал среди своих знакомых стихи антисоветского содержания о лагерях. Факты предъявленного обвинения нашли свое подтверждение в судебном следствии.

В силу изложенного Суд, руководствуясь ст. ст. 319, 320 УК

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого Домбровского Юрия Осиповича на основании статей подвергнуть на десять лет л/свободы с поражением в избирательных правах на 3 года. Предварительное заключение по содеянному зачесть с 30 марта с.г.

Приговор окончательный, но может быть обжалован в 72 ч. срок в Верховный суд Казахской ССР.

Председатель Нурбаев
и другие подписи.

Всё было предопределено заранее. Когда в тот день утром Домбровского подвезли к зданию суда, Юрий Осипович крикнул стоявшей на тротуаре знакомой: «Будет десятка!» — и прощально махнул рукой.

К делу Домбровского меня привлекли, но как-то невсерьез. Вызвали один раз. Разговор был недолгим, вроде бы только «для порядка» — задали несколько вопросов и отпустили. Возможно, это было связано с предыдущим моим вызовом в МГБ весной 1948 года, когда меня пытались сделать осведомителем (об этом я подробно рассказал в упомянутом выше очерке «Под колпаком у КГБ. Как я угрожал государственной безопасности»). Быть может, недостатка в свидетелях обвинения не было, а во мне видели потенциальный «посадочный материал» и присматривались уже как к будущему подследственному. Через несколько дней я уехал на каникулы к родителям на Украину, а когда вернулся, всё было кончено.

Позднее с работы меня выгнали, но я всё же «уцелел», т.е. не пополнил своей особой периодически обновлявшееся население ГУЛАГа. Обязан этим я, видимо, не только везению и каким-то неизвестным мне обстоятельствам, но и помощи добрых людей, среди которых должен назвать прежде всего Сабита Муканова и тогдашнего ректора Каз. ГУ профессора Тулегена Тажибаевича Тажибаева. Документы об его участии в защите гонимых есть в архиве Президента.

Письмо из мест отдаленных

После смерти Сталина находившийся в лагере далеко на Востоке Домбровский стал хлопотать о пересмотре дела.

Президиум Верховного Суда Казахской ССР своим определением от 15 марта 1955 года оставил в силе приговор Алмаатинского областного суда, однако по протесту прокурора снизил меру наказания до 6 лет исправительно-трудовых лагерей. Домбровский был признан всё еще виновным во всех «преступлениях», приписанных ему в 1949 году. Поскольку срок заключения ограничивался временем пребывания под стражей, его освободили из «страшного» (характеристика Домбровского) Тайшетского Озерлагеря, но оставили на поселении в поселке Чуна, на севере Иркутской области.

Об освобождении Юрия Осиповича нам стало известно от Лидии Алексеевны, его матери, и я дал ему приветственную телеграмму, на которую получил ответное письмо. Приведу его полностью:

Дорогой друг!

Спасибо Вам за Вашу добрую телеграмму. Я очень рад, что мой привет столь неожиданно, но как-то дошел до Вас. Я об Вас часто думал, как обо всех прочих моих друзьях. Что Вы делаете? Над чем работаете? Пишете ли Вы чего-нибудь? Как Ваша работа о Вяч. Шишкове? (Видите, помню все-таки!) Где наши общие друзья Я.С.Ш. и Л.И.? Я довольно регулярно переписываюсь с одной актеркой, но она ни о ком и ни о чем не хочет мне сообщать, а когда я спросил об Ант. Вас. Рог., разразилась такой бранью, что я больше и не заикался. Конечно, беднягка в минуту испытанья оказалась не на высоте, но ведь «Тяжкий млат» дробил и не такие стекла, правда?

За последние годы много работал, здорово подогнал Шекспира (в частности вплотную познакомился с Донном, его современником, и, кажется, это действительно один из величайших философских лириков мира), 3 года вплотную занимался Римом с тремя европейскими профессорами. Овладел латынью и читаю Тацита. Ну, что я писал, Вы знаете, мечтаю о романе об Спартаке!

Саша, дорогой, что за таинственная телеграмма мне пришла? — Анонимная с обещаниями писем, которые не пришли, и т.д. Я в полном недоумении.

Гуляю по тайге, привожу в порядок свои вещи и бумаги, готовясь к отъезду, и крепко-крепко скучаю по А-а — всё это можно свести к словам Гамлета «живу как хамелеон, питаюсь воздухом и обещаниями». От пережитого стал страшен, худ и похож не то на химеру с Notr dam de Paris, не то на грифона со стильной мебели — таким и хожу на посиделки, где кокетничаю с деревенскими девчатами, но к жизни, кажется, возвращусь со щитом.

Пишите мне, дорогой, коли уж другие молчат. Если быстро, то

1) Иркутская обл. Чунский р-н стан. п/я 90/2-210 мне

коли замедлите — 2) Москва и т.д.

Л.И.К. — моей старой любви привет, хотя она, свинья, молчит.

А в общем, у меня чувство (выражаясь словами Ульриха фон Гуттена), что «расцветают науки, поют искусства» и, кажется, на этот раз не ошибаюсь.

Ну да (?) крепко-крепко жму Вам руку. *Ваш Домбровский*

Саша — я, верно, «пройдоха» — выжил. А?

Упоминаемые здесь друзья Домбровского, которым он послал привет через Лидию Алексеевну, жившую в Москве, — это режиссер Я.С. Штейн, журналист Л.Я. Варшавский и я. Л.И.К. — это Любовь Ильинична Крупникова, библиотекарь Каз. ГУ и постоянный помощник Юрия Осиповича в его работе. Ей посвящен роман «Обезьяна приходит за своим черепом», впервые опубликованный уже во второй половине 50-х годов.

О какой «актерке» идет речь и о какой анонимной телеграмме, вспомнить не могу. Имя же актрисы Тони Рогожиной в деле не упоминается, и, как мы впоследствии уточнили с Домбровским, ничего предосудительного она не совершила.

Смешная и страшная у этого письма концовка! Но удивительна не только она, но и то, что в нечеловеческих условиях концлагеря, а потом и в ссылке (к счастью, недолгой), Юрий Осипович продолжал жить той духовной жизнью, которая Павлу Кузнецову казалась неким «юродством».

Из ссылки он прислал мне, в первом письме и во втором, стихи свои и своих современников, ходившие тогда по рукам, в числе их было до того мне неизвестное стихотворение Ахматовой «Один идет прямым путем...» и его собственные стихи «Гнедич и Семенова». Оно переписано детским почерком на страничке из школьной тетради и давно уже опубликовано.

...Реабилитировали его 30 мая 1956 года. Но я увиделся с ним впервые после лагеря нескоро. Когда он приезжал в Алма-Ату, я находился на Украине у родителей, тяжело болел и вернулся домой только после выздоровления. А он в это время уже жил в Москве.

Планы перевыполнялись

За десять месяцев до того, как Домбровскому дали «десятку», Генеральная Ассамблея ООН принимала Всеобщую декларацию прав человека. Представлявший на заседании Советский Союз А.Я. Вышинский сообщил миру, что «права человека» у нас «выполняются и перевыполняются». То же самое утверждали представители Украины и Беларуссии, а также Польши, Чехословакии, уже находившихся под советским сапогом, и титовской Югославии.

А.Я. Вышинский, блестяще образованный юрист, украшавший свои речи изысканными речениями римских ораторов (разумеется, в оригинале), еще в 30-е годы утвердил в судопроизводстве основополагающий тезис: «Признание обвиняемого есть царица доказательств». А признание можно было добыть «методами физического воздействия», как это рекомендовалось тогда же в особом письме органам НКВД, подписанном Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Ждановым. Какие меры применялись в отношении Домбровского, мы уже знаем. Справедливости ради скажу, что в 49-м году обвинительные показания, по крайней мере — в этом деле, у свидетелей не выбивались. Их не били не потому, что закон не позволяет, а потому, что надобности в этом не было, и они это прекрасно знали.

Человека в СССР с детства воспитывали как потенциального доносчика, который должен помогать «органам». Недаром существовала шуточка:

Мы поучали ленинских внучат:
«Сначала входят, а потом стучат...»

Всеобщую декларацию прав человека Вышинский и его коллеги по социалистическому лагерю не подписали. Ведь там была (и есть!) статья 10, в которой утверждается, что каждый человек «имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом». У нас же приговоры выносились, как известно, в отношении десятков тысяч людей «тройками», особыми совещаниями в закрытых судебных заседаниях или просто волевым решением начальства, наскоро затем оформляемыми в документах. О какой гласности тут можно было говорить!

«Дело №417» — лишь одно из бесконечного ряда «дел», ничего общего с законностью и правом не имеющих.

Ю.О. Домбровский родился за несколько лет до революции. И жил в стране, где жизнь человека ничего не стоила. Годами он мучительно рассуждал о проблемах: личность и общество, человек и закон, право и целесообразность.

5 марта 1975 года (обратите внимание — годовщина смерти Сталина) он написал заметки «К историку» — своеобразный комментарий не только к «Факультету ненужных вещей», но и к собственной клонившейся к закату жизни.

Вот что он писал: *«Во всей нашей печальной истории нет ничего более страшного, чем лишить человека его естественного убежища — закона и права. Падут они, и нас унесут с собою. Мы сами себя слопаем. Нет в мире более чреватого будущими катастрофами преступления, чем распространить на право теорию морально-политической и социальной относительности. Оно — вещь изначальная. Оно входит во все составы нашей личной и государственной жизни. Пало право — и настал 37-й год. Не мог не настать.*

Сталинский конвейер — это сфинкс без загадки. Если уничтожать не за что-то, а во имя чего-то — то остановиться нельзя!».

Большой алмаатинский роман «Факультет ненужных вещей», который при жизни писателя не был опубликован на его родине, никогда не был бы написан, если бы судьба писателя сложилась иначе, если бы не было в его жизни следственных изоляторов, карцера, тюрем, концлагерей, ссылок и, конечно, «друзей-доносчиков».

В тех же заметках «К историку», присланных мне Домбровским незадолго до смерти, а сейчас уже опубликованных в шеститомном собрании сочинений писателя, он подытоживал: *«Мне была дана жизнью неповторимая возможность — я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем»*.

Алма-Ата, 1999

«ВЗЫЩИТЕ БОГА, И ЖИВА БУДЕТ ДУША ВАША»

Беседы с проф. ФОМОЙ ШПИДЛИКОМ (Рим).

Интервьюер — проф. Е.М. ВЕРЕЩАГИН (Москва)

Вступительные замечания

Жанр *обширного интервью* со знаменитой личностью — беседа записывается на магнитофон и затем публикуется, — можно считать, уже сложился.

Достаточно сослаться на два успешных примера: на интервью проф. Оливье Клемана со Вселенским патриархом Афинагором[1] и на беседу журналиста Мейнольда Краусса с наиболее авторитетным католическим богословом XX в. Карлом Ранером[2]. Беседы продолжались не один день и затем были напечатаны в виде отдельных книг.

По законам жанра, *интервьюер* (лицо, задающее вопросы) не печатает дословную стенограмму беседы, а осуществляет определенную редактуру, — так, суждения по той же самой теме, высказанные в разное время, он сводит в одно место; устраняет повторы; привносит от себя в текст комментарии[3] и делает сноски; если полезно, придает тематическим разделам и подразделам заголовки и подзаголовки; проводит стилистическую унификацию[4] и т.д.

В некоторых — очень редких — случаях интервьюер может изложить и свои взгляды. Такое допустимо лишь тогда, когда благодаря приему контраста или сопоставления удается лучше и нагляднее представить позицию *интервьюируемого* лица, к которому обращены вопросы.

Вопросы и суждения интервьюера в настоящей публикации печатаются *курсивом*. Составленные им же комментарии, если они введены в основной текст, даются с отступом. Интервьюеру же принадлежат все примечания, помещенные в конце публикации.

Естественно, вся редакторская работа непременно подлежит авторизации: выспрошенный собеседник-автор, получив обработанную версию текста, внимательно прочитывает ее, вычеркивает или дописывает, что считает нужным[5], и затем в ясной форме дает согласие на публикацию. Это делает интервью аутентичным: на него можно ссылаться как на подлинный авторский текст. Именно поэтому интервью печатается под именем автора.

Евгений ВЕРЕЩАГИН — родился в 1939 году в г. Казани. Окончил 1-й Московский институт иностранных языков. Доктор филологических наук, профессор. Специалист в области общего и славянского языкознания. Автор более 15 книг и более 400 публикаций. Живет в Москве.

Иногда, впрочем, спрашивают в недоумении: зачем требуется обширное интервью, если, предположим, знаменитый ученый написал десятки книг и, стало быть, уже вполне высказался?

Во-первых, в обширном интервью знаменитость имеет возможность обратиться к широкому читателю, тогда как монографии пишутся для сравнительно узкого круга специалистов.

Во-вторых, задающий вопросы обычно побуждает собеседника дать четкое и краткое суммарное изложение своей профессиональной и жизненной позиции. Поэтому в книгах жанра, о котором говорим, как правило содержится некоторый итог, составляющие которого рассеяны по многим источникам и труднообозримы.

В-третьих, поскольку интервьюируемый, отвечая на вопросы, как бы зависит от инициативы собеседника, он нередко дает оценку проблем, — особенно актуальных, — которых не коснулся бы, если бы писал или высказывался только по собственному побуждению[6].

В-четвертых, интервьюер выступает как репрезентант определенного конфессионально-культурного, национального, профессионального или иного слоя читателей, поэтому его вопросы более или менее точно учитывают интересы адресата[7]. Скажем, настоящая публикация специально адресована российскому читателю, интересующемуся проблематикой взаимоотношения двух Церквей — Православной и Католической.

Таким образом, обширное интервью — это самостоятельный жанр современной интеллектуальной словесности, отнюдь не дублирующий какие-либо иные жанры.

О. Фома Шпидлик (Tomás Spidlik) — это, безусловно, европейская и всемирная знаменитость, признанный эксперт в области богословия восточных церквей, специалист по православной духовности, много сделавший для лучшего взаимопонимания между римо-католиками и православными, особенно между итальянцами и русскими[8].

Он родился 17 декабря 1919 г. в местечке Босковицы (Boskovice) в Моравии. Моравия — это та земля, где слово Божие проповедовали славянские первоучители Кирилл и Мефодий, так что место рождения оказалось для о. Фомы своеобразным предзнаменованием. В Босковицах он получил среднее образование и осенью 1938 г. поступил в университет г. Брно, где намеревался изучать латинский и чешский языки. Проучился он, впрочем, лишь два неполных семестра: по Мюнхенскому пакту, германские войска оккупировали Моравию и Чехию. Университет был закрыт, над студентами нависла угроза депортации, и о. Фома с трудом ее избежал.

Проработав год на производстве, молодой человек принял решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. 23 сентября 1940 г. он, в качестве новиция (послушника), поступил в семинарию знаменитого католического Ордена Societas Jesu («Общество Иисуса»), находившуюся в местечке Бенешево под Прагой.

Затем семинария была перемещена в городок Велеград, и здесь о. Фома продолжил свое духовное образование по тщательно отработанной системе Ордена. В соборе Велеграда находится могила св. Мефодия, и неслучайно именно

в Велеграде в прошлом веке проходили знаменитые конгрессы, имевшие целью достижение конфессионального сближения славянства. Таким образом, звезда Кирилло-Мефодиевской миссии как бы продолжила сопровождать юного послушника. Первый цикл образования закончился в 1945 г.

По окончании войны о. Фома один год был учителем в Велеградской гимназии (где, между прочим, преподавал, наряду с чешским, русский язык), а после был направлен для завершения образования в католическую Высшую школу в голландском городе Маастрихте (Maastricht). В Маастрихте он был в 1949 г. рукоположен во священника.

Затем о. Фома совершенствовался во Флоренции (1950—1951) и, наконец, в Риме как докторант Понтификального (Папского) Восточного института. Поскольку в Чехословакии установился коммунистический режим и о.Фома не мог вернуться на родину, он обосновался в Риме: здесь он (на 30 лет) стал спиритуалом (духовником) чешских семинаристов в Collegium Nepomucenum[9] и трудился на Ватиканском радио (в чешской редакции).

Под руководством проф. Иринея Хаусера (Irénée Hausherr), специалиста по православной духовности, о. Фома подготовил диссертацию, посвященную жизни и трудам св. Иосифа Волоколамского, великого реформатора монашеского уклада в России конца XV в. Она была защищена в 1955 г. и через год вышла отдельной книгой[10].

Связав свою судьбу с Восточным институтом, о. Фома стал в нем доцентом, потом профессором и преподавал вплоть до 1990 г., сотрудничая также в Григорианском университете.

Предвосхищая идеи II Ватиканского собора, о. Фома преподавал православную духовность не как апологет католичества и обличитель православия, не как полемист и даже не как сторонний наблюдатель, а — конгениально и позитивно, подчеркивая и выделяя в православии неповрежденность и самобытность богословия. О. Фома всегда стремился воспитать в студентах положительную установку на Православную Церковь и отношение к ней как к Церкви-сестре.

Этот же метод погружения в исследуемый предмет о. Фома применял и в своих научных трудах.

За книгой о св. Иосифе Волоколамском последовала монография, посвященная «софиологии» св. Василия Великого, причем в увязке с современной софиологией русских религиозных мыслителей[11].

Сделав большой скачок во времени, о. Фома обратился к духовному наследию Феофана Затворника[12], великого российского святого XIX в., в наследии которого его привлекло учение о роли сердца и Святого Духа для молитвы и религиозного опыта. Св. Феофан Затворник был представлен западноевропейскому читателю впервые.

Затем о. Фома вернулся к греческим отцам Церкви и напечатал монографию о духовном друге св. Василия Великого, Григории Богослове (Назианзине)[13], на примере которого показал специфику богословского синтеза отцов-каппадокийцев, сумевших успешно сочетать «практическую» мораль ближневосточных (ветхозаветных) заповедей с «созерцательным» эллинистическим богословием.

Начались обзорные лекции и публикации под общим наименованием «Духовность христианского Востока», составившие ряд из четырех томов («Систематический справочник»[14], «Молитва»[15], «Русская идея»[16]; готовится очередной том, посвященный восточному монашеству). В какой-то мере о. Фома противопоставил духовность Православия современной западной культуре, покоящейся на просветительских, отчасти нехристианских, принципах научности, технизации и секуляризма (обмирщения). Наряду с этим своим opus magnum, о. Фома опубликовал несколько антологий[17], сравнительно небольших монографий и множество всевозможных статей в научных сборниках и журналах.

Его публикации выходили в свет на языках: английском, болгарском, голландском, испанском, итальянском, немецком, польском, португальском, русском, словацком, украинском, чешском[18], французском, а также по латыни.

Среди них выделяется работа, в которой показывается близость основателя Общества Иисуса, св. Игнатия Лойолы, духовности Востока[19]. Следует упомянуть еще небольшую, но весьма содержательную книгу, посвященную интерпретации православных икон, преимущественно русского письма, которая была написана совместно с о. Марком Иваном Рупником[20], а также недавнюю монографию о Богочеловечестве[21]. О. Фома не чуждается и популярного жанра: им написаны брошюры в расчете на широкого читателя[22].

О. Фома — опытный душепопечитель. Вершиной его душепопечительства явились духовные упражнения, проведенные Великим Постом 1995 г. в Ватикане для Папы Иоанна Павла II и для римской курии. В этих упражнениях о. Фома концентрированно изложил свою философию и богословие, как они были вдохновлены свв. отцами Запада и Востока. Под заголовком «Путь духа» эти прогремевшие духовные упражнения уже опубликованы на различных языках[23], и как было бы прекрасно, если бы был издан и русский перевод!

В 1990 г. Американский библиографический институт (Raleigh, North Carolina, U.S.A.) избрал о. Фому «Человеком года».

В настоящее время о. Фома, официально выйдя, как говорится, на заслуженный отдых, отнюдь не отдыхает. Он не уехал подальше от студентов и коллег-ученых, а остался обитать в Учебно-исследовательском центре «Эцио Алетти»[24], входящем в состав Понтификального Восточного института и расположенном в трех минутах ходьбы от него. Дверь его келии открыта для посетителей, и могу свидетельствовать, что к нему каждый день приходит много народа.

Целью Центра Алетти является способствование богословскому и культурному диалогу между Востоком и Западом ради воссоединения христианской Европы.

В преддверии своего 80-летия маститый ученый свеж, бодр, улыбчив, энергичен, подвижен, исполнен замыслов. К счастью, нет у него никакой болезни. Глаза и уши исполняют свои функции, память и скорость реакции — как у молодого. Одному ему свойственный тонкий юмор — неповторим и незабываем. Из его шуток, которые о. Фома рассказывает с видимым удовольствием, можно было бы составить занимательный сборник. Еще одна трогательная подробность: под прозрачным псевдонимом *Шпик* о. Фома опубликовал на чешском языке сборник чудесных детских сказок[25].

Да сохранит его Всемогущий Господь на многая и благая лета!

Осенью 1997 г. и мне посчастливилось побывать в Центре Алетти. 11, 12, 13 сентября я провел в беседах с о. Фомой, постоянно держа кассетник перед его устами. Интервью проходило по-русски; для о. Фомы характерна полновесная русская речь, воспринятая им от эмигрантов еще первой волны. (Надо вообще отметить, что в Collegium Russicum великолепно преподают русский язык.)

Вернувшись в Москву, я расшифровал магнитозаписи и, в согласии с изложенным выше, отредактировал их. О.Фома, получив текст, еще и сам немало потрудился над ним. Интервью авторизовано.

Проф. Е.М. Верещагин
12/25 февраля 1998 г.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРОФ. О. ФОМЫ ШПИДЛИКА 11—13 сентября 1997 г. (Рим, Италия)

Возможности и перспективы воссоединения Православной и Католической Церквей

Итак, обратимся к первой теме. Еще десять лет назад, когда в России господствовали коммунисты, было много всяких собеседований с католиками. Обе Церкви, как тогда казалось, достигли высокого уровня согласия. Представлялось, что вожделенное единство двух церквей-сестер уже близко.

Но сейчас имеет место попятное развитие. Взаимное недовольство и раздражение, к сожалению, возобладали.

С учетом наметившегося отчуждения, всё же на каких основаниях, по Вашему мнению, может произойти воссоединение католичества и православия, разъединенных вот уже больше девяти столетий?

1. Православие и католичество — равно спасительны

Попробуем подойти к вопросу с неожиданной стороны.

В молодости я, собственно, никогда не интересовался вплотную православием. Будучи студентом, я просто прочел немало книг, переведенных с русского на чешский. Пушкин, Толстой, Достоевский и другие всемирно известные русские писатели оказали на меня, как и на многих, огромное влияние, — ведь они говорили о том, что было созвучно моей душе.

Впоследствии я приступил к чтению русских духовных писателей, то есть стал знакомиться с православными авторами.

И в моем сознании постоянно всплывал один и тот же вопрос: если мы чувствуем и мыслим одинаково, какой смысл имеет разделение на две Церкви?

Вот аналогия. Внутри католичества можно наблюдать сколько угодно различий между верующими, в том числе и между богословскими школами и направлениями, но все эти различия не мешают тому, что Церковь остаётся единой.

Совершенно аналогично православные и католики расходятся между собой во многом; они, несомненно, друг от друга отличны. Но все эти расхождения не переходят грани, чтобы потерялось то общее, что необходимо для единства. Ведь

области согласия между нами также велики. Между нами, несомненно, есть взаимопонимание!

А в области различий встречаются и недоразумения, когда взаимно (мы — вам, а вы — нам) приписываются качества и мнения, которые на самом деле партнеру не свойственны.

Отсюда раскол между Церквами я отчасти отношу на счет взаимного неведения. Когда мы лучше узна́ем друг друга и достигнем истинного взаимопонимания, тогда и вспыхнет на горизонте заря вожделенного единства. Единства, проистекающего из убежденности, что и католическая, и православная церковная традиция в равной мере спасительны для верующего.

Я, например, никогда не задаю православному вопрос, который, к сожалению, у нас был расхожим еще лет сорок назад, а именно: «Почему ты не переходишь в католичество?». Для православных Православная Церковь столь же спасительна, как для католиков — Католическая. Я принимаю православного во всей его полноте. С точки зрения католика, в том числе и богослова, — а я принадлежу к корпорации католических богословов, — в православии нет ни малейшего признака ереси. Поэтому я с удовольствием принимаю православного таким, каким его воспитала его Мать-Церковь.

2. Духовно-душевное единство Церкви совместимо с раздельным бытием православия и католичества

Для меня Церковь — это не просто социальный институт, какое-то человеческое учреждение, наряду с другими унаследованное нами как результат исторического развития.

Раньше этого не понимали: в Средние века противостояли «еретикам», утверждавшим, что внешняя (так сказать, телесная) организация Церкви может не совпадать с ее духовностью, с ее душой. Тогда католическая (впрочем, и православная) точка зрения была ригористичной: духовность Церкви и ее внешняя организация — неразделимы. Подобно тому, как у живого человека душа неразрывно связана с телом, так и церковное учение, как считалось, может существовать лишь постольку, поскольку существует единая организация.

Между тем сейчас стало трудно отрицать, что душа — явление более широкое, чем тело. Соответственно духовность Церкви может простираться дальше организации, распространяясь и на «тела́», юридически отделенные от нее. Душа существует и «действует» вне и далее тела.

На II Ватиканском соборе, наконец-то, признали справедливость подобных представлений.

Правильно ли я Вас понимаю? Вы считаете, что внешнее соединение католиков с православными — не обязательно? Что и дальше допустимо бытие двух самостоятельных церквей? Ведь, по Вашей логике, духовная Церковь так или иначе — всё равно едина.

Внешнее «соединение всех», говоря словами ектении[26], — желанно и полезно. Но произойти оно может только от души, от духа, от сердца, а не от плоти, не

от тела. Переменится сердце — воссоединение придет само собой. Глубоко убежден: соединение католичества и православия также придёт само собой. Естественным образом.

Так что же надо делать, чтобы это «само собой» все-таки наступило скорее?

Знакомить верующих наших Церквей с духовными ценностями друг друга.

Позвольте конкретный пример из собственной жизни. Я живу в Италии, но всю свою энергию направляю на то, чтобы знакомить итальянцев с духовным наследием восточных, православных Церквей.

Мне кажется, что через любовь, например, к русской иконе итальянцы-католики в своей массе раз и навсегда откажутся от устаревшего взгляда, будто православные — еретики-раскольники.

3. Востоковеде́ние на Западе

Еще на моей памяти в среде католических богословов циркулировали предубеждения, выражаемые в форме суггестивных вопросов: что нам может дать знакомство с богословствованием «всех этих русских»? Разве у них есть что-либо заслуживающее внимания? Да у нас и своих богословов хватает! Я же говорил в ответ: вот вам томик Соловьева, почитайте, и посмотрим, что вы потом скажете.

На моих лекциях или докладах бывало, скажем, такое. Вот я привел цитату из трудов кого-либо из выдающихся русских богословов. Реакция: «Ах, как интересно! И кто это написал?». Отвечаю: «Бердяев» или: «Флоровский!» — «Русский? Удивительно! Не может быть! И всё же — как интересно!»

Так, написав «Русскую идею», я еще до публикации рассказывал о ней в одном французском институте. И один из слушателей стал горячо спорить: русские — это отсталый народ, поскольку они только-только свергли у себя коммунизм! Я же, внутренне улыбнувшись, привел аналогию: если намереваетесь написать историю, скажем, итальянского искусства, то идите в музеи, а не приставайте с расспросами на вокзале к местному пьянчужке, что он думает о живописи. Так и в России: хотите познать православное богословие, игнорируйте коммунистический период, а обращайтесь к подлинным творцам. Надо выявлять, отыскивать их. Судить по впечатлению от толпы, коммунистической «массы» — недопустимо!

Таким образом, типичный «средний» западноевропейский человек и не подозревает, что для России XIX в. и для послеоктябрьской эмиграции характерно высокое богословие. Предубеждение заходило очень далеко: даже образованные люди и мысли не допускали, что на Востоке вообще может быть что-то хорошее или что в России когда-либо существовала — да и сейчас восстановилась — интенсивная духовная жизнь.

Отсюда особая важность взаимного ознакомления: Запада — с православием, Востока — с католичеством.

4. Центр Алетти как место взаимного ознакомления

Вот, например, наш Центр обучения и исследования *Эцио Алетти* (Centro Studi e Recerche «Ezio Aletti»), являющийся частью Понтификального Восточного Института. В чем смысл его существования? — Именно в том, чтобы способствовать взаимному ознакомлению.

Когда нас 12 декабря 1993 г. посетил Святейший Отец, Папа Иоанн Павел II, то я обратился к нему со следующими соображениями. В мире есть немало христианских интеллектуалов и верующих людей искусства разных конфессий, которые ничего не знают друг о друге. Так дадим им возможность встретиться!

От нас не требуют и не ждут ничего другого, кроме как: дать людям возможность встречи. Только и всего! Надеемся, что после встречи католик скажет православному: ваша духовная жизнь прекрасна! Надеемся, что и православный найдет для католика походящие слова и оценит его духовную жизнь.

И такое случается. Как Вы знаете, несколько лет назад я перевел на русский язык по книжке трудов знаменитого кардинала Г.У. фон Бальтазара и не менее знаменитого профессора богословия Романо Гвардини[27] *. И мне, русскому, коренному православному, выходцу из семьи, в которой было несколько поколений священников, — да и многим другим русским, православным, — очень нравится то, что написали эти два человека — католики из католиков!*

5. Встреча цивилизаций — взаимообмен или подчинение?

Что, однако, значит встреча? Это обмен взглядами и ценностями или, может быть, — Боже упаси! — навязывание своих взглядов?

Да, некоторые понимают встречу во втором смысле. В Европе есть даже многовековая традиция второго понимания. Иногда говорят, что та или другая цивилизация, будучи на определенном этапе самодостаточной, потом может зайти в тупик, из которого нет выхода своими силами, так что приходится извне ее разрушать.

Именно так западноевропейцы подходили в прошлом, да нередко и сейчас подходят, скажем, к африканцам. Когда западная цивилизация, особенно в техническом исполнении, приходит в Африку, то белые отнюдь не желают знакомиться с местным образом жизни, — они навязывают аборигенам свои собственные представления, принципы и законы, начинают грубой силой подчинять их этим принципам и законам.

Есть искушение перенести эту практику и на Россию. Я говорил в одной лекции во Франкфурте-на-Майне, в присутствии самого бургомистра, что у русских — своя, отличная от западноевропейской, самоценная цивилизация. Что мы приобретем, если ее разрушим?

Не следует ли поступать так, как ведут себя супруги в хорошей семье, когда ни один не навязывает своей воли и своих взглядов? В процессе совместной жизни постепенно вырабатывается общий и единый закон сразу для мужа и для жены, суммирующий ожидания и представления партнеров.

Естественно, есть государственное регулирование семейного права, но ведь никто не женится и не выходит замуж потому, что надо реализовать это право. Люди соединяются, потому что любят друг друга, и внутри семьи они друг для друга создают всех устраивающий закон. Каждый из супругов должен отчасти выйти за свои собственные рамки, чем-то своим поступиться и слиться с другим.

6. О хранении славянской духовности

Я думаю, что такова — отзывчива на нужды другого — славянская духовность.

Вот и чехи, которые говорят, что они — не русские, что они не имеют с русскими ничего общего, все-таки разделяют с русскими общую славянскую духовность.

Не устаю повторять тем, кто готов слушать: если вы хотите познать чешскую духовность, не фиксируйте свое внимание только на некоторых людях, которые с потрохами преданы западным идеям, — таких сейчас, в период начальной эйфории, еще немало, — а послушайте чешские песни и исследуйте фольклор, и тогда вы увидите, что у чехов, может быть, немецкая голова, но у них — славянское сердце.

Мы, чехи, искони пребываем в западной культуре. Это хорошо, это неплохо, но нам не следовало бы забывать и о своем собственном духовном начале. Сначала осознать и хранить свою идентичность, а потом соглашаться заимствовать и брать у соседей.

7. Тринитарное богословие и восточно-православная духовность

Посмотрите на разницу в подходе к понятию Пресвятой Троицы на Западе и у славян.

Говорят: Бог — един, но он имеет три Лица-ипостаси.

Спрашивается: если Бог — един, для чего Ему еще три Лица? Разумом схватить это трудно, почти невозможно, но на помощь приходит вера. Вера дополняет разум. Вера указывает разуму его рамки.

Обратимся к греческим отцам Церкви. Они учат, что существует Бог-Отец, от которого рождается Бог-Сын, также «истинный Бог от Бога истинного», и от которого, кроме того, исходит еще и Дух Святый, и Он опять-таки есть божественное Лицо. Так как же способны эти три неслиянных Лица сложиться в одного-единственного и нераздельного Бога, Троицу во Еди́нице?

Это тайна, но не безразличная для нас, простых человеков, а касающаяся нас всех. Ведь мы тоже являемся личностями-лицами, и как ради единства рода человеческого из множества лиц сделать одно?

Каждое лицо, каждая личность — неповторима. Слушая чудесную музыку, я сразу узнаю: «Моцарт». Следовательно, нет другого композитора, который написал бы «Реквием» точно так же. Картины, скажем, Рембрандта — тоже неповторимы. Вот и Вы, Евгений Михайлович, — не улыбайтесь, я говорю всерьез — именно Вы, и никто другой, нужны для полноты палитры мира.

При всей неповторимости любовь творит из нас — одно. Мы действительно можем любить другого и растворяться в единстве. И русские мыслители, начиная со славянофилов, убедительно учили об этом. Когда я рассказал об этой «русской идее» по Чешскому телевидению, моя книга «Русская идея», которая как раз вышла в чешском переводе, пошла там нарасхват: Вы не поверите, но за три месяца в Чехии было распродано 3 тыс. экземпляров «Русской идеи». Для книги подобной узко-специальной тематики — это почти небывалый случай.

8. Панславизм — «за» и «против»

Я понимаю, что Вы упомянули о чехах просто ради примера. Я же сейчас хотел бы немного задержаться на этой теме. Известно, что не в России, а именно в Чехии (тогда ее называли Богемией) зародилось движение панславизма[28] ...

Да, инициаторами были чехи, но — примечательно — при участии А.С. Хомякова [29], который тогда жил в Праге.

Так вот, каково Ваше отношение к панславизму? Сейчас определенные круги в России носятся со знаменем панславизма.

Панславизм — это имя. Как движение панславизм может быть политическим. В такой своей ипостаси панславизм для меня не интересен.

В духовном же смысле он не устарел: есть же, есть общеславянская идентичность! Откровенно говоря, когда читаю Гёте, то утомляюсь, а возьму Достоевского или Толстого, — эмоционально отдыхаю. Эта близость — реальность, и нет ничего худого в том, что она подчеркивается. Если мы остаемся в сфере духовного, то это лучше, чем коснеть в сфере материального. Каждая материальность должна прорастать в духовность.

Только бы это не означало: раз мы славяне, то будем против других, неславянских, народов. Говоря о славянской общности — Достоевский, например, весьма легко находит путь к моему славянскому сердцу, — мы не должны говорить о славянской исключительности.

Для нас, чехов, близкое соседство с мощным германским соседом — это и благо (цивилизации), и опасность (ассимиляции). Немецкая философия, наука, литература, музыка — прекрасны, и надо к ним приобщаться. Да, я за то, чтобы чешская голова отчасти была немецкой. Но все-таки следует ценить и хранить от утраты свое славянское сердце. Естественно, я говорю не о раздвоении личности, ведущем к болезни, не о шизофрении. Впрочем, приобщение к разным цивилизациям и культурам и не ведет к шизофрении!

Покажу на собственном примере. Сначала я учился в Голландии, потом в Италии, и для меня теперь уже невозможно считать себя только чехом, только моравянином. Я вполне освоился в Европе. Но вот что парадоксально: чем дальше, тем я больше и больше считаю себя славянином. С возрастом и опытом — всё больше!

9. «Настает славянская эпоха»

Я отчасти разделяю убеждение великого религиозного мыслителя В.С. Соловьева. По его мнению, что дали Церкви евреи (монотеизм) — мы знаем. Что дали Ей греки (догматы) — мы тоже знаем. Что дала латинская Церковь (организацию) — известно. Что дали протестанты (нравственность) — известно в равной мере.

А в чем состоит вклад славянских народов в духовную сокровищницу Церкви? Откровенно говоря, пока еще не ясно. Славяне слишком долго варились в собственном соку.

Стало быть, настает славянская эпоха! Время, когда славяне скажут свое слово не только в истории, но и в Церкви.

С другой стороны, посмотрите, никогда раньше среди христиан не было такого числа мучеников за веру, как у славянских народов и в настоящем веке! Ведь именно славянские народы больше других пострадали от нацизма и коммунизма.

Западноевропейские католики, конечно, тоже пострадали. К примеру, в одной только Чехии в нацистских лагерях погибли 50 священников.

Но количественно с потерями России трудно сравнивать!

Столь масштабных гонений, как в среде славянства, в истории Церкви никогда не бывало! Посеянные семена не могут не взойти, не могут не принести плода для христианской веры. Именно таково обетование Божие: кровь мучеников не останется бесплодной.

А сколько мучеников в России!

Кроме того, поскольку я чех-мораванин, хотел бы напомнить о подвиге владыки Горазда, который при нацистах возглавлял Чешскую Православную Церковь. Они его расстреляли.

Поскольку фигура еп. Горазда представляет большой интерес для российских православных, имеет смысл привести о нем подробную справку[30].

Еп. Горазд (в миру Матей Павлик, 1879—1942) родился в католической семье, почувствовал призвание к священству, окончил богословский факультет Оломоуцкого университета, был рукоположен и приступил к приходскому служению.

Вошел в «Реформную фракцию римо-католического духовенства», которая обращалась к Папе с предложениями упразднить целибат священников, ввести за богослужениями вместо латыни чешский язык, а также основать Чехословацкую католическую патриархию. В издаваемых в начале века о. Матеем журналах «Наблюдатель» и «Право народа» помещалось немало материалов православной ориентации.

Когда из Рима пришел отрицательный ответ на прошение реформистов, некоторая часть «фракции», в том числе и о. Матей, вышла из Римо-Католической Церкви и основала независимую Чехословацкую Церковь. Поскольку эта последняя не имела канонического устроения, в августе 1921 г. состоялось ее присоединение к Православной Церкви — к Сербскому Патриархату.

21 сентября 1921 г. о. Матей принял монашество и получил имя в честь св. святителя Горазда (IX в., память 27июля/9 августа), ученика св. первоучителя Мефодия, поставленного им в архиепископа Великой Моравии.

25 сентября того же года в Белграде сербским патриархом Димитрием в сослужении иерархов иеромонах Горазд был хиротонисан во епископа Моравского и так возобновил кафедру святителя Горазда после многовекового ее вдовства. В дальнейшем имел титул епископа Богемского и Мораво-Силезского и, позже, Чешского, Моравского и Силезского. Известны труды еп. Горазда по переводу православного богослужения на чешский язык. После оккупации страны выступал с проповедями патриотического характера.

В конце мая 1942 г. в Праге была брошена бомба в автомобиль Рейнхарда Гейдриха (1904—1942), творца СС, фактического «имперского протектора Богемии и Моравии», известного жестоким отношением к гражданскому населению, вдохновителя и исполнителя «окончательного решения» еврейского вопроса[31]. На пятый день после покушения Гейдрих скончался. 10 июня

совершилась ужасная «акция возмездия»: когда, по ультиматуму, участники покушения не явились с повинной, эсэсовцы казнили всех без исключения жителей чешской деревни Лидице, а сама деревня была стерта с лица земли.

Преследуемые гестапо участники покушения нашли убежище в православном храме свв. Кирилла и Мефодия, где им удалось скрываться вплоть до 18 июня, когда собор был окружен и взят штурмом. Все участники покушения погибли, а владыке Горазду вместе с другими клириками собора 4 сентября 1942 г. был вынесен смертный приговор, в тот же день приведенный в исполнение. Деятельность Православной Церкви на территории протектората была сразу же запрещена и возобновилась лишь после окончания войны.

Чехословацкая Православная Церковь прославила еп. Горазда в 1987 г. Имя священномученика Горазда включено в месяцеслов Русской Православной Церкви под 22 августа/4 сентября, в день мученической кончины святого.

10. «Диавол боится русской тематики»

Вот мой собственный, совершенно личный взгляд. Я о нем говорил также Святейшему Отцу и встретил понимание.

Дело вот в чем. Когда кто-то написал книгу — ну, о чем угодно — о пингвинах или летающих тарелках, обычно легко находится издатель, и книга вскоре выходит в свет. Но стоит написать книгу о русском (например, о русской духовности), сразу же начинается упорное противодействие. То денег нет, то нет типографии, то нет заказов от библиотек и магазинов. Доходит до смешного, но чаще до печального.

Это не люди, это — диавол. Диавол как бы особенно боится русской тематики. Она для него словно ладан! Нечистый пускается на все уловки, чтобы воспрепятствовать хотя бы одному новому слову о русском!

11. Filioque — не препятствие для воссоединения Церквей

Чтобы нам не потерять перспективы. В первой части интервью мы, в свете ежедневного прошения ектении, говорим о соединении «всех» Церквей. Для начала хотя бы Католической и Православной.

Имеются богословские причины, которые такому объединению препятствуют. Они Вам отлично известны. Начнем, пожалуй, со знаменитого Filioque[32] *. Для нас, православных, это настоящий догматический кошмар. Стоит упомянуть о соединении Церквей, сейчас же кто-нибудь ехидно ухмыльнётся и спросит: а Filioque?*

Мне кажется, — и об этом некоторое время назад писали в «Osservatore Romano»[33], — что из литургических формулировок упоминание о Filioque можно было бы и снять.

Но так нельзя поступить в области богословия. Тем более что в католическом богословии, — по крайней мере в этом были единодушны отцы объединительного Флорентийского собора[34], — выражение Filioque имеет совершенно то же самое значение, что и в богословии греческих отцов Церкви. Ведь последние всегда были согласны: всё доброе исходит от Отца через Сына к Святому Духу.

Может быть, не спорю, что само выражение Filioque — неудачное. В то же время нельзя забывать, что каждое слово о Боге есть тайна Божия в Церкви.

Впрочем, догмат о Filioque трудно изгнать и из литургии: духовно чуткие люди во время молитвы (не в процессе рационального умствования!) интуитивно чувствуют силу добавления в Символ веры. И им было бы непросто отказаться от Filioque. Зачем, нарушая церковное Предание, терять то, что ценно и духовно?

С другой стороны, Хомяков считал, что главный водораздел, отделяющий католиков от православных, — это Filioque. Ведь он жил в эпоху, когда еще не были приняты новые догматы, ставшие новым предметом пререканий.

Вспоминается мне собственная мать. Глубоко верующая католичка. Но что для нее значит догмат о Filioque? Она знать не знала, с чем его едят.

Естественно, и простого православного человека далеко не все формулировки в Символе веры берут за живое, даже если он отлично знает Символ наизусть и выпевает за каждой обедней...

Конечно! Кто действительно мучается и бьется над проблемой Filioque, — это только богословы, сравнительно узкий слой верующих. Но богословы способны создать реальные проблемы. Хотя часто на пустом месте.

Вот, например, у нас в Руссикуме, когда служится литургия, — там читается Символ веры без Filioque. Мы своей литургической практики не держим в секрете, и хотя мы сидим под боком у Папы, нам никто не противоречит. Теперь в Греции даже католики латинского обряда в Символе веры опустили Filioque.

На деле это означает: не хочешь — не говори! А если уж тебе позарез нужно сказать, то опять-таки в этом нет ереси. Формулировка значит только одно: добро исходит от Отца через Сына к Духу Святому.

Признаюсь, хотя и очень стараюсь, не всегда могу понять православную аргументацию против Filioque. Иногда мне кажется, что у изобретательных богословов ум за разум заходит и они приписывают чисто техническому термину то огромное поле значений, которого просто-напросто не было и нет в католичестве!

Правильно ли я понял Вашу основную мысль относительно Filioque? Католики не должны настаивать на обязательности Filioque в Символе веры, а взамен православные должны допустить возможность Filioque в догматической сфере.

Примерно так. Православным, на мой взгляд, следовало бы скрупулезно исследовать, что именно понимается под Filioque в католическом богословии. Католическая интерпретация официально была изложена на Флорентийском соборе, и ее никто не отменял. II Ватиканский собор не сказал здесь нового слова. Я совершенно уверен, что результаты такого исследования удовлетворили бы даже самого подозрительного и недоверчивого ученого. Условием является, конечно, непредвзятость: нет большего слепого, чем человек со стопроцентным зрением, но не желающий видеть.

Видите ли, Флорентийский собор — не авторитет для православных...

Тем не менее нигде в другом месте не найти более развернутого изложения учения о Filioque!

Что же касается предложенный выше формулы, — с двух сторон не настаивать на Filioque, но и не отвергать Filioque, — то, полагаю, она вполне приемлема.

То есть должен быть компромисс с двух сторон?

Правильно! Я приведу историческую аналогию. Когда еще до Первой мировой войны представители Англиканской церкви приезжали в Москву для собеседований об объединении, то православные иерархии заверили их, что Filioque (англикане принимают Filioque) не составляет никакого богословского препятствия. А англикане, в свою очередь, заверили православных, что и для них Filioque — это совсем не камень преткновения.

12. Могут ли православные обойти догмат о Filioque?

Это очень интересно, но для меня, скажу откровенно, неожиданно. Возьмите любой православный учебник догматики — скажем, «Догматическое богословие» митр. Макария[35] *, — и там будет сказано, что догмат о Filioque нельзя обойти.*

Что ж, такова позиция знаменитого митрополита Макария.

А вот другой знаменитый православный догматист, румынский профессор Димитру Станилоэ[36], мыслил иначе. Кстати, мы с ним были друзьями, и мне посчастливилось побывать у него в последний раз незадолго до его смерти. Однажды мы ужинали вместе, и за столом с нами сидел один православный монах, временами писавший антикатолические работы.

Он очень удивился нашей сердечной дружбе и задал тот самый каверзный вопрос, который мы сейчас обсуждаем: «В чем заключается основное расхождение между католиками и православными? В наличии Filioque?» Станилоэ ответил: «Filioque еще можно понять и принять. Теперь главное препятствие видится в догмате о непогрешимости Папы».

Таким образом, хотя бы в глазах части православных то, что еще вчера казалось главным препятствием, — сейчас уже как препятствие не рассматривается.

13. Догмат о папском примате

Здесь нам было бы удобно перейти к этому сравнительно новому препятствию для воссоединения — к догмату о папской непогрешимости. Предварительно, однако, надо хотя бы бегло коснуться римского учения о папском примате.

Обратимся к историческим фактам: есть Патриархат Римский и есть Патриархат Московский. У каждого свой авторитет. И авторитет Римского Папы или Московского Патриарха верующие принимают для себя добровольно.

Я думаю, что никто в Церкви никогда не примет над собой никакого авторитета под давлением. Так что верующие и в Риме и в Москве искренне убеждены, что Бог говорит устами предстоятеля соответствующей Церкви.

Естественно, бывают такие католики, которые, официально принимая для себя примат Папы, на деле не следуют его советам (например, в вопросе об абортах). Это прискорбно, но не удивительно: скажем, все мы считаем для себя Евангелие истиной в последней инстанции, для католиков и православных авторитет книг Священного Писания стоит превыше всего, но разве мы (я,

конечно, говорю в самом общем виде) не игнорируем на практике целый ряд конкретных библейских предписаний? Точно так же и примат Папы авторитетен для людей, свободно принявших его для себя, но этот авторитет, пусть не на словах, — на практике довольно ограничен.

С другой стороны, бывают и такие православные, которые вполне согласны с авторитетом Патриарха, но в то же время не отрицают и папского примата. Так, Папа Римский воспринимался как духовный отец таким православным богословом, как о. Сергий Булгаков[37].

Но вот с точки зрения самого Римского Папы. Я его видел вчера на соборной площади, почувствовал его ауру. Он настолько беззаветно отдавал себя людям, что для меня его святость была фактом опытным. Так вот, понимает ли он, что сам не должен настаивать на папском примате?

Если говорить о конкретном лице, — а я Святейшего Отца хорошо знаю, — то, вероятно, именно Иоанн Павел II хочет говорить с людьми как человек с человеком. С другой же стороны, он, несомненно, видит и необходимость догмата о примате. Я и сам верую в примат, равно как и в непогрешимость Папы ex cathedra.

Но ведь было время, когда догмата о папской непогрешимости не существовало. Зачем потребовалось его ввести? Ведь было ясно, что к расхождениям с православными прибавится еще один пункт.

Действительно, все догматы — это не вневременные истины, то есть они существовали, существуют и будут существовать. Но Церковь по причинам детоводительства формулирует догматы во времени, т.е. только тогда, когда наступает исторически походящая обстановка, когда паства готова воспринять новый для нее — по сути дела старый, поскольку вневременной, — догмат.

Теперь о том, что касается еще одного очага разногласий, будто бы создаваемого, когда Церковь на соборе провозглашает очередной догмат. Думаю, и для православных догмат примата ап. Петра и кафедры «князя апостолов», равно как и догмат о папской непогрешимости — это отнюдь не новые догматы.

Так, в русских семинариях, например, в качестве учебного пособия использовались сочинения Роберта Беллармино[38], моего собрата, иезуита, а в них и о примате ап. Петра, и о непогрешимости Римского Папы — целые главы.

14. Догмат о папской непогрешимости

Вернемся, однако, к моим беседам со Станилоэ.

Он говорит мне: «Я не могу принять непогрешимость». А я ему отвечаю — Вы знаете мою манеру шутить — с юмором: «Да я сам — непогрешимый. И Вы тоже — непогрешимый».

«Как так?» — «Очень просто. Когда, служа литургию, я повторяю слова: *Примите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов; Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов,* эти слова — непогрешимы».

Станилоэ возразил мне: «Но здесь перед нами непогрешимость Церкви». Я же ответил: «Думаю, что не только Папа, но всякий человек, который говорит истину во имя Церкви, имеет Духа Святого, а значит — он непогрешим».

Тогда получается, что все священники — непогрешимы? И все патриархи!

Да! В свою меру! Все священники, все патриархи! И даже матери для своих сыновей и дочерей!

Но среди них были же и явные еретики!

Вот я и сказал: *в свою меру*. Эта мера — различная.

Зададимся вопросом: кому ныне принадлежит право говорить голосом всей Церкви? Мы, католики, веруем, что Римский епископ действительно правомочен говорить голосом всей Вселенской Церкви.

Эта вера проистекает от нашей жизни в Церкви, и доказать ее с помощью одного лишь разума — невозможно. Такова наша вера, и если у кого-то ее нет, то ему мы едва ли сможем передать свою убежденность.

Всё же о еретичестве. Были, кажется, и римские папы, признанные еретиками? Например, Данте, признанный Церковью поэт, некоторых пап поместил в аду. Не припомню сейчас по именам. И Церковь не возражала.

Еретиков не было. Были и развращенные люди, были и антипапы, но никто из этих недостойных людей в вероучительной сфере не сказал и не написал ничего еретического. Я лично не знаю ни одного Папы, которому можно было бы бросить упрек в еретичестве.

Давайте хорошенько усвоим: папская непогрешимость в вероучительных вопросах не означает личной безгрешности Папы как частного лица. Как человек, Папа может быть и греховен. Он может — почему нет? — в бытовом общении сказать глупость. Но когда Папа говорит ex cathedra, вы вполне можете забыть о данном человеке, — это звучит голос всей Церкви.

С другой стороны, важно, — и здесь прав А.С. Хомяков, — чтобы Церковь приняла то, что Папа сказал ex cathedra. Непогрешимость — это не математическая вещь. Непогрешимость таблицы логарифмов — одно, а папская непогрешимость — совсем другое. Непогрешимость — значит, что Бог ведет свою Церковь определенным образом и руководит ею.

Относится это и Русской Церкви? Можно распространить понятие вероучительной непогрешимости и на нашего Патриарха?

Почему нет? Патриархи — непогрешимы. В своей мере.

Мы прикасаемся к тайне присутствия Духа Святого в Церкви, который руководит ее пастырями, в том числе и грешными. Ведь и грешные люди — в руках Божиих.

Мне очень нравится то, что Вы говорите.

Я люблю ссылаться на пример Понтия Пилата. Когда он осудил Иисуса Христа на смерть, это было с его стороны — личным преступлением. Но сам акт осуждения Христа Пилатом, за который ему придется отвечать перед Богом, был в то же время орудием в руках Божиих, потому что Иисусу провидчески было предназначено умереть.

Вспомните слова первосвященника Каиафы: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь

народ погиб». Далее в Евангелии прибавлено: «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин 11, 49-51). Каиафа, как ясно написано, говорил не от себя, но потому что был первосвященником, воспринимавшим пророческий голос.

Так что начинать надо не с Папы Римского, а с пророков. Любой, кто слушает глас Духа Святаго, — непогрешим. Это — священники, это — епископы, но в конце концов для нас — Папа и для вас — Патриарх.

Однажды мне пришлось принять участие в дискуссии о непогрешимости на одной славистической конференции в Москве. Я тогда сказал: схема провозглашения догмата о непогрешимости имела, кажется, 24 статьи. Там сначала говорилось о Духе Святом, Который ведет Церковь, затем о пророках, затем об отцах Церкви и так далее до нашего времени. Но тогда Гарибальди захватил Рим, и отцам I Ватиканского собора пришлось срочно разъезжаться, спасаясь бегством[39].

Чтобы все-таки не разойтись с пустыми руками, в спешке они успели принять только одну статью о непогрешимости, а на остальные времени не хватило. Между тем она непонятна вне контекста остальных 23-х статей!

Поэтому когда на II Ватиканском соборе[40] речь пошла о соборности и стали подчеркивать коллегиальное начало в Церкви, то некоторые наблюдатели поспешили сделать вывод, что Католическая Церковь будто бы изменилась. Но на деле она не изменилась, а просто возвратилась к тому, что было уже на I Ватиканском соборе. На соборе 1870 г. уже были статьи о соборности, которые вводили догмат о непогрешимости в рамки соборности. В них говорилось, например, что хранителем веры прежде всего является народ церковный.

А сейчас я расскажу Вам о том, чего Вы, может быть, не знаете. Когда на II Ватиканском соборе составляли и принимали догматическую конституцию о Церкви, по первым словам названную «Lumen Gentium»[41], то на позицию соборных отцов повлияло богословие православного! Я имею в виду богословскую позицию Алексея Степановича Хомякова[42].

Один французский богослов написал великолепную работу о Хомякове. Целых два тома[43]. В своем фундаментальном труде он особенно подчеркивал и высоко оценивал учение мыслителя о Церкви как о народе Божием. Книга стала широко известна во Франции; во всяком случае, какая-то часть французского епископата ее знала. Вот они-то и принялись, ссылаясь и не ссылаясь на Хомякова, отстаивать идею соборности. А Лев кардинал Суененс (Suenens; Брюссель), которому принадлежала последняя редакция конституции «О Церкви», учел результаты полудюжины предшествовавших заседаний по этому вопросу. Сначала структура конституции представляла собой движение, так сказать, сверху вниз: Бог — Папа — епископы — священники — народ Церковный. А Суененс настоял на том, чтобы отношения были перевернуты: именно народ Божий и есть Церковь[44]! Именно в народе Божием и обитает Иисус Христос. Обитает Дух Святой. В каждом из нас в свою меру. Это был правильный подход: начинать с народа Божия, а не с вершины иерархии. Так Хомяков внес свой — православный — вклад в деяния II Ватиканского собора.

15. Вечно ли будут существовать поместные церкви?

Допускаете ли Вы возможность, что поместные церкви по праву будут существовать вечно? Или им все-таки предстоит соединиться?

Трудно, очень трудно быть пророком. Но если человек — христианин, если он придерживается христианских ценностей, то рано или поздно он должен задаться вопросом: почему мне надо быть в отделении от другого христианина? Особенно если нет никаких веских причин для отделения.

16. Протестанты и православные — не еретики и не схизматики

Вспоминаю не так уж далекое время, когда нам, католикам, практически запрещалось поддерживать контакты с протестантами. «Соединение с ними — не-воз-мож-но! Ни-ког-да! Молиться с ними — нельзя! Запрещено! Запрещено на соборах».

То же самое было и по отношению к православным. Когда я однажды с группой наших студентов побывал в Греции, то мне некоторые католики-ревнители говорили: не творите креста в православных храмах, это запрещено соборно.

В подобных случаях я предлагаю запретителю небольшую цепочку рассуждений.

Когда церковный собор определенного человека обозначал как *еретика* или *схизматика*, то что значили эти обозначения?

Еретик, по-гречески αἱρετικός, от глагола αἱρέω, буквально «брать себе часть (от целого)», — это, согласно мотивировке слова, человек, который произвольным образом раздувает какую-то часть церковного учения и подменяет этой частью все церковное учение. В подобной избирательности всегда проявляется своеволие человека, отсюда еретик — это, безусловно, самомненный грешник.

А *схизматик*, по-гречески σχισματικός, от глагола σχίζω «разделять, разрывать (одно от другого)» (от этого же глагола, между прочим, *шизофрения*, буквально «разорванное сознание»), — это человек, под каким-то предлогом отрывающий от тела церковного группу верующих и стремящийся выдать эту часть за всю Церковь. Русский перевод — *раскольник* — хорошо передает существо дела.

Допустим, что под такое определение и может подойти кто-то из *первоначальных* протестантов или реформаторов. Тогда, действительно, были люди, которые разрывали, и разорвали-таки, Церковь Божию.

Но является ли еретиком и схизматиком *современный* протестант, родившийся протестантом и по причинам лояльности сохранивший себя как член той или другой протестантской общины?

Если этот протестант выражает желание помолиться со мной, католиком, и, к примеру, совместно произнести молитву Господню «Отче наш», разве он этим стремится к разделению? Напротив, он преодолевает чувство отчужденности и вражды, которое, возможно, у него воспитывали в детстве. Такой человек явно хочет не разъединения, а как раз соединения! Иными словами, он действует как антисхизматик.

Кроме того, разве по совместном прочтении нами «Отче наш» возникнет какое-либо самочинное учение, т.е. ересь? Даже спрашивать смешно.

Так как я могу назвать его еретиком? Пусть он не верует, например, в непорочное зачатие Девы Марии, тем не менее он для меня — отнюдь не еретик (в строгом смысле старой терминологии).

Всё сказанное в полной мере относится и к православным. Тем более что православные в догматическом и литургическом отношениях к нам, католикам, гораздо ближе, чем протестанты.

17. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии присутствует в православной догматике

Кстати, и православные формально не имеют догмата о непорочном зачатии Пресвятой Девы, провозглашенного у нас в 1854 г. Но если у протестантов его в вероучении действительно нет, то у православных он присутствует. Ведь важна не мертвящая буква, а дух, который животворит (ср. 2 Кор 3,6). Фактически, по духу, — я вполне убежден в этом, — православные в непорочное зачатие Приснодевы — веруют!

В дискуссиях я опять-таки предлагаю цепочку рассуждений. Сначала делаю предложение: хотел бы я взглянуть на такого православного, который считает Деву Марию виновной хотя бы в одном грехе. Нет такого! А что утверждается в догмате о непорочном зачатии Приснодевы? — Только и исключительно то, что Она была безгрешной. Непорочность зачатия — это обратный вывод из факта безгрешности: безгреховным может быть только тот человек, который изъят из-под проклятия первородного греха. Над Девой Марией первородный грех не тяготел. Это безусловно.

В православном богословии просто делаются несколько другие акценты. Православные преимущественно сосредоточены на Ее вознесении на небо, а Ее безгрешность от рождения до успения как бы отодвинута на второй план. Западного же человека всегда интересуют истоки, первопричины: как можно помыслить себе безгрешность Марии, если не допустить непорочности Ее зачатия? Ведь Бог предызбрал Ее еще до рождения, да и в Ее жизни сохранил — и Она Сама себя сохранила — без греха.

18. Догматические различия не должны быть поводом для разъединения

Вот общее правило: когда оцениваешь догмат, надо предварительно выяснить, что́ именно этим догматом хотели сообщить принявшие его люди? Зачем с самого начала искать в провозглашенном догмате какой-то злой умысел? Сто́ит заподозрить злонамеренность, как всякая логичность исчезает, — начинаются сплошные, и притом весьма эмоциональные, разоблачения. Ведь сам неоспоримый факт провозглашения догмата в новое время — этого одного бывает достаточно, чтобы догмат отвергнуть. Чтобы поссориться, нужно найти предлог, и таким предлогом легче всего избрать любую инициативу.

Боже мой, сколько расхождений во мнениях между католическими богословами! Я бы сказал: и слава Богу! Поскольку дискуссии не опасны для веры народа

Божьего, то пусть себе богословы оттачивают мастерство рефлексии! Не исключено, что из дискуссий возникнет и что-то полезное, спасительное. Но из-за них отсекать кого-либо, разъединяться — вот этого не следует делать.

Итак, если подытожить эту часть нашей беседы, что же, Вы считаете, что между католичеством и православием нет абсолютно никаких догматических расхождений?

Есть! Главное — это все-таки непогрешимость Папы. Это самое серьезное. От этого догмата зависит догмат папского примата. Если нет непогрешимости, то и примат начинает колебаться. Догматы о непорочном зачатии Девы Марии или о Filioque — не такие большие препятствия.

19. Проблема интеркоммуниона

Давайте поговорим о самом главном, что нас, православных, отделяет от католиков. Это проблема интеркоммуниона, общения в таинствах вообще (communio in sacris).

Действительно, вопрос возможности взаимного причастия за литургией (т.е. католиков за православной литургией и православных за католической мессой) — это основа основ. От нее зависит всё остальное. Практически отсутствие интеркоммуниона — это и есть то единственное, что мешает воссоединению Церквей. Где общая евхаристия, там — Единая Церковь. Каких только догматических воззрений ни найдешь в раннем христианстве, но христианин из Александрии всегда мог причаститься в Антиохии, а выходец из Антиохии смело подходил к чаше в Александрии.

Действительно, когда человек (любой юрисдикции) верует в Тело Христово и внутренне подготовился к его вкушению, то как ему не дать причащения?

Расскажу случай из своей жизни. Один протестантский богослов, хорошо знающий Православие, попросил меня допустить его до причастия. Зная протестантский взгляд на евхаристию как на символический обряд, я предварительно удостоверился, что данный человек верует в реальное пресуществление Хлеба и Вина в Тело и Кровь Христовы. «Весьма и весьма верую, яко сие самое есть Пречистое Тело Твое и сия самая есть Честная Кровь Твоя!» И тогда я позволил ему принять от меня причастие. Человек, о котором идет речь, плакал, как ребенок: это было для него первое настоящее причастие.

Что касается евхаристии, то не лучше ли предоставить право решать — участвовать или не участвовать в причащении — самому верующему? Желает православный причаститься у католиков или желает католик причаститься у православных, это не должно рассматриваться как прегрешение. Это не должно также считаться знаком перехода из одной Церкви в другую.

Так что важнее — единство в догматике или единство в евхаристии?

Несомненно, единство в евхаристии важнее. И когда увязывают догматику с правом на причастие, я грущу.

Настаивать на приоритете такой догматики — значит делать из христианства идеологию, а коренная, неустранимая черта идеологии — отсекать от общения всех инакомыслящих.

Христианство ни в коем случае не есть идеология. Во всяком случае, христианство не должно быть идеологией.

Развитие идет по пути снятия всяческих запретов.

Взгляните на нынешнее положение дел в Румынии. Там я не заметил каких-либо запретов на совместные молитвы с католиками. Надо начинать с молитвы, а там, Бог даст, дело дойдет и до интеркоммуниона. Придет само собой.

20. Печальный опыт православного архим. Зинона, причастившегося у католиков

В этой связи вспоминается, что случилось с известным иконописцем архимандритом Зиноном...[45] *Не бывали ли и Вы в подобных ситуациях и как бы Вы поступили?*

И со мной бывало подобное.

Я однажды был в дороге с одним моим добрым приятелем — православным священником. Он служил литургию, и я, почувствовав духовный голод, попросил его причастить меня.

Тот же сказал, что был бы рад всей душою, тем более что он меня лично хорошо знает. Однако на формальное нарушение церковной дисциплины он всё же не отважился: «Я не могу огорчить свое священноначалие — митрополита, которого глубоко почитаю. Хочешь не хочешь, а я давал церковную присягу, так что надо держать церковную дисциплину».

Пожалуй, этот мой добрый знакомец прав. Если священноначалие пока интеркоммуниона не допускает, то ничего не остается, как соблюдать запрет. В то же время мы постоянно молимся, чтобы запрет со временем устранился.

Это как у нас, католиков, с раздачей свв. даров. Если некий архиерей в своей епархии не хочет, чтобы я давал облатку в руку, а давал только в рот, что же? На его территории я буду следовать его указаниям.

Напомню, что и Римская церковная дисциплина до II Ватиканского собора не предусматривала причащения инославных. Но к 1960 г. уже все поняли, что верующим очень тяжело и дальше сносить это средостение.

21. Попятное развитие в вопросе интеркоммуниона

У нас, в Русской Православной Церкви, на моей памяти было разрешение Священного Синода: в экстремальных ситуациях (например, когда тяжелобольной находится при смерти), если поблизости нет православного священника, допустимо пригласить католического и принять от него причастие. Но это разрешение сейчас взято назад. Так что наблюдается как бы обратное развитие.

Прискорбно! Но что бы ни совершалось в Церкви, — Бог в итоге приведет нас к лучшему. Лет сорок назад у нас нельзя было упоминать об экуменизме, — это была ересь. Но Бог привел Церковь к участию в экуменическом движении. Вопреки человеческому противодействию. Бог приведет всех к единству.

У Вас такие ясные глаза, и они излучают такую пророческую убежденность, что меня дрожь берет.

Бог в нужное время поможет. Полагайтесь на Духа Святого, и всё, что потребно, придет само собой.

22. Увидит ли нынешнее поколение сближение и соединение Церквей?

Но каковы шансы нашего поколения увидеть сближение, а желательно и соединение Церквей? Наверно, нет никаких шансов?

Видите ли, наше поколение на своем веку уже пережило столько чудес, что нам грех жаловаться.

Многое в прошлом непредставимое мы пережили и переживаем сейчас как реальность.

Например, если бы раньше католик пожелал присутствовать — просто присутствовать! — за православной литургией, то его непременно изгнали бы из храма. Сейчас взаимное присутствие никого не удивляет. Этого уже немало. Ныне православный священник решается преподать благословение католику. Разве было возможно такое три-четыре десятилетия назад?

На Афоне, правда, и поныне сохраняется сдержанность. Я познакомился там с одним очень приятным монахом, мы провели вместе много времени, но благословить католиков он не отважился. «Не могу, не могу!» Ну, раз не можешь, еще подождем!

А что сейчас наступила пора реакции на явное сближение католиков и православных в 70-е и 80-е годы, это тоже неудивительно. Силы зла, интересы которого могли пострадать, не дремлют: они ощущают для себя сильнейшую опасность и делают всё возможное, чтобы увековечить и даже расширить раскол.

Ибо каждое доброе дело вызывает противодействие мира зла; это неизбежно, и это надо понимать. Такова общая линия истории Церкви, да и всеобщей истории тоже.

23. Практические действия иерархов не всегда идут на пользу делу сближения

Мне кажется, обсуждению богословской проблематики сближения Церквей мы посвятили достаточно времени. Позвольте обратиться к практическим вопросам. В России у ряда лиц есть такое представление. Вот пал коммунизм, и для католичества снова появился шанс продвижения на восток, на каноническую территорию православия. И Римский престол стал активно пользоваться этим, развернул новый поход в Россию, не останавливаясь перед прозелитизмом. Уже на территории России и Казахстана четыре католических архиерея — не в Прибалтике, не на Западной Украине, а в Москве и в Сибири, где их никогда раньше не было.

Всё, что сказано, — это правда.

Но надо разобраться, кто и что именно делает.

Да, есть среди католиков люди, которые продолжают тешиться иллюзией, что Россию необходимо окатоличить. Они исходят из того, что после господства коммунизма в России совсем не осталось верующих и, стало быть, ее нужно заново миссионировать.

Кроме того, некоторые местные российские католики за многие годы накопили отрицательный опыт: ведь их, скажем правду, всегда преследовали в России. Из песни слова не выкинешь: они подвергались преследованиям и со стороны православных.

Поэтому таким людям кажется, что настал период государственной слабости российского православия, которым необходимо воспользоваться. Иначе, мол, упустишь время.

Я обычно отвечаю: преследования государственной атеистической власти не имеют ничего общего с истинным православием. Вспомните, как угнетали католиков в б. Чехословакии. Там среди гонителей не было ни одного православного, но от этого Католической Церкви не было легче.

Сейчас негативные воспоминания и чувства с обеих сторон возобладали. Но и воспоминания и чувства — вещь преходящая. Время работает на сближение: подождем, буря успокоится. Сейчас, к моему прискорбию, нередко за разговорами о правах той или иной Церкви скрывается самый вульгарный национализм. Национализм — это бич XX века. Надеюсь, что в век XXI мы его с собой не возьмем.

Мы всё говорим о некоторых «людях», об известных «ревнителях» и т.д., но вот как поступает Папа Римский. Не согласовав с Патриархом Московским, он поставляет епископа — Фаддея Кондрусевича — на Москву.

Что касается поставления архиепископа Фаддея, то знаете, как это было? У государственного секретариата в Ватикане такая политика: они никогда не согласовывают с соответствующим государством, какой епископ и когда будет поставлен во главе местной церкви. Этим исключается влияние государственных структур на политику Церкви.

Вероятно, этот же принцип был применен и в Москве.

Конечно, аналогия не полная, поскольку Москва — это, безусловно, каноническая территория Патриарха Московского.

С другой стороны, мы еще не научились взаимно уважать друг друга.

Так, православные епископы в Западной Европе поставляются без ведома местных католических структур. Скажем, в Италии явно меньше православных, чем католиков в России, и всё-таки у них есть свои не только священники, но и архиереи. И у местных католических властей это не вызывает никакого протеста. Наоборот — их всегда приглашают участвовать в церковных торжествах.

24. Случай Михаила д'Эрбиньи

Вы, конечно, помните случай с Михаилом д'Эрбиньи[46]. Тогда, в 30-е годы, тоже был поставлен на Москву архиерей, причем тайно. А приехав в Москву, д'Эрбиньи сразу поставил еще несколько католических епископов для России... Он и не думал как-то вступать в контакт с Московским Патриаршим Местоблюстителем.

Это загадочная история. Никто не знает, что и как тогда произошло. Ведь д'Эрбиньи был отозван и лишен всех полномочий, но почему и за что — это покрыто мраком неизвестности. В общем виде можно сказать, что все мы живем под властью греха и подвержены ошибкам. Ошибки временами имеют исторический характер.

Одно тем не менее все-таки понятно. Папа Пий XI (1922—1939) был уверен, что Церковь в советской России — разрушена. Поэтому для окормления верующих он мог стремиться поставить тайную иерархию. Но разве при коммунизме что-то могло остаться тайным? Конечно, всё быстро раскрылось. Политическая ситуация была такова: представлялось, что коммунизм вскоре должен пасть.

Ситуация изменилась во время понтификата Папы Павла VI (1963—1978). В целом мире все были убеждены, что коммунистические государства просуществуют еще очень долго, поэтому не должно удивлять, что многие политики, и в том числе Папа, хотели отыскать с коммунистами какой-то modus vivendi. Такова была тогдашняя Ostpolitik.

По аналогии: Священное Писание — непогрешимо, но сколько в нем для нашего времени неправильных идей и представлений? Кто сейчас верит, чтобы кит мог проглотить пророка Иону?

Непогрешимость надо понимать не в материальном смысле, а духовно. Духовно поглощение пророка понять можно.

25. О Христианском церковно-общественном канале

Вот наблюдение для размышления. В Москве есть т.н. православная радиостанция «Радонеж». О качестве ее передач я не буду сейчас говорить, временами оно ниже всякой критики. Речь о другом: радиостанция вещает только два часа в сутки и постоянно жалуется на безденежье. Но в Москве есть и католическая радиостанция — Христианский церковно-общественный канал. Деятельность этого канала, кстати сказать, вызывает большую озабоченность Патриарха Алексия[47] *. Речь, однако, не об этом, а о другом: эта радиостанция вещает с семи утра до двенадцати ночи без перерыва и не жалуется на отсутствие средств. В православной стране — Россия в том же смысле православная страна, что Польша и Италия католические страны — католическая радиостанция вещает без малого в десять раз дольше, чем православная.*

Может быть, помогает международная организация Kirche in Not? Есть такой Веренфрид фон Страатен[48]. Он умеет собирать большие средства и из них немалую толику дает православным. Католики возражают: «Вы всё даете православным, а наши ничего не получают!». Может быть, он отчасти дает деньги на радиостанцию, о которой Вы говорите.

Во всяком случае, можете быть уверены, что ни Папа, ни курия не прилагают никаких усилий, чтобы через эту радиостанцию вести католическую пропаганду в России.

Но запретить деятельность радиостанции Папа также не может. Ведь люди имеют свою голову, и они, вероятно, не прислушались бы. Эти люди на весь мир заявляют: «В Москве сейчас такой огромный интерес к католичеству! Надо

говорить о нем больше и больше!». Может ли Папа в такой ситуации выступить с запрещением? По какому праву?

С другой стороны, если Христианский церковно-общественный канал старается всех просветить религиозным вероучением, то он это делает для всех, в том числе и для православных.

Всем католикам, которые собираются развернуть в новой России тот или иной род деятельности, Рим неустанно повторяет, что они там ни шагу ступить не имеют права без одобрения местного католического архиепископа. Можно ли, к примеру, помыслить себе, чтобы какие-либо ревнители явились, предположим, в Миланскую епархию и стали там миссионерствовать, а кардинал Мартини ничего бы об этом не знал?

А в России, к сожалению, и до сих пор случается, что какая-то группа энтузиастов сваливается как снег на голову, а правящего архиерея никто не ставит об этом в известность.

26. Письмо Папы Римского Б.Н. Ельцину

Сейчас, когда мы говорим с Вами, в Москве еще не улеглось возмущение, вызванное в некоторых кругах письмом Папы Римского нашему президенту Ельцину с протестом против закона о свободе совести[49] *. Известно, что этот закон поддерживает Русская Православная Церковь. Неужели Папа не мог сначала обратиться к Патриарху и побеседовать с ним?*

Свобода религии — это вопрос, который входит в компетенцию не религиозных, а именно государственных структур. Напомню, что Папа — это не только духовный отец всех католиков мира, но еще и глава самостоятельного государства — Ватикана. Он обратился к Ельцину именно в качестве государственного деятеля. Ведь Ватикан поддерживает с Россией дипломатические отношения, так что есть канал, по которому переписка могла состояться. Другое дело, почему подобные письма попадают в печать...

Конечно, было бы лучше, если бы до принятия закона все религиозные конфессии, представленные в России, сели за стол и пришли между собой к согласию относительно той версии документа, которая устраивала бы всех. В таком случае проблема осталось бы на национальном уровне, то есть не вышла бы за пределы России.

Кажется, имеются церковные каноны, запрещающие духовным лицам обращаться за содействием к светским властям, в том числе даже к единоверному царю...

В данном случае они неприменимы, потому что речь идет о мирском, светском законе.

Вот здесь Вы правы. Это на самом деле был светский закон, и его принятие зависело от светского лица.

27. Проблема униатства

Давайте немного поговорим теперь о другом вопросе, весьма отягощающем отношения между Церквами. Я имею в виду униатство, которое, словно кошмар, вот уже четыреста лет[50] *не дает нам покоя. Православные, как известно, считают,*

что уния, заключаемая Католической Церковью с частью епископата Православной Церкви, не только не решает проблему воссоединения, но и, напротив, углубляет раскол.

Практика заключения уний, к счастью, принадлежит прошлому, т.е. она ныне оставлена, но последствия уже заключенных уний сказываются в наши дни, да и в дальнейшем они будут влиять на атмосферу взаимоотношений между Церквами.

Это, действительно, очень сложная проблема. Когда была подписана Брестская уния? Четыре века назад! За это время т.н. греко-католики вполне укоренились, выработали свою идентичность, срослись со своим народом, воспитали весьма лояльную паству, которая выдержала испытание (например, сталинскими) гонениями. Так что так просто взять и отменить Брестскую унию, уже давшую своих святых, в том числе мучеников, — никак невозможно. Войдите в положение греко-католиков, счет которым в Галиции, в Западной Украине идет на миллионы.

Поскольку уже заключенную унию невозможно сделать как бы не бывшей, мы призываем греко-католиков Львова или Ужгорода искать и находить общий язык с православными, которые сосуществуют на той же самой территории. Думаю, что обе конфессии имеют здесь право хотя бы на параллельное, а лучше на дружественное бытие.

Конечно, огромную роль играют национальные чувства! Большинство греко-католиков — умеренные люди, которые удовлетворены выходом своей Церкви из подполья и обретением ею своего нормального статуса. Этим подлинным верующим не свойственно чувство мести и превозношения.

Есть, однако, и национальные фанатики! Таких людей уже нельзя именовать ни униатами, ни православными. Они враждуют не на религиозной, а исключительно на национальной почве.

Вот характерный пример. В какой-то из своих книг я рассмотрел концепцию одного известного религиозного философа и мимоходом упомянул его русское происхождение. Так один украинский фанатик был готов растерзать меня: это-де не русский, а украинский философ! Зубами скрежетал: «Как Вы, профессор Восточного Института, можете писать такие вещи!».

28. Положительный пример взаимопонимания католиков и православных в Моравии

Есть, правда, и положительные примеры. Например, студенты одной католической семинарии в Моравии по своей инициативе решили сходить в близ расположенный запустевший православный храм и пропеть там пасхальную заутреню, чтобы торжество все-таки ощущалось.

Вот это замечательно!

Ректор семинарии отнюдь не возражал, — напротив, выступил «за». Правда, кажется, правящий архиерей не благословил бы такого поступка. Но ему о нем не стало известно.

Чем же мотивировали свой поступок сами семинаристы? Один из них сказал мне примерно сведущее: «Во времена коммунизма католического священника в

нашей округе не было. Так вот православный батюшка давал мне уроки закона Божия, а затем и преподал мне первое причастие. Как же я теперь отрекусь от него или буду ему вредить, хотя я — коренной католик, и все мои предки были католиками? Разве допустимо воспользоваться подходящим моментом и наплевать на православных?».

29. Православно-униатские конфликты на Западной Украине

Ах, если бы все так поступали! Как было бы прекрасно! Но сегодня, к сожалению, мы вынуждены рассматривать болевые точки. Посмотрите, что творится во Львове. Здесь разразилась настоящая война между греко-католиками и православными. Причем я имею в виду православных отнюдь не только Московского Патриархата.

Скорблю об этом. Но никакой Папский декрет подобного прискорбного развития не в состоянии ни предотвратить, ни остановить! Проблема унии слишком срослась и переплелась с национализмом.

Я в принципе делаю всё, что в моих силах, чтобы перевоспитать фанатиков, и в этом даже усматриваю свою жизненную задачу.

Надо в обоих противоборствующих лагерях искать и находить людей, расположенных к разговору, к диалогу, к примирению. Крикунам же, пожалуй, следует дать время, чтобы они досыта накричались, но пока пусть они остаются за дверью.

Религиозный экстремизм, к сожалению, — это распространенное явление нашего времени. Смотрите, сколько среди верующих мусульман — «политических правоверных».

30. Уния как ступень к принятию латинского обряда?

Вам не кажется, что иногда уния рассматривается лишь как переходная ступень к принятию латинского обряда?

Это есть следствие Версальского договора, который на практике закрепил средневековый феодальный принцип: cujus regio, ejus religio «чье правление, того и религия».

Поэтому, например, в Польше в период между 1918 и 1939 гг. даже греко-католиков, в том же Львове, старались побудить стать «истинными католиками», т.е. перевести на латинский обряд. Правда, надо им отдать должное, — поляки всё же в принципе допускали существование восточного (греческого) обряда, они не искореняли его и не использовали против русинов и украинцев всей государственной мощи. И это давало им тогда повод гордиться своей «прогрессивностью» перед остальными европейскими народами. Подобной «свободы» в Западной Европе не было! Насколько далеко в прошлом остались подобные ныне невообразимые представления!

Мне хотелось бы довести до конца тему униатства. Вы, конечно, знаете соглашение, заключенное на заседании Смешанной православно-католической комиссии в Баламанде (Ливан, 1993), по которому на дальнейшее уния как инструмент объединения Церквей — запрещается[51].

Давайте сначала разберемся, в каком смысле допустимо понимать этот глагол — «запрещается».

Разве может кто-либо, даже сам Папа Римский, запретить кому-либо присоединиться к Католической Церкви?

Предположим, некий православный по догматическим, юридическим или другим причинам пожелал перейти в католичество, но при этом ему дорог, как жизнь, византино-славянский обряд, и отходить от него он не хотел бы. Разве допустимо от такого убежденного и по-своему верного человека требовать перемены обряда? Думаю, что ответ очевиден.

Впрочем, мы сейчас говорим об унии как о механизме присоединения отдельных лиц, а не целой какой-либо Православной Церкви или ее части.

Рим, действительно, в настоящее время оставил практику коллективной унии (в том виде, как она имела место 400 лет назад). Среди католических епископов сторонников коллективного униатизма больше не осталось. На личностном уровне, однако, ее нельзя устранить.

31. Пример гармонии в конфессионально смешанной семье

Меня весьма заботят надуманные, но реальные проблемы, возникающие перед конфессионально смешанной семьей. Что ждет, предположим, православного жениха и католическую невесту, когда они пожелают заключить церковный брак?

В Румынии я на протяжении некоторого времени наблюдал одну подобную семью: она — православная, а он — греко-католик. Поскольку женщине, о которой идет речь, в католическом храме не отказывают в причастии, а обряд очень близок, она часто ходит с мужем в «его» церковь и принимает причастие. Она не может не причащаться у униатов, потому что иначе какое воспитание и какой пример получат дети?

Но выходить из православия она также не собирается. Когда она ходит в православный храм, то причащается и там. Так вот, зачем для такой женщины формальная личная уния с католиками? Она уже достигла для себя соединения Церквей.

Как относиться к экуменизму?

Заканчивая тему соединения Церквей, хотел бы спросить Вас, — особенно в свете недавно завершившейся экуменической конференции в Граце[52], — каково Ваше отношение к экуменизму.

По-моему, экуменическая встреча — это совместная практика того, что нас заведомо объединяет. Если желаете, чтобы встреча удалась, не фиксируйтесь на том, что разъединяет христиан разных конфессий, не устраивайте обмена упреками, а встаньте на платформу, которая является общей для всех или хотя бы для некоторых.

Так, если мне предстоит встретиться и побеседовать с протестантами, то почему бы не избрать темой разговора с ними, например, вопросы чтения и толкования Священного Писания? И мы, католики, и они весьма близки в понимании роли

Библии для веры и христианской жизни. Если же темой собеседований избрать Свщ. Предание, которое протестанты не признают, то мы завязнем в спорах и разногласиях, а в итоге останется только чувство раздражения.

Или еще пример. Мы, католики, можем успешно делиться с православными своим молитвенным опытом, поскольку у нас и у вас он очень близкий. Этому, кстати сказать, и была посвящена одна католико-православная встреча на о. Крит. Тогда мы совместно исследовали, скажем, технику углубленной молитвы у св. Франциска и у св. Серафима Саровского и установили, обогатив друг друга, много общего или близкого у двух святых — «самого католического» и «самого православного».

Так, на Критской встрече лично я сделал доклад о сердечной молитве у св.Франциска Ассизского и св. Игнатия Лойолы и о том, какие приемы они рекомендовали, чтобы добиться непрерывной сердечной молитвы. Православные восприняли все эти «католические» рекомендации как свои собственные!

А часть из них даже и не знала, что и у нас есть аналог православной сердечной молитвы.

Между тем православные греки даже перевели для себя «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы[53], присовокупив к ним ряд дополнений и разъяснений, и издание это сделал не кто иной, как св. Никодим Святогорец[54], православный из православных.

33. Заключительные соображения о соединении Церквей

Заключая тему объединения Церквей, хочу еще раз сказать, что на этом пути всякие совещания и конференции, декреты и резолюции должны занимать самое последнее место.

Прежде всего нам необходимо научиться говорить друг с другом и слушать друг друга, находить общий язык и адекватно понимать его, знакомиться и вступать в отношения, взаимно читать православные и католические книги, благоговейно воспринимать церковную музыку и изобразительное искусство обеих Церквей, и только после этого создастся такая атмосфера, что иерархам не останется ничего другого, как официально оформить преодоление раскола.

Не в документе главное. Главное — веровать в водительство Святого Духа и действовать с Ним заодно. А Дух Божий зовет нас к общению.

Таким образом, наше ближайшая высшая цель — intercommunion (буквально: «меж-общение»), в самом широком смысле слова. Во-первых, это просто человеческое общение верующих на всех уровнях, как сказано выше. А во-вторых, это communio in sacris, т.е. общение в таинствах, в том числе причастие католика за православной литургией и православного за католической мессой.

Допустимость взаимного причастия между католиками и православными — это был бы зримый, видимый знак единства Церквей.

А начинать надо не сверху, а снизу. Без малейшего следа насилия! Как в древней Церкви, когда прежде всего искали единства во Святом Духе. Догматические дискуссии только тогда полезны, когда они не влекут за собой конфликтов.

В целом же полное единство — это, если хотите, дело эсхатологии. В нашем греховном и несовершенном мире не может быть такого, чтобы Церковь осталась

незапятнанной и идеальной. Церковь, состоящая из греховных людей, естественным образом и сама греховна. Но, по обетованию Божию, в конце времен она отложит свою греховность, а поскольку разделение представляет собой грех, это значит, что Церковь Божия по всему миру будет едина.

Примечания

[1] Опубликовано на французском языке. Перевод на русский см.: *Оливье Клеман.* Беседы с патриархом Афинагором. Брюссель, 1993.

[2] Karl Rahner im Gespräch mit Meinold Krauss. Hamburg, 1991.

[3] Комментарии должны быть четко отделены, средствами полиграфии, от основной ткани беседы.

[4] В частности, устная речь, с ее специфическим синтаксисом, должна быть, приспособлена к письменностям восприятия письменного текста. Впрочем, временами устная интонация и непринужденность могут быть сохранены.

[5] Замечено, что в устной форме интервьюируемые высказываются определеннее, острее и, так сказать, проговариваются (о чем потом жалеют). С другой стороны, иногда в устном ответе может быть упущено нечто немаловажное, что приходит интервьюируемому в голову уже по завершении беседы. Поэтому за интервьюером признается неотъемлемое право на вычеркивание, дописывание и переформулировку.

[6] В этом отношении особенно показателен, например, сб.: Интервью и беседы со Львом Толстым. Составление, вступительная статья и комментарии В.Я. Лакшина. М., 1987.

[7] У автора этих строк накопился определенный опыт проведения обширных интервью с богословами и вообще религиозными авторитетами. См.: «На Западе необходимо христианское свидетельство Православия». Интервью с проф. К.К. Фельми. «Новая Европа», 1993, № 2. С. 21—35; «Сообща править кораблю Христов». Интервью с архимандритом Иринеем (Тоцке). «Новая Европа», 1993, № 3. С. 13—32; «Преодолеть искушение исключительностью». Беседа с о. Э.Х. Зуттнером. «Новая Европа», 1995, № 6. С. 39—57; «Католическая Церковь для Православия — это Церковь-сестра». Беседа с настоятелем храма Казанской Божией Матери в Узком (Москва) архимандритом Петром (Поляковым). «Новая Европа», 1995, № 7. С. 21-41; «Не переубеждать друг друга, а лучше узнавать». Интервью с еврейским общественным деятелем Г. Ригнером. «Новая Европа», 1995, № 7. С. 85—100; «Это была подлинно историческая поездка!» Беседа с прелатом Альбертом Раухом (ФРГ) о визите Патриарха Алексия II в Германию. «Новая Европа», 1996, № 9. С. 102—117; «Верую во единую Церковь». Беседа с о. Антонием Ламбрехтсом, иеромонахом католического Крестовоздвиженского монастыря славяно-византийского обряда. «Страницы», 1997, т. 2, вып. 1. С. 133—149—171; «Искать друг у друга, что нас сближает и соединяет». Беседа со свящ. Романо Скальфи. «Новая Европа», 1997, № 11. С. 3—22; Флоренский сегодня: три точки зрения. «Вопросы философии», 1997, №5. С. 125—156; «Я тружусь ради мира». Беседа с архимандритом Иринеем Тоцке. «Страницы», 1997, т. 2, вып. 3. С. 460—471. Подготавливается также обширное интервью в форме книги: Жизнь. Судьба. Церковь. Проф. Фэри (Вера Георгиевна) фон Лилиенфельд рассказывает о себе и своем видении русского православия.

[8] При изложении биографии о. Фомы мы опирались на публикации: *Karel Mácha.* Auf der Suche nach Sinn und Wahrheit. — In: Geist und Erkenntnis. Zu spirituellen Grundlagen Europas. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. ThDr. Tomás Spidlik SJ. München, 1985, SS. 7—19; *Edward G. Farrugia.* Un cuore per lo spirito: Tomás Spidlik compie 75 anni. — In: Tomás Spidlik, M.Campatelli, R.Cemus, E.G.Farrugia, G.Marani, M.I.Rupnik, M.Tenace. «Lezioni sulla Divinoumanita». Roma, 1995, p. 11—38. В обоих сборниках

опубликована библиография трудов (в первом на с. 335—347; во втором — на с. 245—276). Мы учли также Laudatio, сказанное о. Фоме при присвоении ученой степени доктора Honoris Causa Клужского университета (Румыния, май 1977).

[9] Св. Иоанн Непомук (XIV в.) — патрон Чехии (день памяти — 16 мая).

[10] *Tomás Spidlik.* Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité russe. Roma, 1956.

[11] *Tomás Spidlik.* La sophiologie de S.Basile. Roma, 1961.

[12] *Tomás Spidlik.* La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus. Le Coeur et l'Esprit. Roma, 1965.

[13] *Tomás Spidlik.* Grégoire de Nazianze. Introduction à l'étude de sa doctrine spirituelle. Roma, 1971.

[14] *Tomás Spidlik.* La spiritualité de l'Orient chrétienne. Manuel systématique. Roma, 1978.

[15] *Tomás Spidlik.* La spiritualité de l'Orient chrétienne. II. La Priere. Roma, 1978.

[16] *Tomás Spidlik.* L'idée russe. Une autre vision de l'homme. Troyes, 1994.

[17] Например: Tomás Spidlik. I grandi mistici russi. Roma, 1977. Здесь собраны источники, связанные с трудами и подвигами страстотерпцев Бориса и Глеба, Киево-Печерских подвижников Исаакия и Алипия, святителей Тихона Задонского и Филарета Московского, благоверного князя Александра Невского, Сергия Радонежского, Иосифа Волоколамского, Нила Сорского, Серафима Саровского, Феофана Затворника и др. В антологию вошли также фрагменты из духовных писателей XVIII, XIX и начала XX вв. — Г.С. Сковороды, А.С. Хомякова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, В.И. Иванова, В.С. Соловьева, а также св. Иоанна Кронштадтского.

[18] Хотя о. Фома большую часть своей жизни провел в Италии, большинство книг написано им по-чешски, для соотечественников.

[19] *Tomás Spidlik.* Ignatio di Loyola e la spiritualita orientale. Guida alla lettura degli *Esercizi.* Roma, 1994.

[20] *Tomás Spidlik, Marko Ivan Rupnik.* Narrativa dell'immagine. Roma, 1996.

[21] В кн.: Tomás Spidlik, M.Campatelli, R.Cemus и др., цит. раб. (см. сн. 8). Здесь, наряду со взглядами отцов Церкви (Дорофея Газского, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста и др.), рассматриваются воззрения русских мыслителей прошлого и настоящего веков (Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, С.Л. Франка и др.).

[22] Из них две переведены на русский язык: Томаш Шпидлик. О молитве. Новосибирск, 1994; *Томаш Шпидлик.* Знаешь ли ты Христа? Актуальность Его Личности. Каунас, 1997.

[23] Итальянская версия: *Tomás Spidlik.* Il cammino dello Spirito. Roma, «Lipa», 1995.

[24] В 1991 г-жа Анна Мариа Грюнхут Бартолетти Алетти подарила Ордену иезуитов в Риме свой вместительный дом для открытия в нем Учебно-исследовательского центра, который должен был получить имя ее умершего мужа Эцио Алетти. Так возник Центр Алетти.

[25] Ulipispirus a jiné pohádky. Brixen, 1971. Книга написана совместно со старым другом о. Фомы о. Франческо Михальчиком-Лючиновским, скрывшим себя под псевдонимом *Мик.*

[26] Имеется в виду второе прошение т.н. мирной ектении.

[27] *Г.У. фон Бальтазар.* Ты имеешь глаголы вечной жизни. Перевод Е.М. Верещагина. М., 1992, 206 с.; *Р. Гвардини.* Сущность христианства. Перевод Е.М. Верещагина. В кн.: Р. Гвардини. О Церкви. М., 1995. С. 171—230.

[28] Панславизм — идея объединения всех славян (по возможности, в одном государстве). Зародилась в конце XVIII в. в Австро-Венгерской монархии как одно из проявлений национального пробуждения.

[29] Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — русский религиозный мыслитель, один из основоположников славянофильства и панславизма.

[30] При написании справки использованы следующие материалы: *еп. Горазд.* Православный катихизис. Прага, 1954, 262 с.; *В. Чаплин.* Святитель, миссионер, мученик. «Журнал Московской Патриархии», 1988, № 8. С. 63—65; *М. Иванов.* Покушение на Гейдриха. Свидетельства, факты, документы. Пер. с чеш. М., 1988, 298 с.

[31] Возможно, Р. Гейдрих является автором самого термина. Он координировал и осуществлял полное уничтожение европейских евреев, которых насчитывал 11 миллионов.

[32] Речь идет о прибавлении двух слов «и от Сына» (*Filioque*) в 8-й член Никео-Царьградского Символа веры.

[33] 29 июня 1995 г. в базилике Св. Петра в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея I Папа Иоанн Павел II, произнося проповедь, выразил пожелание, чтобы было разъяснено «полученное по преданию учение о Filioque, находящееся в литургической версии латинского Символа веры и чтобы можно было осветить его полное согласие с тем, что было исповедано в Символе веры на Вселенском соборе в Константинополе в 381 г., а именно: Отец как исток всей Троицы, единственный источник как Сына, так и Святого Духа». В ответ на пожелание было выпущено «Ответственное разъяснение Папского совета по содействию единству христиан», основное содержание которого далее о. Фома раскрывает в своем интервью. Мы могли познакомиться с указанным «Ответственным разъяснением» в немецкой версии: Die griechische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geistes. Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Chrsten. — In: Una Sancta, 1995, 4, SS. 316—324. Закавыченная цитата — на с. 316.

[34] Ферраро-Флорентийский собор (открыт 8 октября 1438 г.) был созван византийским императором Иоанном VI Палеологом и Папой Евгением IV с целью уврачевания церковного раскола 1054 г. Главным предметом расхождений между католиками и православными на соборе как раз и был вопрос о Filioque, который обсуждался по крайней мере на 15 заседаниях. Акт соединения (*унии*) Церквей подписали все участники, в том числе все греческие епископы, за исключением одного лишь св. Марка, митрополита Эфесского. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, однако, в дальнейшем не приняли унии; не принял унии также церковный народ Константинополя. В настоящее время действенность Флорентийской унии, не будучи формально отменена, не признается православными церквами. Из последних по времени работ на русском языке см.: *архим. Амвросий* (Погодин). Св. Марк Эфесский и Флорентийская уния. Джорданвилль, 1963 (допечатка: Москва, 1994), 434 с.

[35] Макарий, митр. Московский. Православно-догматическое богословие. Т. I—II. Изд. 5-е. СПб., 1895. Разбор и критику четырех доводов в поддержку догмата о Filioque см. на с. 345—348. Общее заключение догматиста таково: «... справедливо ли выдавать такое учение за догмат и ввести его даже в символ веры, когда каждый христианский догмат непременно должен основываться на Слове Божием, непременно должен быть содержим всей Церковью вселенскою и существовать в ней со времен самих апостолов, а не то, чтобы явиться в каком-нибудь V или IX веке? Нет, это уже заблуждение и заблуждение величайшее; это нововведение в таком деле, в котором не только какая-нибудь частная, но и вселенская Церковь не имеет права делать нововведений: ибо догматы все изречены нам Богом. Это, следовательно, в некотором смысле дерзкое посягательство на права самого Бога» (с. 348).

[36] С догматическими воззрениями проф. Димитру Станилоэ можно познакомиться по переводу его opus magnum на немецкий язык: *D. Staniloe.* Orthodoxe Dogmatik. Aus dem Rumänischen übers. von Heremann Pitters. Bd. I—III. Zürich, Einsiedeln, Köln, Gütersloh, 1985—1995.

[37] Протоирей Сергий (Николаевич) Булгаков (1871—1944), многолетний ректор Свято-Сергиевского богословского института в Париже (1923—1944), участник, но и

критик экуменического движения, наиболее известен как продолжатель учения В.С. Соловьева и о. Павла Флоренского о св. Софии — Премудрости Божией. Софиология о. Сергия была осуждена Московским Патриархатом в 1935 г. Изложение взглядов о. Сергия и библиографию его работ см.: *Л.А. Зандер.* Бог и мир. Миросозерцание отца Сергия Булгакова. Т. II. Париж, 1948. См.: также: *Hans-Jürgen Ruppert.* Sergej N.Bulgkov. Klassiker der Theologie. 2.Bd. Von Richard Simon bis Dietrich Bonhoeffer. München, 1983, SS. 262—276. Софиологии посвящена целая — восьмая — глава монографии о.Фомы «L'idée russe» (см. сн. 16), p. 313—335.

[38] Св. Роберт Беллармино (Roberto Francesco Romolo Bellarmino, 1542—1621) — кардинал, член Общества Иисуса, деятельный полемист с протестантизмом периода контрреформации (оставил три тома апологетики), Доктор Церкви. В XVIII в. на русск. яз. были переведены его следующие книги: Руководство к Богопознанию. М., 1783; Наука благополучно умирать. М., 1783; О вечном блаженстве святых. М., 1784; Лествица умственного восхождения к Богу по степеням созданных вещей. М., 1786; О воздыхании голубицы, или О пользе слез. М., 1795; О седми изречениях, от Христа на кресте провещанных. М., 1795. О признании авторитета Беллармино в православии также свидетельствуют переиздания его книг в первой половине XIX в.

[39] Первый Ватиканский (XX Вселенский, по счету Римо-Католической Церкви) собор (1869—70) был созван Папой Пием IX (1792—1878; понтификат с 1846 г.), тем самым, который конституцией «Ineffabilis Deus» от 8 декабря 1854 г. [на библейском основании: Быт 3,15 и Лк 1,28] провозгласил догмат о непорочном зачатии Приснодевы Марии.

Догматическая конституция о Церкви Христовой, по первым словам называемая «Pastor Aeternus», в которой содержатся догматы о папском примате и о *непогрешимости* (неточный перевод лат. термина infallibilitas, букв. «безошибочность») Папы (когда он дефинирует учение относительно веры или нравственности и говорит ex cathedra, т.е. в качестве пастыря и учителя всех христиан и по своему высшему апостольскому авторитету), была принята на последней, Четвертой, публичной сессии 18 июля 1870 г. На следующий день, 19 июля, разразилась война между Францией и Пруссией, так что французские оккупационные войска были выведены из Рима и 20 сентября введены войска итальянского короля Виктора-Эммануила. Светская власть Папы в Риме была уничтожена. Это привело к вынужденному завершению собора (формально он был не закрыт, а лишь отсрочен 20 октября 1870 г., вследствие отсутствия свободы для заседаний).

Буквально догмат гласит следующее: «С одобрения священного собора учим и постановляем мы, как Богом откровенный нам догмат, что римский Папа, когда говорит ex cathedra, т.е. при отправлении своих обязанностей пастыря и учителя всех христиан и на основании свыше дарованной ему апостольской власти определяет учение, касающееся веры или нравов и обязательное для всей Церкви, то обладает, в силу обещанной ему в лице св. Петра Божественной помощи, непогрешимостью, которую Божественный Искупитель даровал своей Церкви. Вследствие этого постановления римского Папы, по собственной присущей им силе и независимо от одобрения Церкви, не подлежат никаким изменениям. Кто же дерзнет, чего Боже сохрани, возражать против сего нашего постановления, тот да будет предан проклятию и отлучению от Церкви» (цит. по изд.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. I. М., 1993. С. 346).

Часть католиков Германии, Австрии и Швейцарии не приняла догмата о непогрешимости и выделилась в самостоятельную Старокатолическую Церковь.

[40] Второй Ватиканский (XXI Вселенский, по счету Римо-Католической Церкви) собор (1962—65) был созван Папой Иоанном XXXIII (1881—1863; понтификат с 1958 г.) и завершен при Папе Павле VI (1896—1978; понтификат с 1963 г.). На соборе была продолжена и закреплена политика *aggiornamento* («обновления»), предложенная

Папой Иоанном XXXIII, которая охватывает новые формы исповедания веры, экуменизм, отношение к нехристианским религиям, новые формы воспитания детей и монашеской жизни, обновление богослужения, широкое признание естественных прав человека, поддержку свободы вероисповедания и социального государства и т.д. В речи при открытии собора Иоанн XXXIII провел, однако, строгое различие между depositum fidei («хранимым богатством веры»), которое ни при каких условиях не подлежит переменам, и обусловленными временем формами провозглашения веры, которые не только могут, но и обязаны обновляться. Имеется сборник документов II Ватиканского собора на русском языке: Второй Ватиканский собор. Конституции, декреты, декларации. Брюссель, 1992. О личности и трудах Папы Иоанна XXXIII см.: *Никодим, митр. Ленинградский и Новгородский.* Иоанн XXXIII, Папа Римский. Поборник единства христиан. Wien, Pro Oriente, 1984, 651 с.

[41] Напечатана по-русски в кн.: Второй Ватиканский собор (см. сн. 40), с. 7—74. Одна из глав Конституции — вторая — называется «О народе Божием».

[42] А.С. Хомяков развивал в славянофильстве преимущественно богословскую линию. Центральный пункт его богословствования — выяснение идеи Церкви. Он приходит к выводу, что если католичество как Церковь изменяет началу свободы во имя единства и если протестантизм изменяет началу единства во имя свободы, то в Православной Церкви сохраняется гармоническое сочетание единства и свободы в принципе христианской любви.

[43] Вероятно, имеется в виду труд: *A. Gratieux.* A.S. Khomiakov et le mouvement slavophile. Vol. I—II. Paris, 1939. Хорошее исследование наследия А.С. Хомякова в свете новейших богословских проблем см.: *Ernst Christoph Suttner.* Offenbarung, Gnade und Kirche bei A.S. Chomjakov. Würzburg, 1967, 200 SS.

[44] Действительно, в Конституции читается: «Как и Израиль по плоти, странствовавший в пустыне, уже назван был Церковью Божией (2 Ездр 13,1; ср. Числ 20,4; Втор 23,1 слл.; Vulg. «ecclesia»), так и новый Израиль, шествующий в нынешнем веке, ищет будущего постоянного града (ср. Евр 13,14) и так же называется Церковью Христовой (ср. Мф 16,18)...» (Второй Ватиканский собор [см. сн. 40], с. 14.)

[45] 15 августа 1996 г., в праздник Успения Богородицы по григорианскому календарю, за мессой латинского обряда, которую в Мирожском монастыре под Псковом в еще не освященной православной часовне отслужил католический священник, о. Романо Скальфи, архим. Зинон, наместник монастыря, вкупе со своей братией принял (католическое) причастие.

Присутствовавшие за службой члены Русской Православной Церкви Заграницей В.Г. и С.И. Беликовы написали об этом Его Святейшеству Патриарху Алексию II. (Зарубежники, как известно, выступают против каких бы то ни было контактов с католиками.) Истребовав от архим. Зинона объяснение, архиеп. Евсевий (Саввин), правящий архиерей Псковской и Великолукской епархии, ссылаясь на 45-е правило Святых Апостол, 28 ноября 1996 г. подписал указ о запрещении о. Зинона в священнослужении и исключил его из клира Псковской епархии.

Вопрос о правомерности и, главное, «своевременности» указа вызвал большое волнение среди православной и католической общественности и интенсивно обсуждался в печати.

О. Романо Скальфи так мотивировал свой поступок: «Мы, естественно, никак не имели в виду нарушать канонические правила или же кого-то вводить в соблазн. Мы совершили жест, — может быть, и не полностью нормативный, но, несомненно, пророчески устремленный к свидетельству о единстве Церквей. Мы, естественно, до глубины души огорчены, потому что этот жест нанес ущерб архим. Зинону, во всем мире известному своим подвижничеством и иконописными трудами».

«Искать друг у друга, что нас сближает и соединяет» — цит. раб., см. сн. 7; с. 8.

[46] Краткие справки о Мишеле д'Эрбиньи (P. Michel d'Erbigny) содержатся в недавно опубликованном документальном исследовании Н.И. Осиповой «"В язвах своих сокрой меня..." Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел» (М., 1996. С. 219, 85), а именно:

Эрбиньи Мишель, родился в 1880 г. в Лилле (Франция). 28 августа 1910 г. рукоположен в сан римско-католического священника. С 29 октября 1921 г. преподавал в Григорианском университете в Риме. С 3 мая 1922 г. служил в костеле в Германии. С 15 октября 1922 г. возглавил Институт восточных исследований в Риме. 29 марта 1926 г. рукоположен в сан епископа Илионского. 18 апреля 1937 г. подал в отставку. С 3 ноября 1937 г. в затворе в Монсе. Прекратил исполнять епископские обязанности с 7 января 1938 г. Умер в Эксе 23 декабря 1957 г.

По агентурным сведениям ГПУ, прибыв в СССР, д'Эрбиньи «провел реорганизацию среди католичества в СССР, назначил ряд епископов и разделил весь СССР на администраторства, назначив администраторов».

В свою очередь Н.И. Осипова ссылается на кн.: *A. Wenger*. Rome et Moscou, 1900—1950. Paris, 1987.

С консервативных православных традиций деятельность д'Эрбиньи оценивается резко отрицательно; см., например, диакон Андрей Кураев. О католической миссии в большевистской России 20—30-х гг. «Москва», 1996, № 8.

Зловещая фигура еп. Мишеля д'Эрбиньи объективно и взвешенно представлена в монографии: *Leon Tretjakewitsch*. Bishop Michel d'Erbigny SJ and Russia. A Pre-Ecumenical Approach to Christian Unity. (Das östliche Christentum Abhandlungen im Auftrag des Ostkirchlichen Instituts der deutschen Augustiner, Würzburg.) Würzburg, 1990. В монографии 7 глав: От Поссевино до Пирлинга: наследие иезуитов в России; Русское призвание д'Эрбиньи; Церковь и церкви; Д'Эрбиньи, англикане и англикано-православное сближение; Д'Эрбиньи, Россия и русская эмиграция 1921—1927; Упущенные возможности и подготовка крестового похода 1921—1927; Мощь и немилость: последние годы д'Эрбиньи в Риме 1928—1933. Библиография. Регистр.

Ср. современную оценку деятельности д'Эрбиньи католическим священником: *Ириней Тоцке*. Я тружусь ради мира между Западной и Восточной Церквами. «Страницы», 1997, № 2.

[47] Вот что сказал Патриарх Алексий II на ежегодном епархиальном собрании 16 декабря 1997 г.: «С сожалением должен свидетельствовать, что общая тенденция передач является попыткой повлиять на души и умы церковного общества таким образом, чтобы внутри Православия создать радикальную экстремистскую оппозицию»; «... цели [радиостанции] прямо противоположны целям и задачам Русской Православной Церкви, как их видит Священноначалие. Поэтому мы считаем, что участие членов клира Русской Православной Церкви на указанном радиоканале недопустимо как противоречащее духу православной веры». См.: газета «Радонеж», № 21 (декабрь 1997 г.), с. 3.

[48] Веренфрид фон Страатен (Werenfried von Straaten; р. в 1913 г.) — голландский католический священник. По завершении Второй мировой войны неожиданно вышел из тишины и покоя одного фламандского монастыря и стал активно действовать ради помощи пострадавшим от войны. Произносил проповеди и побуждал голландцев и бельгийцев помогать своим поверженным врагам — немцам. Поскольку натурой собирал продовольствие, получил прозвище Speckpater (буквально: «священник-сало»). Призывал также к денежным пожертвованиям и пускал по кругу свою шляпу, которая стала называться Millionenhut (буквально: «шляпа для миллионов»). Расширив поле своей деятельности, стал помогать католикам Восточной Европы. Его организации времен холодной войны назывались — «Церковь в беде» (Kirche in Not) и «Помощь

священникам Восточной Европы» (Ostpriesterhilfe). Об этом см.: Werenfried von Straaten. Sie nannten mich Speckpater. Recklinghausen, б.г.

По свидетельству прелата Альберта Рауха, фон Страатен и Патриарх Алексий II встретились во время визита последнего в Германию (16—24 ноября 1995 г.). Фон Страатен сказал речь и, в частности, «заверил Патриарха, что германские католики, оказывая помощь, совсем не собираются как-то вмешиваться в дела Русской Православной Церкви, — они стремятся помочь русским общинам провести новую евангелизацию народов России» (см.: «Это была подлинно историческая поездка!», цит. раб. [см. сн. 7], с. 109). Раньше, по словам фон Страатена, казалось, что эту новую евангелизацию придется проводить католикам, потому что таково поручение Фатимской Божией Матери, которая во время явлений сказала: «Россия обратится к вере». Теперь же я вижу, сказал шпекпатер, это дело должно быть выполнено местной Церковью в России. Новую евангелизацию будет проводить РПЦ сама, а на нашу долю выпадает лишь поддержка, также и финансовая, равно как и персональная. Эта совершенно замечательная речь была встречена горячими аплодисментами.

[49] Текст Письма Папы Иоанна Павла II Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину был широко опубликован в России. См. его, например, в «Независимой газете» (от 27 июля 1997 г.).

[50] Речь идет о решении церковного собора, состоявшегося в Бресте в октябре 1596 г., на котором была принята церковная уния, т.е. соединение Православной Церкви, расположенной в пределах Речи Посполитой (на белорусских и украинских землях), с Католической, причем за православными были сохранены все их обряды. Публикацию основного документа от 8 октября 1996 г. («Соборной грамоты Киевского митрополита Михаила Рагозы и православных епископов: Владимиро-Волынского, Луцкого, Полоцкого, Хелмского и Пинского с низшими духовными властями о вступлении их в союз с Римской Церковью и признании над собою верховной власти Папы Климента VIII и его преемников») см. в кн.: Унія в документах. Минск, 1997, с. 137—139. См. также Папскую оценку Брестской унии: Апостольский лист Римського Архиерея Івана Павла II з нагоди 400-річчя Берестейської Унії. Città del Vaticano, 1995.

[51] Патриарх Алексий II так процитировал основное положение совместного Баламандского документа: уния «не может быть больше принята ни как метод, ни как модель единства, к которому стремятся наши Церкви». См.: Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 18 февраля 1997 г. — В кн.: Архиерейский собор Русской Православной Церкви. 18—23 февраля 1997 г., Свято-Данилов монастырь. Сборник документов. М., 1997. С. 77.

[52] Речь идет о Второй Европейской Экуменической Ассамблее, состоявшейся в г. Граце (Австрия) 23—29 июня 1997 г. и посвященной теме «Примирение — дар Божий и источник новой жизни». В Ассамблее приняли участие 700 официальных делегатов и более 10 000 христиан из всех стран и Церквей Европы.

[53] Св. Игнатий (в миру: Иниго Лопес) де Лойола (1491 или 1495 — 1556) — основатель Societas Jesu («Общества Иисуса», т.е. Ордена иезуитов), автор книги «Exercitia spiritualia» («Духовные упражнения») — подлинной (и для католичества середины XVI в. новой) мистической школы испытания совести, размышлений и созерцаний. Духовные упражнения — это ряд размышлений и правил, позволяющих душе победить страсти и предаться Богу. Желаемый результат у св. Игнатия достигается путем систематических занятий (в удалении от мирской жизни) под руководством опытного наставника на протяжении четырех недель: на первой неделе исследуется грех и его последствия (ее девиз: *deformata reformare*, буквально: «перестроить извращенное [грехом]»), на второй — Христово Царство (*reformata conformare* «перестроенное благоукрасить»), на третьей — Страсти Христовы (*conformata confirmare* «благоукрашен-

ное укрепить») и на четвертой — Воскресение и Вознесение Господа (*confirmata transformare* «укрепленное преобразовать»). Проведение духовных упражнений — это сочетание впечатлений от органов чувств, воображения, понимания, созерцания, актуализации воли к усовершенствованию и продолжительной молитвы. В современных условиях духовные упражнения занимают меньше времени. См.: *Иеромонах Николай Бок, О.И.* Осьмидневные духовные упражнения. Издание Русского Центра Фордгамского университета в Нью-Йорке, 1953. О духовных упражнениях, которые в 1995 г. провел в Ватикане о. Фома Шпидлик, говорится далее в основном тексте интервью.

[54] Св. Никодим Святогорец (1749—1809) — высокообразованный греческий монах, составитель широко известных аскетических творений — «Добротолюбия» (переведенного на славяно-русский язык св. старцем Паисием Величковским [в 1793 г.] и впоследствии на русский язык св. Феофаном Затворником [в 1876—1890 гг.]) и «Невидимой брани» (переведенной на русский язык св. Феофаном Затворником). Будучи глубоко укоренен в православно-греческой святоотеческой традиции, св. Никодим одновременно был открыт и для западных (инославных) духовных писателей. Так, его «Ἀόρατος Πόλεμος» («Невидимая брань») представляет собой перевод с итальянского и компиляцию двух сочинений католика Л. Скуполи (L. Scupoli) «Combattimento spirituale» («Духовная брань») и «Sentiero del Paradiso» («Райский путь»). Он перевел также с латыни «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы. Память св. Никодима в Русской Православной Церкви 1/14 июля. Его краткое житие см.: Настольная книга священнослужителя. Т. 3. М., 1979. С. 496—498.

Роберт Луис ДЖЕКСОН

СОН ДМИТРИЯ КАРАМАЗОВА ПРО «ДИТЁ»: ПРОРЫВ

> Depend upon it, the first universal characteristic of all great art is Tenderness, as the second is Truth. ... An infinitude of tenderness is the chief gift and inheritance of all truly great men.
>
> *John Ruskin*[1]

В «Братьях Карамазовых» есть три речи, отправной точкой которых становятся страдания ребенка: «Бунт» Ивана в конце главы под тем же названием, сон Дмитрия про «дитё» и речь Алеши у камня в эпилоге романа.

В этом небольшом эссе мне хотелось бы проанализировать вторую речь — сон Дмитрия о страдающих матери и ребенке в предпоследней главе 9-й книги: «Предварительное следствие».

Основное движение в романе идет от исполненного муки, полубезумного, но тем не менее ущербного монолога Ивана о страданиях детей — ущербного в идеологическом замысле Достоевского — к эмоционально приглушенной, но нравственно и духовно ободряющей речи Алеши. В этом движении эмоционально и этически заряженный «хороший сон» Дмитрия, как он сам его называет, является как фигурально, так и буквально, ключевым моментом.

В свое время, анализируя речь Алеши у камня, я опирался на замечание рассказчика о том, что при виде камня (где Снегирев встречался с Илюшей и хотел потом его похоронить) в памяти Алеши возникла *«целая картина* того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!». И я пытался показать, что

Роберт Луис ДЖЕКСОН — родился в 1923 году. Профессор Йельского университета. Президент Североамериканского Чеховского общества и общества Вячеслава Иванова, почетный доктор МГУ. Автор множества работ по русской литературе, в том числе вышедшей в Москве в 1998 году (издательство «Радикс») книги «Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны». Живет в США.

[1] Будьте уверены, первая универсальная черта великого искусства — Умиление, а вторая — Истина. ... Бесконечность умиления — главный дар и наследие всех истинно великих людей». См. John Ruskin в Comments of John Ruskin on the 'Divina Commedia'. Compiled by George P. Huntington with an Introduction by Charles Eliot Norton. (Boston and New York, 1903, p. 8.)

в этом замечании можно видеть, каким именно образом речь Алеши — ключевой мостик к задуманной Достоевским второй части «Братьев Карамазовых» — вводится Достоевским в контекст прямой полемики с монологом Ивана о страдающем ребенке, с монологом, в котором Иван постоянно подносит к глазам Алеши и читателя *«картинку»*, увековечивающую физическую пытку ребенка и страдания его матери. И, увековечивая ее, заодно постоянно обращает внимание на собственное мучительство.

Но Достоевский полемизирует с Иваном также и с помощью сна Дмитрия о страдающем ребенке и его матери. Однако было бы неточно говорить, что сон Дмитрия дает «целую картину» подхода Достоевского к человеческим страданиям[2]. Скорее я готов использовать здесь слово «прорыв» — для описания того, как Дмитрий открывает в себе неэгоцентричное сострадание, наполняющее его силой, или, употребляя особый термин из самого сна, — «умилением».

Сон Дмитрия — важный шаг из болота эгоцентрического бунта Ивана, возмущения, обращающегося на себя самого и превращающего законное и глубокое чувство в постоянную и смертоносную подпольную ярость. Сон Дмитрия — шаг в направлении чего-то совершенно иного: в направлении состояния ума и существа, в котором страдание может превратиться в исцеляющее воспоминание.

Мы помним, что Иван сам не видел мучений детей, которые он описывает. Он совсем не имел дела с детьми. Его «картинки», словно разрозненные фотографии, позаимствованы из газет. Дмитрий, если мы оставим в стороне его важный, хотя и мимолетный, контакт с Илюшей, когда он унижает отца мальчика, также не соприкасается со страдающими детьми. И всё же в своем сне в конце предварительного следствия в главе под названием «Показание свидетелей. Дитё» Дмитрий оказывается свидетелем страдания ребенка и матери или матерей.

Из этих слов должно быть ясно, что я совсем не считаю составное название «Показание свидетелей. Дитё» загадкой. Название главы не только несет в себе определенную информацию, но и со-противопоставляет показание свидетелей — все против Дмитрия, как мы знаем, — с показаниями самого Дмитрия, который оказался не просто очевидцем страданий ребенка и матери, но их *свидетелем* защиты. Здесь свидетельство, «показание» Дмитрия, словно бы подносимое к глазам читателя, как у Богородицы в легенде о Ее хождении по мукам, указывает на такой отклик на эти страдания, который хотя и похож по теме на отклик Ивана, тем не менее глубоко отличается от него по своим выводам.

«Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени»...

Сон, может быть, и не ко времени, но он очень даже к месту в смысле внутреннего содержания или внутреннего потока сознания, возникающего из предшествующих глав. В предыдущей главе «Великая тайна Мити. Освистали»

---

[2] Интересно, что именно Дмитрий впервые говорит о «всей картине» ближе к началу романа в «Исповеди горячего сердца. «Вверх пятами»». Более того, он употребляет этот термин подобно тому, как позже рассказчик использует термин «целая картина». «Богу известно мое сердце, — говорит Дмитрий Алеше, — Он видит всё мое отчаяние. Он всю эту картину видит» (кн. 1, ч. 3, гл. 5).

Дмитрий выглядывает из окна, и это дает нам мостик к мрачной деревне, появляющейся во сне Дмитрия[3]. Рассказчик пишет: «Митя встал и подошел к окну. Дождь так и сек в маленькие зеленоватые стекла окошек. Виднелась прямо под окном грязная дорога, а там дальше, в дождливой мгле, черные, бедные, неприглядные ряды изб, еще более, казалось, почерневших и победневших от дождя».

Затем Дмитрий вспоминает «Феба златокудрого» и как он, Дмитрий, хотел застрелиться «с первым лучом его». Глядя на утро, представшее его глазам, он думает, что оно может быть еще лучше для самоубийства. Здесь невольно вспоминается мрачная ночь, когда Смешной человек решает покончить жизнь самоубийством, но в последний момент ему мешает ночная встреча с девочкой-попрошайкой. Однако в этот момент в «Братьях Карамазовых» Дмитрий обращается к своим «мучителям» с прежними заверениями в том, что Грушенька невиновна.

Деревенский пейзаж, который Дмитрий видит из окна, вновь возникает в его сне в виде мрачной деревни, полной «изб черных-пречерных, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна», — сибирской деревни, на которую он смотрит, проносясь мимо на санях. Однако деревня населена не «Фебами златокудрыми», но бедными, изможденными крестьянками, среди которых одна плачущая женщина, и на руках у нее голодный и плачущий ребенок.

Сон Дмитрия оказывается психологически верным слиянием отдельных элементов его переживаний: поездка в Мокрое, ямщик Андрей, пейзаж за окном, невиновность Грушеньки и, возможно, воспоминание о «малом ребенке» — самом Дмитрии: в этой связи мы вспоминаем, как ямщик Андрей назвал Дмитрия во время поездки в Мокрое «малым ребенком». Во сне Дмитрия несомненно есть и реминисценции из его «Исповеди горячего сердца. В стихах», не говоря уже о его плачевных словах, обращенных к Алеше в той же главе: «Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед!».

Эти различные элементы, включая наверняка и воспоминания об ужасном детстве самого Дмитрия — детстве, которое столь красноречиво описывает доктор Герценштубе на суде над Дмитрием, — словно бы складываются в сознании Мити в новую картину, новый, более связный порядок нравственного осознания. Увиденное во сне «дитё» приведет, как привела у Смешного человека встреча с девочкой-попрошайкой, к началу внутреннего преображения Дмитрия.

Сон Дмитрия — поразительно сжатый, напряженный и нравственно-духовно насыщенный — становится своего рода катарсисом после многочасового мучительного и давящего допроса по поводу его возможной — а для его «мучителей» несомненной — виновности Дмитрия в убийстве отца. Однако во сне сам Дмитрий задает вопросы, пытаясь понять, почему и отчего эта страшная, апокалиптическая сцена погорелой деревни.

---

[3] Виктор Террас отметил это в своей книге «A Karamazov Companion» (Madison, Wisconsin, 1981, pp. 331—332): «Этот описательный отрывок не только символизирует настроение Дмитрия, но также как помогает создать переход ко сну Дмитрия в следующей главе, так и открывает окно в мир в целом».

В нескольких полубезумных строчках — строчках, четырнадцать раз пересыпанных полными муки вопросительными словами: что? чего? отчего? почему? — Дмитрий находит путь к порогу — не безумного бунта, как у его брата Ивана, но безумного сострадания.

Дмитрий, вихрем проносясь мимо деревни[4], видит высокую костлявую женщину с худым лицом и высохшими грудями; она держит ребенка, который «плачет, плачет ... и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые».

На первый вопрос Дмитрия: «Что они плачут? Чего они плачут?» — ямщик отвечает: «Дитё ... дитё плачет». Господствующая нота сна — нота жалости — звучит в самом начале сна: нам говорят, что Дмитрию понравилось, как крестьянин сказал «дитё», а не «дитя»: «жалости как будто больше».

Мы уже подчеркнули поразительное повторение слова «почему?» в устах Дмитрия. Ответы, которые он получает, словно бы влетают в неслышащие уши. Вячеслав Иванов постиг суть дела, хотя и ошибся в деталях, написав: «Преисполненный сострадания и ужаса, Митя в своем сне доискивается понять, откуда всё это страдание, и он получает в ответ только бесконечно повторяемые, западающие ему глубоко в сердце, полные отчаяния слова: «дитё плачет». «Дитё плачет» — это источник всего страдания в мире. Неистощимый грех мира — это грех против детей»[5].

«Да отчего оно плачет? — настойчиво домогается, «как глупый», Дмитрий. — Почему ручки голенькие, почему его не закутают?»... «Да почему это так? Почему? — всё не отстает глупый Митя»... «А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят». Заметим вкратце, что использование прилагательного «глупый» для характеристики Дмитрия снова связывает его со Смешным человеком.

«Нет, нет, — всё будто еще не понимает Митя, — ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитё?»

Ивану «не надобно миллионов, — говорят нам, — а надобно мысль разрешить». Так и Дмитрий, подобно философу-поэту, раздраженный поверхностными ответами и доискивающийся до сути проблемы, с болью срывает один за

---

[4] Возможно, этот элемент скорости, вытесняющей реальность, — один из самых пророческих моментов в его сне: мы не очерствели сердцем, мы просто движемся слишком быстро, чтобы замечать страдания.

[5] *Wjatscheslaw Ivanov.* Dostojewskij. Tragödie — Mythos — Mystik. Autorisierte Übersetzung von Alexander Kresling (J.C.B. Mohr [Paul Siebeck]. Tubingen, 1932, p. 80. Русский текст, с которого был выполнен этот перевод, утерян. Однако Иванов, знавший немецкий в совершенстве, лично авторизовал перевод Креслинга. Приводим немецкий текст: «Voll Mitleid und Entsetzen versucht es Mitja im Traum zu ergründen, woher all dies Leid stammt, und er erhält nur die unendlich sich wiederholenden und ihm tief zu Herzen gehenden verzweiflungsvollen Worte zur Antwort: «Das Kind weint». Das Kind Weint — das ist der Ursprung alles Leides der Welt: die ganze unerschöpfliche Sünde der Welt ist eine Sünde an den Kindern».

другим ответы, как можно срывать с луковицы кожицу за кожицей в поисках сердцевины.

Вкратце отметим органическую связь между полубезумными вопросами Дмитрия — вопросами, порожденными сценой страдания матери и ребенка, — и мучительными вопросами Девушкина по поводу несчастий его подруги Вареньки: Девушкин у Достоевского — первый свидетель страданий детей и чужих людей; Девушкин — первый зачаточный бунтарь у Достоевского; Девушкин, который принимает к сердцу несчастья всех и вся и который поэтому, как предупреждает его Варвара, рискует стать самым несчастным человеком («вы всегда будете несчастнейшим человеком»), — этот Девушкин восклицает: «Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас, так всё сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего ж вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего так всё случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? ... Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет».

Здесь мы у начала начал. От нежного-слишком нежного Девушкина с его потенциально богоборческими «почему» и с его «вольнодумством» идет прямая линия к Ивану и Дмитрию: к бунту Ивана, с одной стороны, и к состраданию Дмитрия, с другой. Дмитрий, подобно Девушкину, но в отличие от Ивана, откликается на страдания не гневом и возмущением, «бунтом», но мукой и состраданием, диким, иррациональным желанием помочь страдающему миру.

Вопросы Дмитрия, говоря его собственными словами, «безумны» и «без толку», они действительно наивны и утопичны, даже нелепы в своем лихорадочном выражении ошеломленности по поводу положения человека и в тех нереальных надеждах, что кроются за ними.

И всё же, как говорит Алеше Иван, — «Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, быть может, в нем совсем ничего бы не произошло».

Зрелище страданий приводит Дмитрия обратно к прямым и непосредственным чувствам.

Каков закон идеала Христа — идеала человечества, спрашивает Достоевский в записной книжке: «В чем закон этого идеала [Христа — идеала человечества]? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо»[6].

«Я хороший сон видел», — заявляет Дмитрий, проснувшись. Самые слова, используемые в описании того, что происходит в его душе в это мгновение, определяет внутренний переворот в нем: «И *чувствует* он про себя, что хоть и

---

[6] *Достоевский Ф.М.* Полное собр. соч. в 30-ти тт. — Л., 1972—1990. Т. 20. С. 192.

безумно спрашивает и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И *чувствует* он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержием карамазовским» (курсив мой. — *Р.Л.Дж.*).

Дмитрий, как и Смешной человек, готов действовать глупо и задавать «глупые» вопросы. И в процессе он переходит через мир боли в мир личной ответственности, чувства, умиления, жалости, сострадания. «Что такое христианство? — спросил как-то Достоевский и ответил. — Сострадание — всё христианство»[7].

Сон Дмитрия есть сложное сплетение христианских и мифопоэтических элементов. Несомненно, его страстное и сострадательное излияние слов, чувств и слез являет собой своего рода пьету. В своем литературном предисловии к «Легенде о Великом инквизиторе» Иван вспоминает византийский апокриф «Хождение Богородицы по мукам», переведенный на старославянский в средние века. Это легенда, в которой, как мы хорошо знаем, Богородица, Mater Dolorosa, Матерь Скорбящая, спускается к грешникам в ад. Пораженная и рыдающая, она припадает к трону Божьему и просит прощения для всех в аду. «Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время». Сон Дмитрия об «умилении», или словесная пьета, — а именно таков его сон — и есть *в том же роде поэмка*, написанная, однако, не в Средние века, а в конце XIX века, и речь в ней не о муках людей в аду, но о муках людей в аду земной жизни. И образ, о котором напоминает сон Мити — это, несомненно, «Богоматерь Умиление»[8].

Пользуясь мифопоэтическим, шиллеровским языком и образностью, которые нравятся Мите, можно сказать, что в самом широком фокусе его сна — иссохшая Мать-Земля, иссохшая Россия, иссохшее Материнство и, прежде всего, иссохшее Детство. Неудивительно, что в этом сне-картинке «отцы» блистают своим отсутствием: их отсутствие — рассматриваемое в контексте мучительной романной темы отцов — значительным образом связано с человеческой катастрофой матери и ребенка.

Переворот «умиления», происходящий в душе Дмитрия — и здесь мы в самом сердце его «хорошего сна», — во всех отношениях есть возвращение к *материнскому* элементу, к *неразрушимой реальности матрицы*; но это не просто возвращение к матери или к питающей Матери-Земле — в этой связи вспоминается

---

[7] Там же. Т. 9. С. 270.

[8] См. новгородскую икону «Богоматерь Умиление» конца XV — начала XVI века в Третьяковской галерее в Москве. Внешне мать из сна Дмитрия не напоминает Богоматерь на новгородской иконе. И тем не менее некое косвенное указание на внешнее подобие Богоматери, возможно, дается намеком на то, что матери в погорелой деревне «кажется ... лет сорок, а может, и всего только двадцать». Таким образом, воображению читателя предоставляется пересоздать мать и дитя в идеализированный вариант «Богоматери Умиление».

Митино шиллеровское отождествление в «Признаниях горячего сердца. В стихах» с шиллеровским «человеком» из «Das Eleusische Fest» — с человеком, который поднимется из «низости» и «с древней Матерью-Землею он вступит в союз навек»; это не просто возвращение к матерям, но это более радикальное принятие на себя *роли* русской «Богоматери Умиление».

Как давно заметил Вячеслав Иванов, имя Дмитрий неслучайно происходит от греческого «Деметра»[9], от имени греческой богини сельского хозяйства; также неслучайно, что шиллеровская Церера, римская Деметра, ищущая свое дитя, «похищенную Прозерпину», возникает в одном из стихов, которые Дмитрий вольно цитирует из «Das Eleusische Fest».И всё же, как мы предположили, присутствие Дмитрия во сне словно бы говорит об отождествлении не только с матерью, но с ребенком; и слезы, которые Дмитрий проливает по матери и ребенку, — это также слезы «малого ребенка», ищущего свою утраченную мать.

Именно в этой связи меня поразило — при перепечатывании сна — то, что сон-воспоминание Дмитрия о Грушеньке и о ее словах поддержки — «Я теперь тебя не оставлю!» — следует непосредственно за поднявшейся в нем волной умиления. Словно бы «мысль семейная», говоря словами Толстого из «Анны Карениной», зашифрована в этом мгновении: в мгновении переворота, или, лучше сказать, *взаимного принятия* традиционных ролей матери-кормилицы и отца-защитника. В любом случае, крик Грушеньки: «Я тебя не оставлю!» — отзывающийся в охватившем Дмитрия приливе умиления и решимости «всем сделать что-то» — сигнализирует великий переворот трагических мотивов отвержения, покидания и раздробления, характерных для темы ребенка и семьи в «Братьях Карамазовых».

И всё же тема «умиления» выходит далеко за пределы заботы о «дитяте» и его ближайшей семье. В важных и откровенно символичных словах, обращенных к Алеше перед судом («Гимн и секрет»), где Дмитрий провозглашает свою готовность отправиться в Сибирь, в ссылку, на каторгу, слово «дитё» означает уже не просто униженных и оскорбленных в России, но всех людей. Разумеется, неслучайно и то, что Дмитрий особенно подчеркивает мысль о воскресении. В нем родился, заявляет он, новый человек. «Воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне ... Мне страшно теперь только чтобы не отошел от меня воскресший человек!» Хотя Дмитрий и невиновен, он желает принять наказание и отправиться в рудники с остальными каторжниками «жить и любить и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце ... воскресить героя. А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту! «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. *За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все — «дитё».* За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» (курсив мой. — *Р.Л.Дж.*).

Таким образом, в своей материнско-отцовской заботливости Дмитрий не только обнимает страдающее «дитё» и принимает идею воссоздания семьи, но

[9] *Ivanov*, p. 12.

косвенно говорит о воскресении *общечеловеческой семьи*, о материнской заботе о падшем человеке, о «малых детях и больших детях». Как он говорит, «все — дитё». Наконец, Дмитрий хочет «пойти», то есть пострадать за всех, *«потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти»*. Категорический императив для каждого человека есть императив этический: самопожертвование в помощь другому человеку.

Таким образом, Дмитрий, как и его брат Иван, пламенно жаждет подражать Христу, но не так, чтобы отделить детей от всего остального человечества, а человека — от Бога; не так, чтобы превратить сострадание в отмщение; не так, чтобы превратить самопожертвование в самонадрыв. Модель, или идеальное воплощение самопожертвования Дмитрия, — не *бунт страдания*, но *переворот умиления*.

«Итак (пишет в своем дневнике Достоевский), человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна»[10].

Однако в порывистом духе Дмитрия мы перенеслись за пределы его сна к его грандиозной утопической мечте на земле. Перед тем как завершить наш разбор, давайте вернемся к тому заключительному мгновению сна Дмитрия, когда он вспоминает этически значимые слова солидарности Грушеньки: «А и я с тобою, я теперь тебя не оставлю». Когда Дмитрий вспомнил эти слова, «загорелось всё сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас! «Что? Куда?» — восклицает он, открывая глаза и садясь...»

Манящий свет — это точка, к которой стремится Дмитрий: это переворот умиления, произошедший в душе Мити, во всех своих религиозных смыслах. Резкие и ошеломленные слова: «Что? Куда?», однако, не только отмечают завершение сна, но также отчасти говорят о пробуждении от мира типичного у Достоевского *мечтателя*, пробуждение от невыносимого восторга и от типичного карамазовского нетерпения по отношению к реальности: желание Дмитрия сделать что-то «сейчас же, ... не отлагая и несмотря ни на что».

Огульная и напыщенная манера Дмитрия говорить и думать не изменилась. Гораздо важнее то, что Дмитрию еще надо научиться тому, чему учит Зосима: уразуметь, что «любовь деятельная сравнительно с мечтательною дело жестокое и устрашающее» и что деятельная любовь есть «работа и выдержка».

И всё же на символическом уровне романа сон Дмитрия, как мы предположили, отмечает возрождение соединенного материнско-отцовского элемента в «погорелой» России — как называл деревню из сна Дмитрия Иванов[11]. Окончательным конкретным выражением и воплощением этого материнско-отцовского элемента будет воскрешение мысли семейной, и, по аналогии, проекция идеи религиозного воскресения в эпилоге романа — в речи Алеши у камня и во всем настрое окружающих его мальчиков.

---

[10] *Достоевский Ф.М.* Указ. соч. С. 175.

[11] *Ivanov*, p. 80.

Сон Дмитрия отмечает некий порог в его развитии: это не только результат слияния в его подсознании различных обрывков и элементов пережитого: его сон — это также отшатывание от трех мучительных, унизительных допросов, отклик на «хождение души по мытарствам».

Чтобы понять, какой путь Дмитрий прошел во время этих допросов, надо только сравнить его слова в самом начале третьей главы девятой книги «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое» с его первыми словами в главе девятой в конце книги девятой. В начале третьей главы рассказчик пишет: «...Митя сидел и диким взглядом озирал присутствующих, не понимая, что ему говорят. Вдруг он поднялся, вскинул вверх руки и громко прокричал:

— Не повинен! В этой крови не повинен! В крови отца моего не повинен... Хотел убить, но не повинен! Не я!»

Окончательный акцент в этом отрывке — на «Не я!»; это уклончивые и трагические слова отрицания, эхом откликающиеся в веках. Однако к концу допросов Дмитрий, не прекращая настаивать на своей технической невиновности в крови своего отца, не только заново утверждает, что виновен в том, что «хотел убить», но и приходит к более глубокому осознанию, к сердцу всего романа: к пониманию того, что центральные нравственные вопросы жизни — не вопросы технической вины или невиновности («Не я!»), но тот факт, что мы, говоря словами старца Зосимы, «ответчик[и] за весь грех людской, за всех и вся виноват[ы]».

Дмитрий, с типичным карамазовским «неудержимым чувством», выражает это новое прочувствованное ощущение всеобщей вины и ответственности как раз перед тем, как его увозят (конец книги девятой). Он восклицает: «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено — из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил всё те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам над собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь! Ведь, может быть, и очищусь, господа, а?!».

Разумеется, в этом весь Дмитрий. И, основываясь на том, что мы знаем о предыдущей нравственной амбивалентности Дмитрия, мы могли бы даже ожидать после слов: «Ведь, может быть, и очищусь, господа, а?» — слова противоположной природы: «Ведь, может быть, и *не* очищусь, господа, а?». Но важно то, что эти слова *не* произносятся. Конечно же, если их нет, то это не значит, что Дмитрий очистится, это значит, что его стремление или жажда очищения страданием по крайней мере стали господствующим элементом в его характере и мышлении. Разумеется, вопрос о том, как Дмитрий исполнит обещание своего сна, остается открытым. Алешины слова, которые он говорит Дмитрию в конце романа (глава «На минутку ложь стала правдой»), о том, что простого воспоминания о том, что он хотел возродиться через страдание, с него «и довольно» («не для тебя такой крест»), наводят нас, как и самый характер Дмитрия, на мысль о том, что он не движется к святому самопожертвованию. Но то, что после его сна

в нем произошла *подвижка в отношении к жизни*, перемена, усиливающая в нем уже мощное стремление к идеалу, — в этом сомнения быть не может[12].

«Удар судьбы», о котором Дмитрий говорит после своего сна, — это *внешний* удар обвинения в убийстве, однако его иконографический сон — образ страдающей матери и ребенка одновременно наносит ему *внутренний* удар, который потрясает его до самого основания, открывая для него новые нравственно-духовные перспективы.

Конечно, это был только сон. Но здесь я оставлю вас с заключительными словами Смешного человека во «Сне Смешного человека» — словами, которые, как я уже указывал в своей книге «Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны», выражают взгляды самого Достоевского и восходят по крайней мере к его годам в Мертвом доме, где сон и воображение кроются в сердце его воскресения из мертвых[13]. Смешной человек говорит о своих критиках, которые смеются над его видением Истины, над его настойчивым желанием говорить всем, несмотря на всю ограниченность слов, о том, что он видел своими собственными глазами: «Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон?».

Перевод с английского Т. Бузиной
(Йельский университет)

---

[12] См. анализ этого вопроса в разборе образа Дмитрия в моей книге «Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны». М., Радикс, 1995.

[13] Там же. С. 126.

Евгений ЕРМОЛИН

ВАРВАРСКАЯ ЛИРА
ВИКТОР ПЕЛЕВИН КАК ЗНАК И ЗНАМЕНИЕ

Рубеж веков. Рубеж тысячелетий. Рубеж эпох.

Конец Модерна. Впереди — неведомое, загадочное будущее.

Рубежное, переходное время в России ознаменовано разрушением традиционных, стабильных форм культуры. Все пришло в движение, всё трещит и разваливается, что-то новое приходит, что-то старое уходит, но еще нельзя понять, куда влечет нас рок событий. Великая смута XX века не оставляет, кажется, камня на камне от прежней нормы. Едва ли не ведущей фигурой в культуре столетия оказывается разрушитель, пародист, трикстер. Его активность — сродни той, какую являли на давнем внутрикультурном переломе готы или гунны.

Русская культура оказалась вследствие этого тотального натиска новых варваров в глубочайшем кризисе. Нынешнее полуобморочное состояние русской литературы тому пример. И натиск хаоса вовсе не остановлен. Скорей наоборот: подчас возникает ощущение, что в последнее время его уже некому и нечему сдержать. Никакие технические новшества, никакие горькие исторические уроки не могут повлиять на логику глобальных процессов.

Новейшее варварство не приходит откуда-то из гогов и магогов. Оно генерируется уже самой культурой, являя собой продукт болезненных изменений в ее составе, в ее ядре. Оно гнездится в сердце культуры, осознает себя на ее руинах, строится из ее обломков. Его называют обычно постмодернизмом, каковое имя ничуть не хуже любого другого. Писатель, о котором пойдет речь, кажется мне одним из ярчайших представителей такого новейшего варварства.

Читать Пелевина — для меня лично занятие не такое уж лакомое. Ему, нужно признать, удаются ключевые образы-символы, он — мастер остроумного афоризма и интеллектуальных диалогических конструкций. Столько новых понятий и умных слов, сколько знает Пелевин, не найдешь почти ни у кого из современных русских писателей. Однако он, по большей части, и зануден, и мелок, и слог у него какой-то стертый, и герои неяркие, и выражения грубые, и тьма у него других всевозможных грехов... Но размышлять о Пелевине и об его успехе, о месте его на карте литературы и культуры, в том историческом обвале, свидетелями и участниками коего мы являемся, — интересно и поучительно. Поучительно не в

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг и статей об истории русской культуры и о современной литературе. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

том смысле, что сам Пелевин мог бы чему-то научить (хотя он сам, может статься, в душе и не против того). Поучителен новейший опыт варваризации литературы, предпринятый нашим автором.

1. Завоевание аудитории

Плох тот полководец, у коего нет своей армии. (Совсем недавно об этом рассказал нам, помнится Георгий Владимов.) Пелевин такой ошибки не делает. Вторгаясь на территорию литературы, он начинает с завоевания «группы поддержки», активной аудитории, читателей и почитателей. Начинает — и добивается успеха.

Удачный роман писателя с публикой — явление весьма нечастое. В наше время это событие уникальное. На фоне признаваемого падения интереса к литературе вообще и к современной словесности в частности интерес к нему читающей публики — это почти чудо.

Автор двух сильно прошумевших вещей: романов «Чапаев и Пустота» и «Generation "П"», — Виктор Пелевин стал ныне знаменит. Во всяком случае так, в такой мере, в какой только может быть знаменит писатель в наше время. Его читают. На него ссылаются. Он стал популярной темой разговоров в среде «продвинутых» молодых людей. Как, к примеру, Михаил Булгаков где-нибудь в 70-х. Способностью ориентироваться в пелевинском творчестве можно гордиться — и задирать нос перед прочими-разными, которые Пелевина не читали и о нем, может статься, не слыхали. Их проблемы.

Вопрос: его догнала слава или он сам ее взял? Сие неясно. Хотя и кажется, что искусности у Пелевина больше, чем простодушия. Кажется, что многое у него тщательно высчитано. Многие эффекты предрешены. Что-то, быть может, угадано.

Но возможно и другое: он конституцией души совпадает с популярными ожиданиями, с неосознанным заказом аудитории к литератору. Такой вот счастливый удел.

Можно начать наши размышления с попытки выявить аудиторию Пелевина. Критик Павел Басинский как-то определил двух литературных лидеров — каждого для своей доли российского «читательского пирога». Это Пелевин и Варламов. Критик предположил, что *читатель Пелевина молод и социально активен. Это студенты, техническая интеллигенция. Их волнуют Интернет, дзен, наркотики, самоидентификация.* Аудитория же Варламова безголоса, подавлена, растеряна; это учителя-словесники, провинциальные вузовские преподаватели, низкооплачиваемые медработники, домохозяйки; главным образом немолодые женщины... Не уверен, что Варламов действительно столь уж популярен, в том числе у домохозяек и провинциальной профессуры. Сие ни разу не доказано. Но предположения Басинского о Пелевине заслуживают внимания. В нашем бесструктурном, аморфном обществе Пелевин и вправду обрел очень конкретную аудиторию. Или уточним: не просто обрел, а в значительной степени и создал путем осуществления некоей достаточно, пожалуй, продуманной стратегии литературного творчества.

Что это за стратегия? Ее основные постулаты не так уж и хитры. Чтобы успех был сколько-нибудь значительным, писатель не должен «самовыражаться» или

писать для литературных снобов. Он призван помнить, что его адресат — не круг экспертов, не прилитературная тусовка. Писатель в нашем массовом, потребительском обществе должен стать «демократом». Он должен пойти навстречу публике, адресату. Должен говорить о том, что этой публике интересно, что для нее важно.

Эта установка испробована и применяется в масслите, в «жанровой литературе», ориентированной на вкусы массы. Так работают творцы массовой литературы. Не каждому литератору она придется по душе. Но уже ясно, что сегодня грань между массовой и «качественной» литературой зачастую условна. Современный писатель, художник подчас использует знание секретов потребительского успеха без существенного ущерба решению своих главных творческих задач.

Пелевин, как мы увидим, — пограничник. Его литературная задача — не «просто» детектив и не «просто» фэнтези, а нечто более (вроде бы) сложное и притязательное. По словам Александра Гениса, осваивая пограничье между «литературой и массовой литературой», Пелевин превратил эту зону «в ничейную землю, на которой действуют законы обеих враждующих сторон». И еще: «Прикрываясь общедоступностью популярных жанров, он насыщает их неприхотливые формы потаенным, эзотерическим содержанием». По-моему, эти характеристики довольно приблизительны. По-моему, скорей наоборот: не жанр берет Пелевин в масслите, а ориентацию на модную тему и фразу, в то время как жанры пелевинской прозы скорей имитируют «классическую традицию». Учет читательского запроса для него — железный закон. Он планирует аудиторию. И делает это с умом.

Не всякий такой компромисс порочен и ущербен. Но духовная, творческая коллизия здесь, конечно, возникает. И знание пелевинского рецепта вовсе не обязывает идти по его стопам. Скорее его урок дан нам как повод осознать литературный соблазн и свободно самоопределиться по отношению к нему...

К концу XX века характер аудитории писателя определился особым образом. С одной стороны, еще никто не отучился читать — и потенциально адресатом писателя может быть все общество. Но рассчитывать на это не приходится. Есть целые слои и страты общества, интерес которых к литературе спит беспробудным сном. В настоящее время реальный читатель художественной литературы — это обычно человек с достаточно высокой культурной самооценкой. Он особым образом прописан в культуре. Причем его самооценка возникает либо как результат осознаваемой связи с культурной, литературной традицией, плод «воспитания» — либо как продукт авангардного самосознания, когда человек ощущает себя входящим в лидирующую, перспективную, ориентированную на завоевание будущего общественную группу.

Пелевину неинтересны читатели-традиционалисты. Он их не понимает и с ними не работает. Да и они в нем не нуждаются. (Сказать по правде, не только в нем: эмпирические наблюдения заставляют предположить, что эта аудитория почти окончательно отвернулась от современной словесности и возвращается к испытанной, проверенной, надежной классике.)

Ориентиром же для Пелевина, адресатом его прозы стал именно нынешний «культурный авангард»: как правило, энергичные, молодые, амбициозные люди, вполне свободные не только от советского, но и от любого другого исторического

багажа — и активно ищущие себя в новых общественных координатах. Новые, «компьютерно-интернетные» племена и народы.

Пелевин рецепты создания бестселлера совмещает с ориентацией на такую авангардную, прежде всего молодую публику. Вот у такого читателя Виктор Пелевин и пользуется немалым успехом.

Современный авангард, как уже сказано, реализует свои амбиции в ситуации общественного распада и духовного разброда. Культурный плюрализм у нас обернулся полной дезориентированностью. В такой ситуации получают доступ к одичалой душе самые экстравагантные и самые примитивные идеи и настроения. Наблюдения и отклики подтверждают: читатель у Пелевина варварски пестрый. Он сам себя плохо понимает, и интересы его противоречивы и неустойчивы. Он интересуется тем, что уже получило патент на Западе как модная новинка. И в то же время самолюбиво отталкивается от Запада, влечется к выдуманному Востоку, претендует на некую особость и самобытность, коим нет ни названия, ни трансцендентного оправдания.

Секрет Виктора Пелевина еще и в том, что он умеет учитывать этот актуальный хаос. Он принимает эту пестроту интересов, складывает и комбинирует важное для разных читательских групп. Он уважает основные модные идеи и концепты современного авангардного культурного сознания, знает модные слова и словечки своей публики — но знает и о раскоординированности, неиерархичности, мозаичности этого не слишком все-таки удачного и счастливого сознания. О том, что там, в душах, бродит столикий хаос — и о том, что этот хаос тем не менее подчинен последней или предпоследней моде, платит дань актуальному вкусу.

Каждый подобного рода читатель найдет у нашего автора что-то свое, близкое. Отсюда — коктейли идей и мозаика смыслов в пелевинской прозе. В ней много всякого и разного. Она не весьма отцентрирована, производит впечатление небрежной, рыхлой, сырой, путаной по излагаемым идеям и ценностям. Если и есть в ней какой-то принцип, то он, наверное, в том, что проза эта принципиально не сводима по своим идейным ориентациям к какому-либо общему смысловому знаменателю.

Вот характерный пример. Мы знаем, сколь много может значить для писателя имя его героя. Какие глубокие и интимные смыслы могут быть в него заложены. В имени может, как в капле воды, отразиться всё мировидение художника. Вот и у Пелевина закон, конструирующий мир его прозы, отчетливо явил себя в том, как задумано и сложено имя персонажа, главного героя последнего пелевинского романа.

Вавилен Татарский. Как нам объяснено, «Вавилен» означает «Василий Аксенов плюс В.И. Ленин». Имя было придумано отцом героя, который специально ради этого в первый и единственный раз появляется на страницах романа. Отец — существо бесконечно отсталое. Он, шутит автор, «видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставляет вдруг понять, что коммунизм победит». Но сыну все эти шестидесятнические предрассудки претят, и он придумывает, что имя его связано с «древним городом Вавилоном»

(«тайную доктрину которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать») и что отец «был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным». Не имя, а монтаж аттракционов! Причем в порядке произвольном и далеком от какой-то обязательности и подлинности. Причем каждый аттракцион, заметим это себе, более или менее внятно растолкован, чтобы все читатели смогли если не понять, то хотя бы предположить, о чем, собственно, идет речь. (Труд нелишний, если учесть, что Пелевина ныне читают уже и школьники средних классов, которым едва ли объясняют в нашей допотопной постсоветской школе, что такое, например, манихейство.)

Имя конструируется, как конструируется проза в целом. Наиболее наглядно закон этот проявил себя в последнем романе, «Generation "П"». Многие ранние вещи Пелевина после его появления получают завершающее ретрообъяснение. Становятся теперь яснее его шараханья, его колыханья от темы к теме. Децентрированность его прозы. Писатель постепенно осваивал острова модных смыслов — и наконец созрел до того, чтобы явить миру синтетический, коллажный продукт, композицию в манере поп-арта. Композицию, заметим, довольно складную. Где смыслы не просто встречаются и сосуществуют — но и подчас налагаются друг на друга, скрещиваются и дают потомство.

Присмотримся поближе, из какого материала строится этот дом. Причем не будем стремиться с самого начала привнести в мир Пелевина больше порядка, чем там есть.

2. Буддизм

Варвары не только ломают. Им желательно иметь какие-то духовные опоры, на чем-то стоять. В постмодернистском варианте эти опоры либо извлекаются из-под руин поверженного врага — традиционной культуры, — либо причудливым образом заимствуются где-то на стороне. Предстоит подумать о характере такого заимствования в нашем случае.

Один газетный рецензент, Дмитрий Володихин, рассуждая о «Generation "П"», увидел здесь «религиозный агитпроп, буддийское катехизианство». Не он первый, не он, наверное, и последний записывает Пелевина в буддисты. Виктор Пелевин и сам довольно назойливо презентирует себя как последователя учения Сиддхартхи Гаутамы — то ли в дзенском его варианте, то ли еще в каком-то.

Событие незаурядное: человек променял христианство на буддизм. (Впрочем, знал ли он когда и христианство?)

Если б это было именно так, стоило бы отнестись к нашему автору предельно серьезно. Ведь выбор буддизма означает полный разрыв с христианско-гуманистической традицией Запада. Это выход за пределы культурной преемственности, новая культурная и религиозная прописка. На такое решаются не с бухты-барахты. Такое нужно выстрадать, вымучить в себе.

В нынешнем культурном развале, перед картиной внушающего тоску духовного опустошения такая рокировка в принципе понятна. Христианство — религия историческая. И потому она берется отвечать за всё, что происходит в истории. А это делает ее уязвимой. Агрессия зла в XX веке не прошла бесследно для репутации

христианской веры. Буддизм же к истории, к внутриисторическому никакого существенного, сущностного отношения не имеет. Внеисторичность буддизма в немалой мере и сделала его успешным конкурентом христианства на современной ярмарке идей и мнений. Уже в 60-е годы в культуре Запада (к коей мы относим, конечно, и русскую культуру) это влечение к восточной мудрости и обозначилось, и приняло характерные для массового общества эпидемические формы. В этом мы можем угадать действие Промысла и ждать от этого важных последствий.

Не заполнил ли и наш автор буддизмом пустоту души?..

Боюсь, ни ожидаемые последствия, ни буддизм как таковой не восприняты Пелевиным в аспекте смысложизненного выбора. Подозреваю, что отношение писателя к буддизму гораздо более легкое и поверхностное.

Я не вижу, чтобы наш автор был как-то особенно потрясен и сокрушен тем злом, которое царит в здешнем мире.

Чтобы он раскрыл страстную природу этого зла.

Чтобы он исполнился сострадания к жертвам своих страстей и желаний.

Чтобы он, наконец, и сам шел, и нас вел по пути освобождения от страстей...

Иными словами, я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что перед нами — буддист-неофит, исполненный первоначального горения, озаренный новой истиной, каковое состояние обычно переживает человек, долго искавший и наконец нашедший что искал: смысл жизни.

Я, в конце концов, не представляю себе, как Пелевин практикует беспредметные саторические экстазы и какое отношение к дзенской эстетике имеют его творческие бдения и их продукты — художественные произведения. Возможно, конечно, что именно здесь я заблуждаюсь. Путь дзенского мистика — это путь предельно индивидуальный, он не транслируется, не передается, не сообщается. Возможно, личный опыт Пелевина привел к неким мистическим результатам. Но никаких, даже самых слабых следов приобретенного опыта в прозе Пелевина нет. Есть же там много подчас остроумных слов, есть яркие цитаты и фрагменты, почти дословно заимствованные из популяризирующих дзен сочинений (в «Чапаеве и Пустоте»). Есть конспект и дайджест, зачаровывающий новичков.

Буддизм Пелевина, мнится мне, — дешевый товар. Фирменный лейбл на самопальной одёжке. Подделка. Возможно, потому сам писатель и не торопится в Гималайские горы, чтобы под руководством опытных наставников освобождаться там от бытийных фикций.

...Откуда все-таки буддизм? С одной стороны, это конъюнктурная реакция. Дзен-буддизм стал разменной монетой популярной культуры, излюбленной темой салонной и кафейной болтовни. И вот на одного серьезного и ответственного адепта приходится тысяча пустословов. Мельница мелет ветер. На выходе — поистине *пустота*. Но сколько динамики и экспрессии на входе!

С другой стороны, Пелевину понравилась идея (зародившаяся, как известно, еще в добуддийской культуре Индии, в учении мудрецов Упанишад) о том, что весь наш мир, вся реальность, данная нам в ощущении, — это лишь иллюзия. Майя. Или, быть может, не «понравилась», а откликнулась на какую-то глубокую внутреннюю потребность, на сокровенный экзистенциальный зов из «варварских недр».

Всё и вся — мнимость. Всё фиктивно. Ничему и никому нельзя верить. Чуть ли не весь «буддизм» в итоге свелся у писателя к исповеданию подобной веры. И — к предложению иметь от этого кайф. На разный лад Пелевин смакует излюбленную свою идею. Так и эдак он примеривает ее к родным осинам и нашим баранам. А поскольку и сама эта мысль проста и никакой проверке она заведомо не подлежит, примерка проходит вполне успешно. Всякий баран в воображении писателя охотно соглашается считать себя мнимым. Каждая осина заранее трепещет от подобного открытия. Романы и повести Пелевина отличаются композиционной рыхлостью, невнятностью строения не потому, что автор не умеет строить фабулу. Нет, автор честен и добросовестен. Очевидно, он не видит в жизни убедительного порядка, так что всякая смысловая связность бытия кажется ему искусственным измышлением. Вот и возникает в его прозе специфическое, пелевинское сновидческое блуждание, какое-то кружение вокруг да около неведомо чего.

Не то чтоб трудно — но бессмысленно пересказывать содержание романов «Чапаев и Пустота» и «Generation "П"». Там задана не фабула, а формула романа, которая затем на разные лады осваивается, разыгрывается в лицах, выражается анекдотом и афоризмом.

Кстати, анекдот и оказывается самым удобным, самым подходящим строительным материалом таких романных конструкций. Большие вещи Пелевина могут быть представлены как набор анекдотов, каждый из которых вполне автономен, вполне самодостаточен. Соединены же они довольно случайным образом. И роман в целом может быть определен как огромный анекдот-метаморфоза.

...«Жизнь насекомых» — анекдот о людях, оказывающихся насекомыми, и о насекомых, имеющих человечьи признаки.

...«Чапаев и Пустота» — анекдот о поэте-декаденте Петре Пустоте, попавшем в науку к красному командиру Чапаеву, оказавшемуся дзенским мастером.

Никто не будет по роману Пелевина «Чапаев и Пустота» изучать историю. Пелевинский Чапаев — дзенский мастер — вылупился не из исторической яви, а из фильма братьев Васильевых и народных анекдотов. Он сам по себе есть некая условность и фикция, беспредельно далекая от реального прототипа. Роман можно воспринять лишь как анекдот нового типа, как целый цикл новых анекдотов (коанов, мондо) в дзенском ключе.

Это, наверное, самая остроумная придумка Пелевина. Писатель заставил Василия Чапаева исповедовать и проповедовать небытие. Здесь открывалась очень заманчивая перспектива, намечалась такая глубина, которая могла бы сказать о мире и человеке много правды. Но Пелевин тут ограничился поверхностной игрой. Он пренебрег глубиной ради внешнего эффекта. К тому ж роман бесконечно растянут и плохо организован, нашпигован всяким лишним вздором. Но зерно замысла было забавным.

...«Generation "П"» — еще один анекдот о современном поэте (вполне декадентского склада), Татарском, идущем в учение к акулам рекламного бизнеса, оказавшимся челядью богини Иштар.

Всё в этих мирах превратно и случайно. Был бабочкой — стал юным пионером. Был поэтом — стал копирайтером. Был копирайтером — стал супругом Иштар...

Герой обычно поддается иллюзорным наваждениям и, как кукла-марионетка, пассивно следует року, который влечет его по жизни, — и лишь изредка пытается оттолкнуться от мнимосущего и обрести какой-то иной опыт. Даже пороки в изображенной Пелевиным московской среде — мнимые, они придуманы для столичной прессы «немолодым, толстым, лысым и печальным отцом троих детей» Эдиком.

Действительность в прозе Пелевина обесценилась до предела. Мир не заслуживает доброго слова. В такой системе духовных координат он подобен неизлечимому больному, неисправимому преступнику. Нечего и думать о возможных усовершенствованиях. Мнимость сущего, по логике Пелевина, заранее обесценивает всякое действие, лишает смысла любую попытку что-то переменить, улучшить в мироздании. Автору остается лишь брезгливо морщиться и холодно, презрительно шутить. Пелевин присвоил право свысока смотреть окрест себя. Такой душевный опыт, пожалуй, не имеет отношения к буддизму. Тут другое. Подчас возникает ощущение, что хитроумный писатель оклеветал отца Вавилена неспроста. Будто бы тот поддавался манихейско-гностицистическим искушениям. Не сублимирует ли наш автор собственные комплексы подобного рода?

Герой Пелевина почти всегда словно бы замкнут в тюремной камере, наподобие незабвенного Цинцинната. Существование ему — обуза. Отношения с ближними, как правило, не складываются, выглядят чисто формально. А главное — *герои скучают*. Именно так: не страдание, а скука заполняет все поры человеческого существа в прозе Пелевина. Иногда кажется, что и самому Пелевину ужасно скучно жить на белом свете.

Как-то невзначай, едва ли отдав себе полный в том отчет, писатель проговорился в последнем романе. Там у него герой закончил баловаться стихами, написав напоследок такое: «Что такое вечность — это банька, Вечность это банька с пауками. Если эту баньку Позабудет Манька, Что же будет с Родиной и с нами?». В очередной раз автор здесь хочет сказать о мнимости всего сущего, всего, что существует лишь в субъективном переживании, в «Манькиной памяти». Но *сказалось* и еще нечто.

Остановимся, подумаем: а при чем тут известная свидригайловская «банька с пауками»? Она-то какое отношение имеет к квазибуддийским откровениям? По-моему, ровно никакого. Но сама по себе эта унылая, тошнотворная «банька» весьма симптоматична. Она, если хотите, и есть тот подлинный образ реальности, который дан Пелевину в его экзистенциальном опыте.

Но писатель не вполне это осознал — и вот он пытается скрыться от жуткого, Виева взгляда *такой унылой и фатальной* смерти путем упразднения вечности как таковой и реальности как таковой. Изменив оптику и попытавшись непредвзято истолковать происходящее с персонажем у Пелевина, мы придем к тому выводу, который сделал как-то один из самых проницательных наблюдателей, Евгений Ревзин. Рассуждая о романе «Жизнь насекомых», он указал на сквозной образ пелевинского творчества — пустоту.

И пустота эта есть смерть. Герои неуклонно стремятся к смерти. Смерть — главная тема нескончаемых философских бесед. «Новая культура, важнейшим

импульсом которой провозглашается пелевинское творчество, есть в самом прямом смысле культура смерти»,— заключал Ревзин.

Вот безверия достойные плоды... Точнее — это плоды *мнимоверия*. Такова новая, нетрадиционная, неоварварская религия Пелевина. Таков вклад писателя в современный духовный опыт. (А с другой стороны, эта *вера в мнимость* выглядит заурядным рефлексом современной культурной ситуации, падкой на развенчание кумиров, на разоблачение идеалов и ценностей, на компрометацию вершинных имен и свершений.) Вот на это-то и ловит дьявол живую душу.

3. Виртуальная мнимость

Еще одно выгодное свойство пелевинской прозы: она легко и органично включает в себя проблематику виртуальной реальности, Интернета и прочих компьютерных заморочек. Его герои любят играть с компьютером, погружаться в недра параллельных компьютерных миров. В «Generation "П"», к примеру, такое путешествие заводит персонажей весьма неблизко: они уже начинают создавать альтернативную квазиреальность и транслировать ее по телевидению, выдавая за подлинную. Средствами компьютерной анимации они создают образы политиков, вкладывают им в уста нужные фразы, дергают их за электронные ниточки...

Как, вы думаете, на такие коллизии откликнется пелевинский читатель? Мне кажется, он, не мудрствуя лукаво, порадуется успехам технического прогресса, к коим и сам причастен. Для читателя Пелевина компьютер — зачастую главный собеседник. И такой читатель сам не прочь создать в этом ящике какое-то новое жизнеподобное пространство. Неудивительно, что освоение нашим автором этого богатого возможностями материка дает свои плоды и повышает рейтинг Пелевина в кругу владельцев компьютеров и пользователей Интернета. Его уважают уже за владение «прогрессивным» компьютерным сленгом... Тем более, что особенной толкотни вокруг этих тем в нашей изящной словесности не наблюдается. Писатели словно бы и не заметили, что с нашим вхождением в компьютерную цивилизацию за последние лет десять мир разительным образом переменился.

А между тем, уже вполне сложился миф об особой постоянно длящейся кибернетической галлюцинации, в которую попадает человек, сосредоточенный на общении с компьютером. Об иной, виртуальной реальности, альтернативной по отношению к наличной и традиционной. Туда уходит человек — и уже не хочет оттуда возвращаться.

Пелевина нередко воспринимают как проводника в этот кому заманчивый, а кого и страшащий мир. Очевидно, именно в таком контексте Александр Архангельский, заметив в современной литературе что-то «неживое», утверждал, что Пелевин в «Чапаеве и Пустоте» ведет героя «не в область просветленного духа (...) а в ту психически опасную пустоту мерцающего экрана, в ту электронную *мнимость*, которую (...) стали именовать «виртуальной реальностью»».

У персонажа пелевинского «Принца Госплана» картинки из компьютерной игры начинают заполнять пространство сознания, разрушается грань между этим сном и явью. Герой обитает в синтетическом мире, в котором два этих жизненных плана непредсказуемо перетекают один в другой. Проза посюстороннего суще-

ствования, всяческая канцелярщина спонтанно переходят в авантюрно-приключенческий сюжет.

Но едва ли справедливо считать, что Пелевин — это поэт виртуальной реальности. Он не воспевает эту реальность. Он разве лишь немножко забавляется с ней. Но любить ее не может. *Там* для него ничуть не больше свободы и ничуть не больше подлинности, чем здесь. «Принц Госплана», этот опыт Пелевина в духе киберпанка, должен был, кажется, снова зафиксировать, что неиспорченной реальности вообще не осталось. И быть не может. Что мнимость есть суть всего. Сюжет заманчивой игры приводит всё в ту же «баньку». Чудесная принцесса оказывается не то картонным, не то фанерным муляжом.

Если бы читающие Пелевина фанаты компьютерного мира были чуть более внимательны, они бы поняли, что писатель им вовсе не попутчик. Он не энтузиаст, а скептик.

Они ищут родину, Пелевин же снова и снова фиксирует ее принципиальное отсутствие.

Для меня же в почти равной мере неубедительны и антиутопические прогнозы, предсказывающие историческое торжество виртуальной реальности, и пелевинская великая смазь с пустотой в остатке.

4. Реклама

Похожая логика работает в «Generation "П"» применительно к рекламному делу. Пелевин, кажется, первым в нашей литературе взял на себя труд освоить эту сферу деятельности, взглянуть на нее глазами профессионалов-рекламщиков. Эффект превзошел все ожидания. Роман можно читать как самоучитель по рекламе: «как это делается». (Так его кстати иногда и читают, насколько мне известно.)

Автор раскрывает тайные механизмы рекламного дела. То, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Или не знали, у кого.

Татарский долго и упорно блуждает в джунглях рекламного бизнеса, обслуживает заказчиков и работодателей, ведет разговоры о премудростях рекламной науки. Здесь возникают реальные имена авторов учебных пособий по рекламе и паблик рилейшн, получают объяснение самые важные и необходимые в этих хитрых сферах вещи. Теперь уж мы не ошибемся, трактуя понятия «слоган» или «брэнд-эссенция», «внедрение» и «вовлечение»... Книга дает элементарный навык и вводит в философию рекламы.

Но для самого писателя рекламное дело — это лишь умножение мнимостей. Реклама есть обнажение фиктивной сущности мира. Мыслями о порочном круге бытия автор наделяет Татарского. Он с коллегой «мастерил для других фальшивую панораму жизни». «И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуально-информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста — заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене».

Заметим в скобках, что, согласно красивой китайской легенде, художник У Даоцзы однажды ушел без возврата в пейзаж, который был написан им на стене дворца. И это происшествие имело очевидный даосско-буддийский смысл. Возможно, Пелевину эта история известна. Тем разительней контраст между древней легендой и производимыми им открытиями.

5. Наркотики

Еще один модный мотив: наркотики. Способ его художественной обработки у Пелевина точно тот же, какой применялся в двух только что показанных случаях.

Татарский — наркоман. Сначала, встретив своего бывшего одноклассника, он отведал у того дома грибов-мухоморов, и ему явились забавные глюки. После этого приключения «сценарии и концепции стали даваться ему намного легче». Затем герой балуется с кокаином и пробует ЛСД.

Герои Пелевина употребляют наркотики, не испытывая ни тревоги, ни заботы. Писатель создает красноречивые картины, нисколько не пытаясь судить персонажей или, скажем, сочувствовать им. Такой подход к этому предмету в нашей литературе опять же выглядит довольно свежо на фоне полного игнорирования проблемы или пустых нравоучений.

Иные критики подозревают даже, что и сам Пелевин весьма не прочь принять дозу. И рельефные описания отражают де его личный опыт. Не знаю, что тут сказать. Но, думаю, важнее, что и наркоопьянение у Пелевина описывается, подобно рекламотворчеству и компьютерным играм, — как *тиражирование фикций*. Эпопея с поеданием героем мухоморов в романе «Generation "П"» выглядит пародийным развенчанием завышенных ожиданий по поводу подобных средств изменения сознания. А нюханье кокаина и вовсе изображено как зряшная трата денег.

Впрочем, в целом наш автор намеренно не ставит тут последних точек. Он всё время чего-то недоговаривает. Что остается главным впечатлением читателя, столкнувшегося с наркотическим сюжетом у Пелевина лоб в лоб? Кажется, ощущение естественности, доступности и дозволенности подобных удовольствий, подобной практики, которая куда-то да заведет.

6. Мистика

В прозе нашего автора немало различных квазимистических эффектов. Такова, скажем, в «Generation "П"» линия, связанная с вавилонскими тайнами, которая, развиваясь без склада и лада, вдруг приводит Татарского в некую мистическую секту и делает его избранником богини Иштар. Тем и кончается роман. Может быть, эта связь с великой «вавилонской блудницей» должна явить глубины падения и растления героя? Трудно сказать. Важнее, кажется, другое: а верит ли сам автор в возможность мистического опыта? Имеет ли он свидетельства об инобытии? Или только играет в замысловатые бирюльки? Откуда эти прорывы и видения, явления и сдвиги пространства и времени?

Отчего-то плохо верится, что писатель обладает личным богатым мистическим опытом. Кажется, и здесь он идет за модой, не задумываясь о далеких последствиях.

Настоящая мистика предполагает наличие собеседника. Мистический путь — это путь в сердце бытия. Мир же Пелевина изначально пуст. Бога нет. Вечности нет. Вечность — это нечто субъективное, рефлекс, мнимость. Ничего нет. Да и не нужно. И потому его околомистические упражнения выглядят особенно фальшиво и натужно. Это, например, самые скучные страницы романа «Generation "П"».

Однажды, впрочем, Татарский вздумал даже помолиться Богу. И вышло довольно трогательно. Притом это событие выявило ту простоту героя, которая в других местах драпировалась разными интеллектуальными фокусами.

Пелевин здесь обыграл средневековый сюжет о жонглере Божьей Матери. Татарский у него дарит Богу то, что умеет, — «хороший слоган». Дар выглядит так: «Плакат (сюжет клипа): длинный белый лимузин на фоне Храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим. Только свет, машина, рука и нога. Слоган:

ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ

СОЛИДНЫЙ ГОСПОДЬ ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД»...

«Бросив ручку, Татарский поднял заплаканные глаза в потолок.

— Господи, Тебе нравится? — тихо спросил он».

Возможно, это лучшее место в романе. Нужно было герою вконец издержаться и духовно рухнуть, нужно было писателю вдосталь наиграться в свои пестрые игры, чтобы один раз сыграть во что-то настоящее (возможно, не поняв даже, что случилось). Оказалось, что дар, принесенный с чистым сердцем, сразу делает героя лучше, делает его роднее нам. Пусть даже дар мал и жалок.

Увы, этот эпизод никакого продолжения, никаких отзвуков в романе далее не имеет. Может быть, он еще отзовется в творческой судьбе самого Пелевина? Как знать...

7. Критика общества

Неприятие реальности имеет у Пелевина и политический вектор. Его проза — это, в сущности, антиреклама российских 90-х. Подчас возникает ощущение, что писателем владеет неуправляемая неприязнь к своему времени — и он охотно дает ей волю. Пелевину не нравится ни-че-го. Всюду в «Generation "П"» его взгляд натыкается на привычные уродства и безобразия. Уродливы рекламный бизнес, его агентура и клиентура, жалки телевизионные шоумены и журналисты, отвратна московско-кавказская мафия... Вообще, кажется, больше не осталось в Москве интересных и хороших людей. Есть только ублюдки, ошметки, шушера. Мир безвыборно увиден глазами Татарского, но и сам Татарский ничуть не лучше всякого-каждого проходимца.

Писатель прибегает к тем изобразительным средствам и краскам, какими часто пользуются авторы «Нашего современника» и «Молодой гвардии».

Атмосферическим лейтмотивом современности автору кажется «серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя». «Во всем царила страшноватая неопределенность, — сказано в

другом месте. — По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю эту лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии».

Критика Пелевина зла и мелочна. Скажем, не понравилось ему слово «россияне» — и герою романа, Татарскому, уже заложена в сознание такая характеристика этого слова: «блатное обращеньице», «всегда казавшееся Татарскому чем-то вроде термина «арестанты», которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону, так называемые «малявы».

Притом никаких надежд на изменение к лучшему ни автор, ни его герой не питают. По одному частному поводу об этом сказано, например, так: «Татарский понял: история парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово «парламентаризм» может понадобиться разве что для рекламы сигарет «Парламент» — да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма». Герои планов не строят. И трудиться не хотят. Что, как я уже говорил, выглядит у Пелевина закономерным. Если мир есть иллюзия, то менять одну иллюзию на другую — зряшный, напрасный труд.

Приходилось слышать, что критика Пелевиным современного российского общества естественна и законна. Оно-де того стоит. Так-то оно так, но, многого не приемля в нынешней жизни, я категорически не хочу солидаризироваться с таким критиком. Основы его негативизма кажутся мне не просто непродуктивными. «Если честно», Пелевин представляется мне весьма опасной фигурой на современном культурно-интеллектуальном горизонте, и без него пугающем всевозможными страшилами. Подобным образом ориентированная популярная проза имеет страшное разрушительное действие на духовный опыт читающей публики. И я б не стал снимать с Пелевина за это ответственность. С него еще ой как спросится.

В своем тотальном критицизме Пелевин естественным образом совпал с нашими «новыми левыми». (Впрочем, и от «старых» он не всегда слишком уж далек.) Чему учит история? Ничему. Казалось бы, после того как «левые» идеи и практика так многосторонне скомпрометировали себя в XX веке, места для них больше не осталось. Ан нет. Подрастают новые поколения борцов с буржуазностью, за справедливость, всё отнять и поделить и пр. Неудивительно, что Пелевин откликнулся и на это настроение. Чуть не первая из наживок для публики в его романе связана как раз с этим аспектом. Пелевин пускается в рассуждения о сравнительных достоинствах кока-колы и пепси-колы. И выходит у него, что кока-кола есть напиток жутких бяк: «религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах». А пепси — наоборот. Когда-то пепси пришла в Советский Союз и мощно повлияла на сознание юношества. Отсюда и возникло «поколение П»...

Его герои бунтуют против отцов. И лишь изменяя себе (как Татарский в финале романа), меняют пепси на колу. Отталкивание от отцов получает отчетливое концептуальное выражение. Отцы — люди конченые; с ними и говорить-то

не о чем. Их опыт, их советское и всякое прочее прошлое,— всему этому место на свалке истории. В том числе и прежний андеграундный опыт. Да и сам наш автор — какой-то безотцовщина. Не знаю, что там у него в биографии, а в манере художественной самоаттестации разрыв с предками («так называемыми шестидесятниками») — очевиден. Он доходит до настойчивой компрометации «старших». И тут Пелевин неутомим.

Левизна Пелевина склоняется к анархическому полюсу. К полюсу полнейшей неангажированности, идеологической незакрепленности. Идеи закрепощают. Держаться за них — попасть в рабство, взять ненужные обязательства. Это инфантильная апология *свободы от*. Ото всех и вся. Уйти. У Пелевина возникает очень устойчивый *комплекс колобка*: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...

Врешь, не уйдешь! Проблема в том, что зовы свободы перемежаются у писателя с болезненным чувством связанности, непреодолимой зависимости человека от мира. Как сказано в последнем романе, «TRAPPED? MASTURBATE!». У человека нет никакой защиты от мнимостей. Потому как он и сам такая же мнимость. «Стать нереальной может только личность, которая была реальной. Чтобы сморщиться и усохнуть, это «я» должно было существовать». Но «существовать» ему — не дано. А потому и получается: человек есть то, что он ест. Сегодня он ест преимущественно телевизионную картинку. Значит, он такой картинкой и назначен. «Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание, как рука в резиновую перчатку». Тот, кто возникает, «не просто нереален (это слово, в сущности, приложимо ко всему в человеческом мире). Нет слов, чтобы описать степень его нереальности. Это нагромождение одного несуществования на другое, воздушный замок, фундаментом которого служит пропасть». (Мне особенно нравится последний образ, который, как представляется, удачно определяет и сущность художественных опытов самого Пелевина.)

Смешивая в одной пробирке оккультизм и революцию, Пелевин устраивает подобие спиритического сеанса с участием духа небезызвестного романтика революции Че Гевары, заставляя последнего обличать, точней, *разоблачать* потребительское общество как общество тотальной манипуляции и глобальной мнимости.

Еще сохранивший некую харизму в глазах современных молодых бунтарей, команданте Че выступает у Пелевина в новой функции. Писатель идет проверенным и принесшим ему успех путем. Важна оказывается не историческая прописка Че Гевары и за что он там сражался на всех фронтах классовых антиимпериалистических битв. Применение Че Гевары — условное и игровое. Как, к примеру на листовке, недавно виденной мною на стене, где рядом с профилем борца шла надпись: «Самый ЧЕловечный ЧЕловек». Че Гевара — это у Пелевина латиноамериканский Чапаев (естественно, Чапаев из «Чапаева и Пустоты»). Это наставник, где-то в иных мирах перековавший свой воинственный радикализм в квазибуддийский нигилизм.

(Звуковая перекличка имен Чапаева и Че заставила меня вспомнить только что опубликованный роман Александра Сегеня «Общество сознания Ч», в котором автор то ли в шутку, то ли всерьез придает звуку Ч особое, магическое значение. Эх-хе-хе.)

Ирина Роднянская, раздающая Пелевину бессчетные авансы, назвала вставной трактат Че Гевары самым интересным местом романа «Generation "П"». Не знаю. Здесь наш автор недалек от детерминизма самого вульгарного кроя. Оказывается, фантомная личность поглощена цивилизацией потребления, товарно-денежными отношениями, телевизионной иллюзией. С подобными воззрениями мое поколение встречалось еще в 70-х, когда сквозь железный занавес к нам начали проникать идеи франкфуртцев и французских левых философов. Да и 42-й том Маркса уже был под рукой. Тогда это казалось даже оригинальным и как-то способствовало духовному самоопределению. Теперь, сказать по правде, это представляется только наивным: детской болезнью, вроде кори или свинки.

Нужно очень плохо знать человека, чтобы записать его в марионетки прессы и телевидения. Нужно уж очень не любить человека, чтобы полагать, что всякий раз, когда он что-то там покупает, он тем самым капитулирует перед средствами массовой манипуляции.

Апогей нигилистической фантасмагории в «Generation "П"» — мастерская Азадовского, где средствами компьютерной графики делают экранных политиков, вкладывают им в уста нужные слова, а затем ежедневно выпускают их мнимые анимационные образы на телеэкран. Получается, что экранная реальность, навязанная телеаудитории, не имеет ни грана подлинности и создается усилиями технологов. Этот сюжетный ход заставил критиков говорить об антиутопии. Поверхностное сходство действительно есть. Но и только. В координатах, заданных Пелевиным, этот случай есть только испытание возможностей фикционирования бытия. Это лишний повод сказать, что такие возможности безграничны.

Для писателя, оказывается, совершенно безразлично, где кончается иллюзия, потому что она нигде не начинается. Поэтому жизнеподобное повествование без помех перемежается с явными фантазмами.

8. Литература

Литератор в XX веке сочиняет не только тексты, но и свою жизнь. Художник актерствует. Или, по крайней мере, так ему кажется. Такое мировосприятие является, наверное, следствием кризиса традиционных моделей культурного поведения, распада социокультурных норм и конвенций, в рамки которых естественно и непринужденно умещалась прежде жизнь художника. Тексты, бывает, объявляются лишь приложением к манере публичного поведения. С этой точки зрения интересна манера автопрезентации Пелевина.

Некоторое время он вовсе не обнаруживал себя в столичной литературной тусовке. Существовал анахоретом, незаметно. Отшельничал, никем не знаем. Интервью не давал. Лица не казал. Видеть ли тут черту нелюдимого характера или продуманную стратегию?

До поры-до времени Пелевин, кажется, в самоистолковании представал свободным и счастливым кандидом, пришедшим на пустое и мертвое. Потому он и не рвется в современную литературную среду, воображая ее бренной и тленной, отмирающей. О том же свидетельствует и грубая до неприличия сцена с участием

«литературного обозревателя Павла Бисинского» (прототип легко угадывается) в «Generation "П"» (персонаж проваливается в «деревенский сортир»).

К тому ж и мотивы его творчества трудно определить как сколько-то серьезные. По меткому замечанию одного критика, Пелевин пишет не для истины, а для удовольствия. Для прикола. Действительно, трудно дать другое объяснение творчеству человека, находящего вокруг сплошные фантомы.

Неудивительно и то, что Пелевин бесконечно далек от русской литературной традиции. Ему даже не нужно от нее отталкиваться. Такое впечатление, что он просто про нее ничего не знает. Не читал и читать не собирается. Как будто и по-русски никто до него не умел говорить и писать. Как будто и не было никакой литературы до Пелевина. Ее законы и заповеди для него — пустой звук. Это позволяет ему иметь полную свободу, говорить что вздумается.

В его прозе, впрочем, такая ориентация оборачивается неряшливостью, элементарностью художественных средств, примитивностью описаний и композиции, словарными небрежностями и грубостями... Слова у Пелевина обычно какие-то серые и стертые, вялые и скучные (а ведь подчас он замечательно чувствует слово и способен к словесной игре). Проза Пелевина — бедная, неумело строящаяся проза. И сколько бы мне ни говорили, что такая сейчас и нужна, я вижу тут только то, что есть: упадок словесного искусства. (Если это симптом, то он — выражение кризиса современной русской речи, тяжелой болезни языка, болезни народного духа, потерявшего способность к регенерации. Но нужно ли делать такие выводы лишь на основе пелевинского словотворчества?)

Теперь, кажется, Пелевин решил смелее и решительней входить в мир. Создавать собственное пространство литературной жизни, куда нет доступа ни Басинским, ни Бисинским. Дает интервью глянцевым журналам, общается с читателями в Интернете. Преуспел и здесь. Во всяком случае даже Ирина Роднянская, если верить ее признаниям, рада тому, что старик Пелевин нас заметил, что и она «угодила в target group Виктора Пелевина».

9. Голос поколения

В разброде и хаосе бытия нашим молодым современникам оказался нужен свой голос. Как средство самоосознания. Пелевин ответил на этот насущный и довольно массовый спрос.

Не знаю, были ли подобные претензии у Пелевина изначально, но в последних вещах писателя мы уже не можем не разглядеть заявку на выражение поколенческого кредо, на создание «культового» романа для современных молодых людей — романа, выражающего их миросозерцание, их стиль и способ жизни. Это стало окончательно ясно после появления романа «Generation "П"». К нему знаменательно дан романтизированный запев в духе Мюссе («Исповедь сына века»).

Заметим, что на настоящий момент эта пелевинская заявка выглядит наиболее убедительно. Возможно, правда, оттого, что настоящих конкурентов у него нет. Наши относительно молодые литераторы озабочены чем угодно, но не пропиской в своем поколении, не поиском мостов к нему.

Взять хоть неудачный роман Михаила Бутова «Свобода», персонажи которого — тоже молодые люди. Вышла искусственная, малосодержательная выдумка. Непонятно, для кого роман написан, и кто его прочитает. Неясно, чем бутовский герой может привлечь читателя. Иногда кажется, что кроме Пелевина никто из литераторов не видел компьютера, не слыхал о соблазнительной восточной мистике... Такой хилый, худосочный фон выгодно оттеняет достижения Пелевина, подчас воспринимаемого уже и как наставник, учитель, гуру... Его проза отчасти может служить путеводителем для новичков по популярным темам современной культурной жизни. Всё-таки занятен осуществляемый им сплав мистики и техники, квазимагических практик и виртуальной реальности.

Пелевину, мне кажется, при работе над текстом не обязательно рассудочно конструировать то, что в этой статье описано как осознанно использованные приемы. Ему самому близки многие из затронутых им тем. Кое в чем он для молодежи 90-х действительно *свой*. И это ему сильно помогает.

Размышляя о прозе Пелевина, можно сделать какие-то выводы об его поколении. Или подтвердить то, что знаешь и без него. Его проза, скажем, это своего рода материалы к теме: огрубление человека и примитивизация духовной жизни в 90-х гг. и во второй половине XX века вообще. Отсутствие объема. Бедность и убожество некоторых современников нашли законченное выражение в образе Вавилена Татарского, героя, лишенного и исторической, и метафизической укорененности, лишенного духовной вертикали. Татарский — юный варвар, для которого не существует ни вечности, ни прошлого. Он упразднил их одним умственным жестом.

Или еще одна черта: эклектика. То, что раньше называли кашей в голове, а теперь уважительно именуют постмодернистской парадигмой сознания. Такое уж поколение. Недовыраженность, аморфность, смутное брожение пестрых идей и мнений хорошо видны в пелевинской прозе.

Именно такому читателю и впору пелевинский смоделированный мир, очень простой и элементарный. Одномерная, плоская проза Пелевина — как доска. Но с интересным узором. Узор, картонная декорация, игровой орнамент создают впечатление богатства. Нет глубины, но есть захват смыслового пространства, есть неожиданность тона, краски, линии. Но аудитория нашего автора гораздо шире за счет тех, кто находит в его прозе отзвуки тем, которые волнуют современника. Отзвуки поверхностные, слабые. Но они есть. И одно это, наверное, вызывает благодарность. Каждый такой читатель сочиняет своего Пелевина, домысливая за него то, что самим нашим автором брошено небрежно и походя. Даже и критики желают видеть такого Пелевина, какой им приснился (И. Роднянская, Л. Филиппов и др.).

Не нужно заблуждаться. Писатель в целом едва ли смог пока ответить на духовные ожидания поколения. Может быть, он предложил только версию ответа. И версия эта не просто далека от совершенства. Это — обманка. Камень вместо хлеба. Про человека Пелевин знает очень мало. Про Бога — вообще ничего. (И не очень интересуется.) Самодоволен, а подчас и хамоват. Люди в его сочинениях — марионетки. Картонные фигурки. Они одномерны, однолинейны. Кукольный театр какой-то. Подчас и читать его невозможно. А интересно — лишь иногда. Как ни

странно, интересно становится там, где человеческое начало упрощено до птичьего или до насекомого («Жизнь насекомых», «Затворник и Шестипалый»).

* * *

И все-таки подчас кажется: чем сильнее ты порицаешь и разоблачаешь Пелевина, чем больше находишь у него недостатков, тем внимательнее следишь за писателем: а что он выкинет завтра, чем огорошит? Нельзя сомневаться: наш автор зацепил душу неравнодушного к жизни читателя.

Есть в его прозе притягательные темы, которые нечасто встретишь у других писателей этого поколения. Есть серьезность в подходе к ним, далекая от игрового легкомыслия. Когда Пелевин говорит о мнимостях жизни, то философический его заход к их пониманию выглядит наивным и необязательным. Но писателя не обманывает чувство. Ведь и на самом деле в нашем мире к концу XX века скопилось столько всякой мертвечины, столько фикций и лжи вокруг. Уже трудно найти что-то подлинное, трудно подобрать живые слова в целом океане пустых банальностей и опасных идеологем. Это правда. И эта правда падает на душу, она резонирует с актуальной заботой алчущего и страждущего человека.

Нигилизм Пелевина не тотален, иначе откуда бы взялось столько азарта в развенчании мнимостей? Но духовно бесплодны и исторически проигрышны релятивизм и безверие писателя, его кислый скепсис, его цинический юмор (ярко проявивший себя в придуманных автором клипах-слоганах)— эти автоматизмы сознания, которые сами по себе также являются признаком закостенения, омертвения души.

Иногда хочется сказать ему без околичностей: но, Виктор, не выплескивайте с водой ребенка; он нам еще пригодится. Еще не кончена жизнь, есть еще в мире нетронутые гнилью и плесенью глубины и края... Хочется сказать... Хочется...

А пока Пелевина читают, как немногих ныне.

Некоторые читатели, возможно, только его и читают. Пелевин — спаситель литературы от отсутствия у нее читателей. Пришли, так сказать, варвары, начали адаптироваться к наличной культуре, вот и литературным творчеством занялись, и к чтению привыкают. Еще чуть-чуть — и приобщатся к нашим высоким материям, полюбят нашу традицию и вспомнят про нашего Бога... А с другой стороны, культуре необходимо вливание свежей горячей крови — и вот она...

Правда, Пелевин как бы и замещает собой всю остальную литературу. И вовсе не факт, что, прочитавши очередной пелевинский опус, кто-то захочет продолжить знакомство с современной словесностью. Не факт, что и сам Пелевин пойдет на поклон к пещерножителям, хранящим светочи культуры и веры.

В корне ложна исходная духовная установка писателя. Пелевин зашел сам и заводит читателей в мир иллюзий — и оставляет их там, по большому счету ничем другим не вознаграждая. Он хочет и самоё реальность превратить в глобальную мнимость.

С этим нельзя согласиться. Не потому, что нам того не хочется. А потому, что и абсолютная, подлинная реальность, и абсолютная истина — существуют. И ныне, и присно, и во веки веков.

Людмила АРСЕНЬЕВА

ИКОНА И КАРТИНА[1]

Дорогие братья и сестры!

Если я — как художница, исповедующая русскую православную веру, — решаюсь сегодня говорить с вами о своем художественном опыте, то не потому что считаю его каким-то особенно выдающимся, но потому что хочу перекинуть своего рода мост между иконописью и искусством живописи.

В богословской литературе об иконе я часто сталкивалась с мнением, что самое позднее, начиная с Ренессанса, а может быть, и гораздо раньше, западная живопись стала выражением благочестивого субъективизма, которому свойственна религиозная назидательность, идеализация и интерпретация материала. При этом говорится, что западные художники служили по преимуществу именно себе и своей славе — вместо того, чтобы благовествовать Божественное в образе, как это делали иконописцы, — по крайней мере, со времени окончания Иконоборческого спора в IX веке.

Вот несколько цитат на эту тему:

«Иконописец трудится не для себя и своей славы, а во славу Божию... Свобода художника (имеется в виду иконописец. — *Л.А.*) состоит не в неограниченном выражении своей личности, своего «я» ... Свобода художника (здесь это — западный художник. — *Л.А.*) осуществляется за счет свободы зрителей, которым навязывается личное мировоззрение художника ... Художник ... превращается в раба своей чувственности и своих вожделений ... » (обратный пер. с нем.)[2]

Людмила АРСЕНЬЕВА — родилась в 1939 году в Вильне (Литва) в русской семье. В 1941 году семья успела переселиться в Лейпциг (Германия), в 1949-м — бежать из советской зоны оккупации в Западную Германию. Изучала романистику, философию и историю искусства в университетах Саарбрюкена, Гамбурга и Дюссельдорфа. В 1965 году закончила Академию художеств г. Дюссельдорфа в классе художника Гюнтера Гроте. С тех пор работает как свободный художник. С 1972-го — профессор живописи в Академии художеств г. Мюнстера.

---

[1] Печатаемый текст подготовлен на основе доклада, который был сделан на семинаре «Православная духовность» (Мюнхен, 1998), организованном Германской епархией Русской Православной Церкви заграницей.

[2] *W. Lossky u. L. Ouspensky.* Der Sinn der Ikonen. S. 44. Olten.

«Религиозная живопись Запада, начиная с Возрождения, была сплошь художественной неправдой, и, проповедуя на словах близость и верность изображаемой действительности, художники, не имея никакого касательства к т о й действительности, которую они притязали и дерзали изображать, не считали нужным внимать даже тем скудным указаниям иконописного предания, т.е. знания, каков духовный мир, который сообщала им католическая Церковь»[3].

«Итак, искусство не означает присутствия Божия, а нацелено скорее на обман, иллюзию... Картины становились по сути дела всё более мирскими, используя при этом — с какой бы там ни было целью — псевдорелигиозную тематику <...> и для итальянских художников за этой манерой изображения не стоит уже духовного содержания, но она (maniera greca) рассматривается как очередной стиль, который можно просто сменить (это о Джотто. — *Л.А.*)... Их побуждения могут быть самыми искренними... но не отражают ли они только человеческое — слишком человеческое?»[4].

Такая уничижительная критика вызывает во мне сожаление, поскольку западное искусство рассматривается при таком освещении, исходя из задач, которые оно в подобном виде перед собой не ставило. Тем самым оно остается просто непонятым. А богословы, пишущие об иконе (по крайней мере те, кто процитирован здесь), выдвигают требования настолько исключительные — в сущности, всеисключающие, — что им приходится разделять мир картин на два лагеря, лишая себя возможности увидеть то, что их объединяет.

Я ни в коем случае не хочу принизить значение богословия иконы с его специфическим опытом познания и благовестия. Но я была бы рада, если бы оно могло обойтись без охаивания всего другого.

Приступая к своей художественной работе с возгласом: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», — в сущности, высказываешь уже всё, о чем идет речь применительно к художественной и вообще творческой работе всякого человека. В том числе — и к твоей собственной. Всё последующее — разворачивание этого обращения, которое является, с одной стороны, рискованным утверждением, а с другой — смиренным прошением. В дальнейшем я говорю о творческом человеке, художнике, живописце, о творческом и художественном, как если бы это были синонимы.

Когда мы воспринимаем и оцениваем нечто как произведение искусства, мы, даже и не размышляя специально на эти темы, естественно ожидаем от него и предполагаем в нем наличие вдохновения. (Понятием искусства я пользуюсь здесь как качественной категорией, включающей в себя произведения, в которых, помимо упражнения в мастерстве, отражается некая картина мира, то есть определенный способ видения мира, ориентированный на истину и красоту и делающий их видимыми.)

Собственная воля не может быть источником вдохновения. Вдохновения можно желать, испрашивать, надеяться на его приход, но его нельзя сделать, так же как нельзя «сделать» любовь, радость, жизнь или, скажем, веру. Ибо «не может человек ничего принимать *на себя*, если не будет дано ему с неба» (Ио. 3, 27). Художник

---

[3] *Свящ. П. Флоренский.* Собр. соч. YMCA-PRESS. T. I. C. 224—225. Paris, 1985.
[4] *N. Ton.* Ikone und Liturgie. S. 110, 118, 120, 123. Trier, 1979.

познает это на своем ежедневном опыте. А без вдохновения живопись и рисование (то же самое относится и к другим видам искусства) это — упражнения, вспомогательные наброски. Упражнения, конечно, тоже необходимы и полезны и заполняют большую часть жизни художника. Но настоящая картина всегда — как дар свыше. Морис Дени в начале этого века сказал: «Картина возникает в сердце художника». Это сказано вовсе не из сентиментальности.

Благодаря Иисусовой молитве и из Священного Писания мы знаем, что сердце — средоточие нашего существа, где мы «слагаем слова», как Богородица — слова Архангела (см.: Лук. 2, 19; в нем. пер. М. Лютера), — те вести, что доходят к нам из иных сфер и достигают нас непосредственно. Преданный молитвенному созерцанию знает это по опыту.

Но и художник знает это.

Сердце — место молчания, положительной пустоты, место, где восходит «молитва, яко кадило» и «воздеяние руку моею» происходит непроизвольно. Это воздеяние рук, жест Оранты, выражает у художника удивление, удивление и радость о полноте, глубине и красоте творения в видимом и невидимом.

«Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!» — говорит поэт-псалмопевец (Пс. 92, 6). «Удивление — основная установка художника. Удивление возможно, когда мой взгляд ориентирован не функционально, что полезно, например, за рулем машины, но когда я могу посмотреть на мир без предрассудков, совсем по-новому, свежим взглядом и с чистым сердцем, так, будто я его никогда еще не видела, — тогда я не просто воспринимаю данное мне в ощущениях, но принимаю его в себя. И каждый знает, я думаю, по себе это внезапное ощущение свежести взгляда и сопутствующее ему удивление.

Удивляясь, человек забывает о том, что он умеет, и открывается новому, неожиданному. В зависимости от того, насколько глубоким окажется удивление, оно может перейти в потрясение или в воодушевление, в одержание Духом, внутренним обитателем всего, что на нас воздействует. Это может быть задано как извне, так и изнутри. Вещи и люди становятся тогда прозрачными для силы, действующей в них, и приобретают для удивленного и воодушевленного таким образом человека неведомые до тех пор значение и глубину.

Воодушевление (вдохновение) вызывает благодарность и хвалу, потрясение же — испуг, слезы и сострадание.

Понятно, что такое всевидящее проникновение, такое проникновенное восприятие не может быть вызвано по своей воле.

А можно ли упражнять самую способность к удивлению?

Об этом снова-таки молитва: «Да будет воля Твоя» (Мат. 6, 10). Для художника это значит в первую очередь отказаться от всего известного, привычного и надежного, от того, что им освоено и чем он с уверенностью владеет, забыть всё, чему он научился, пожертвовать уверенностью в себе.

У взрослого человека это может вызвать страх, но детям это еще не трудно, и у некоторых художников как бы непроизвольно сохраняется такая детская наивность. И тогда мы называем эту способность талантом.

Антони Тапиес говорит: «Мне хотелось бы, чтобы мы всё больше и больше утрачивали доверие к тому, во что мы, как нам кажется, верим, и к тому, что мы

считаем безусловным, чтобы это всегда напоминало нам о том, что есть еще бесконечное и не открытое».

Итак, принесение в жертву своих стремлений, пристрастий, представлений, привычек, что приводит к своего рода духовной нищете, лишает власти наше эго. Художник становится резонансной полостью, откликающейся на всё чудесное, непривычное, новое, не представлявшееся возможным. Он познает этот новый, этот заново возникший порядок всеми своими чувствами, сердцем и умом.

Буддийская мудрость советует: «Если ты хочешь нарисовать дерево, ты должен сначала стать деревом» (ср.: Быт. 2, 9; Пс.1, 3). Это значит — открыть границы собственного «я», достичь единения субъекта и объекта. В Ветхом Завете «познавать» и «любить» понимается как нечто единое, неразрывно связанное. В любви первично не чувство, охватывающее нас, а обнаружение действительности, вызывающей нашу симпатию. Чувство само по себе не является также надежным ориентиром в процессе творчества. Чувство — это следствие восприятия, а не его причина.

«Да будет воля Твоя», — в сущности, об этом же говорит и Рильке: «... не самообладание и ограничение ради определенных целей, а беззаботная готовность отпустить себя, доверяясь надежной цели. Не осторожность, но мудрая слепота, бесстрашно следуя за любимым своим Вожатаем. Не приобретение тихой, недвижной собственности, а неустанное расточение всех изменчивых ценностей» [5]. «Да будет воля Твоя» — это значит также и быть свободным от принуждения к буржуазному упорядочению жизни и следованию чужим образцам, требование быть и, соответственно, становиться самим собой. Таким образом этот возглас из «Отче наш», собственно, и является даром Иисуса Христа человеку — и в особенности художнику, поскольку он как раз и должен не исполнять чужие требования, но способствовать проявлению подлинно самобытного в себе самом — воли Божией.

Нет противоречия в том, что удивлению, которое есть врата вдохновения, сопутствует и послушание. В слове «послушание» содержится слово «слушать». Очевидно, и по сути дела послушание подразумевает способность слышать. Однако «слышать» понимается здесь не только как функция органа слуха — так же как и под зрением понимается не только узнавание зрительных объектов, — но речь идет о слышании внутреннего звучания, внутреннего голоса. Это требует также и дисциплины, что позволяет стать учеником этого внутреннего голоса. Тогда слышание становится бодрствующим молчанием, вниманием к тишине внутри себя, выходом из потока внутренней речи, становится воплощением пустоты, воспринимающей всё, что из нее слышно, становится резонансной полостью, откликающейся на всю полноту звучаний. Послушание снимает внутренний акцент на свое «я».

«Оному подобает расти, мне же малитися» (Ио. 3, 30). Это относится не только к св. Иоанну Крестителю, это самым существенным образом относится ко всякому творческому человеку, относится прежде всего к художнику. Мне потребовалось много лет, чтобы понять, что художественное произведение возникает не в силу богатства возможностей, возрастающего мастерства и не по собствен-

[5] *R.M. Rilke.* Von Kunst-Dingen. Leipzig, 1983. S. 45.

ному усмотрению художника, как я представляла себе это когда-то вначале и как это обычно представляют себе люди несведущие. Художник *обретает* свою картину — он не может просто сделать ее, и ни в коем случае он не может ее выдумать. «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал» (Ио. 15, 16), — то же самое повторяется и со мной перед каждой новой картиной. И это связано с описанным выше послушанием. Когда я специально ищу предмет, тему, мотив, я обычно не нахожу ничего — или только что-то уже известное или незначительное, что-то, что в данный момент мало для меня значит. Собирая внимание, «отдаваясь разумом»[6], я обретаю способность к удивлению, обретаю тему, мотив, то новое для себя, с чем я соглашаюсь, становлюсь со-глас-ной.

Итак, удивление, молчание, слушание, послушание, осознание, восприятие, обретение — всё это установки, в которых художник упражняется для того, чтобы могло наступить вдохновение. Я надеюсь, из этого становится ясно, что свобода художника не имеет ничего общего с произволом и настроением. Во всем этом можно и заблуждаться, считая, что всё делаешь сам, автономно, вне всяких связей, — такова наша человеческая природа. Но среди своих коллег я не знаю никого, кто действительно ощущал бы, будто своими произведениями он обязан исключительно себе самому. Другое дело, что из тщеславия часто говорится как раз обратное.

Следующий этап в творческом процессе, процессе живописи, — реализация (термин Сезанна). Сезанн много писал и говорил о своих ежедневных и неустанных сражениях, о том, насколько труден и непостижим процесс реализации картины. Увиденное по вдохновению — будь то внутренним взглядом или обычным зрением — хочет облечься в реальный образ, ищет, как превратиться в видимые формы картины, настаивает на своей материализации. Таким образом становится ясно, что начинает художник, исходя не из богатства своих возможностей, не со своих ремесленных навыков, приобретенных благодаря упражнению, не с техники. Начало полагается в нем духовным зрением. Зрение и само по себе — процесс душевный и духовный, а не технико-механический, известный нам по фотографии. Видит не только глаз, видит весь человек в целом.

Но как же может художник сделать видимым, овеществить то новое, что открывается его духовному взору? Формы, использованные им для предыдущей картины, не годятся для нового. Ведь форма — не готовый сосуд, который можно наполнить соответствующим содержанием. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие» (Мат. 9, 17). Данное человеческому духу по вдохновению имеет собственную динамику, которая взрывает старую форму. Оно не может проскользнуть в нечто уже имеющееся, оно хочет, оно само должно стать новой формой. Поэтому каждая новая картина это — риск, связанный с ощущением «снова-ничего-не-умения», подпадения под власть материала, будто делаешь всё это впервые. Нет никаких гарантий успеха в этом процессе реализации, превращения увиденного в форму картины, и нет никакого владения выразительными средст-

[5] *G. Grote.* Nicht cogito ergo sum — sondern umgekehrt... Düsseldorf, 1974, unveröffentl. Manuskript.

вами. Да по сути дела краски и формы и не являются средствами, но это суть силы, которыми не нужно владеть, но с которыми художник сотрудничает.

Для любителей искусства это звучит совершенно невероятно, и для начинающих тоже. Начинающий часто говорит: это мне не удалось, потому что я еще не владею тем-то и тем-то. И за этим стоит вера в возможность научиться всему, и в первую очередь — технике накопления воспроизводимых затем приемов, которые когда-то, мол, наконец, можно будет применять с уверенностью, без риска, связанного с возможностью провала.

Все эти представления не применимы к творческому процессу и вводят в заблуждение. Послушное сотрудничество и дисциплинированное служение при восхищении тем бесконечным целым, о котором свидетельствует возникающая картина, — вот отношение, способствующее ее реализации. Картина — место соприкосновения невидимого и видимого. Картина — воплощение духовной сущности. Когда картина принимает какой-то определенный облик, происходит в некотором смысле чудо. Художник первый может удивляться своему новому произведению.

Что же происходит в этом процессе воплощения картины в действительность?

Может быть, это станет понятнее на примере. Допустим, художник выдавливает из тюбика на палитру красную краску, смешивает эту красную краску еще с другой краской, так, чтобы она с наибольшей точностью отвечала силе, действующей в контексте его видения, но при переходе с палитры на поверхность картины нечто существенным образом изменяется. Изменяется или, лучше сказать, становится совершенно другим контекст, в котором существует красная краска до и после нанесения на холст. Краска как вещество меняет свой вид и смысл, ее сущность проявляется только в контексте картины, только так она и являет собою какой-то цвет, а до тех пор ее цветовое значение открыто для толкований и она, можно сказать, невидима.

Во взаимодействии вдохновения и его творческой реализации, в этом напряженно-парящем состоянии внимания, объединяющего душу, разум и руку, происходит преобразование, преображение и воплощение. Я говорю: происходит, а *происходить* — это не значит *делать*, быть *сделанным*.

Преувеличением было бы придавать богословское значение этому повторяющемуся опыту. Однако я думаю, что наше европейское понимание творческого начала внутренне сформировалось и развивалось под воздействием того, что называется воплощением в личности Иисуса Христа — Бога — от Пресвятой Богородицы. В своих опытах творческого воплощения замыслов мы ориентируемся на это неслыханное событие, даже если далеко не каждый непосредственно осознает это.

То, как происходит это преображение, сознанию художника доступно тоже лишь «на отрезке пути, и устремляется в тайну» (Гроте). В своем делании художник ощущает себя как бы мостом, соединяющим невидимое и видимое, дух и материю, он испытывает чудо преображения и служит ему безо всех этих громких, напрасных, употребленных здесь слов и воспринимает как дар каждую удавшуюся картину.

Конечно, можно воображать, что всем этим мы обязаны только самим себе. Я не могу говорить от имени всех художников, но в записках художников разных времен я всегда сталкивалась с тем обстоятельством, что живописец не может просто рисовать, как ему вздумается, что он ощущает себя ограниченным, связанным и не властным над тем, что он делает, и что всё те же установки, описанные мною вначале, нужны ему и на втором этапе, в процессе реализации, для создания подлинного произведения искусства.

Есть еще один аспект процесса реализации художественных интуиций, который часто вызывает недоразумения, это — повторение.

Вначале я говорила о разнице между упражнением и вдохновением. На самом деле упражнение и творческий акт невозможно различать с такой отчетливостью, с какой я их здесь разграничиваю, одно постоянно переходит в другое. Нам кажется, что повторение есть путь к овладению еще-не-освоенным. Механическое повторение почти так же полезно, как книга под подушкой, чтобы учиться по ней во сне. Такого рода повторение даже разрушительно и вредно.

Строго говоря, повторения не бывает. Похожи листья березы, но в каждом из них открывается неповторимость бытия во внешних его проявлениях. Например, в музыке секвенция, т.е буквальное повторение звуков, означает также усиление, настаивание на определенной последовательности нот или звуковых комбинаций, на определенном мотиве. В изобразительном искусстве повторение также является формой усиления выразительных средств. В качестве метода обучения повторение служит расширению опыта, если повторяющий замечает, что контекст повторения меняется или что сам он является причиной изменившегося контекста восприятия.

Всякий раз новое восприятие того же самого становится событием, потому что мы способны открывать всякий раз новые аспекты всё в том же самом и, таким образом, обретаем богатство того же самого или в том же самом, о чем механическое повторение не дает ни малейшего представления. Вместо скучной монотонности повторяемое раскрывается нам тогда в ободряющей свежести и полноте. Я думаю, каждый, кто молится, независимо от вероисповедания, знает это на опыте и умеет различать живую молитву от механической; и у художника дело обстоит не иначе. Механическое повторение в своих крайних, преувеличенных формах хотя и может привести к качественному скачку, но в таком случае это — путь, сознательно выбранный, которым идет художник. Весь этот опыт, связанный с повторением, поразительным образом имеет нечто общее с умиранием.

Старая форма должна умереть, чтобы могла возникнуть новая форма, как и зерно должно умереть, чтобы принести плод (ср.: Ио. 12, 24). Человеческая жизнь преображается только тогда, когда что-то старое умирает, и тогда в нее входит новое. Что же умирает? В искусстве умирает некая определенная форма. Осмысленное повторение означает таким образом умирание соответствующей формы, чтобы благодаря этому могло произойти новое: как бы самопожертвование формы ради того, что вырастает на смену и свидетельствует о духовном продолжении или, лучше сказать, обновлении жизни. Художник является в таком случае сотворцом в постоянно обновляющемся процессе проявления и воплощения

форм, и своим искусством он вносит личный, посильный вклад в дело преодоления смерти, именно смерти, а не умирания. Умирание — раскрепощение форм, и оно совершенно необходимо.

Теперь, пожалуй, уже понятно, что иконописец и художник похожи во многом, что касается внутренних приготовлений и отношения к своему труду.

Далее мне хотелось бы осветить понятия символа и мимесиса. В применении к иконе и произведению искусства эти термины употребляются настолько разнообразно, что, может быть, полезно рассмотреть их с точки зрения их происхождения.

Мне кажется, что прежде всего от нашего образа мыслей зависит то, как мы различаем действительность. Если в литературе об иконописи снова и снова говорится о радикальной противоположности духа и материи, это соответствует такому типу мышления, которое выделяет в действительности некоторые аспекты, чтобы можно было лучше их рассмотреть. Такое мысленное деление действительности приводит часто к тому, что на делении дело и останавливается, а единство, которое, собственно, и должно бы было быть познано с большей отчетливостью, распадается в сознании на многие обособленные аспекты.

При этом искусство, например, отождествляется с материально видимым, эстетическим, а иконопись — с духовно истинным, реальным, божественным.

Однако существует образное понятие, употребляемое нами в различных смыслах, в котором дух и материя соединены, в котором они понимаются как единство, это — символ. Понятие символа применяется как при рассмотрении иконописи, так и искусства, хотя несет при этом разную нагрузку.

Вот несколько цитат к пониманию символа.

Символ являет собой «дву-единство», это — «приведение к единству раздвоенного или, с другой стороны — взаимосвязанность печати и отпечатка, первообраза и отображения» ... И далее — «словом "символ" мы обозначаем, что вещи этого мира имеют образный характер, что они позволяют догадываться о предваряющем их первообразе, от которого они зависят, что они слепок с некой печати, отливка первоначальной формы, обломок другой половины бытия, совместно с которой они только и достигают себя самих и своей целостности»[6].

Обратим внимание на созвучие слов, когда и об иконе так же говорится, что она в «священном реализме» (Трубецкой), или в «символическом реализме» (Успенский), или даже в «реалистической символике» (Тон) являет «образ первообраза». А если вспомнить предание о царе Авгаре, по которому отпечаток лица Иисуса Христа на ткани оставляет нам первоначальный образ всех икон, acheiropoieta (нерукотворный), то этот процесс вполне соответствует возникающему «слепку с печати», то есть символу.

В символе чувственное и духовное познание соединяются в единую реальность. Художник видит в творении божественный знак и свидетельствует о нем своим произведением, которое носит символический характер, в котором уви-

[6] *Ph. Rech.* Inbibd des Kosmos, Salzburg, 1966. S. 15—16.

денное по вдохновению материализуется в виде картины. Произведение искусства указывает на свою первооснову.

В моем понимании икона и произведение искусства отличаются друг от друга характером реальности и требуют различного подхода к ней. Реальность, которую созерцает иконописец, это — непосредственное откровение Божие. В каждой иконе он, по сути дела, свидетельствует и благовествует о воплощении Логоса от Пресвятой Богородицы, о вочеловечении Бога. В этом смысле Иисус Христос — первая икона и праикона, от которой происходят все последующие. Это ясно выражено в кондаке первой недели Великого поста, на Торжество Православия: «Неописанное Слово Отчее, изъ Тебе Богородице описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразивъ, божественною добротою смеси. Но исповедающе спасение, деломъ и словомъ, сие воображаемъ».

Итак, икона направлена на божественную реальность в человеке, на явление Бога в человеке в лице Иисуса Христа. Акцент на слово человек. Потому иконопись сосредотечена по преимуществу на обóженном человеке, а места событий и все другие аспекты божественного творения составляют только реалистическое окружение, в котором действует святость.

Художник, исходя из человеческой перспективы, также всматривается в творение, постигая его основы, и показывает это в своей картине.

Иконописец по божественному наитию воспринимает спасенный и освященный образ человека и вписывает его в икону.

Икона — образ откровения. Картина — свидетельство вдохновения и его реализации.

Образ откровения являет божественную действительность вне человеческих толкований. Когда А. Рублев пишет Троицу, об этой живописи говорят, что она — «от Бога». Художник не притязает на такое отношение к себе и к своей работе. Как уже говорилось, иконописец воспринимает икону по божественному наитию, художник «зачинает» картину в глубине своего сердца. Здесь есть различие в отношении к реальности. Но тем не менее, по-моему, откровение и вдохновение растут как бы в одном и том же саду и черпают из одного источника.

На этом фоне мне хотелось бы осветить еще одно понятие, играющее определенную роль как для иконописца, так и для художника, это — подражание. Подражание восходит к греческому понятию мимесиса, которое в доклассической Греции связывалось с практикой религиозного культа.

Известно, что «первоначально mimeisthai значит — изображать или же выражать нечто посредством танца...», и в то же время: «mimeisthai у греков никогда не означает изображения своих идей и чувств, одним словом, себя в своих произведениях», а что касается самого этого понятия, то посредством изображения происходит не запечатление «какого-то предмета внешнего мира, но проявление — впервые — чего-то духовного»[7]. То, что делал мим, было пропущенным сквозь себя культовым явлением Бога.

Указание на культовый исток искусства кажется мне важным, поскольку тем самым обнаруживаются корни, соединяющие искусство и иконопись, и исклю-

[7] *W. Weidle.* Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Salzburg, 1966. S. 44.

чается плоское и основанное на неверных переводах греческих терминов понимание подражания и натурализма, приводящее к ошибочным представлениям о природе художественного творчества.

В иконописи, если она не опускается до уровня индустриального производства, также не существует копий, хотя говорят о «списках», о «повторениях» и о «подражаниях» по отношению к образцам. При всем этом, следуя образцу, настаивают, однако, на представлении о «творческом переводе».

Вернемся к тому, как мы мыслим действительность.

Искусство отличается тем, что в наших творениях мы получаем возможность видеть то, что мы мыслим. Со времен Джотто художники стремятся не к подражанию, их не интересует имитация действительности, и это можно видеть по их произведениям, как бы иначе это ни описывалось со стороны. Понятие верности натуре появляется, в основном, в писаниях теоретиков искусства, например у Вазари, и у зрителей, и отвечает зрительской потребности, связанной с опознавательной функцией зрения. Как мыслится натурализм и соответственно подражание, можно видеть в портретной живописи XIX века, например, здесь, в Мюнхене, у Франца Ленбаха, стремление которого к натуралистическому впечатлению от портрета естественным образом послужило изобретению фотографии. Подражание невидимому и вовсе невозможно! Но искусство стремится как раз к тому, чтобы делать видимым невидимое, коль скоро оно внутренне пережито, увидено мысленным взором и, таким образом, осознано.

К сожалению, разграничение иконы и картины в богословской критике, цитировавшейся выше, строится на восприятии живописи прошлого, свойственном XIX веку, в то время как богословская аргументация в пользу иконы основана на источниках, современных возникновению иконописи. Раннехристианская живопись, из которой выросла как иконопись, так и западная живопись Средневековья, имеет теоцентрическую направленность. Часто указывают в этой связи на то, что иконы не подписывались. Но средневековые мастера также не подписывали свои работы, а понятия художника в нашем смысле еще не существовало. Когда авторы живописных произведений становятся известны по имени, это происходит почти одновременно и на Западе, и на Востоке. Джотто и Рублев отделены друг от друга лишь одним столетием.

С включением аристотелевской философии в средневековую теологию (Фома Аквинский) и с новым восприятием эллинистической древности (Ренессанс) в западную живопись входит антропоцентрическое мировоззрение — при том, что до тех пор она не знала практически других тем, кроме священной истории божественного искупления, направленного на человека. В теоцентрической картине мира человек вглядывается в мир как бы глазами Бога и показывает Его воздействие на мир в своей картине. Человек завершающегося Средневековья отвечает на это тем, что теперь он со своей точки зрения смотрит на творение Божие и воспринимает в нем отблеск божественного сияния и являет его в картине. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы», — говорит св. апостол Павел (Рим. 1, 20).

Появление жанра портрета, открытие правил построения центрированной линейной перспективы пространства, интерес к ландшафту — всё это еще не

значит, что человек ставит себя на место Бога и признает верной только свою человеческую перспективу.

Вот один пример:

Рафаэль пишет своем другу: «В мире так мало изображений прелести женской, посему-то я прилепился к одному тайному образу, который иногда навещает мою душу». А Браманте сообщает о Рафаэле: «... Он рассказал, что от самой нежной юности всегда пламенело в душе его особенное святое чувство к Матери Божией... От самого первого побуждения к живописи он питал внутри себя необоримое желание живописать Деву Марию в небесном Ее совершенстве...». Затем описывается, как долго Рафаэль не решался приступить к реализации своих ночных видений Мадонны, но потом «трепетною рукой» все-таки начал делать живописный набросок и однажды ночью, очнувшись от сна, в котором он, как это с ним часто бывало, молился Пресвятой Деве, он имел видение: подлинно «живой образ» смотрел на него с его картины, и он понял, что он всегда искал именно этот образ, и с тех пор он мог «живописать Матерь Божию в том образе, в каком он носил Ее в душе своей»[8].

Правда, не св. апостол Лука пишет здесь Матерь Божию, но показательно, что именно Рафаэль, которого упрекали в том, что он выбирал красивых девушек в качестве моделей для образа Богородицы, в своей работе ссылается на видение. Может быть, это — не откровение первообраза, а только личный мистический опыт. Об этом я не берусь судить. Я нахожу здесь подтверждение того, что художник внутренне видит, воспринимает свою картину, что он углубляется в молитву, и что он не пишет ничего выдуманного и не идеализирует профанное.

Что должен был видеть А. Рублев внутренним своим взором, когда он писал Троицу? Мы видим это на его иконе, и мы верим в то, что мы на ней видим. С Мадоннами Рафаэля у нас этого не происходит. И с «Ассунтой» Тициана у нас этого тоже не происходит, хотя в «Ассунте» Тициан изображает как предмет веры то, что еще не стало догматом в римском католицизме, а именно — телесное вознесение на небеса Марии, Матери Божией.

Я хотела бы напомнить также о мистике света в готических витражах (Шартр), преображающее воздействие которых достигает и неученого, поскольку дело здесь не в учении, а буквально в просвещении. И еще — об Изенгеймском алтаре Грюневальда, который не является воплощением субъективного замысла художника Грюневальда, а основан на мистических видениях св. Биргитты Шведской.

Конечно, все эти картины — не иконы и не стремятся быть иконами. Но это и не просто «формы выражения, всякий раз ненадолго отвечающие духу времени»[9].

Я хотела бы напомнить и о том, что, помимо энкаустики, живопись яичной темперой вплоть до XV века была на Западе единственной техникой станковой живописи. Масляная живопись была изобретена, когда возникла потребность в

---

[8] *Свящ. П. Флоренский.* Указ. соч. С. 233—234.

[9] *N. Ton.* Ibid. S. 102.

выразительных средствах, соответствующих существенно новому опыту восприятия света.

Истина — неделима. Наш язык соответствует нашему опыту. Мы говорим образами. И если наши образы соответствуют нашему опыту, то они прочитываются и служат средством коммуникации, правда, когда мы сами прилагаем усилия к тому, чтобы выслушать или рассмотреть, одним словом, понять сказанное на другом, отличном от нашего языке, а не только стремимся сказать свое «да» или «нет».

«Твоя отъ Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся». Этот возглас из евхаристического канона божественной литургии — св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого — снова и снова напоминает мне о том, что всё, чем мы так или иначе располагаем, принадлежит, по сути дела, не нам и исходит не от нас самих. В искусстве мы также приносим «Твоя от Твоих», и если я верно смотрю на это, то же самое действительно для иконы.

Перевел с немецкого И. Бурихин

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального,

крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Проза второго квартала 1999 года по крайней мере разнообразна. Есть ли в ней шедевры? Возможно, есть. Но это не очевидно. Зато очевидно, что некие лейттемы, лейтмотивы в ней всё же есть. Вот на их-то основе и построим на сей раз обзор.

Не так уж часто **в современной прозе** появляются большие повествования, основной смысл которых сосредоточен на *высоком эросе* — романы о любви, в духе «Доктора Живаго» или «Мастера и Маргариты». Современным писателям-мужчинам они что-то хронически не даются. Возьмем, к примеру, опыт **Алексея Слаповского**. Своей новой прозаической вещи **«Талий»** Слаповский дал подзаголовок **«житейская история»** («Дружба народов», №6). Супруга героя однажды воскресным утром сказала ему: «Давай разведемся». Вскользь брошенное слово рождает в сознании героя снежный ком истолкований, рассуждений, подозрений, воспоминаний, предположений... Рефлексия персонажа и составляет основное содержание повести. Герой вроде бы и любит свою жену. И страсти подчас достигают точки кипения. Но рассказано об этом как-то вяло. Случилась проза довольно занудная и ничем не примечательная. Более интересен **«плутовской роман» Слаповского «День денег»** («Новый мир», №6). Заблудившиеся в жизни герои романа сходятся однажды вместе в стремлении опохмелиться. На улице они нашли бумажник с 33 тысячами долларов — и вознамерились подарить деньги кому-нибудь из своих знакомых, что сильнее прочих бедствуют. Из затеи этой ничего путного, однако, не выходит. Роман живописен, полон остроумных наблюдений. Однако и здесь дает о себе знать специфическая разработанность руки, когда слова и целые периоды текста возникают, повинуясь инерции творческого акта.

Михаил Ворфоломеев в повести «Цвет черемухи» («Москва», №6) рассказал о московском художнике Егоре Сомове. После развода с женой он едет на родину, к подножию Саян, «домой». Здесь он встречает семнадцатилетнюю девушку Надю — и его настигает любовь. Притом Сомов пользуется взаимностью. Уставший от московской суеты художник оживает и возрождается к новой жизни. И

всё бы хорошо, но уж больно посредственно — вяло и бледно — пишет автор. Штамп на штампе. Перед нами странный гибрид «деревенской прозы» с «мыльной оперой». Впечатление весьма неблагоприятное.

Повесть писателя из США **Марка Гиршина «Жених и невеста»** («Звезда», №5) — простонародная любовная история из 70-х годов. Георгий повстречал Таню, чем-то они друг другу понравились. Герой рассказывает о перипетиях своего жениховства в манере хронологического отчета. Получилась повесть не столько про любовь, сколько про заскорузлый быт советского человека в тогдашней провинции.

В рассказе Даниила Гранина «Нина» («Дружба народов», №5) герои — он и она — случайно начинают общаться по телефону. Инициатива у него, он рассказывает собеседнице о своей жизни, что побили его во дворе, что хочется купить костюм и пр. Общались они, общались, избывали одиночество, а потом Нина слегла в больницу и вообще пропала. Вот и всё.

Писатели-женщины справляются с романом о любви, пожалуй, все-таки лучше. Интересное и увлекательное чтение — **романы Дины Рубиной и Натальи Галкиной**.

Роман Натальи Галкиной «Архипелаг Святого Петра» («Нева», №4, 5) — возвышенно-романтическая история о любви и разлуке. Автор повествует о любви мужчины и женщины и об их общих странствиях по любимому городу — Ленинграду-Петербургу. Он — юный провинциал и человек почти с улицы. Она — зрелая дама из питерского света, хозяйка квартиры на Дворцовой набережной. К сложным перипетиям страсти нежной примешиваются богатые фактурой, живописные характеристики питерских островов, у героев происходят необычные встречи, в ткань повествования вплетаются и мистические нити — в том духе, в каком любит это делать Галкина.

«Испанская сюита» Дины Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра» («Дружба народов», №4) — очередной опус этого автора из жизни в Израиле. Рассказчица, Дина, устроилась на работу в Матнас — дворец культуры и спорта. И здесь она становится свидетельницей замысловатых романических коллизий, острых любовных перипетий, которые приводят к трагическому финалу (в духе «Кармен»). Испанские мотивы в романе связаны с соответствующим происхождением основных героев, приехавших в Израиль из Испании. Действие в романе постепенно приобретает карнавально-ритуальную окраску, связывается с мистериями жертвенной смерти. Герои Рубиной не экономят на чувстве, да и сама рассказчица полна волнений. Эта напряженность переживания и сопереживания отличает прозу Рубиной на фоне довольно вялых, холодных и анемичных повествований, каких, увы, немало в журналах. «Испанская сюита» — одна из лучших прозаических вещей сезона.

В рассказе Лидии Сычевой «Самородок» («Наш современник», №4) девочка-школьница, отличница, дочь уборщицы из райцентра, влюбилась в семейного шоферюгу. Начались свидания, но девочка знает, где остановиться. Однако в душе мается. В финале, преодолев смуту, она поступает на физмат столичного университета, поразив своими познаниями матерых экзаменаторов. Весьма-таки наивная вещь.

Но есть и еще наивнее. Так, **в рассказах «Сестры» и «Кто кого перепечалит»** («Москва», № 7) **Лидия Сарычева** совсем уж откровенно демонстрирует типичные признаки «женской прозы», обвиняя мужчин и проливая слезы над женской любовью. Фальшиво.

Любовь с политикой забавно связал **Сергей Носов в романе «Хозяйка истории»** («Звезда», №5). События, о которых идет речь, происходили в 70-х—начале 80-х гг. Елена Ковалева обладает чудесными способностями. В момент оргазма она начинает давать предсказания. Этим ее свойством пользуются наши органы. Муж Елены Владимир Волков — сотрудник спецслужбы. Он берет у жены информацию и тут же голышом бежит к телефону, чтобы передать ее начальству. В своем дневнике Елена пишет: «Иногда мне кажется, что я живу не с любимым мужем, а с целым отделом (...) Многоголовая гидра с оттопыренными ушами и вытаращенными глазами — вот мой любовник. Я не я, я не принадлежу себе, не слышу себя, я захвачена волной сумасшедшего восторга, а он, а оно, ощетинившись, протоколирует — протоколирует! — торопливо и возбужденно — стрекоча самописцами». Органы изучают дар Елены, даже организуют нечто вроде лаборатории-публичного дома, где офицеры тренируются с девицами, пытаясь повторить успех Волкова. Муж героини умирает, и органы назначают ей другого супруга. Но Елена того не любит. Однажды их заслали в Бельгию, чтобы что-то там отслеживать в штаб-квартире НАТО. И тут Елена пропала. Подозревают, что теперь она работает на спецслужбы Запада. Вещь остроумно придумана, автор хорошо передает стереотипы гэбэшного сознания.

Герой, блуждающий по жизни, — популярный персонаж современной словесности. Вокруг его странствий нередко и строится фабула.

Роман Алексея Варламова «Купол» («Октябрь», №3, 4) при общей беллетристической ориентированности — вещь более спорная и сомнительная, для чтения трудная не по причине сложности, а ввиду рыхлости и затянутости, хотя есть в ней и занятные придумки. Герой — вечный странник рассказывает о своей назадавшейся жизни. Она тем не менее полна замысловатых перипетий. В Москве герою трудно и муторно жить. Однажды он оказывается в провинциальном городке Чагодае. Однако и тут нет совершенства. Жизнь скучна и нелепа. От бытописания Варламов переходит к прозе квазимистического толка. Чагодай вдруг исчезает с географических карт, уходит в туман, сгустившийся над городом в купол. Образовалось чудесное закрытое пространство. Туда никак не попасть. Китежские реминисценции заставляют подозревать в романе вещь эсхатологическую. Однако подозрениям этим не суждено превратиться в уверенность. В финале романа его главный герой затерялся где-то в Америке.

Подобными не весьма определенными блужданиями отмечены и герои **романа Андрея Дмитриева «Закрытая книга»** («Знамя», №4). Задана семейная хроника в трех поколениях. В судьбах отца, сына и внука отзываются социальные перипетии XX века. Один из героев — провинциальный учитель географии, которого чтит и любит весь город. Он назван инициалами В.В. и представлен личностью легендарной, праздным сибаритом, беспечным гулякой. Самые яркие страницы биографии В.В. написаны в молодости. Тогда он дружил с однокашниками, будущими великими людьми: это филологи Плетенев и Новоржевский, писатель Свищов и др. (дан

намек на то, что за этими героями стоят Тынянов, Шкловский и Каверин). Подробно описана в романе жизнь учителя в чуме у саамки Маарет (в то время как в России идет гражданская война). Хлопотами В.В. создан на острове возле города диковинный музей природы края, собрание чучел и гербариев. Сын В.В., Серафим, — человек странный, в молодости он чуть не тронулся рассудком, оказавшись «не в силах почувствовать масштаб и создать в себе образ нашей Галактики». Но выправился, преподавал в местном институте, пока не напечатал в газете статью, которую не одобрило местное начальство. Тогда Серафим был уже официально объявлен сумасшедшим — и нашел себе место в планетарии, работает там лектором. Внук В.В., Иона, сыродел, в постсоветские времена занялся бизнесом и преуспел, но затем прогорел и бежал за границу, скрываясь от мафии. Серафим подставляет себя под выстрелы киллеров, заменяя сына... Рассказчик истории делится в финале чувством одиночества и неприкаянности. Он оказался волей обстоятельств в Германии и не знает, что его ждет впереди. Мир портится. Хорошее кончается, плохого становится всё больше...

Роман вызывает противоречивые ощущения. Дмитриев создал прозу без выводов, роман без акцентов, где всё происходит как-то по касательной к возможной смысловой логике и любое высказывание выглядит случайным. Герой схвачен автором в отдельные моменты его существования. Жизнь намечена пунктиром, обмолвкой. Важное и интересное в человеке раскрывается лишь в немногих, нескольких подробностях его бытия, не распространяясь на всё пространство ежедневного и долголетнего существования. Возможно, дело и в том, что писатель слишком скептичен и пессимистичен в оценке человеческих возможностей. С героем у него происходят случаи. О человеке можно написать лишь в жанре заметок на полях. В манере Дмитриева есть и такой заход, который заставляет искать концептуальные намеки на закрытость человека, на непостигаемую тайну человеческого бытия. Человек не понятен даже самому себе. Автор не претендует на всеведение, потому что не верит в него. Дмитриев раскрывается как великолепный мастер фрагмента, детали. Умело писатель наблюдает жизнь врасплох, в мелочах и нюансах. Тема Дмитриева также — настроения, «веяния». Это мастер тонких, акварельных картин, фиксатор полуоформившихся движений мысли, потаенных струений, колебательных подвижек души. Однако это не главные для романа умения. Мы ищем в романе полноту сообщения о человеческом бытии, отчет о встрече человека и истории, человека и Бога. Испытанные средства Дмитриева-рассказчика пришли в противоречие с жанровыми заданиями. Роман, чрезвычайно высоко оцененный некоторыми критиками, трещит и гнется под тяжестью этих похвал.

Наконец, и в «рассказе-были» Валентина Распутина «На Родине» («Наш современник», №6) повествователь, задумчивый сердобольный дачник, весь полон душевных печалей и неприкаянно бродит по приангарскому поселку, наблюдая тутошнюю жизнь. Впечатления его неутешительны. Засуха. Нет электричества, нет горючего — нет и воды. Леспромхоз давно закрыт. «Это — брошенная земля. Выжатая, ободранная, изуродованная и брошенная». Да и у соседей рассказчика дела на лад не идут. Все-то в поселке идет прахом. А ведь какие хорошие жители живут здесь. Автор вспоминает односельчанина, который

всю жизнь крепко работал и даже после страшной травмы под гусеницами трактора через год поднялся и снова принялся за труд... Словно в награду за долготерпение в финале рассказа разражается гроза.

Герои **повести Михаила Тарковского «Лерочка»** («Наш современник», № 7) любят и не могут поделить одну женщину. Один герой убегает от нее в Туруханский край, другой — в подмосковную деревню. Общая возлюбленная нелегко забывается обоими — пока герои изо всех сил становятся «настоящими мужчинами»: плотничают, охотятся, пьют и учатся мудрости у деревенских мужиков. Работая летом, зимой Кузя пишет рассказы. Это удивляет деревенских, удивляет и его самого. Он всё еще не может сделать выбор между естественной простотой мужицкой жизни и жизнью городской, интеллигентской. Истина скрывается не в книгах, не в теории и даже не в стихотворении Пушкина. Она где-то в просторах тысячемильной России, в глуши ее лесов, в душе ее странного народа, живущего с несколькими простыми вещами тысячу лет подряд.

Андрей Коровин в повести «Обладание временем» («Наш современник», № 7) берет героя-предпринимателя, вырывает из привычной среды (отправляет в Крым на машине с приятелем и двумя нестрогого поведения барышнями), — и предприниматель переживает ряд необычных эмоциональных состояний. Вернувшись, он начинает вести себя не вполне адекватно и в деловой сфере, а в финале внезапно умирает от инфаркта. Недостаток повести — в ложной многозначительности, которую автор пытается привнести в очень обыкновенную и в общем-то незначительную жизненную ситуацию.

Михаил Дмитриев в рассказе «Додик» («Москва», № 7) показывает, как слабый и душевно неразвитый человек идет на преступление. Если списать некоторые «технические» огрехи на молодость автора, можно признать за этим рассказом определеную жизненную достоверность.

Знаменательные переклички возникли между двумя прозаическими опусами, не в последнюю очередь рожденными, как представляется, *тревогой за нынешний народ, оказавшийся в состоянии духовной расслабленности, и за страну, заблудившуюся в тупиках истории.*

Повесть Бориса Екимова «Пиночет» («Новый мир», №4) интересна прежде всего именно таким выходом на болевые точки современности. К председателю колхоза Корытину приезжает в гости сестра Катерина. Она становится свидетельницей новых явлений и процессов в жизни деревни. Корытина упросил, умирая, стать председателем отец, председательствовавший тут прежде. И вот он взялся за дело. Хозяйство к тому времени практически развалилось, и Корытин берется железной рукой навести в колхозе порядок. Он отбирает у жителей разворованное колхозное имущество, не останавливается перед наказаниями, выставляет охрану у ферм, выселяет чеченца, прибиравшего к рукам ворованное... И за все это заслуживает ненависть подчиненных. Расслабленные приворовывавшие люди потеряли представление о честном труде, лишены стремления к успеху. А кто выделится из этой массы, тот становится тут же хищником. И лишь Корытин, как бескорыстный рыцарь, стоит на страже — во имя долга. Екимов уверенно создает новый образ родины. И упорно размышляет о выходе из тупика. Однако рецепта не дает. Его сильный, волевой герой («Пиночет»!) принят автором с

интересом, изображен сочувственно, но не без внутренних сомнений относительно способности подобными диктаторскими мероприятиями преодолеть русский хаос. Но и другого выхода Екимов не видит.

Фантастический роман Андрея Столярова «Жаворонок» («Знамя», №6) представляет собой попытку «переписать историю», найти в 90-х годах какой-то альтернативный исторический шанс для России. Такую возможность Столяров связывает с действием божественной благодати и харизмой исключительной личности, которая одна способна пробудить массу от спячки и воодушевить на великие дела. Писатель, не скрывая, берет за основу историю Жанны д'Арк — и переписывает ее в новых декорациях. Ниоткуда, из глухой провинции, появляется Дева, которая преисполнена сознания высокой миссии — и чудесно вдохновляет людей на подвиги. Целью героини, которую также зовут Жанна, является объединение России и Украины по воле народов этих стран. Оно почти уже было совершилось, но Жанну убивают на границе Украины в разгар народного похода на Киев. Роман Столярова написан воодушевленно. Иногда возникает ощущение, что автор не просто выдумывает, но магически заражается своим вымыслом и пытается заразить им читателей. Много страсти вложено в этот роман, много неутоленной жажды пережить когда-нибудь что-то подобное описанному там... Самое, вероятно, несомненное в идеологических построениях Столярова — это идея о личностном духовном прорыве, каковой, очевидно, только и может воздействовать на толпу. Если Екимов делает упор на волевом принуждении, то у Столярова спасительным выглядит свободный взлет духа, обеспеченного мистическим опытом. Слабое место в романе Столярова — мотивация подвига. Выглядит все-таки не вполне, не для каждого читателя убедительно попытка обосновать объединительный русско-украинский процесс как то «сверхсобытие», ради которого сам Бог готов вмешаться в земные дела. Впрочем, о замыслах Бога нам, конечно, ничего не известно.

Другой вариант панорамной идеологической прозы представлен огромным романом Александра Проханова «Красно-коричневый» («Наш современник», №№1—8). Он дает редкую возможность ознакомиться со взглядом определенной социальной группы на события, связанные со штурмом Белого дома 3—4 октября 93-го года. Не предлагая никакого политического, исторического, социо-культурного, психологического или любого другого анализа, Проханов, словно невротик, пытается переосмыслить травмирующую ситуацию поражения близких ему политических сил, трансформируя ее таким образом, чтобы это поражение выглядело не как следствие ошибок, неверной линии поведения или погрешности в расчетах, а как следствие воздействия неподконтрольных человеку сверхъестественных сил. Всё мировое зло набрасывается на Россию, чтобы раз и навсегда уничтожить оазис света. Деятели современной политики предстают уродливыми бесами с рогами, копытами и хвостами, которые устраивают языческие камлания с привлечением экстрасенсорики и парапсихологии, чтобы деморализовать и обессилить противника — лучшее, что еще осталось в России. Над оппозиционерами летают ангелы и «духи света», которые материально воплощаются в бойцах баркашовских дружин. Православные священики вещают явившиеся им откровения о Небесной России, куда после Армагеддона, который вот-вот

начнется, соберутся сто сорок тысяч исключительно *русских* праведников (*несть эллина, несть иудея* понимается Прохановым в таком достойном изумления смысле). Добро и зло в «Красно-коричневом» абсолютно неметафизично, оно плотски-реально, материалистично. Авторское понимание «высших материй» грешит столь откровенным простодушием, что не удивительными становятся прямые кощунства, коими изобилует текст — таково, например, *распятие* главного героя в финале романа *на турнике*, как бы повторяющее мученическую смерть апостола Андрея. В конце романа также выяснятся, что сам штурм был затеян лишь для того, чтобы злые силы получили чемоданчик Руцкого с компроматом на Ельцина и его окружение — при помощи которого можно получить власть чуть не надо всем миром. Этот компромат куда-то таинственно исчезает. Главный герой перед смертью тешит себя надеждой, что в дело вступила неведомая «третья сила». Проханов, кажется, не способен осознать нелепости предлагаемого им сюжета. Какая еще *третья сила* может вступить в напророченный им самим Армагеддон? Неужели *мировому злу* надобен для господства над миром какой-то жалкий компромат? Впрочем, художественные достоинства «Красно-коричневго» таковы, что подбные вопросы почти неуместны.

Один из главных героев современной прозы — *простой человек*. Маленький человек. Может быть, не случайно он с завидным постоянством появляется в литературе. Писатель все-таки не может без него обойтись. Размышляет об его судьбе, выражает сочувствие, судит и рядит.

Повесть писательницы из Волгограда **Александры Васильевой «Моя Марусечка»** («Знамя», №4) — это жизнеописание простой, хорошей русской женщины; основные события приурочены к 70-м годам, о которых вспоминает рассказчица. Работает Маруся уборщицей в рыбном магазине. Мир ее незамысловат. Но человек Маруся надежный и верный, никогда не откажет в помощи. А сколько у нее забот, сколько бед! Повесть отличают свежесть видения человеческого мира, тщательная бытовая детализация и задушевная манера повествования. Подчас она сближается со сказом, рассказчица устраняется, и мир является увиденным героиней. Такое видение отчетливее позволяет осознать странности советской жизни («Приехала делегация немецких коммунистов во главе с Дином Ридом. Дин Рид спел песню: «Да! Да! Да! Йа! Йа! Йа!». А ему в это время в кабинете директора стол накрыли: стакан какао, мороженое в вазочке и коржик, посыпанный сахарной пудрой...») Неплохая сентиментально-бытовая проза.

Новые **рассказы Людмилы Петрушевской объединены в цикл под названием «Лабиринт»** («Октябрь», №5). Это собрание историй о неизбежных житейских тупиках, об обманутых надеждах, об инерции существования, о хаосе современной российской жизни, коротко сказать — об абсурде бытия. Жизнь фатально распластана по поверхности будней, лишена вертикального измерения. Поэтому герои оказываются совершенно беззащитными перед бредом засасывающей их повседневности. Существование их бессмысленно и мучительно. Жертвы напрасны. Перипетии нескладных судеб сплетаются с обобщенными авторскими формулами («Коллектив не любит, когда кто-то ведет себя изолированно, не так, опаздывает, не так одет» и т.п.). Автору не изменяет острота взгляда, она по-прежнему умеет цепко схватывать детали быта, передавать вкривь и вкось

направленные душевные движения. Проза Петрушевской суха и имеет какую-то гипнотическую силу, но в больших дозах она невыносима.

Рассказ Марины Вишневецкой «Воробьиные утра» («Знамя», №5) позволяет искать переклички с сочинениями Петрушевской. Для этого автора также характерно внимание к экстремальному быту и душевному сдвигу. Героиня рассказа — московская бомжиха. Жизнь ее ужасна и беспросветна. Но она привыкла. А к тому же, как выяснилось, она еще и ребенка носит под сердцем. Манера автора такова, что можно подозревать: в рассказе содержится скрытый призыв к милосердию и состраданию падшим созданиям. Но по впечатлению вещь это все-таки болезненная, как это почти всегда бывает у Вишневецкой.

Рассказ Виталия Сердюка «Печенеги» («Наш современник», №5) экспонирует фигуру бомжа, который оказывается на поверку несломленным человеком — трагические обстоятельства лишь придавили его. К финалу он почти совсем распрямляется, готов к новому повороту в судьбе, который, он надеется, зависит от его стойкости.

Евгений Носов в рассказе «Алюминиевое солнце» («Москва», №7) дает портрет деревенского чудака, который испытывает непреходящее любопытство к окружающему его миру. В финале его убивают пьяные подростки.

Олег Павлов в рассказе «Запой, или Сказка о последнем казаке» («Октябрь», №5) поведал о вольнолюбивом казаке Илье Перегуде. По навету, что ли, попал он в лагеря. Освободившись, сделался бродягой, не желая никому повиноваться. Много пил, чтоб воспарить над миром. Но начали ему являться кошмары, и пошел Илья в лагерную охрану. Сдался. Очередная павловская история о простых нутряных людях, о неумолимой власти судьбы над человеком.

Упомянем, наконец, несколько текстов, обращенных к разного рода *странностям современной российской жизни.*

Александр Сегень в рассказе «Тройка, семерка, туз» («Наш современник», №6) с не вполне понятной симпатией описывает довольно пустую и малоприятную компанию, которая в молодости любила со вкусом выпить на ВДНХ в советские времена. Компания познакомилась там с симпатулей Оленькой, что повлекло за собой всякие прочие перипетии. Подробно описаны специфические особенности разных стадий опьянения основных персонажей. Много времени спустя обаятельные герои сошлись на свадьбе у Оленьки, где малость и повздорили. Автор активно ностальгирует по ушедшим формам жизни, в частности, по потерявшему свое былое великолепие ВДНХ. Но это всё ничего. А вот печально, что в последнем абзаце этого текста один из молодых людей погиб в Сербии, некий Борис Аронович разорил всех друзей Оленьки, а на ВДНХ царит разоренье и больше там что-то не пьется...

В «Знамени» (№5) опубликована еще одна прозаическая вещь обладателя Букеровской премии 1998 года **Александра Морозова: «Общая тетрадь» (с подзаголовком «солилоквиум»**, т.е. разговор с самим собой). Она датирована 1975 годом. По форме это дневниковый монолог довольно странного, эксцентричного героя, нервного, болезненного сельского философа, отщепенца, рвущего связи с окрестной жизнью. Проза Морозова виртуозно построена и выглядит самодостаточной вещью в себе.

«Русские анекдоты» Вячеслава Пьецуха («Октябрь», №5) — новые истории в прежнем роде. Изобретательный автор придумывает всё новые, как правило, забавные и остроумные анекдоты из нелепой российской жизни.

Александр Архибашев в рассказе «И будет Вознесение» («Наш современник», №4) описал, как хоронили в жуткие морозы деда Василия. Могилу копали, применив взрывчатку. А похоронив, закопав, вскоре вспомнили, что забыли развязать усопшему ноги. «На сороковой день все пред Господом предстанут, а как он пойдет в заклепах-то?» Пришлось откапывать гроб, развязывать ноги. Рассказ проникнут «душеспасительным» пафосом, на поверку, однако, обнаруживающим скорее поверхностный, нежели по-настоящему глубоко религиозный характер. С одной стороны, упоминание Петра и Павла как «ветхозаветных апостолов» (в авторской речи), а с другой — внимание к обрядовой, «декоративной» стороне православия, к народным суевериям, не имеющим отношения к вере как таковой, порождают непреодолимые сомнения в том, что автор способен вести разговор об избранном им предмете.

Очень часто сюжеты прозы уводят *из России за границу. Русский человек обживает мир*. Чем это оборачивается, к чему ведет?

Михаил Левитин в повести «Чешский студент» («Октябрь», №6) рассказал историю о том, как французская еврейка, хозяйка гостиницы, усыновила мальчика русских туристов, чья семья на глазах распадалась. Ребенок напомнил ей погибшего в годы Второй мировой войны родственника. Мальчик вырастает, но как-то не может найти себя в жизни. Повесть о причудах судьбы.

В рассказе Константина Плешакова «Kremlikam.com» («Дружба народов», №4) мать-москвичка общается с сыном, живущим в Майами, через электронную почту, ходит по его просьбе на набережную реки Москвы, где установлена постоянная камера, дающая обновляющуюся каждую минуту картинку в Интернете, чтобы попасть на эту картинку и пестрой точкой оказаться на экране американского компьютера. Постепенно мать теряет ощущение реальности происходящего, будучи не в силах примириться с техническими средствами такого общения.

Книга в рассказах Сергея Юрского «Западный экспресс» («Октябрь», №5) — это воспоминания артиста о том, какую роль заграница играла в его жизни. В книге содержатся рассуждения о феномене границы, рассказы о попутчиках и пр. Наиболее интересны в предложенных фрагментах книги страницы о Праге 1968 года. Интересны и **рассказы Юрского**, опубликованные в «Знамени» (№6). Здесь своего рода заграницей предстает отечественная современность, каковую автор недолюбливает. Это остроумные гротескно-комические истории, в сказовой манере. **В рассказе «Новые времена»** старичок, живущий в полуподвале, наблюдает за знакомым киллером Колькой, который из-за запоев маникирует своими обязанностями. **В рассказе «Осенний бал»** новоявленные дворяне затевают празднество с приглашением иностранных гостей. Случается немало казусного.

Александр Кабаков в рассказе «Зал прилета» («Знамя», №5) изобразил немолодого московского экономиста Петра Михайловича, который было «попал в избранную компанию застрельщиков перемен», но потом сошел с дистанции и

пребывает ныне в состоянии жизненной неудовлетворенности, ощущает хроническое несовпадение ожиданий и реальности. Он приглашен выступать в британских университетах, в Англии его настигает сердечный приступ. Это тщательно, кропотливо прописанная история в манере Юрия Трифонова, которому рассказ и посвящен.

Павел Басинский в сочинении «Гражданин мира» с подзаголовком «исповедь патриота» («Октябрь», №4) также рассказывает о своих непростых взаимоотношениях с заграницей и иностранцами — то комплексует, то впадает в амбицию, то просто делится наблюдениями.

Молодая **Анастасия Гостева в прозе «Travel Агнец»** («Дружба народов», №5) описала поездку своей героини-студентки Насти в Индию. Настя девушка бойкая, весьма эмансипе, да и начитанная. Ничегошеньки не боится. Полетела в Индию со случайным знакомым. Но тот покинул ее в первый же день. Тогда Настя легко подружилась с другими молодыми людьми. Курит травку, ведет всякие разговоры, чутко схватывает впечатления. Как обычно у Гостевой, проза выполнена как поток сознания героини без начала и конца, напоминает полубред, не весьма-то и интересный. Хотелось бы найти такого читателя, который дочитал этот опус до конца.

В записках «Путешествие в Тарту и обратно» («Знамя», №4) Ольга Седакова рассказывает о поездке на похороны Ю.М. Лотмана. В поездке не обошлось без злоключений, поскольку автор не успела получить выездную визу. Границу пришлось переходить полулегально, а на обратном пути пограничники ссадили рассказчицу в Печорах. Воспоминания об этой поездке не изгладились и ныне, в чем и признается Седакова.

Очерк автора из Парижа **Владимира Марамзина «Возвращенец»** («Звезда», №5) посвящен некоему человеку, к которому у автора большой счет. Эмигранты иногда возвращаются на родину. Так вернулся и один из них — «назовем его Былой». И напечатал заметки, в которых разругал всех и вся на Западе. Теперь Марамзин в свою очередь показывает, какая неблагодарная тварь была им когда-то пригрета. Говорят, что герой очерка вполне узнаваем; это якобы — известный питерский журналист.

Рассказы Олега Хандуся («Знамя», №5) посвящены военным коллизиям времен афганской войны. В одном (**«Это был ангел»**) довольно лаконично представлен такой случай: солдат спас змеенышей кобры — и внезапно явившаяся огромная кобра потом в свою очередь спасает его, до утра не позволяя уйти с отдаленного кургана в лагерь, который в ту ночь был уничтожен афганцами. В другом (**«Великий фронтовик»**), бывший солдат рассказывает о гибели друга и делится нынешними житейскими заботами.

В рассказе Бориса Хазанова «Граница» («Октябрь», №5) герой отправляется туда, «где всякая боль превратится в укол наслаждения». Это фантасмагорическая история о человеке, который попадает в некое условное приграничье, где герой оказывается совершенно бесправным. Хазанов умело нагнетает эффекты, составляя из бытовых мелочей картину, претендующую на притчевое обобщение.

Популярные персонажи прозы — *писатели и артисты*. Интерес к ним от сезона не зависит, есть величина практически постоянная.

Донельзя характерна для модных настроений в определенных художественных кругах **повесть Виктора Козько «И никого, кто бы видел мой страх...»** («Дружба народов», №5). Белорусский художник, мировая знаменитость Ашир на излете существования прозябает в бедности. Его зовут в Париж, пришло приглашение ЮНЕСКО. Но денег на дорогу у Ашира нет, и министр, к которому художник отправился на прием, отказывает «достоянию народа». Вещь то желчная, то жалостливая — про то, что нынче художника никто не любит и не ценит. Социальный фон повести — общественное неблагополучие в современной Белоруссии.

Рассказ Фазиля Искандера «День писателя» («Новый мир», №4) написан от первого лица. Писатель едет в поликлинику за рецептом на снотворное. Описывает трагикомические перипетии добывания рецепта. Встречи на улицах и в метро. Свободный полет ассоциаций. Подборка фирменных афоризмов. Уличные торговцы чуть ли не силой продают ему ненужные перчатки и кашне. Телепрограмма заполонена рекламой. Остается принять снотворное и забыться.

В рассказе Сергея Бабаяна «Письма читателей» («Октябрь», №4) немолодой писатель открывает, что читательские письма, которые время от времени приходили к нему и помогали жить, избавляли от сомнений и печалей, писала его жена. Рассказ кончается трогательной сценой объяснения супругов.

В рассказе Марии Рыбаковой «Вдохновение» («Нева», №5) хитроумная девица, писательница и авантюристка, приехав из Москвы в Питер, соблазнила неопытного ученого-языковеда. А потом она погибла в дорожной катастрофе, языковед же погрузился в тихую грусть. Рассказ — образчик чисто дамской выдумки, с феминистической подкладкой.

В рассказе Григория Острина «Ночь кумира» («Нева», №5) героя — столичного артиста — в провинции смутно опознают по его телеявлениям, но принимают то за кореша из автопарка, то за депутата-заступника народа. Обращаются к нему за помощью и очень недовольны возможным отказом.

Роман Александра Сегеня «Общество сознания Ч» («Москва», №3, 4) — большая панорамная вещь из современной московской жизни, подверженной разного рода «беснованиям». Героев много, и все они — люди небезынтересные, затейливые. Таков, например, редактор газеты «Бестия» Борис Белокуров: патриот, оппозиционер, борец с «буржуазами», донжуан и балагур. Иные занятия персонажей вызывают, однако, оторопь. Герои образуют «Общество сознания Ч», рассуждают о чудесном звуке Ч. Такие вот оригиналы. Им противопоставлена Православная церковь. Автор много иронизирует (разумеется, в адрес сектантов). Притом в тексте достаточно и разного рода эротики, часто композиционно не обоснованной. Психологическая мотивация вынесена за скобки. В целом же текст напоминает дешевое чтиво с примесью неочевидной дидактики. Занимательность сюжета превалирует над художественными — и даже этическими задачами.

Повесть Андрея Савельева «Ученик Эйзенштейна» («Новый мир», №5) — дебют молодого автора. Дед рассказчика учился во ВГИКе на курсе Эйзенштейна. Непростой сюжет его существования оказался связан с уроками мастера — не только художественными, но и жизненными. Впрочем, из деда ничего особенно путного не вышло, с актерством от покончил. Небезынтересно, хотя и не без агиографи-

ческого лоска, изображен сам Эйзенштейн. Писателем точно схвачены историческая ситуация, способ человеческого бытия в идеологизированном мире, под угрозой репрессий и террора. Интересная, живая, динамичная, умная, подчас веселая проза. Повесть сопровождена комплиментарной вводкой Вл. Новикова.

Рассказ Романа Сенчина «Алексеев — счастливый человек» («Новый мир», №5) изображает один день из жизни телеоператора, переполненный событиями на службе и дома. Представлен хороший, неглупый человек.

Цикл коротких рассказов под общим заголовком **«Платонов-ченч»** («Дружба народов», №6) **Вацлава Михальского** содержит истории анекдотического характера. В одном рассказе соседи по даче истязают слух героя фальшивой игрой на скрипках. В другом зачем-то кратко рассказано о жизни Андрея Платонова-дворника в Литинституте, а потом добавлено, что комнатушка, где жил писатель, ныне превращена в пункт обмена валюты и «теперь здесь пахнет только деньгами». В третьем рассказчик вспоминает, как во время партийного собрания, посвященного «очередной годовщине 7-го ноября», подсмотрел из-за спины сидевшего в президиуме партидеолога, как тот беспрерывно пишет в своем большом блокноте ровными широкими строчками «сукисукисукисукисуки».

Евгений Попов в рассказе «Бог Дионис, царь Мидас и я» («Октябрь», №5) сначала в иронико-анекдотической форме излагает сведения об известных мифологических персонажах, а затем сообщает: если всё, к чему ни прикасался Мидас, превращалось в золото, то всё, к чему прикасается рассказчик, превращается в искусство.

Художник и эссеист Семен Файбисович в рассказе «Губа» («Знамя», №6) повествует о том, как он ходил по врачам, когда у него внезапно раздулась нижняя губа. Попутно рассказано и о других опытах лечения от всяких заболеваний. Автор подозревает, что губа раздулась неспроста: слишком уж он тогда ее раскатал на финансовые поступления, каковых, кстати, не воспоследовало.

Умело, даже виртуозно выписанные фантасмагории представил **Юрий Буйда (цикл рассказов «Последний»**: «Октябрь», №5). В одном из рассказов, «Аппендэктомия», например, герою удаляют аппендикс, после чего он бросает жену, уходит в загул и в конце концов превращается в какое-то чудо-юдо.

Прошлое как предмет изображения интерпретируется по-разному. Есть в прозе сезона любопытные *мемуары*.

Протоиерей **Михаил Ардов** продолжает вспоминать о друзьях и знакомых своей семьи, о тех, с кем сталкивался он в молодые годы в доме отца-литератора. Новая порция мемуаров называется **«Вокруг Ордынки»** и имеет **подзаголовок «Портреты»** («Новый мир», №5, 6). С увлекательными, драматическими, забавными деталями рассказано здесь о родителях (Викторе Ардове и Нине Ольшевской), Анне Ахматовой, Марии Петровых, Наталии Ильиной, Маргарите Алигер, Наталье Северцовой, Валентине Иоффе, Степане Врасском, Ростиславе Климове, Льве Никулине, Павле Нилине, Евгении Чуковском, Анатолии Наймане... Можно сказать, что автором создан своего рода портрет поколения, дан собирательный образ людей, чья жизнь пришлась на крутой исторический перелом. В воспоминаниях есть подробности разительные, есть в изобилии и всякие мелочи. Есть спорные утверждения и обвинения. Есть гастрономия встреч и впечатлений. Но в целом открывается

богатая, наводящая на раздумья панорама жизни русско-советских интеллигентов. Повествование, как обычно у автора, строится свободно и легко.

Борис Миронов в книге «Скобаренок» («Дружба народов», №6) вспоминает о детстве, которое пришлось на годы оккупации псковского края гитлеровцами. Описана жизнь псковской деревни. В мемуарах много небезынтересных подробностей, неожиданных коллизий.

Роман Леонида Костомарова «Земля и небо» («Москва», №4, 5; первая часть) основан на личных впечатлениях автора, который по ложному, как извещает журнал, обвинению оттрубил десять лет в лагерях (1974—1984). Читателям предложена россыпь зэковских будничных историй, коллекция мелочей, погружающих в атмосферу «зоны». Всем заключенным даны фамилии, образованные от названий птиц, охране — от названий животных. В повествовании фигурирует и настоящая птица, ворон, приручeнный одним из зеков. Метафора птицы как символа воли разрабатывается здесь с разных сторон. Несмотря на «заигранность» темы, роман предлагает довольно нетрадиционный для современной литературы взгляд на предмет, он проникнут гуманистическим пафосом веры в человека — и падшего, но способного подняться, и того, кто изо дня в день выполняет принятый на себя долг. Однако в целом в этой прозе хочется видеть заготовку к чему-то более связному и основательному, хотя, возможно, лагерная жизнь автора не дает оснований для подобного обобщения.

Собственно *историческая проза* представлена слабо. Выбор невелик.

В «Звезде» (№6) опубликованы **главы из романа Михаила Гордина «Дочь Бонапарта»** (фрагменты названы «О Карамзине, Бонапарте и летучих шарах»). В одной из глав рассказано о встрече молодых Карамзина и Бонапарта в парижском публичном доме. В другой главе в подмосковную усадьбу к Карамзину прилетает на воздушном шаре его старая поклонница, вызывая панику у крестьян. В третьей изобретатель Шмидт в 1812 году задумал сбросить с воздушного шара на Наполеона бомбу. Еще один сюжет — описание попытки императора Александра бежать из Петербурга в 1812 году опять-таки на воздушном шаре. Наконец, есть и история о попытке юного Пушкина сделаться соперником Карамзина и обладать его женой. Изящные стилизации.

Там же («Звезда», №6) напечатана и **повесть** писателя из Иерусалима **Бориса Голлера «Петербургские флейты»**. Автор воссоздает некоторые подробности событий 14 декабря 1825 года. События увидены глазами рядовых их участников и главных действующих лиц, выхвачены обрывки судеб, куски дымящейся жизни из середины конвульсивного исторического водоворота. Динамичное, романтизированное повествование.

Подборку военных рассказов Василя Быкова публикует «Звезда» (№5). **В рассказе «Политрук Коломиец»** заглавный герой, чтобы вдохновить бойцов сражаться и не отступать, пообещал им вдруг, что после войны колхозы распустят. Бойцы-то на следующий день выстояли в бою, а вот Коломийца забрали в Особый отдел. И больше его никто не видел.

Повесть Елизаветы Романовой «Сутки в пехоте» («Наш современник», № 3) воспроизводит атмосферу Отечественной войны на примере частных событий, где общая картина создается через субъективные переживания героев, их личные

поступки и проявления. Возможно, благодаря личному военному опыту автора, повествование производит впечатление подлинности.

Повесть Татьяны Федотовой «Палочка-выручалочка» («Наш современник», № 3) разваливается на две не соотносимые друг с другом части. Первая — реалистическое описание того, как мальчик в послевоенной Москве лишается ноги из-за взрыва случайно найденной гранаты. Вторая часть — мыльно-сериальная повесть о «вечной любви», с заграничными картинками, членами королевских семей, фантастическими наследствами и т.д. Чувствуется пагубное пристрастие автора чтению к дамских романов.

Алексей Домбровский в рассказе Щенки» («Волга», № 3) ретроспективно обращается к эпизоду из детства рассказчика — мальчишки разбирают щенков бездомной собаки, играют с ними, рассуждают о том, как кто будет воспитывать своего щенка, а потом зачем-то убивают. Над сценой убийства автор закрывает занавес, предоставив взорслому рассказчику отрефлектировать ситуацию в покаянном ключе.

2. Литературная критика

Второй квартал 1999 года в литературной критике обошелся без шумных споров и вообще неярок. Новых мыслей мало, анализ нередко подменяется многоглаголанием. Правда, помог пушкинский юбилей. В июне практически все журналы поместили подборки к юбилею Пушкина. Появилось много статей, так или иначе с годовщиной и с самим Пушкиным связанных. Одно это дает простор для мыслей. А «Звезда» посвящает свой четвертый номер Владимиру Набокову. Публикуются тексты писателя, статьи Б. Аверина, О. Ронена, И.П. Смирнова и др. Однако нам предстоит окунуться в иные воды. Что пишут в журналах о **современной прозе**? И прежде всего — об ее *общих проблемах и характере*?

Семен Файбисович в небольшой, но емкой, богатой идеями (не вполне, кажется, сведенными в единство) **статье «Наезд жизни на литературу»** («Общая газета», №28, 1999) размышляет о взаимоотношениях художественной прозы — и жизни. Наблюдения его бесспорны, объяснения же — сомнительны. По Файбисовичу, почти всю новую прозу читать скучно, «мы живем, наконец, не в мифологическом, а в реальном времени, но с мощной мифологической компонентой, а это, как выясняется, чрезвычайно возбуждающее времяпрепровождение. Поэтому правдоподобие отчетливо проигрывает в энергии и интриге конкретной фактуре и "чистой" правде». Жизнь интереснее, чем «потуги авторского воображения». Читателю интереснее сегодня хорошо написанные публицистика, мемуар, эссе, газетная колонка... «Любая произвольно взятая человеческая жизнь тянет на несколько романов». Правдоподобному искусству такое не по силам, искусствоподобная правда взяла верх. С другой стороны, культурный читатель подустал и блуждать «в постмодернистских лабиринтах с бесконечной игрой отражений, навязчивой понарошковостью, тотальной и часто туповатой игривостью и упорным отказом автора от своего «я». Больше сочувствия может вызвать «несимулированное высказывание, за которым и личная выстраданность, и готовность отвечать».

Мария Ремизова в статье-реплике «О бедном лесничем замолвите слово» («Независимая газета», 20 апреля 1999) рассуждает о проявившемся в повести Игоря Клеха «Смерть лесничего» влечении к «наивному письму», каковое получило тут манифестальную форму. Наивное письмо кажется привлекательным, поскольку создает у культурного читателя иллюзию адекватности хаосу бытия. Но ощущение абсолютного совпадения между объектом высказывания и самим высказыванием есть иллюзия. Текст, экспонирующий рабочую модель довлеющего хаоса, не достигает у Клеха чаемого эффекта.

Александр Мелихов в статье «Драйзер+Дудинцев+Пьюзо» («Кулиса НГ», №12, июнь 1999) утверждает, что «нам нужен новый производственный роман», отражающий реалии эпохи, когда Россия пытается свернуть «на либеральный путь». «Точные, пусть даже порой и утомительные подробности о совершенно новых для нас предметах — предпринимателях и акционерах, банках и банкротствах, губернаторах и арбитражных судах — он сочетал бы с романтической мощью действующих лиц, твердо несущих будничный риск своей профессии (...) Такая романтизация пробудила бы в читателе гордость от причастности к великим событиям». Три кита нового актуального романа — познавательность, увлекательность, романтизация. Их Мелихов находит в романе Юлии Латыниной «Охота на изюбря». «Не начало ли это перемены? Не начало ли выхода литературы из детской в реальную взрослую жизнь?» О романе Латыниной писала и **Людмила Романова («Русский бизнес изнутри»**: КО «Ex libris НГ», 10 июня 1999). Критик называет автора «едва ли не первооткрывателем экономического детектива в России», а роман — «шедевром искусства теневой экономики».

Немалая редкость — любопытная по мысли критическая статья в изданиях державно-националистической ориентации. «Ложнопатриотическая» критика с запозданием пытается позитивно осмыслить феномен постмодернизма в литературе. **В статье «Оправдание постмодернизма»** («Наш современник», №5) Николай Переяслов подмечает во многом верные для состояния современной литературы черты: «На одном крыле нашей сегодняшней отечественной словесности мы видим новенькие, изобретательно скроенные, но безвольно обвисшие паруса литературной *формы*, а на другом — ощущаем порывы всё крепчающего, но не находящего приложения для своей силы, ветра *содержания*». Следующий за этим анализ произведений трех прозаиков — Юрия Козлова, Владислава Артемова и Анатолия Афанасьева — должен, по задумке автора, показать освоение новаторских форм глубоко традиционалистским содержанием, обнаруживая в экспонируемой прозе прорыв к новым литературным рубежам. Однако собственно текстуальный разбор не производит достаточно убедительного впечатления, кажется, что автор скорее выдает желаемое за действительное. К тому же все трое подвергнутых анализу писателей — авторы «Нашего современника».

Как всегда, в журнальной и газетной критике обозреваемого периода много статей и рецензий, обращенных *к конкретным произведениям современной прозы*.

Олег Дарк в статье «Поколение земноводных» (КО «Ex libris НГ», 10 июня 1999) знакомит читателей с 26—27-летними прозаиками. Критик пытается нащупать некие общие для них интуиции творчества и образные мотивы. Попытка маловразумительна. Упомянуты О.Зондберг, С.Львовский, С.Соколовский, М.Са-

зонова, М. Скворцов, И. Рябов, В. Нугатов, В. Калинин, драматург М. Курочкин.

Капитолина Кокшенова в статье «Перемена умов» («Москва», №5) подмечает сложившуюся в последнее время тенденцию — «идеология всё больше уходит в стиль». С этой точки зрения автор рассматривает два противоположных литературных направления. В первом она находит воплощение «религиозной красоты» («Изба» Валентина Распутина), в другом — «новую религиозность» («Старая девочка» Владимира Шарова, «Свобода» Михаила Бутова и «Дурочка» Светланы Василенко). Шаров, по мнению автора, ничего не ищет, соответственно и не находит, Бутов пробует описать «сомнения в реальности реального», Василенко же идет в этом направлении далее всех, однако «сама религиозность ее прозы скорее является эстетической и этической «соломинкой» в той реальности, где не осталось ничего потаенного, а всё сплошь уже вывернуто наизнанку».

В последнее время всё больше и интереснее пишет в «Знамени» замолчавший было критик **Александр Агеев**. В большой **статье «Самородок, или Один день Олега Олеговича»** («Знамя», №5) он довольно тщательно разбирает и едко характеризует прозаика Олега Павлова. Писатель вознамерился заполнить нишу «самородка» — большого, необработанного, не тронутого интеллигентской «порчей», подлинного и цельного таланта». Павлов ужасно старается воспроизвести речь человека «простого», «естественного», лелеющего в душе что-то «сокровенное», роднящее его с природой и мирозданием. Эта попытка повторить и «творчески использовать» Платонова и Солженицына — «провалилась». Агеев дает основательную, а местами просто-таки убийственную критику творческого метода Павлова и его результатов. Одна из самых дельных критических работ сезона.

В рецензии на два недавних рассказа Валентина Распутина (**«Распутин новый и старый»**: «Знамя», №6) **Агеев** указывает на инерционность новой прозы писателя и на тот факт, что изображенная им в определенном идеологическом ключе жизнь может быть понята из рассказа Распутина и иначе, не столь однозначно («всё хуже, всё хуже, всё хуже»).

Философ **Владимир Бибихин** в многоумной **статье «Писатель и литература»** (КО «Ex libris НГ», 13 мая 1999) анализирует роман Владимира Маканина «Андерграунд, или Герой нашего времени». Он понят как инструмент узнавания нами себя. «Герой писатель идет вместе со всем населением в общем эксперименте страны, в которой отмена совести узаконена примерно так же, как семьдесят лет назад отмена религии». «Можно назвать стиль Маканина кошмарным реализмом». «Вечная женственность, душа мира, и высота духа измеряется всегдашней готовностью биться за постель. Ночное расплавленное сердце, все со всем в *нашем* мире. Вне его есть другие, жесткие миры, которые однако прокляты и оставлены без оценок». Обширная глубокомысленная статья основана на герменевтическом вживании в материал литературы, в сознание героя и писателя, выразившие суть жизни.

Леонид Филиппов в статье «Полеты с затворником» («Звезда», №5) дает свою оценку творчества Виктора Пелевина. Критик полагает, что главный мотив пелевинской прозы — освобождение. Он обнаруживается на всех уровнях текста.

Мария Ремизова пишет о повести Бориса Екимова «Пиночет» (**«Человек с палкой»**: «Независимая газета», 16 июня 1999). Повесть «интересна в свете

формирующейся ныне государственной идеологии». Екимов изображает председателя колхоза-диктатора, который «устанавливает новый порядок, где нет места не только преступлению, но даже халатности и разгильдяйству». «Он *вынужден* быть Пиночетом, оставаясь при этом благодетелем и отцом народа». Хороший человеческий материал растрачен историей, «вот и приходится Твердой Руке (...) отдуваться за всех — одному быть деятельным и активным. Прозорливым. Мудрым. Но главное — твердым. И никакой пощады врагу». Автор симпатизирует герою (пришел деятель, и что-то сдвинулось с мертвой точки). Но, с другой стороны, у него «этот человек с палкой выглядит как-то пугающе», повесть «приобретает характер самого мрачного исторического прогноза». «Пользуясь самыми натуралистическими приемами, Екимов описывает *народ* как самую безнадежную субстанцию, не имеющую ни воли, ни жизненной силы. Активные силы в нем — хищные и бессовестные люди (...) Вся остальная часть — глубоко пассивна». Лишь один — и активный, и честный — «хоть палкой готов загонять свое стадо в рай». Ремизова скептически относится к «благодетелям-тиранам» и этим резюме завершает свой опыт «реальной критики».

Роман Андрея Дмитриева «Закрытая книга» **Ремизовой** («**Долгие гудки в тумане**»: «Независимая газета», 1 июня 1999) оценен довольно строго. Она не может понять, что хотел сказать автор и с какой целью создан текст. Повествование выстроено хаотично. Возникает впечатление «закодированного послания», содержащего несколько аллегорических пластов, каковые оставляют скорее ощущение поверхностного заигрывания автора с самим собой, чем глубокой работы мысли. Текстовые ребусы исчерпали читательскую волю к разгадкам.

Повесть Дины Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра» видится **Марии Ремизовой** («**Смерть в окрестностях Иерусалима**»: «Независимая газета», 23 июня 1999) попыткой сконструировать трагедию в современном принципиально нетрагедийном мире. Причем трагедию совершенно камерную, личную, любовную. Это любовная трагедия, вписанная в «самый банальный треугольник». Карнавальная эклектика выводит здесь в итоге к мистериальному драматизму, шутовская игра венчается смертью.

О романе Алексея Варламова «Купол» **Мария Ремизова** пишет («**Взвешен и найден легким**»: «Независимая газета», 26 июня 1999), что это — сооружение с основательным фундаментом, довольно условными стенами и вовсе без всякого завершения. В романе много невыстреливающих ружей. Самые удачные места — те, где герой мучается сам от себя и мучает других, совершая неуправляемые поступки, им самим прежде всего и осознаваемые как неправильные. Он стремится к свободе, но не умеет быть свободным. Весь роман герой не знает, куда себя деть, всюду ему немило, всё ему нехорошо.

В статье «Попытка диалектики» («Независимая газета», 3 марта 1999) **Ремизова**, отталкиваясь от коллизий опубликованной в «Континенте» (№98) повести Владимира Торчилина «Университетская история», размышляет о феномене политкорректности.

Павел Басинский пишет о прозе Бориса Евсеева («**Юроды и уроды**»: «Дружба народов», №4). Евсеев свою «русскость» не декларирует, но выражает судьбой и стилем. Он классический правдоискатель. Писатель принадлежит к редчайшей

породе «работников со словом». В рассказе «Баран» Евсееву удалось передать «жуткое ощущение опасности, разлитой в воздухе времени». Поразило критика и лексическое богатство вещи. В повести «Юрод» рассказано о войне сумасшедших против юродивых. Это «точная художественная характеристика реальности». Юродство рассматривается как русское средство борьбы со злом.

Игорь Кузнецов ведет речь о прозе на «новорусскую» тему (в том смысле, что речь идет о новой русской жизни, в которой все смешалось), останавливаясь особо на романе Михаила Бутова «Свобода» (**«Глазами постороннего»**: «Дружба народов», №4). В романе представлены основные модели поведения, из которых может выбирать современный российский мужчина «в расцвете лет». Можно понять, что критику по душе финальный оптимизм автора романа. У героя все устраивается хорошо: «и это оказалось не так уж сложно. Стоило только взглянуть на мир и самого себя глазами постороннего. И посторонним быть перестать».

О том же романе Бутова пишет и **Елена Иваницкая** (**«Скучная свобода»**: «Знамя», №6). Роман о молодом современнике, с точки зрения критика, некрепко стоит на ногах. «А грандиозное название его сокрушило». Социальную невостребованность героя невозможно принимать всерьез, потому что он и не пытается найти работу или хотя бы возможность заработка. Экзистенциальных проблем тоже как-то не наблюдается. Роман, к сожалению, скучный.

Глеб Шульпяков рецензирует роман Владимира Сорокина «Голубое сало» (**«Поцелуй меня в звезды»**: КО «Ex libris НГ», 17 июня 1999). По мнению критика, «писатель работает в жанре антиутопии с элементами пастиша на уровне гротеска в рамках гиперреализма с вкраплениями игры языка и смыслов». Такая громоздкая формула, конечно, может определить не только новую прозу Сорокина, она есть скорее некое резюме популярной литературной практики в кругу «авангардной» столичной тусовки. Далее Шульпяков указывает, что Сорокин по обыкновению имитирует стили поочередно Платонова, Толстого, Чехова и других классиков, попутно выявляя «подтекст русской классики», ее «бессознательное». Далее критик, заражаясь от писателя безответственным отношением к слову, имитирует состояние бреда и под конец отделывается парадоксом: роман Сорокина доказывает, что даже после всех его экспериментов Русская Литература остается живой.

Инна Прусакова в статье «Фантазия и неправда» («Нева», №5) делится соображениями о творчестве Марии Семеновой — яркого мастера фэнтези. К этому жанру критик относится весьма плохо. Но для Семеновой делает исключение. По идеям ее проза выделяется в потоке жанровой продукции духом интернационализма, а не ксенофобии. За ее историческими повестями стоит некий научный запас. У нее нет «пикантных» моментов. Но и она, как все прочие, намешивает в свои фантазмы вещи совершенно несовместимые. Для подлинного искусства ее багажа маловато. А ведь ее книги некоторые педагоги уже ввели в учебную программу по истории.

Анна Вербицкая пишет о прошумевших детективных романах Б. Акунина (**«Эллинизм детективного жанра»**: КО «Ex libris НГ», 15 апреля 1999). От них «вкусно пахнет великой русской литературой. Все развивается динамично, по лучшим западным стандартам. Все на одном, высшем уровне владения материалом, как историческим, так и литературным».

О современных «спорных» воспоминаниях размышляют в «Кулисе НГ» (№12, июнь 1999) **Наталья Трауберг и Галина Башкирова. В статье Трауберг «Невидимая кошка»** содержится «призыв к милости» — и к истине. Много можно вспомнить плохого, важно знать — зачем? Под этим углом зрения восприняты «умные и беспощадные» мемуары Анатолия Наймана и полемика по их поводу, в которой также проявилась ожесточенность. **Башкирова** удивляется тому, что Эмма Герштейн в своих воспоминаниях об одних великих пишет трогательно и бережно — а о Мандельштаме беспощадно и обидчиво. Герштейн — последний живой свидетель жизни Мандельштама, она теперь владеет монополией: «Никто не поправит, не вмешается, не защитит, никто не вспомнит что-то другое. Некому. Пустыня. Благодатная пустыня для последнего свидетеля».

В статье «Женщина без мифа» Станислав Куняев («Наш современник», № 4) едко полемизирует с Аркадием Ваксбергом, написавшим биографию Лили Брик. Куняев настаивает на том, что Ваксберг приукрашивает ее образ в угоду еще действующей «партии Бриков» и что именно она сыграла самую дурную роль в судьбе Маяковского. Особенно убедительно звучит у Куняева пассаж, где он в подтверждение своих построений ссылается на стихотворные строки самого поэта. С другой строны, в своем стремлении доразвенчать образ Лили Брик автор демонстрирует и собственную склонность к «перехлесту». Это подрывает доверие ко всей аргументации автора.

Среди *обзорных статей* **о современной поэзии** укажем на сочинение **Льва Аннинского «Русский человек на rendez-vous»** («Москва», №4). Маститый критик делится впечатлениями о современной любовной лирике. На любовном свидании выявляет себя характер героя, каковой и становится предметом рассуждений. Возникают имена Б.Чичибабина, Н.Матвеевой, Н.Панченко, В.Корнилова и др.

Дмитрий Бавильский («**Новые стихи. Попытка концепции**»: «Дружба народов», №5) делает заявку на нечто гораздо более фундаментальное. Статья получилась весьма богатая разными мыслями и наблюдениями (об индивидуальной манере и мейнстриме, о поэзии столичной и провинциальной, о том, что мышление не может быть сплошь поэтическим, о том, что автор статьи теперь читает стихи вслух — чтоб они «материализовались» и т.п.). Короткие, часто нелицеприятные аттестации поэтов, возникающие по ходу дела, остроумны и вызывают живую реакцию.

Павел Белицкий в статье «Новая патриотика» («Независимая газета», 20 июля 1999) берется поразмышлять о традиционнейшей теме поэзии — «теме Родины» в современном ее звучании. От обильных общих рассуждений, весьма близких к трюизмам, критик переходит к выводу о том, что «значительная часть» новейшей поэзии «описала зигзаг»: «от казенной патриотики через антипатриотизм и эстетизм самого разного рода, пожалуй, к новому, какому-то уже органическому и выстраданному патриотизму». Упомянуты в этой связи Д. Быков, Э. Крылова, В. Салимон, В. Захаров, Т. Андронова... В «новодержавной теме» звучит и ностальгическая нота; для Д.Быкова «воспоминание о великодержавности начала 80-х связано с ощущением счастья». Долготерпенье и бедность трактуются как заслуга. Происходит отталкивание от западного, чужестранного... Сам факт появления подобной статьи в издании, отмеченном широтой захвата актуальных

веяний, вероятно, симптоматичен. Белицкий внушительно заканчивает: «Что это, подступы к тематической зрелости нашей литературы, проблески (...) целокупности единичного с единым или только случай, легкое поветрие?» Легкие прикосновения Белицкого к теме не дают возможности ответить ни на этот вопрос, ни на более важный вопрос о реальном качестве и смысле внезапно нахлынувшей на лириков любви к Родине. Да и странно вести об этом разговор, совсем не касаясь более убедительных опытов Чухонцева, Кублановского, да и Юрия Кузнецова тоже.

С анализом и оценкой общего состояния современной поэзии так или иначе связаны и многочисленные статьи, оценивающие *творчество отдельных современных поэтов*. Так, тот же **Павел Белицкий** рецензирует новую книгу Андрея Вознесенского «Жуткий Crisis Супер стар» (**«Белое безумие как прием»**: КО «Ex libris НГ», 27 мая 1999). Критик не находит тут никакой патриотики, а находит бормотание как принцип: «Явления и события недавнего прошлого и сиюминутного настоящего, все приметы нашей повседневности, выстреливаемые в эфир, выбормотаны в этой книге с той же степенью актуального безумия, которая становится очевидной, если, скажем, всё время крутить ручку настройки радио или переключать (...) телевизор»; «слова кружатся, сталкиваются, не зная ни своего начала, ни конца, не помня ни корней, ни исконного смысла...»: «Новый мелос, мелосмелос, / все смело, смелосмело, / в магазине, что имелось,— / в одни руки по кило»...

Дмитрий Быков пишет о книге Игоря Меламеда «В черном раю» (**«Трогательная книга, или О вреде твердой обложки»**: «Новый мир», №4). Быков предполагает, что книга призвана являть «традиционалистское» направление в отечественной поэзии. В стихах Меламеда Быков находит больше недостатков, чем достоинств; те «не блещут точностью и изобразительностью, а также оригинальностью и отвагой мысли; в них нет густоты деталей и меткости взгляда» и т.п. Лучшее у Меламеда — стихи об отце. Но собственного ярко выраженного голоса у поэта нет. Еще меньше доволен Быков статьями Меламеда. В них критика не устраивает «апология безликости», неприятие индивидуальности в поэзии. Индивидуальность, по мнению Быкова, противопоставляется у Меламеда «благодатности». Думается, Быков упростил и вульгаризировал реальную проблему, подав ее в фельетонной манере. Взаимоотношения личностного и медиумического в поэзии требуют гораздо более тщательного осмысления. Впрочем, при условии неприятия самой возможности поэтического медиумизма выпады и выводы Быкова становятся вполне логичными.

Статья Дмитрия Орлова «Солнце родины смотрит в себя...» («Москва», №3) посвящена творчеству Юрия Кузнецова. Главными характеристиками его поэтического мира автор считает историзм и символизм. Но оба эти понятия у Кузнецова означают не совсем то, что принято в них вкладывать. Прошлое для Кузнецова равноправно существует и в настоящем, а символ понимается им так, как осмыслял его о. Павел Флоренский: «Бытие, которое больше самого бытия, — таково определение символа».

Николай Славянский в статье «Театр теней. Поэзия Александра Кушнера» («Москва», №5) продолжает уничтожать литературные репутации. На сей раз он

иронично и зло разбирает стихи известного питерского лирика. Основная мировоззренческая интуиция Кушнера, полностью определившая и способ существования, и дух его писаний, — позитивизм. Полное отрицание любого мистического или метафизического измерения жизни. Полная безрелигиозность. Жизнь равна жизни, жизнь самотождественна. Кушнер — совершенный, гениальный носитель этого господствующего ныне нового самосознания. По кушнеровской логике, скромно и неприметно место поэта и самой поэзии. Поэзия ныне — лишь частное явление. В Кушнере завершилось полное преобразование: поэт сегодня меньше, чем поэт. Отсюда, однако, по Славянскому, и карликовый масштаб тем, и вторичность. Славянский порицает И. Роднянскую, которая вполне отчетливо разглядела эти недостатки поэзии Кушнера и намекнула на них в своей статье, но попыталась его «оправдать». (См. также ниже аннотацию статьи **В. Топорова**.)

Сергей Афанасьев в статье **«Игорь Иртеньев — зеркало русской капиталистической революции»** («Октябрь», №4) утверждает, что ирония — универсальный метод отображения сегодняшней российской жизни, с чем и связан успех Иртеньева. Однако, с другой стороны, ирония «есть художественно оформленная неуверенность в себе и окружающем мире».

Ксения Рогозина рецензирует книгу Алексея Хвостенко «Колесо времени» (КО «Ex libris НГ», 19 августа 1999), приходя к выводу: «Обольстительный Хвостенко времен ушедшего в лохматые предания питерского «Сайгона», обитатель заброшенной фабрики детских игрушек в Париже и повсеместно ныне почитаемый Хвост, написавший про ту самую Орландину и тот самый «Город Золотой», оказался постоянной величиной». Как можно понять из рецензии, он не меняется. «Шарлатан и бродяга, школяр и вертопрах, болтун из балагана».

Александр Уланов в рецензии на книгу петербуржца Михаила Еремина «Стихотворения» (**«Приручение терминов»**: КО «Ex libris НГ», 5 августа 1999) отмечает, что это — стихотворения-размышления. Длина их одинакова — восемь строк. Они сосредоточены, как правило, вокруг одной мысли, часто выраженной очень прямо. Еремин — наследник философской лирики XVIII века. Он, в частности, осваивает научные и технические термины, пока не приручennые литературой. Анализируя поэтику Еремина, критик рассуждает о плюсах и минусах такой ориентации.

Лилл Пани рецензирует книгу Ларисы Миллер «Между облаком и ямой» (**«Хорошо быть беглой гласной»**: КО «Ex libris НГ», 26 августа 1999). Стихи Миллер интонационно строятся на переходе радости в растерянность, на смене душевного трепета болезненным сжатием сердца. Тому виной ее упрямство в стремлении свести концы с концами в алогичном мире, ее попытка человеческой логикой понять логику Того, Кто создал жизнь, смерть и душу. Ее поэтика «линейная», ей чуждо темное, иррациональное слово. «...Еще один Иов. Конец двух тысячелетий христианства принес обильный их урожай. Богоборчество в виде богокритики — «доброжелательной», конечно,— вот живой мотив у Ларисы Миллер».

Об антологии «Русская поэзия. XX век», выпущенной «ОЛМА-ПРЕСС» и включившей 750 поэтов, КО «Ex libris НГ» (8 июля 1999) публикует два отзыва. **Владимир Березин**, отнесясь к изданию в целом благожелательно, делится мыс-

лью, пришедшей при фронтальном прочтении тома — «об упадке поэзии». «Возрастает количество пустой породы, шихты». **Илья Кукулин** полагает, что все дело в другом: чем ближе к нашему времени, тем хуже и неадекватнее представлена поэзия. Отсутствуют многие авторы, составляющие честь и славу современной русской поэзии! Нет целых направлений (минимализм, рок-поэзия). Основную массу современных разделов составляют тексты вторичные. Критик намекает также на личную нескромность составителей — В. Кострова и Г. Красникова. Кукулин утешает читателей фактом наличия авторской антологии Евтушенко «Строфы века» и антологии «Самиздат века». Данная же антология может помочь лишь по частным вопросам. Для выяснения общей картины пользоваться ею нельзя.

Виктор Топоров размышляет *об антологии мировой поэзии в русских переводах «Строфы века — 2»*, составленной Е. Витковским (**«В зеркале и за»**: КО «Ex libris НГ», 8 апреля 1999), где собраны 500 поэтов-переводчиков. Ценность обширного текста в том, что это — взгляд на проблемы перевода изнутри, поскольку и сам Топоров весьма недурной переводчик. Эрудиция автора впечатляет. В статье Топорова немало литературного быта и вкусовых суждений — в духе той прямодушно-затрапезной откровенности, какую критик неизменно демонстрирует.

Напоследок о том, что пишут критики *о собратьях из своего цеха*. Тот же **Виктор Топоров** отозвался и о книге Елены Невзглядовой «Звук и смысл», увенчанной премией «Северная Пальмира» за 1998 год (**«Соображения госпожи Журден»**: КО «Ex libris НГ», 17 июня 1999). Как водится у автора, это памфлет. Топоров уличает Невзглядову в сомнительных теоретических новациях, избирательном упоминании своих научных предшественников. Невзглядова «блещет незаурядным мастерством комплиментарного литературного портрета» (характеристики супруга, поэта Александра Кушнера «и членов его кружка»).

3. Культурология, философия

Приятно отметить появление в достаточно популярных журналах **материалов, основанных на узко-специальных исследованиях**, написанных, однако, легко и в то же время глубоко. Это статьи африканиста **И.Л. Андреева**, посвященные анализу различий восточного и западного менталитетов. **В очерке «Связь пространственно-временных представлений с генезисом собственности и власти»** («Вопросы философии», 1999, №4) автор на основании полевых исследований в Африке пришел к выводу, что пространственные представления связаны прежде всего с восприятием водных поверхностей как «зримой природной двумерности, достаточно стабильной ... и являющейся непременным условием любых форм биологической жизни». Образ воды ассоциируется с устойчивостью, женским началом, животворящим — а огонь трепетен, изменчив, мифы о нем позднее появились, он пробудил левое полушарие и мужскую инициативу, парадигму перемен. Огонь нужно поддерживать, в отличие от колодца. Правое полушарие воспринимает пространство (воду), левое — время. Для психики, в которой доминирует восприятие пространства, не так важно убить врага, как изгнать его.

Но абстрагироваться от деталей пейзажа такое мышление не может — оно составляет не карту, а подробное полотно. Время для африканцев есть совокупность событий, а не мерных единиц. Есть две разновидности времени: правополушарное, эмоциональное воспоминание о прожитом, и левополушарное, абстрактное время мифов, давно прошедшее. Из-за отсутствия четкого деления времени нежелательны новации, нарушающие время, «заведенное» предками, работа не по зову тела, а по расписанию (что западным человеком воспринимается как лень). Знаменито «ганское время» — вялотекущий поток, в котором ничего не происходит. С глаз долой при этом действительно из сердца вон, с отсутствующим зримо не может быть дел, лишь физическое появление приводит в радость, и всё приходит в движение с точки, на которой общение остановилось в момент расставания. Это мир без времени. Время не соотносится с деньгами, его не считают. Неясно одно: почему это «ганское время» — его вполне можно именовать и московским. А **в очерке «В джунглях прапамяти»** («Новый мир», 1999, №3) автор описывает тайные ритуальные сообщества Африки, оппозицию там мужского и женского, первобытный феминизм и каннибальский культ Леопарда. Охота на ведьм тут буквальное понятие. Автор отмечает, что в современные мафиозные и политико-мафиозные структуры вся эта архаика встраивается исключительно элегантно.

Со своей поправкой к Хейзинге выступает **В.М. Розин** (**«Природа и генезис игры»**. — «Вопросы философии», 1999, №6), ставя акцент на игру как освоение символов, операции с символами, почему в современной культуре роль игры возрастает (культура письменная, перенасыщенная символизмом).

Л.Л. Нелюбин и Г.Т. Хухуни выступают с очерком истории искусства переводов (**«Из истории переводов (древность, античность)»**. — «Вопросы истории», 1999, №4—5), в котором подчеркивается уникальность нашей эпохи: в древности перевод всегда был чисто утилитарным, неточным. На греческий переводили много — но не греки. А вот римляне переводили очень многое, у них словосочетание «верный переводчик» приобрело негативный оттенок (но это значит, что и перевод буквалистский был распространен). Авторы отмечают революционный характер в переводах Библии во II—III веках.

Элегантно, как и всё, вышедшее из-под пера **Исайи Берлина, эссе «Назначение философии»** («Вопросы философии», 1999, №5). Философия есть поиск ответа на вопрос, на который неизвестно где искать ответ. Она рассматривает не элементы опыта, а пути их рассмотрения.

Анализу того, как Бернар Клервоский основал свою философию на понятии «смирения», посвящена **статья** немецкого исследователя **Р. Брага** (**«Антропология смирения»**. — «Вопросы философии», 1999, №5). В античности смирение было скорее пороком. Бернар, все шесть раз упоминая философию, говорит о ней хвалебно, и девятнадцать раз упоминая философов, говорит о них враждебно. Философия для него самопознание, это христианский сократизм. Он различает уничижение и смирение — по-русски тут связи не видно, по-латыни она очевидна: «Смиренен тот, кто превращает уничижение в смирение» («qui humiliationem convertit in humilitatem»), вот и две антропологии — уничижения и

смирения. Человек унижен, сослан после грехопадения (впрочем, космологический аспект уничижения у него невелик), зато часто Бернар призывает человека осознать свое достоинство богоподобия. «Смирение — добродетель, которая делает человека ничтожным в собственных глазах при истинном познании самого себя». Смирение от познания мира и от переживания уничижения Христа. Смирение от милосердия, согревающее, и смирение от истины, в познании. Бернар чуть изменяет образ ап. Павла (смирение от сознания того, что ты — сосуд глиняный): он говорит о человеке как сосуде из драгоценного тонкого стекла. «Если бы я собрал кровь Господа, падавшую капля за каплей с креста, и поместил бы в стеклянный сосуд, который мне, кроме того, приходилось бы очень часто иметь при себе, каково бы было мое состояние духа в столь критический момент? ... Но это сокровище у меня в сосудах глиняных». Сознание прозрачно, как стекло, — истину надо видеть. Бернар создает модель истины, в которой истина освещает и позволяет овладеть ею, а между этой истиной и человеком есть истина, в которой находится человек.

Продолжает привлекать внимание исследователей и *русская религиозная философия*, причем можно констатировать движение вперед: опровергаются старые мифы, анализ становится глубже. Образцом такого разумного мифоборства может служить **статья Н.К. Бонецкой «Русский Фауст и русский Вагнер»** («Вопросы философии», 1999, №4) — очерк о Флоренском как «посвященном», оккультисте и эзотерике с соответствующими способностями. Автор опровергает как несостоятельный миф о Флоренском как православном патриоте: он отошел от священства и Церкви, назвав ее «догнивающим клерикализмом» (ссылка на 2-й том Собрания сочинений, с. 659). Флоренский — Фауст, он стремится не к Богу, а в тварный мир, он алхимик, а не теолог. Молитву он сводит к заклинанию, церковь видит мистериальным институтом. Ему противоположен Вагнер-Булгаков, отрицающий самостоятельное существование слова и потому верящий в продолжение догматического творчества, отказывающийся мыслить об имени оккультно. Противоположно трактуют они имя и икону: Булгаков якобы ее отрицает по-протестантски, считает, что отцы Седьмого собора придавали иконам вспомогательное значение (а ведь это действительно было так!). По Булгакову, икону делает иконой нанесение имени, а не канон или портретное сходство. Подобно Вагнеру, Булгаков не верит в реальную осязаемую близость духовного мира и воздерживается от рискованных экспериментов.

Что до углубленного анализа, то его блестящим образцом является **статья П.П. Гайденко «Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реализм С.Л. Франка»** («Вопросы философии», 1999, №5). Этот очерк о Франке, слишком насыщенный для пересказа, любопытным образом перекликается с последующим **очерком С.В. Михалева «О соотношении наук и философии в мировоззрении П.А. Флоренского»**. Флоренский отмечает первичный свой импульс как бунт против идеи неразрывности истории (прогресса), он сосредотачивается на прерывности (а европейская наука — на непрерывности бесконечно малых). Франк же говорит о прерывности в связи с проблемой закона тождества и апориями Зенона: непрерывность, движение недостижимы для разума, металогичны. Он не принимает Аристотеля, определившего непрерывное как то, что делится на

делимые части, следовательно, неделимого не содержит. Непрерывное не может быть суммой неделимых — но не для Франка.

В центре внимания *философов науки* оказалась (что любопытно, явно без предумышленности) **проблема эволюции**. Академик-микробиолог **Г.А. Заварзин** («**Индивидуалистический и системный подходы в биологии**». — «Вопросы философии», 1999, №4) считает идею эволюции, естественного отбора из случайной сборки индивидуальных объектов, обладающих свободой действий, результатом «протестантской традиции и мировоззрения XIX века». Этому противостоит Геосферно-Биосферная Программа, восходящая к Гумбольдту (и противоположная Линнею и Дарвину). Это не антидарвинизм, это просто решение другой (не происхождения видов) проблемы: развитие идет сверху вниз, вышестоящее задает существенные свойства нижестоящим, биосфера (экосфера, Жизнь, Гея) — живым организмам. Это макроэволюция. Создание симфонии из шума невозможно, а это и есть дарвинизм. Автор академик и микробиолог, возможно, поэтому он склонен придавать большее значение не индивидуальному, а коллективному (что он упорно именует системой). Уровень индивидуального для него — нижний по сравнению с геохимией, человек частное по сравнению с бактериями.

Журнал «ОНИС» (1999, №1) дал перевод из книги **Эриха Янча «Самоорганизующаяся Вселенная»**. Это более «центристская позиция», нащупывающая середину между преклонением перед биосферой и антропопоклонством. Янч в духе Пригожина трактует историю природы и духа как эволюционной модели. «Жизнь представляется теперь разворачивающейся во Вселенной — сама Вселенная становится всё более живой». В природе господствует не равновесие, а, напротив, сильная неравновесность, поддерживаемая самоорганизующимися процессами, обменом энергией с окружающей средой. Эти структуры («автопоэтические») глобально устойчивы, но никогда не в состоянии покоя. Порядок — через флуктуацию. Творческая индивидуальность — источник развития, она взрывает изнутри коллективный принцип. Вселенная проходит через три эволюционных фазы: космическая, химико-биологическая и социобиологическая, социокультурная (в которой доминирует личность, а не коллектив). В результате такой эволюции и появляется человек как многоуровневая реальность, в которой нет управления — то есть не информация поступает наверх, а оттуда приказы, но каждый уровень сохраняет определенную автономию. Мир создает сам себя, «Бог — не Творец, а Разум Вселенной».

Исторический очерк борьбы вокруг эволюционизма дает **А. Назаретян в статье «Векторы исторической эволюции»** («ОНИС», 1999, №2). Он отмечает оспариваемость идеи прогресса в последние десятилетия как с архаических позиций недвижности власти, так и с позиций политической корректности, когда всякое культурное явление оберегается, словно в музее. Был только всплеск эволюционизма с 1930-х годов (антропология В. Чайлда) до конца 60-х. В 1970-е годы антиэволюционизм соединился с экологическим алармизмом. Но интерес к эволюционной проблематике остался в творчестве Ал. Тоффлера, Э. Янча. Однако концепции развития уже не идеологические, позитивистские, а социально-синергетические: прогресс не как цель, а как «средство сохранения неравно-

весной системы в фазах неустойчивости». Человеческое развитие не противоречит природному, а является его высшей стадией, средством самосохранения космоса. Правда, и такой эволюционизм, основанный на неравновесной термодинамике Пригожина, не отвечает на вопрос, откуда берутся внутренние ресурсы у неравновесных систем и почему они реализуются не сразу, а также «почему организму не безразлично собственное состояние». Автор, что интереснее всего, на этот вопрос не отвечает — образец научной аскезы, воздержания.

Коллективная **статья** трех авторов (**Н.А. Кузнецов, Н.Л. Мусхелишвили, Ю.А. Шрейдер. «Информационное взаимодействие как объект научного исследования»**. — «Вопросы философии», 1999, №1) посвящена определению ключевого понятия современной науки — **информации**. Авторы отмечают двусмысленность слова «информация» — оно обозначает и сведения, и процесс усвоения сведений. Авторы приводят ряд определений информации («сущность, сохраняющаяся при вычислимом изоморфизме», «содержательное описание объекта», «сущность, определяющая изменение знаний при получении сообщения»), но сами предлагают выделить понятие информационного обмена.

С высшей степени абстрактными размышлениями соседствуют и размышления более исторические, описывающие **зарождение современной науки** — и именно эти размышления оказываются более чем актуальными. **С. Ушакин в статье «Университеты и власть»** («ОНИС», 1999, №2) констатирует миф об аполитичности как принципе университетской жизни, политизация же — вынужденная и временная мера, реализуемая через носителей знания. Он полагает что причина и в самом характере университетского знания. Но это затемняется — например, даже слово «университет» выводят из всеохватности его системы знаний, а оно означало «гильдия», «все члены определенной группы». Исторически первичен был тип «studium generale» (в Париже закрыт в 1229 г.) — т.е. учебного центра, за которым стояло лицо с нелокальными юридическими правами (папа, император). Локальный характер производимого знания и цеховая форма защиты корпоративных интересов были замаскированы. Болонский университет, к примеру, создавался для защиты собственных интересов в мире враждующих корпораций, а не для оформления интеллектуального богатства. И если в Болонье центром притяжения были студенты, то в Париже — преподаватели, которых поддерживал король (а они платили идеологическим обеспечением монархии). И в Оксфорде научное сообщество селилось в надежде на защиту короля, получая автономию от церковных властей. А в 1603 г. английские университеты получили право иметь представителей в парламенте. При этом в современной Японии, как и в средневековой Болонье, доминирует функция университета по обеспечению стабильности элиты (важно не знание, а носитель, университет воспроизводит модель социального поведения). На Западе же приоритетна мобильность, акцент ставится не на властное определение системы знания, а на разнообразие интересов, разнообразие как цель обучения. Университет из института социализации превращается в институт «институциализированной двусмысленности», научая сомневаться в несомненном — только в рамках такой неясности возможны новации.

Если Ушакин описывает исток современной научной традиции, то турецкий философ Г. Ирджик, описывает то, что легко может оказаться началом ее

конца — во всяком случае, в б. Константинополе (и там, где на этот б. ориентируются). В своей статье **«Философия науки и радикальный интеллектуальный ислам в Турции»** («Вопросы философии», 1999, №2) Ирджик описывает трагический процесс угнетения западнической модели мышления в Турции, причем исламисты основываются не столько на исламе, сколько на западном же бунте против модерности, используя его как маску для возвращения к архаике (за постмодернизм выдается средневековье). Али Булач: «Модернизм, который обещал рай на земле, превратил в ад всю планету». Впрочем, исламистов привлекает всё, где критикуется модерность, привлекает их и марксизм, и Кун, и Фейерабенд (разрушающие позивистский образ науки). Автор считает, что надо приглашать исламистов к диалогу — исламисты же пока ответили сожжением (так!) сорока турецких философов «западников» в гостинице, где они собрались на конференцию. Что подобное может иметь место и в России, не так уж невероятно, чему свидетельство публикация в «Новом мире» (1999, №4) двух материалов. В первом биолог **Леонид Корочкин в статье «В лабиринтах генетики»** призывает не бояться генетики вообще и клонирования в частности. Судя по тональности статьи, положение генетики отчаянное. А следом **Ирина Силуянова, автор книги «Современная медицина и православие» в очерке «Пародия на бессмертие»** бранит клонирование, ставит нам в пример Запад, который якобы давно запретил клонирование человека. Клонирование нарушит «ритмы рождаемости» и создаст угрозу «невоспроизводства человечества». «Получение возможности размножаться для инвертированных лиц означает окончательную легализацию новых форм семейно-брачных отношений, противоречащих традиционному моногамному браку ... новые методы искусственного размножения разрушают историческую систему нравственных ценностей, обесценивая в первую очередь главную из них — ценность любви». Надо понимать так, что «Новый мир» на стороне все-таки второго автора.

4. Политология, история

Симметрично к интересу, проявленному представителями точных наук к эволюции, находится **интерес** гуманитариев **к прогрессу** — от истоков веры в него до постмодерна как анти-прогрессизма. **Д.М. Володихин описывает** не первого, но наиболее тщательного **историка и критика прогрессизма** в России, **Р.Ю. Виппера** («Вопросы истории», 1999, №2). Академик (с 1943 г.) Роберт Юрьевич Виппер прославился прежде всего как автор историко-философской системы, созданной в 1916—1925 гг. В ней бросалась в глаза критика теории прогресса и замена ее понятием «круговорота» в истории. Сперва-то он рассматривал прогресс более спокойно (в 1900 г. вышла его книга «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе», где проследил развитие концепции прогресса как культа разума и понятия о законах общества с научно-технической критериологией. Революция не прибавила, конечно, Випперу оптимизма — какая уж там разумность в общественном развитии. Люди, с его точки зрения, стали «монотоннее и скуднее», чувства ослабели и т.п., а государство всегда одно и то же жестокое

чудовище. Автор безусловно сочувствует Виппери, видя в нем лекарство против «самообольщения» Фукуямы и прочих оптимистов. **Г.С. Киселев («Кризис нашего времени» как проблема человека)**. — «Вопросы философии», 1999, №1), продолжая ту же линию, воспевает постмодерн и окончание Нового времени. Цитаты из Мамардашвили, утверждение, что компьютер думает быстрее человека, деление людей на элиту и массу (с оговорками). Определение культуры: «объективированные формы духа как выражения сверхприродной сущности человека. Цивилизация же представляет собой способ воспроизводства человека как существа социального». **А.А. Чучин-Русов в статье «Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика?»** («Вопросы философии, 1999, №4) анализирует генезис и содержание понятий модерна и постмодернизма, склоняясь к мнению, что постмодернизм есть возвращение к средневековому и даже более раннему периоду, духовности синкретизма, нерасчленного восприятия мира, где красота — ничья.

И.И. Кравченко («Политическая мифология: вечность и современность». — «Вопросы философии», 1999, №1) идет еще глубже и открывает *связь мифа и утопии* (миф как идеология утопии, миф так же иррационален, вездесущ, навязчив, труднопреодолим, отождествляет объективное и субъективное, вещь и ее образ, действительность и иллюзию). Но утопии сбываются, мифы — нет. Есть миф о безопасном и безграничном прогрессе, просветительский культ разума. Романтизм в борьбе с ним опять создал миф — миф о мифе. Эстетический миф романтиков открыл дорогу мифу Карлайля о героях, вождизме. Сублимация истории в мифе о героических подвигах предков. Миф о государстве у Гегеля. Мифологическое сознание некритично к себе, но сверхкритично к тому, что не согласуется с мифом. Миф не обязательно коллективное бессознательное, он может быть и индивидуальным. Современные мифы целерациональны, искусственны. Ницше и Вагнер как мифоманы. Миф как средство социальной организации, параллельная рациональным формам власти. «Важно распознавать и теснить его, в надежде свести мифотворчество к минимуму. Философия и наука и призваны образовать для этого действенную и постоянную «антимифологическую службу». Правда, отождествление мифа (включая всякую религию) с ложью и злом делает статью не столько философским исследованием, сколько идеологической программой.

К менее глубоким, хотя тоже почтенным истокам современной политологической мысли обращается **А. Чанышев («Град земной» в эсхатологической перспективе: переосмысление опыта античной истории и гражданской культуры в историософии Августина»**. — «Вопросы философии», 1999, №1). Августин связывает римское и христианское видение истории: первое понимало добродетель как стяжание земной славы, второе — как стяжание славы небесной, Царства Божия. «Свобода предназначенности к спасению как высшей цели создает возможность свободных решений в безальтернативном прежде деле политики». Августин менее детерминистичен, чем античные историки, одержимые идеей фатума. Августин преображает и идею государства — в более персоналистическом духе, основывая государственное принуждение на любви к ближнему.

Безусловно, публицистический подтекст имеет **обращение к французской истории Д.Ю. Бовыкина («Термидор, или миф о конце революции»**. — «Вопросы

истории», 1999, №3). Автор, основываясь на новых французских исследованиях, пересматривает устоявшуюся под влиянием марксизма оценку Термидора как контрреволюции. Впрочем, и Мишле закончил революцию термидорианским переворотом. Любопытно, что уже при Термидоре начало распространяться словосочетание «термидорианская реакция» — первый случай употребления термина «реакция» в политическом словаре (вслед за «революция», «прогресс») у Ш. Нодье: «О том, что зовется политической реакцией, можно судить с помощью обычных законов механики. Она находится в связи с действием, ей предшествующим: медленно и в то же время с большим количеством колебаний за действием (action) следует реакция (reaction), и так постепенно, пока это действие и реакция не совпадут в неуловимом движении, за которым следует полная неподвижность». Реакция — т.е. ответ на якобинскую диктатуру, и вскоре термин приобретает негативную окраску. Однако основные принципы революции пересмотру ведь не подверглись — уже якобинцы ограничивали права парижских секций и Якобинского клуба. Декларация прав человека 1795 г. отличается от предыдущей незначительно, исключены весьма абстрактные категории. Да, Термидор подтвердил права собственников, но и предыдущие революционеры не были такими уж антисобственниками. Неверно считать, что Термидор отменил всеобщее избирательное право — его и до этого реально не было. Право голоса было сохранено за всеми, кто имел его ранее. Преувеличен «террор» Термидора, он был далеко не того размаха, что у якобинцев, и во всяком случае не был системным. Напротив, террор ослаб, была объявлена амнистия. Другое дело, что при Термидоре перестало стыдно показывать свое богатство. Реально прав и свобод у граждан стало больше. Появилась свобода у прессы, вернулись дискуссии в Конвент. Политики в основном остались прежние. По многим направлениям революция углублялась.

В. Витюк, И. Даниленич в статье «Национальное согласие и переход от авторитаризма к демократии (испанские уроки)» («ОНИС», 1999, №2) отмечают факторы, способствовавшие принятию идеи согласия в Испании: уезжавшие зарубеж на заработки распространяли знание об уровне и нормах жизни в демократических странах, появилась поддержка у технократических групп. Идея согласия прошла три этапа: от полного разнобоя в ее трактовке в 60-е годы, до популяности среди всех слоев общества и, наконец, до выработки конкретных механизмов его достижения. «Национальное согласие не есть полное политическое единомыслие. Скорее наоборот, оно потому и становится необходимым, что способно объединить во имя решения общей задачи индивидов, группы, организации, во многих иных отношениях расходящиеся между собой». Позиция коммунистов смягчилась под воздействием массового отката избирателей. Король главной тактической идеей сделал продвижение вперед на основе толкования старых законов. Был выработан негласный кодекс морального поведения политиков, который, однако, долго не продержался. Сравнивая испанское положение с Россией, авторы с удивлением отмечают, что угроза раскола общества никак не реализуется, а самовластие исполнительной власти перетекает в ее же безвластие. А немецкий опыт освещен **Х.Й. Зандкюлером («Демократия, всеобщность права и реальный плюрализм»**. — «Вопросы философии», 1999, №2). Это

анализ понятия плюрализма в политике («единственность суверена, господина ... уступает место множественности субъектов господства», причем одновременно господствует плюрализм представлений о плюрализме. Плюрализм закрывает онтологический путь обоснования норм. В качестве примера конфликта — постановления Конституционного суда ФРГ о том, что помещение креста на школе противоречит праву на свободу вероисповедания (а ведь в Баварской конституции есть еще ст. 131, провозглашающая высшей целью образования почитание Бога и христианских идеалов).

В рубрике «История неравенства» журнал «Звезда» (1999, №1) дает **очерк Игоря Ефимова «Хозяева знаний и хозяева вещей»**, где выделяются два типа политического мышления — уравнительный и состязательный, которому соответствует деление на либералов (журналисты и прочие производители информации) и консерваторов («хозяева вещей»). «Требуя свободы для себя, хозяин знаний крайне подозрительно смотрит на свободу для хозяина вещей. Ибо результатом ее неизбежно будет обогащение одних и обеднение других». Для предотвращения социальных бурь надо сгладить неравенство. Автор сумел удержаться от примыкания к тому или иному лагерю. Еще более крепко стоит на цифрах **статья Б. Хорева («Прогнозные оценки роста мирового населения»**. — «ОНИС», 1999, №1), который отмечает, что пессимистические прогнозы Римского клуба не оправдались: население растет не по экспоненте. О перенаселении речи нет, средняя плотность населения — 40 человек на квадратный километр. На одного землянина приходится 2,5 га. Где переселение есть, снимают по два-три урожая в год. Утверждение, что оптимальное количество населения — 1 млрд, — ни на чем не основано.

Специальные и не очень специальные **статьи по русской истории объединяет желание развеять** накопившиеся **мифы. А.Р. Артемьев («Ледовое побоище и битвы XIV — начала XV в. на Северо-Западе Руси»**. — «Вопросы истории», 1999, №2) решается затронуть святая святых российского патриотизма. Он, правда, отмежевывается от позиции английского слависта Д. Феннела, который считал Ледовое побоище обычной военной стычкой, но не соглашается и с традиционным взглядом на битву как имевшую «выдающее значение», спасшую Россию «от жестокого иноземного ига», и напоминает, что битва-то произошла не на русской территории. Александр Невский с новгородцами и суздальцами освободил Псков и сразу вторгся на земли эстов (чуди), отдав их войску на разграбление. Сперва один из русских отрядов во главе с Домашем Твердиславичем потерпел поражение от немцев и эстов, потом произошла битва у Воронья камня, причем, по русским источникам, немцев погибло 400 человек убитыми и 50 пленными, а чуди «паде ... бещисла» (Новгородская первая летопись). По западной Старшей ливонской Рифмованной хронике, немецкое войско состояло только из рыцарей дерптского епископства, — 20 рыцарей погибло, в плен попали 6. Видимо, немцы не учитывали потери не из рыцарей. В любом случае, общее число ливонских рыцарей не превышало ста человек. Видимо, в Ледовом побоище «могло участвовать не менее 50 рыцарей Ордена». Странно, что для оценки достоверности известий о Ледовом побоище Артемьев привлекает отзыв летописца, жившего

почти через полтора века, который ставил эту битву в один ряд со сражением под Раковором — которое отнюдь не вошло в патриотическую пропаганду, так как было очевидно агрессивным, состоялось 18 февраля 1268 г. близ датского замка Везенберг (Раковор) в Северной Эстонии. При Раковоре сражался и св. Довмонт Псковский. В поход отправилось около 15 тысяч русских (огромная цифра по тем временам, обычное новгордское войско не превышало 7 тысяч человек), немцы были разбиты, но и новгородцы отступили, а Довмонт с псковичами прошелся по эстонской области Вирумаа, разорив ее. Так что Ледовое побоище «конечно, не имело общерусского значения. Это сражение было важным этапом в истории Псковской земли и отчасти Новгородской, которая в случае оккупации первой получила бы сильного и очень агрессивного соседа». Можно подумать, что Новгород завоевали немцы, а не москвичи; о судьбе эстов, которых «без числа» истребили русские в Ледовом побоище, автор как-то вообще не задумывается.

Миф о византийском влиянии на становление российского самодержавия развеивает **В.А. Кучкин** (**«Великокняжеская печать с двуглавым орлом грамоты 1497 года»**. — «Вопросы истории», 1999, №4—5). Со времен Карамзина укрепилось в популярной литературе мнение, что Иван III ввел в свой герб двуглавого орла под влиянием Софьи Палеолог в ознаменование претензий на Константинополь, но это неверно, опрокидывание на XV век геополитических устремлений России XIX столетия. Исследователь датирует великокняжескую печать 26-м августа 1490 года, автором считает кого-то из западноевропейских (немецких или римских) мастеров такого высокого класса, что граверы XIX века не смогли точно передать его работу. Печать была изготовлена по образцу императорской Габсбургов, никаких связей с византийской традицией в ней не содержится. Отличие графическое — в хвосте (прямой, не раздвоенный), символьное — у русского орла две короны, хотя и королевских (помещение императорской вызвало бы протест Габсбургов, помещение одной королевской — унизило бы царя). На обороте был изображен не Георгий Победоносец, а царь — всадник в турнирной маске-визире с плюмажем, и современники твердо знали, что это царь (автор не объясняет, почему же тогда изображен поражаемый дракон). Попутно Кучкин отмечает, что «суеверные русские люд, ждавшие в 7000 году конца света» датировали грамоты не как 7000, а как 6900 и 10.

А.А. Преображенский в статье «Великое посольство 1697—1698 гг.: старое и новое в русской дипломатии» («Вопросы истории», 1999, №2) опровергает миф о Великом посольстве Петра I как чем-то уникальном: оно было не первым, именовавшимся так, титул «великого» носило и посольство в Швецию 1658 г. Новым было то, что члены этого посольства «усиленно занимались переоблачением в одежды европейского покроя», обзавелись гайдуками, карликами, трубачами. Впрочем, основная цель — создание христианской антитурецкой коалиции — достигнута не была, прагматичный Петр переориентировался на войну со Швецией.

Словно специально к войне в Косово появилась в №2 журнала «Вопросы истории» **статья И.И. Лещиловской «Балканская политика Екатерины II»**, где описывается идеологическая база, которую императрица подводила под свою

«политику». В январе 1769 г. Екатерина подписала грамоту к грекам и славянам Балкан: «Вы же, благочестивые греческие и славенские народы, естьли хотите низринуть с себя и попрать несносное иго злочестивых агарян, есть ли хотите воздвигнуть для себя и для потомков своих Церковь Христову на камени твердом и привесть ее в совершенную на будущие времена безопасность», а заодно обрести вольность, «какая приличествует древним завоевателям» — «имеете теперь случай удобнейший». В рескрипте от 11/22 августа 1769 Орлову она писала, что цель — «поднятие и ополчение противу неприятеля нашего собственных его христианских подданных» (славян и греков). Не удивительно после этого, что турки уж постарались, чтобы теперь среди их подданных было как можно меньше христиан. Екатерина не была первопроходцем, заигрывания с балканскими «христианами» начались за сто лет до нее. В 1753 г. черногорский митрополит Василеи Петрович просил русское правительство включить «черногорский принципат» в титул российской императрицы, «почему бы к оному нашему народу в случае с турками войны все окрестные славяно-сербские народы присовокупились и отдали б себя под протекцию всероссийскую». Российское правительство в ответ поддерживало Православную Церковь на Балканах. В январе 1770 г. сербские кнезы Рашкович и Хаджилазаревич просили Екатерину ввести в Сербию войска, освободив славян «от тиранства поганского». Впрочем, восстать сербы так и не восстали, как извинительно пишет исследовательница, им помешали расположенные всюду турецкие войска. Восстали греки, но с ходу всё и испортили — когда им сдались турки города Миситрия, они вырезали гарнизон и восемь тысяч мирных жителей, после чего турки начали сражаться ожесточенно — и греки «без сопротивления бежали», так что набранный из них легион просто растаял. На этом фоне победа при Чесме в июне 1770 г. казалась победой вдвойне. Правда, при Екатерине всё это закончилось ничем, хотя автор воспевает ее за «государственную проницательность», верный выбор «стратегических союзников России для обеспечения ее геополитических интересов».

И. Курочкина в статье «Формирование поведенческой культуры русского общества второй половины XVIII века» («ОНИС», 1999, №2) отмечает специфику русского понимания дворянской чести: государство стремилось рассматривать дворянина как свою собственность. Государство и воспитывало дворян, пока на смену принуждению свыше не пришло в конце XVIII в. «самопринуждение». Поведение стали рассматривать как внешнее проявление внутреннего содержания личности. На первое место вышел принцип учтивости. Придворная поведенческая рациональность стала средством укрепления своего статуса и доступа к власти.

Тот же **А.Р. Артемьев**, который посягнул на Ледовое побоище, обратившись совсем к другой эпохе, посягнул на миф о мирном характере российской колонизации (**«Восстание индейцев в 1802 г. в истории Русской Америки»**. — «Вопросы истории», 1999, №3). Впервые русские встретились с тлинкитами в июне 1741 г., когда к Аляске подошел «Святой Павел» А. Чирикова, но потом лишь в 1788 г. с Кадьяка на Аляску была послана экспедиция под командованием Д.И. Бочарова и Г.Г. Измайлова. Индейцам вручили медные российские гербы и решили, что раз индейцы эти гербы приняли, то они добровольно подчинились императрице. Но следующая экспедиция, 1792 года, была тлинкитами атакована.

В 1799 г. Александр Баранов решил основать на Ситхе поселение, послал туда алеутов и два корабля, крепость назвали Ново-Архангельской. Был заключен договор с ситхинским тойоном Скаутлелтом, которому опять же вручили медный российских герб, записав, что тойон уступил якобы русским место под крепость и принял русских как защитников от нападений соседей. Но 15 июня 1802 г., в воскресенье, именно Скаутлелт организовал нападение тлинкитов на крепость, почти все русские были убиты (кроме двоих), крепость сожгли. Несколькими днями позже вырезали еще две русско-алеутских экспедиции (видимо, нападения были согласованы). Индейцам отомстили русские суда, обстреляв их поселения (в обстреле участвовали и суда американских коммерсантов, которым русские за помощь заплатили). Артемьев считает, что ненависть тлинкитов к русским и алеутам объясняется «разным менталитетом этих этносов», «отсутствием комплиментарности, как называет Л.Н. Гумилев подсознательную взаимную симпатию членов этнических коллективов». Якобы из-за отсутствия этой комплиментарности мы и продали Аляску — хотя Артемьев не объясняет, чем менталитет российского императора Александра отличался от менталитета ситхинского тойона Скаутлелта. Впрочем, «концепции» Гумилева и не рассчитаны на то, чтобы нечто «объяснить».

А.А. Носов («Мы здесь основали Философское Общество...» — «Вопросы философии», 1999, №1) описывает попытку в 1878 г. организовать «Философское общество» в Петербурге. Несмотря на покровительство вел. кн. Константина Николаевича, участие благонамеренных лиц (и Вл.Соловьева), даже самый либеральный премьер, Лорис-Меликов, счел идею слишком опасной, ориентированной на «общество». Пытались увлечь правительство славянским объединением, включая союз со старокатоликами, но правительство пошло по более простому пути. «Нельзя не согласиться, что замена традиционного написания вензеля на эполетах и погонах лиц Свиты Его Величества на славянскую буквицу и восстановление восьмиконечного креста на верхушке древка знамени в идеологическом отношении и понятнее, и действеннее, нежели соловьевские Богочеловечество и София», — саркастирует автор. Тему продолжает его статья **«От «соловьевских обедов» — к религиозно-философскому обществу»** («Вопросы философии», 1999, №6); к сожалению, главное в статье — констатация отсутствия материалов по деятельности московского РФО.

А.А. Искендеров в статье «Российская монархия, реформы и революция» («Вопросы истории», 1999, №3) описывает начало Первой мировой войны, подчеркивая, что оно было отмечено церемонией приема в Зимнем дворце 2 августа в 3 часа дня: в Георгиевском зале собрались тысячи представителей высшего общества, из Казанского собора доставили икону Казанской Богоматери в знак преемственности с Кутузовым. Был зачитан царский манифест («Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно ... С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение»). Царь на Евангелии поклялся не заключать мира, «пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей». И враги России, и она сама понимали, что страна

не готова к войне. Автор целиком публикует записку П. Дурново от февраля 1914 г. (критика сближения с Англией), бывшего против войны с Германией и предсказывавшего, что в случае поражения «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию» — и Германии грозят не меньшие потрясения. Искендеров так и не объясняет, почему же Германия и Россия развязали войну, хотя сознавали ее пагубность, зато подчеркивает, что неуспех России был вызван и технической неподготовленностью, и отношением к своим солдатам как к пушечному мясу, расчетом на молниеносную войну.

Николай Курек в статье «Разрушение психотехники» («Новый мир», 1999, №2) описывает борьбу при Сталине с концепцией психотехники, исходившей из биологической обусловленности способностей и нацеленной на соответствующий профессиональный отбор. К 1931 г. советские психотехники отказались от биологизма и тестов, перешли к утверждению социальной детерминации психики, но это не помогло — педологов всё равно ликвидировали в 1936 г. Особенно повредили психотехнике ударники, которые перекрывали научно обоснованные нормы. Схожим гонениям психотехника подверглась при Гитлере. Теперь интерес к ее методам (тестам) возрождается. Но на то Юрий Кублановский в своем послесловии бранит психотехнику как «нечто, чреватое идеологией общества, описанного в замятинском «Мы».

Из немногочисленных в этом полугодии **воспоминаний** стоит выделить мемуар физика **Бориса Иоффе «Особо секретное задание»** («Новый мир», 1999, №5) о том, как делали атомную бомбу. Он считает неприятным факт искреннего энтузиазма советских физиков в отношении водородной бомбы как средства сдерживания Запада. Интересны воспоминания летчика-испытателя **Марка Галлая («Я думал — это давно забыто»**. — «Знамя», 1999, №3): интереснейший рассказ недавно умершего героя, к сожалению, слишком короткий, об анекдотах советской эпохи, увенчиваемый афоризмом: «Летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что, вообще говоря, летать не может». С тихим восторгом он вспоминает, как уже в перестройку побывал в Израиле, набрал свою фамилию на компьютере в историческом центре, и получил ответ, что такой еврейской фамилии нет. Хороши и **воспоминания о Галлае Л. Лазарева** в №2 «Дружбы народов».

Историки не успевают разогнать **мифы**, как уже историософы нагоняют **новые. М. Черников** (Воронеж) **в статье «Концепты «правда» и «истина» в русской культурной традиции»** (ОНИС, 1999, №2) детально выявляет различия двух терминов в русском менталитете. Истина как нечто неподвижное, неизменное. Истина раздваивается по линии объект — качество объекта, правда по линии речь — содержание речи. В Библии противопоставление истины и правды невозможно, поскольку объект (человек, Бог) и речь слиты. Рассогласование возникает, когда различают субъект дискурса и дискурс субъекта, божеское и человеческое. Истина как Бог, правда как слово от Бога. Правда производна от истины. Перекликается с этой статьей **очерк М. Красникова** («ОНИС», 1999, №2), который **анализирует понятие лжи**, рассказывая о попытке изучения лжи методом опросов групп испытуемых. Ложь в целом он рассматривает как регулятор

межличностного общения, средство предотвращения конфликтов ценой возникновения новой задачи — избежать разоблачения. Он выделяет четыре этапа лжи: подготовительный (к беседе), беседу до дезинформации, момент дезинформации и продолжение общения. Каждый этап отличается психологически. Даже нераскрытая ложь меняет процесс общения и отношения индивидов. Обманщик начинает хуже воспринимать того, кого обманул, — он видит в нем того, кто может его разоблачить. Необходимость поддерживать дезинформацию имеет кумулятивный характер: нужно искажать всё новые и новые аспекты реальности.

Концептуальный характер носит **статья Михаила Эпштейна «Русская культура на распутье»** («Звезда», 1999, №1). Подзаголовок: «Секуляризация и переход от двоичной модели к троичной». Он считает, что с сожжения Гоголем второго тома в России началось новое средневековье, которое длилось 140 лет, с отрицанием секулярного, хотя вера не господствует над сознанием общества. Белинский тоже отрицал секулярное, возводя его в степень воинствующего догмата. «Суперрелигиозность Гоголя и квазирелигиозность Белинского — двоякая модификация религиозного духа средневековья». Секуляризация же должна быть нейтральна к религиозному. Нужна троичность (не третье), предполагающая нераздельность и неслиянность религиозного, общественного и религиозно-общественного. Чехов критиковал секулярность как пошлость — выводил на уровень молчания. Чехов, писатель светски-апофатический, «изобрел способ говорить пошлости безнаказанно ... как будто намекая, что за пошлостью должно быть что-то еще». Эпштейн предлагает вообще снять категорию пошлости. Статья продолжена в №2. Апофатизм русской культуры есть выверт, приводящий к демонизму, к саморазрушению. «Демоническое — это переход положительного в отрицательное, минуя середину. Апофатика — это переход отрицательного в положительное, минуя середину». Православие и сформировало противопоставление мирского и иномирного, не знало исторической активности.

Из **пушкинских материалов юбилейного года** не столько литературоведческий, сколько историософский характер носят (и заслуживают упоминания) два. **Александр Эткинд («Иная свобода: Пушкин, Токвиль и демократия в России».** — «Знамя», 1999, №6) анализирует отзывы Пушкина о Токвиле и вообще сопоставление России и Америки, начатое еще в XVIII веке, но Токвилем развитое, а одновременно увлекавшем ссыльных декабристов (они с Америкой сравнивали лишь Сибирь). Чаадаев, возможно, не без основания, считал, что Токвиль заимствовал многое у него (особенно мысль о том, что развитие народа определяется его отправной точкой — у русских призвание варягов, у американцев отплытие пилигримов). Петр Великий — Колумб. Пушкин совершил крупнейшую из своих ошибок, когда среферировал Токвиля как осуждение демократии. Он смутно чаял спасения от деспотизма в идиллической дикости, которую приписывал американцам. Что ж, гению можно простить благоглупости, которые так раздражают у менее талантливых авторов.

Сергей Бочаров («Заклинатель и властелин многообразных стихий». — «Новый мир», № 6, 1999) отмечает, что лишь в 1920-е годы наука вступила в борьбу с мифологизацией Пушкина (с Ап. Григорьева начавшейся — Пушкин-де Орфей, абсолютный поэт, Гоголь — «единственное явление русского духа»). Десакрали-

зация, начатая Томашевским, не затронула эмигрантские работы. Бочаров считает превосходной и оптимальной характеристику, данную Аверинцевым («мгновенная исключительность» Пушкина) и переходит к анализу стихотворения «В начале жизни школу помню я...». Его трактовали и как прогрессивное движение от церковности к античности, Ренессансу (Гуковский), и как воспоминание о преодоленном соблазне язычества (Б. Васильев, Храповицкий). Пушкин употребляет слово «бесы» применительно к античным богам не от себя — он «цитирует» православную позицию. В конечном счете, Бочаров считает стихотворение подтверждением характеристики григорьевской — «заклинатель стихий». Поэт организует во внутреннем мире встречу двух исторических миров и взвешивает спор, «не решая его». Тут же **Сергей Аверинцев** («**Гёте и Пушкин**») отмечает неожиданный у обоих интерес к американизму и капиталистической демократии как антропологической проблеме. Гёте в противовес романтизму выдвигает неромантический, но более позитивный Новый Свет. Аверинцев, правда, не отрицает, что у Пушкина нет симпатии к Америке — но хоть интерес-то есть. Поэзия обоих «поствольтерьянская», потому что атеистическая, хотя и не благочестива. У обоих плюрализм культур проявляется в интересе к исламу (очень абстрактному). У обоих связаны идеи свободы и странствия, динамики в пространстве, личности между цивилизациями. Острая напряженность традиционной культурной исключительности и разнообразия. **Р. Гальцева в заметке «Поэт и царь Давид»** протестует против преувеличения религиозной прямолинейности Пушкина, **И. Роднянская** («**Наши экзорцисты**») защищает Пушкина от нападок Мадорского, а заодно Солженицына от нападок Олега Давыдова («подлый слог, лексикон шпанистской тусовки»).

Русские **истоки либерализма** анализирует **Татьяна Рябова** (Брянск, «**Российские либералы послереволюционного периода о духовных ориентирах развития страны**». — «ОНИС», 1999, №1). Ее статья посвящена анализу идей С. Франка, П. Новгородцева, Е. Трубецкого, особенно религиозного аспекта их либерализма. Трубецкой говорил о мировой эволюции к богочеловечеству, с признанием безусловного достоинства человека и основанной на этом достоинстве индивидуальной свободе. Назначение свободы — быть крыльями разума, помогать человеку проявлять свои творческие способности и достигать всеединства вопреки противоположным тенденциям в человеке. Новгородцев подчеркивал специфику русского православного сознания: у католика на первом плане авторитет церкви, у протестанта личность и свобода, ответственность, у русского — любовь, и не просто как проявление нравственной воли, а как связь человека с человечеством. Православие стоит посередине между католической крайностью обмирщения Божественного идеала и протестантским отречением от него. Россия и должна примирить конфликтующие христианские нправления. С. Франк видел своеобразие русского духа в том, что не «я», а «мы» составляем основу духовной жизни. Запоздалое развитие культуры секулярной, основанной на личной свободе, привело к тому, что относительные понятия права, государства, морали воспринимаются лишь через призму идеи абсолютной истины, как вторичные. Падение монархии и веры обнажило вакуум. Рябова полагает, что общим у этих либералов был мотив «общечеловеческого».

Современная русская **действительность** отражена хотя бы отчасти в очерках, которые из номера в номер публикует «Дружба народов». Правда, русские предстают тут не в самом выгодном для себя свете, как существа столь же добрые, сколь мимолетные добрые. Так, **Валерий Суси** («**Смерть «Меньшевика»**. — «Дружба народов», 1999, №1) вспоминает, как помогал латышам бороться за независимость, но разочаровался из-за латышского национализма и бросил помогать. **Василий Яналов** («Финно-угорский мир на пороге XXI века». — «Дружба народов», 1999, №1) обозревает настоящее финно-угров России, в основном крестьян. Республики их бедны, языки хиреют, надеются на поддержку богатых (венгры, финны) родичей, но «хочется верить», что и Россия проявит ответственность. В конечном счете, всё упирается в казну. **Сергей Баймухаметов** («**Переселенцы**». — «Знамя», 1999, №4. С подзаголовком «Записки человека из телевизора») опубликовал переведенный в текст цикл телепередач телерадиокомпании «Мир» о жизни русской провинции, переселенцах из Прибалтики, которые переезжают коммунами, а затем общность их распадается. Но не всё плохо: один из переселенцев решил под Псковом разводить страусов и просит у журналиста помощи.

Менталитет основной массы *русского общества* подвергается анализу в статье **Г. Хазагерова** («**Во дни сомнений...**». — «Знамя», 1999, №3), который по заказу Института Виталия Найшуля («национальная модель экономики») провел исследование «Царь и суд в концептосфере русского языка». Он сравнил немецкие и русские пословицы со словами «царь», «кёниг», «кайзер». Русских вышло 172, немецких 269. Разница потрясающая: немецкие чаще упоминают закон, чем Бога. Бесплатно Хазагеров размышляет о языке современной русской торговли.

О. Александрова в статье «**Идейный фон становления российского среднего класса**» («ОНИС», 1999, №1) отмечает необоснованность тезисов о неизбежном возникновении у крупных собственников нужды в среднем классе и о том, что макроэкономическая стабилизация создает условия для внешних и внутренних инвестиций. Необходимо еще осознание обществом своего долгосрочного интереса, а осознание это происходит именно через средний класс. Таким образом, возникает замкнутый круг: экономического развития, способствующего становлению среднего класса, не происходит, так как нет среднего класса. Люди есть, мотивации есть, идейной ясности нет. Она ссылается на западный опыт: средний класс выступает за собственность как гарант свободы, демократии, процветания, но процветание и свобода ведут к расцвету монополий. Центральной является бережливость как черта среднего класса, а она имеет смысл только, если налоги не чрезмерно велики. На первое место выходит ограничение тех субъектов, которые мешают свободе частной инициативы. Она отмечает различие западного и российского индивидуализма: первый имеет юридический характер, второй, напротив, антиправовой, когда закон замещается решением вопросов с коррумпированным чиновником «в частном порядке». Неверно изображать законопослушание существенной чертой среднего класса: исторически он повинуется лишь необходимым ему законам и активно меняет законодательство. В России же всякое давление на власть среднего класса интерпретируется как нехорошее, конфронтационное, антиреформаторское действие.

Подымаясь от среднего класса к верхам, **А.Г. Механик**, директор Института современной политики («**Финансовая олигархия или бюрократия? Мифы и реалии**

российской политической власти». — «ОНИС», 1999, №1), выделяет две группы в российской правящей элите: банки и финансово-промышленные группы, значение которых определяется не размером капитала, а личной унией с исполнительной властью. Российские олигархи дают взятки, следовательно, первична власть не олигархов, а бюрократии.

Другое деление общества считает более важным **Е. Кочкина: в статье «Женщины в российских органах власти»** («ОНИС», 1999, №1) она отмечает, что резко упал процент женщин во власти, с 50% в 80-е годы до 9% в 1997-м на местном уровне. В Москве процент падал до 6, потом поднялся до 17. Впрочем, в советское время миф о равноправии женщин тоже был лживым — квота обеспечивала женщинам 14,7%. На вершинах власти женщин не было вообще. Автор ратует за введение «гендерных квот» на выборах, «позитивной дискриминации».

В качестве идеологии, которая бы обеспечила России будущее, **А.А. Френкин** предлагает **«Национал-либерализм»** (так и называется его статья в «Вопросах философии», 1999, №1). Автор считает вполне органичным сочетание либерализма с национальным мышлением, но не с национализмом. Либеральную идею он определяет как идею «максимальной индивидуальной свободы в рамках закона, уважения достоинства другого человека, соблюдения права». «Три индивидуальных принципа либерализма — это свобода, приоритет индивидуального интереса и принцип изменения действительности». Национальное — ценность консервативная. Консервативный национализм исходит из приоритета общего, либеральный — частного. Примером национал-либерализма служит игумен Иннокентий Павлов. Автор, говоря от имени национал-либерализма, заявляет, что готов органично вобрать в себя и многие элементы консерватизма. Более простой вариант дает **Андрей Зубов** (**«Сорок дней или сорок лет?»** — «Новый мир», 1999, №5). Это анализ причин неудачи перестройки с опорой на социологическое исследование по российскому менталитету 1997 г. Русский народ заглушил в себе совесть из корысти в 1917-м году и за это расплачивается. Надо покаяться. Но православный **Сергей Георгиевич Антоненко** («Новый мир», 1999, №4), отталкиваясь от романа Д. Коупленда «Поколение Икс», делает более пессимистический вывод: «Россия — страна эсхатологическая по преимуществу». Тут резче тема финального выбора — новое поколение обречено на холодноватость, своеобразное «новое целомудрие», одиночество в толпе, прагматизм отчаяния. Религия не дает ответа. «Благостность отчаяния».

На конкретные пороки русской жизни — даже на один порок в двух ипостасях — обращают внимание **Вл. Старостин** и **А. Ахиезер**. Первый **в статье «Военное самодержавие России: беда или благо народа?»** («Знамя», 1991, №1), анализируя причины постоянного отставания от Запада, как на главную и чаще всего замалчиваемую, указывает на милитаризацию, даже до сего дня. **Ахиезер** же **в статье «Мифология насилия в советский период (возможность рецидива)»** («ОНИС», 1999, №2) отмечает исключительное место насилия в обществе и сознании советской эпохи: массовое лишение свободы и конфискация имущества. В отличие от гестапо, советская власть конструировала вину человека по архаичному мифологическому сценарию, не по рациональной (хотя бы внешне) парадигме. Ахиезер считает, что эта культура насилия стала возможна благодаря

манихейству как идее неизбежности конфликта, борьбы, насилия как имманентном аспекте существования вообще. Дуализм был характерен для народного мышления. Этим мышлением автор объясняет и опричнину как ответ на попытки реформ (стоит заметить, что и реформы, и опричнина — дело одного и того же субъекта). Конфликтовали с собой манихейство народное, отождествлявшее власть с бесовщиной, и государственное, считавшее еретиками иноверцев и инославных. Консолидация общества осуществлялась через создание образа врага, бесконечно злобного. Конечно, гражданские войны случались и на Западе, но там государство не вмешивалось в микроконфликты в семье, а в России вмешивалось и было их участником. Крестьян пороли за неподчинение воле отца. Советское государство вернулось к дофеодальным ценностям, было установлено царство террора, восторжествовала манихейская идея о единстве народа против его врагов.

Но не все боятся государства. **Академик Никита Моисеев («Вехи-2000».** — «Дружба народов», 1999, №3) бранит «кухонную интеллигентщину», возникшую с хрущевской оттепели, — от нее же пошло диссидентское движение: никакие они не демократы, видели в капитализме панацею от собственных бед, «типично правое движение». Метаморфоза Сахарова Моисееву «не очень понятна». По его мнению (которое он как-то основывает на авторитете Бердяева и Булгакова), в 1950-е гг. в СССР не было «системного кризиса», он начался лишь в 1970-е гг., когда страна осталась без четко сформулированных целей, «аппарат занялся устройством прежде всего собственных дел». Социализма было мало, вот беда. Ведь советовал Моисеев Горбачеву демонополизировать промышленность и «восстановить систему, подобную синдикатам времен НЭПа». Не послушались. Результат налицо. Рыночные методы нехороши. Насчет синдикатов с крепкими связями с государством Моисеев мечтает и теперь. И еще правительство должно профинансировать сельское хозяйство, потому что «в основе нашей цивилизации лежит прежде всего сельскохозяйственное производство». Утверждение «в США производительность труда одного сельскохозяйственного рабочего примерно в сто раз превышает производительность труда китайского крестьянина» соседствует с утверждением «но американскому фермеру никогда и не снились урожаи, которые собирает с одного гектара китайский крестьянин». Интересно, что академик понимает под производительностью труда, если не урожай? Статья заканчивается призывом создать «общественный совет ... который занялся бы перспектива развития страны», чтобы его указания реализовывались интеллигенцией и определяли судьбу России.

После этого с облегчением читается **Ю. Каграманов** («Новый мир», 1999, №6), который **в статье «Черносотенство: прошлое и перспективы»** критикует идеализацию черносотенца В. Кожиновым, заканчивая ироничным констатированием: Кожинов и признает утопичность черносотенства, и призывает сделать его программой действий. Конечно, Моисеев не совсем Кожинов, а все-таки дистанция не слишком велика. Но на одного Каграманова и Моисеев, и **Татьяна Чередниченко «Радость (?) выбора (?)»** («Новый мир», 1999, №1) — саркастические вопросительные знаки должны означать неприятие директором Благотворительного фонда Г. Свиридова, музыковеда, западного стиля в рекламе,

либеральных монетаристов, грозит Западу дефолтом (не России, а Запада). Реклама мифологична, рейтинги продажны, «тусовка как внушенная элита». Идеальный выход в монашеском «осмысленном самоотречении», для большинства же вынужденная бедность и питание благотворительностью богатых. Долой «финансовые игры». «Только натуральной ценой добровольного сдерживания консуматорных амбиций ... только благотворительно-свободным перераспределением доходов достижимо сегодня личное и общественное самоуважение, национальная и государственная солидарность». Ей возражает Александр Носов (№4), напоминая, что лучше реклама, чем всюду Брежнев. Впрочем, Чередниченко тут же ему отвечает, указывая на совсем уж кошмарное явление: торговля акциями через INTERNET в режиме ON LINE (именно так, латинскими буквами, все заглавные), — вот, мол, начало мирового кризиса, когда домохозяйки станут брокерствовать. Будем надеяться, что у Чередниченко будет время точнее узнать, что такое интернет и торговля акциями в режиме он-лайн. Если бы уважаемые диспутанты еще не обращались друг к другу на ты...

5. Религия

Касаясь в заключение (по традиции, безотносительно значения) религии, отметим **очерк М. Горинова «Евгений Преображенский: Становление революционера»** («Отечественная история», 1999, №1). Это прекрасный **анализ «расправославливания»** (термин автора)— Евгения Алексеевича Преображенского (15.2.1886—1937), коммунистического экономиста, оппонента Бухарина и лидера троцкистской оппозиции, создатель «Азбуки коммунизма» совместно с Бухариным. Горинов подчеркивает, что Преображенский интересен как «идеальный подтип» революционера: «попович». Именно этот тип (Л. Хеймсон выделял его как один из трех основных, наряду с дворянством и нац. меньшинствами) внес в революционную интеллигенцию чувство долга перед народом, морализм, поиск альтернативной православию космологии. Преображенский сын и внук священника Болховской Покровской церкви, на свои деньги его отец Алексей Александрович (р. 8.3.1853) открыл школу в своем приходе, единственный из местных священников держал в приходской библиотеке и книги, «противоречащие религиозным взглядам». Из пятерых детей двое получили духовное, трое — светское образование. В 1936 г. отца арестовали, он умер в тюрьме. Преображенский отмечал, что его атеизму дал идейную основу труд Кольба «История человеческой культуры», производивший религию их страха, слабости, невежества (Кольба — депутат франкфуртского парламента в 1848 г.). Придя в 14 лет к уверенности, что Бога нет («верой моей стало неверие», он бросил матери сапоги, подаренные ему на Пасху. Отец в 1903 г. подал прошение об увольнении от должности благочинного, т.к. не считал для себя возможным следить за поведением учащихся города, если не в силах справиться с атеизмом сына. Преображенский продолжал считать атеизм основой революционной морали и любви к людям. Все нынешние (вполне резонные) претензии к православию не стоят такого — действительного, выношенного — безбожия. Где Преображенский бунтовал, нынешние антиклерикалы трусливо брюзжат, воображая себя чуть ли не джорданобрунами.

Впрочем, не только православием и антиправославием жив человек. **Сергей Филатов** («**Алтайский бурханизм: вера или мечта о вере**». — «Дружба народов», 1999, №2) описывает примечательный эпизод **современной религиозной эклектики**: бурханизм, возникший в начале XX века, развивается, слился с буддизмом, сблизился с русским рерихианством (сливаться с ним не хочет — национальное дороже). В буддизме видят средство спасения от руссификации, резко высказываются о православии, терпимее к адвентистам и пятидесятникам как к более нравственным гражданам. При этом республикой руководит с декабря 1997 г. Семен Зубакин, старовер, сын часовенного наставника, он — против крайних алтайских националистов. А вот другой образчик буддизма, московской выпечки: **Григорий Померанц** («**Бог есть любовь**». — «Дружба народов», 1999, №1) отвечает на вопрос «Что значит для вас сегодня Иисус Христос?». Слова Достоевского о том, что лучше с Христом, чем с истиной, автор «понял ... так: истина — логическое мышление ... а Христос — божественная целостность сознания». Христос воскрес, «но что такое воскресение?» «Рождение Бога в человеке не совпало с плотским рождением Иисуса. Скорее с сорока днями в пустыне». Там же на тот же вопрос отвечает **Вл. Леонович**: он видит, как Христос изгоняет торгующую «сволочь» — «это особенно важно понять сейчас слюнтяям демократического «лагеря», проболтавшим свои невеликие достижения». Не торговать, а «строить страну». Член Союза писателей Москвы **Виктор Кузнецов** («Дружба народов», 1999, №2), на тот же вопрос отвечая, ругает Патриархию за неотмежевывание от черносотенцев, ругает клерикализацию, ущемляющую права атеистов, но всё же выражает восхищение подвигом Христа. А вот **Юрий Антонович Симонов** (р. 1934), физик, **в статье «Либерализм и христианство»** («Новый мир», 1999, №2) критикует антиклерикализм, атеизм, либерализм (в это понятие он вкладывает три признака: идею прогресса, рационализм и демократию как «безграничное развитие науки и производства; социальная защищенность; полная свобода развития индивидуума»). Кое-что в либерализме он соглашается признать близким христианству, но больше неприемлемого (со ссылкой на Р. Гальцеву): сам тип человек лишен трансцендентного начала, нет плана, прогресс непредсказуем, финансовая олигархия появляется, «идолопоклонство и нарциссизм». Автор боится «элитарности против демократии христиан», ложной справедливости против милосердия. Завершает гимном «открытому христианству» Вл. Соловьева и А. Меня, раскрывая это понятие указанием, однако, на католическую концепцию влияния Церкви на государство и политику.

Авторы **статьи «Люди на тающей льдине»** («Вопросы философии», 1999, №1) **Каариайнен Киммо и Д.Е. Фурман** — известные социологи, которые сумели провести анкетирование 94 представителей православной элиты, из них 68 человек — епископы, архимандриты, игумны и игумены, священники, представители епархиальной администрации и руководители образовательных институтов. Кроме того, они опросили еще триста человек, представляющих элиты политическую и «информационную», журналистскую. Они отмечают, что в 1990-е г. религиозная элита стала менее наследственной. Разительнее всего — религиозная элита чаще отвечает на вопросы «не знаю»: «Так, на вопрос о доверии к Думе «не знаю» отвечают 22% элиты РПЦ и 2% нерелигиозной элиты,

о доверии к армии — 22% и 5%, к партнерам по СНГ — 47% и 14%, к большим компаниям — 41% и 19%, к Европейскому Союзу — 47% и 14%, к ООН — 41% и 12%, о том, что лучше — частная или государственная собственность на предприятиях — 22% и 1%, об отношении к распаду СССР — 24% и 4%, будет ли Россия сверхдержавой — 22% и 3%, об отношении к демократии в России — 34% и 8%, об отношениях России со странами СНГ — 21% и 3%. Даже на самые «невинные» и не политические вопросы ответы «не знаю» встречаются у элиты РПЦ значительно чаще, чем в других группах. Например, на вопрос: «насколько для Вас важен досуг» — 10% и 2%, «насколько важны друзья» — 12% и 1%, «насколько важна работа» — 5% и 1%, «можно ли доверять большинству людей» — 12% и 3%, «помогают ли люди сейчас так же охотно, как раньше» — 15% и 3% и т.д.» Авторы объясняют это тем, что религиозная элита отбиралась госорганами и выработался такой вот молчалинский тип (вообще «люди на тающей льдине» — это религиозные лидеры). Религиозные лидеры более симпатизирует своей конфессии и менее терпимы к другим, чем представители светской элиты («Так, к свидетелям Иеговы негативное отношение выразили 18%, а «очень негативное» — 59% элиты РПЦ, к кришнаитам — 21% и 50%, к пятидесятникам — 31% и 41%, к баптистам — 28% и 35%, к буддистам — 19% и 32%, к евреям — 26% и 24%, к католикам — 28% и 12%, к мусульманам — 25% и 12%»). Впрочем, авторы не отметили, а как представители политической элиты относятся к «своим» и к «чужим», — возможно, картина была бы схожей: журналисты так же не любят «коллег-конкурентов», как политики и религиозные лидеры. Что до стремления к привилегиям, то его можно оценить даже как умеренное — отнюдь не 100 процентов религиозных лидеров к ним так уж стремятся («53% элиты РПЦ считают, что «все школьники должны изучать православную религию» (в элите в целом — 16%). Выше других элит, религиозная оценивает свою страну и свой народ. «Несмотря на то что большинство Государственной Думы поддерживает стремление РПЦ к привилегированному положению в обществе, поддержка Думы элитой РПЦ— очень слаба. «Очень доверяют» и просто «доверяют» Думе 31% (в нерелигиозной элите — 40%). Доверие правительству — больше, чем Думе, и даже несколько больше, чем у нерелигиозной элиты (39% и 36%). А к двум государственным институтам доверие у элиты РПЦ — значительно больше, чем у «светских» элит. Это — милиция (42% и 35%) и армия (62% и 52%)». Наиболее религиозной у нас является не политическая, а информационная элита. Так, на вопрос «верите ли Вы в Бога?» ответили «да» 38% опрошенных представителей политической, 32% экономической и 46% информационной элит, на вопрос о вере в загробную жизнь — 16%, 21% и 33%, в воскрешение мертвых — 3%, 7% и 13%, часто молятся — 4%, 6% и 12%, никогда не молятся — 47%, 53% и 33%, утверждают, что в их жизни религия играет «важную» и «относительно важную» роль — 31%, 23% и 39%, не важную и никакой роли — 64%, 73% и 59%, считают себя религиозными людьми — 27%, 25% и 38%. Информационная элита благожелательнее относится к другим религиям («за необъяснимым для нас исключением свидетелей Иеговы», пишут авторы, не давая интерпретации этому любопытнейшему феномену).

СЛЕДУЮЩИЙ (102-й) НОМЕР «КОНТИНЕНТА»
ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ПОСОЛЬСТВА США В РОССИИ

Это будет особый — «русско-американский» — номер, посвященный творчеству русскоязычных американцев и русских авторов, живущих в Америке, сегодняшним взаимоотношениям наших стран и перспективам этих взаимоотношений в XXI веке, духовному и культурному обмену между нашими странами.

В НОМЕРЕ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ:

Стихи и прозу

Юрия Бердана
Владимира Гандельсмана
Льва Лосева
Ирины Муравьевой
Марка Пераха
Владимира Торчилина

Статьи и очерки

Марины Адамович
Роберта Беленького
Александра Гениса
Михаила Кураева
Валерия Сойфера
Михаила Эпштейна

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 066469
Подписано в печать 29.12.99. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 25,00. Усл. печ. л. 23,25. Тираж 3200 экз.
Заказ № 1099.

Почтовый адрес редакции:
119136, Москва, а/я 69

Контактные телефоны редакции:
(095) 201-57-41, 240-84-86

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30

"КОНТИНЕНТ" № 101, 400стр., подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка).